

# НАПОЛЕОН В РОССИИ



ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Глазами иностранцев

КНИГА ВТОРАЯ. ОТСТУПЛЕНИЕ





# НАПОЛЕОН В РОССИИ

---

## ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ

---

### КНИГА ВТОРАЯ ОТСТУПЛЕНИЕ

ЗАХАРОВ • МОСКВА

УДК 840-94  
ТБК 104  
Н 27

*Печатается без сокращений по:*

ФРАНЦУЗЫ В РОССИИ. 1812г.  
по воспоминаниям современников-иностранцев

Составители  
А.М.Васютинский, А.К.Дживелегов, С.П.Мельгунов  
Части 1—3  
Москва. Издательство «Задруга». 1912

Н 27 Наполеон в России в воспоминаниях иностранцев: В 2 кн.  
Кн. 2. Отступление: Пер. с франц. и нем. — М.: Захаров,  
2004. — 512 с. — (Серия «Биографии и мемуары»).

ISBN 5-8159-0410-4  
ISBN 5-8159-0412-0 (кн. 2)

УДК 840-94  
ТБК 104

© И.В.Захаров, издатель, 2004



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# ОТСТУПЛЕНИЕ

---

### *Смоленск*

27 октября. Сейчас получили мы официальное известие, что Наполеон с армией оставил Москву и отступает к Днепру; однако неизвестно еще, какую пойдет он дорогою.

Каждый день раненые генералы и офицеры возвращаются в Пруссию, не дожидаясь выздоровления; многие из них без всякого разрешения едут при первом случае из предосторожности в г. Вильно. Меня лишь честь и долг удерживают в г. Смоленске, и я решил ожидать здесь судьбы своей.

Я распорядился печь хлеб день и ночь, чтобы иметь их в запасе для несчастных наших соотечественников. Но вот беда, низшие служители почти все разбежались, а остальных принуждены придерживать штыками. Собранные мною около города большие стада скота отбиты неприятельскими легкими отрядами, а оставшиеся отправлены мною в г. Красный. Даже отряды наших войск, расположенные в окрестностях города, принуждены спасаться от русских разездов в самом городе. Подвоз продуктов из деревень прекратился, и два наших транспорта с 65 нагруженными фурами и 150 лошадьми у нас отбиты.

Мороз с каждым днем усиливается. Русские генералы одели своих солдат в тулупы, хотя они и привыкли к стуже, а наши войска почти голые. Они зажигают дома, чтобы согреться, и не проходит ни одной почти ночи без пожара. Я принужден был все запасы сложить в крепкие каменные дома, чтобы, по крайней мере, спасти их.

*Пюибюск*

\* \* \*

4 ноября. Курьер привез нам повеление немедленно отправить хлеба, пшена, сухарей и вина навстречу армии,

которая терпит во всем недостаток; мы уже отправили два большие транспорта. Боюсь, что трудно будет сберечь собранные здесь припасы и каждому выдать положенное, так как не проходит ночи, чтобы мародеры не сделали покушений вломиться в магазины. Эти одичалые солдаты, без всякой дисциплины, увеличивают только наши заботы, а защищаться не могут, так как давно уже бросили ружья.

*Пюибюск*

\* \* \*

Я был послан вперед с поручением сделать в этом городе запас лошадей и провизии и доставить то и другое в главную квартиру. У ворот Смоленска теснилась толпа: пришлось пустить в ход руки и ноги, чтобы пробить себе путь, и Бог знает, каких усилий мне это стоило. От чрезмерного усердия я толкнул какого-то толстого и маленького человека, в шубе и в зеленой бархатной шапке. Человек обернулся, — это был он, император, — и весьма невежливо выбранил меня.

Худо ли, хорошо ли, я извинился перед Его Величеством и просил его пустить меня вперед, беря на себя обязанность прочистить для него путь. Наполеон несколько отодвинулся, и я пошел вперед: во имя императора всякий давал дорогу. Это имя всегда имело магическое влияние.

Среди обрушившихся на нас несчастий мы проклинали его, императора; мы его обвиняли в своих страданиях. Но стоило ему появиться, — и престиж его, этот своего рода ореол, окружавший великих людей, нас ослеплял; каждый из нас вновь обращал к нему доверие и повиновался малейшему проявлению его воли.

Я вернулся к своим товарищам. Обилие пищевых провиантов в данный момент сделало меня сострадательным и щедрым, я пытался поднять нескольких несчастных, упавших на дороге, я дал им сухарей и немного водки. Они попробовали встать, поели и выпили, а затем легли опять...

Приближаясь к Смоленску, обоз с казной и обоз с добычей растянулся до самых ворот. Мы получили приказ — не пропускать между нашими повозками никаких экипажей. Но вот быстро приближается великолепная карета, запряженная четверкой лошадей. Я делаю кучеру знак остановиться; он отказывается и продолжает путь.



Мы с товарищами хватаем лошадей под уздцы, и карета остановилась уже на краю оврага, как вдруг в дверцах ее появилась молодая и красивая женщина. Богатство и свежесть ее одежды и окружающая ее роскошь показывают, что над нею витает какое-то таинственное покровительство, которое избавило ее от всеобщего бедствия. Она требует именем императора, именем главнокомандующего, чтобы мы ее пропустили. Отказ с нашей и настойчивость с ее стороны. Кончилось тем, что она принуждена была выйти из кареты и идти пешком.

Как звали эту даму и каково было ее общественное положение? Что случилось с нею? Не знаю.

*Дюверже*

\* \* \*

8 ноября. Вчера прибыл Наполеон с гвардией. От ворот Московских до самой квартиры своей, в верхней части города, шел он пешком.

Вход на гору покрыт льдом, а так как в городе нет ни железа, ни кузниц, то весьма трудно втаскивать повозки на гору; лошади так измучены, что если которая упадет, то уже не может встать. Сегодня мороз 16 градусов. Наши солдаты, прибывшие из Москвы, закутаны иные в шубы мужские и женские, иные в салопы или в шерстяные и шелковые материи, головы и ноги обернуты платками и тряпками. Лица черные, закоптелые; глаза красные, впалые, словом, нет в них и подобия солдат, а более похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. Изнуренные от голода и стужи они падают на дороге и умирают, и никто из товарищей не протягивает им руку помощи.

Из предосторожности, чтобы голодные солдаты не бросились грабить магазины, решено армию оставить за валом вне города, до близости конюшен. Сегодня два конюшенных смотрителя донесли мне, что солдаты прошлую ночью вывели двести десять лошадей и убили их себе на пищу. У кого еще остался кусок хлеба или сколько-нибудь съестных продуктов, тот погиб: он должен их отдать, если не хочет быть убитым своими же товарищами.

Со дня прибытия Наполеона не имел я покоя ни на минуту; я должен разделить провиант всем корпусам, и хотя семь человек караульных охраняют меня и день и ночь,

однако я сомневаюсь, чтобы они могли защитить меня от толпы необузданных, изголодавшихся людей, которые беспрестанно ломятся ко мне в дом. Эти несчастные готовы вытерпеть двадцать палок, лишь бы только им дали кусок хлеба. Штаб-офицеры выломали окошки в моей квартире и влезли ко мне, умоляя не дать им погибнуть от голода, хотя им хорошо известно, что Наполеон сам распределил, куда и как разделить провиант. Несмотря на то, что выдача провианта не зависела от меня, они так громко кричали и умоляли меня, что я не в силах был отказать и принужден был сделать распоряжение о выдаче им хлеба, и они вышли тем же путем, каким и вошли ко мне, благодаря меня за человеколюбие, за которое, быть может, меня через час расстреляют.

Все чиновники в Смоленске завалены делами, но многие из них ушли самовольно, другие не хотят повиноваться. Наполеон сделал приказание распределить провиант так, чтобы гвардия была удовлетворена, а остальных предоставить воле Божией, как будто остальные воины недостойны жить, несмотря на то, что они дрались так же храбро. Я сомневаюсь, чтобы гвардия в состоянии была унести с собою весь розданный ей провиант, а не получившие его принуждены будут голодать...

*Пюибюск*

\* \* \*

Наполеон прибыл в Смоленск 9 ноября; армия же стянулась туда к 13-му. Она была в полном расстройстве. Смоленск представлялся ей обетованной землей, концом всех ее бедствий. Какое разочарование! Город, который летом казался таким очаровательным и окрестности которого, особенно к югу, изобиловали хлебом, представлял из себя теперь кучу разоренных домов, необитаемых или же переполненных больными и умирающими. Двухмесячная стоянка корпуса Виктора в окрестностях города, его гарнизон, 15 000 раненых и больных, проходившие через него войска, уничтожали ежедневно 60 тысяч рационов — огромный запас, которого хватило бы на всю итальянскую армию. Продовольствие истреблялось по мере его подвоза, сопряженного с затратой массы забот и энергии.



Итак, в Смоленске надежды не осуществились и вместо ожидаемого изобилия увидели только сцены отчаяния. В тех отдельных бандах, которые входили в Смоленск, трудно было признать армию. Трехдневного мороза, даже не особенно сильного до сих пор, было достаточно, чтобы совершенно дезорганизовать часть армии. Уже было брошено 200 орудий за недостатком упряжных лошадей. Во время кампаний голландской (1795) и прусской (1807) мороз был сильнее, чем в период до Березины. Расстройство армии, до которого она теперь дошла, было вызвано отсутствием продовольствия и тем обстоятельством, что она была составлена из 20 разнородных национальностей. Вследствие невозможности производить сколько-нибудь правильную раздачу начальники были вынуждены допускать отлучки солдат от своих команд за поисками продовольствия. Каждый вышедший из рядов солдат, если он не попадал в руки казаков, был уже не в состоянии нагнать свою часть. Вестфальцы, саксонцы, голландцы, итальянцы, испанцы, португальцы, поляки, даже французы, перемешавшись между собой, шли толпой в 30—40 тысяч человек. Эта толпа никому не подчинялась и думала только о том, как бы добыть средства, чтобы не умереть от голода и холода. Всякий, кто вследствие холода или усталости отставал от своей части, попадал в эту дезорганизованную массу. Она увеличивалась с каждым переходом и в конце концов, надо в этом сознаться, постепенно втянула в себя всю армию, особенно после сражений под Красным.

Армия надеялась найти в Смоленске обетованную землю и манну в пустыне; сам Наполеон не терял надежды собрать и реорганизовать армию. Обманутый еще раз в своих иллюзиях, он сорвал гнев на администрации, бессильной создать то, чего не существовало. Он свирепствовал против комиссаров и смотрителей магазинов, как бы желая сделать их виновными в той непредусмотрительности, в которой он один был виноват... Ибо состояние запасных магазинов в Смоленске должно было быть прекрасно известно императору из отчетов, представляемых генерал-интендантом.

*Жомини*

\* \* \*

Мы стремились к Смоленску, где надеялись найти множество запасов. Каково же было наше разочарование, когда мы, придя в этот злополучный город, увидели, что он почти разрушен и покинут жителями, переполнен толпами голодных солдат, продовольственные магазины пусты и бывшие в них запасы уже похищены. Войдя в город один, я долго бродил по разоренным улицам в поисках какого-нибудь убежища. Наконец, я заметил адъютантов генерала Себастьяни де-Ласкура и Лавестина. Они пристроились под чем-то в роде навеса и пригласили меня к себе. Я с благодарностью принял их приглашение и привязал свою лошадь вместе с их лошадьми. Так как у моих новых товарищей, так же как и у меня, не нашлось ничего съедобного, то мне пришлось, как это уже вошло в мою привычку, тотчас же по устройстве на квартиру отправляться на поиски.

В доме, где останавливался император и мимо которого мне случайно пришлось пройти, происходила распродажа остатков вина от его стола; я купил две бутылки. Возвращаясь назад, я встретил солдата, у которого за 12 франков купил порционный хлеб, добытый во время разграбления запасных магазинов. Радостно возвращался я к славным офицерам, приютившим меня, чтобы поделиться с ними моей добычей. На следующий день я разыскал остатки нашей дивизии, от которой накануне отстал. Мы расположились в разоренной деревне недалеко от города. С другими офицерами я устроился в обширной риге. Нельзя сказать, чтобы там нам было удобно, но это было все-таки лучше, чем под открытым небом.

*Дююи*

\* \* \*

Совершив путь в 90 лье среди стольких опасностей и бедствий, мы пламенно желали добраться до Смоленска. Он представлялся нашему воображению как пристань матросу, гонимому бурей.

Беспрестанно раздавались вопросы о том, сколько еще осталось до города, на средствах которого основывались самые большие надежды вознаградить бедствия армии. Каждый поэтому считал себя спасенным (я помню это выраже-



ние всеобщей радости), завидя вдали высокие, черные укрепления этого города. Но увы! Заблуждение было не продолжительно. Исключая нескольких полков, которые были впущены в Смоленск, армия нашла в нем весьма мало средств: беспорядок, расстройство были уже слишком велики. Смоленск имел весьма мало запасов. Единственная правильная раздача пришлась на долю императорской гвардии. Отсюда — ропот остального войска, отсюда отчаяние всех этих несчастных, умиравших с голода, которые, рассыпавшись вокруг города, резали артиллерийских лошадей и грабили редкие отряды русских партизан, доходившие до того места...

*Домерг*

\* \* \*

9 ноября. Мы выступаем в семь часов утра; входим в Смоленск в час; большинство ведет лошадей на поводу по снегу. Наше горячее желание достигнуть Смоленска, почти целиком сожженного, очень слабо обеспеченного провиантом, показывает всю степень наших бедствий. У меня пала седьмая лошадь.

Витебск занят большим отрядом русских; они взяли там полторы тысячи человек; в этом городе у нас были очень значительные провиантские склады.

10-е. Прибыла моя повозка. Это счастливое событие: я был без рубашки. В моих сапогах оторвались подошвы — полученная обувь малопригодная для того, чтобы ходить по снегу. У меня украли лошадь.

Взяли в плен полубригаду и генерала Ожеро.

11-е. Дневной приказ от 10-го предписывает образование кавалерийского корпуса под командой генерала Латур-Мибура, предназначенного охранять зимние квартиры. Из каждого полка будут образованы эскадроны в 76 человек в зависимости от того, сколько осталось солдат верхами.

Будет две дивизии: одна тяжелой кавалерии, составленная из четырех полков — трех кирасирских и одного драгунского, — другая — легкой кавалерии из семи полков. Люди, оставшиеся без лошадей, направлены в нестроевые части впредь до снабжения их лошадьми.

Мне повезло: удалось купить за 72 франка у конюха императора пару сапог с отворотами. Это очень большая

удача; я сильно страдал: мои ноги распухли, а дырявые сапоги от снега сузились.

12-е. Холодно. У комиссара провиантской части мне удалось выманить мешок муки для наших людей. Я отлично сплю на моей медвежьей шкуре, которая пока еще у меня.

13-е. Четвертый день пребывания в Смоленске. Наши люди без пищи и служители отправились в фуражировку за одну милю отсюда; преследуемые казаками, они ничего не принесли.

Из Дорогобужа 4-й корпус свернул на Витебскую дорогу, он прибыл, бросив всю артиллерию. Все время после полудня слышна пушечная пальба. Вечером дерутся около Смоленска. Холодно, но сухо. У нас очень скверное пристанище; мы вынуждены или замерзать или задыхаться в дыму, если садиться около проклятой печи. Генерал Нарбонн рассказывает мне забавнейшие истории. Он принадлежит к тому небольшому числу отважных людей, мужество которых увеличивается пропорционально бедствиям.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

9 ноября император прибыл в Смоленск, где узнал из Парижа про заговор Мале и Лагори в то самое время, как получал донесения о поражении корпусов, помещенных им на флангах... Чтобы не упал дух войска, император делал вид, что с невозмутимостью относится к дурным вестям, — он хотел казаться нам стоящим выше превратностей судьбы и готовым ко всяким случайностям. Только это кажущееся безразличие было дурно истолковано.

У нас больше не было кузниц, чтобы подковать лошадей на лед; они все попадали и были так слабы, что не могли встать. Наша кавалерия совсем исчезла; пешие кавалеристы побросали даже оружие, которого не могли держать в заоченевших руках.

Офицерам, оставшимся без отрядов, пришла мысль образовать отборный корпус, который был бы в боевой готовности; но и у трехсот офицеров, как и у солдат, недовоествовало ни сил, ни дисциплины, и вызванное несчастьями благородное предприятие распалось через несколько дней, не принеся пользы.

Вечером 10-го мы остановились на берегу Днепра около моста, на котором был убит генерал Гюден. Вокруг наших костров быстро зажглись костры отсталых, собравшихся здесь. Их вид растерзал бы нам сердце, если бы мы не дошли уже до состояния скотов, которым чуждо сострадание. Эти бедняки приходили без оружия, укутанные в шелковые шубы с мехами, в разноцветные женские одежды, захваченные ими на московском пожаре или вытащенные из брошенных повозок. Одежды эти, как более широкие, лучше могли защитить от холода. На многих было тоже надето платье товарищей, погибших по пути.

Окоченев от голода и холода, несчастные просили тех, у которых были еще силы развести огонь, пустить их погреться. Но этим вовсе не хотелось уступать хоть часть жизненных лучей, и вновь пришедшие должны были стоять позади них. Они недолго могли побеждать усталость, опускались на колени, потом садились, наконец невольно вытягивались. Последнее движение было предвестником смерти; бесцветные глаза смотрели в небо, счастливая улыбка кривила их губы — точно божественное утешение смягчало их агонию, о которой можно было судить по пене, выступавшей на губах. Другие отсталые, не ожидая последнего вздоха вытянувшегося на льду человека, садились к нему на грудь; как только один вытягивал члены с выражением небесного блаженства, другой, стоящий рядом, усаживался всею тяжестью на трудно дышащую грудь умирающего и так и сидел перед огнем, пока сам не умирал тут же, не имея сил подняться. Снег только отчасти скрывал ужас подобных картин, а сколько их пришлось видеть еще в течение 30 дней!

11 ноября 1-й корпус пришел в Смоленск, где пробыл до 16-го. За это время войскам раздали небольшое количество провианта и одежды, какое было в складах, и были отправлены в Вильно все обозы, у которых еще были лошади...

От Смоленска до Немана осталось еще идти по пустыне 120 миль. Мороз доходил уже до 12° и 15° и все усиливался. Дороги с каждым днем ухудшались, а в Смоленске армия получила слишком мало припасов для того, чтобы четырехдневный отдых мог восстановить ее силы и некоторый порядок в ней. Князь Экмюльский, человек сильный, креп-

кого закала, по выражению императора, оставался требовательным и хотел, чтобы бумаги штаба велись изо дня в день, как в мирное время. Мои писаря исчезли все, за исключением одного; я опять попросил сменить себя; император 14-го в момент отъезда дал согласие и назначил вместо меня дивизионного генерала Шарпантье, бывшего губернатора Смоленска. Но генералу совсем не хотелось занять должность, трудность которой была ему известна, и в течение 10 или 12 дней он избегал являться; у меня теперь не было титула и содержания, а работа осталась...

*Лежен*

\* \* \*

По приезде в Смоленск я сильно захворал, стал кашлять кровью и застудил желудок, страдал дизентерией. Я обязан спасением жизни графу Дарю, который ухаживал за мною, как за ребенком...

Я узнал от министра, что мы остановимся в Смоленске. Сам министр много работал и выказывал громадную энергию и храбрость. Он рассказал мне, что для освещения, в первый вечер стоянки, у императора были только простые свечи, воткнутые в бутылки. Кроме всех этих неудобств, у императора было много причин, способствующих его дурному настроению. Наполеон узнал о заговоре Малэ, и хотя он и не удался, но это вызвало массу беспокойств и неприятностей, и расположение духа Его Величества было не из розовых. Он придирался ко всем, а в особенности к князю Экмюльскому. Разговаривая с генералом Красинским, которого он считал своим человеком, очень к нему привязанным и горячо относящимся к его славе, он выразился об очень видных лицах так: «Если бы я смел, я бы велел их всех расстрелять!» Парижский заговор возмутил императора больше, чем переживаемые теперь неудачи. Генерал д'Илье, посланный с генералом Ожеро (младший брат маршала герцога Кастильонского) задержать русских на пути в Ельню, должен был вернуться в Смоленск. Он потерял в бою две тысячи солдат, составлявших бригаду генерала Ожеро, которая была послана авангардом.

*Делем*

\* \* \*

Император был вдвоем с королем Неаполитанским и, обратившись ко мне, заговорил довольно спокойно\*.

«Но как же могло случиться, — говорил император, — что Гувийон не остановил Витгенштейна?» — «У него было, — отвечал я, — самое большее — тридцать тысяч человек». — «Неправда, — быстро возразил он, — у него было пятьдесят тысяч, а у Витгенштейна двадцать». — «Я могу сказать Вашему Величеству лишь то, что я знаю ...мне это известно из верных источников, от шпионов через постоянные донесения; наконец, благодаря тому, что во всем теперь я не мог не быть заинтересован сам. У маршала Гувийона было только тридцать тысяч человек, а у Витгенштейна пятьдесят».

«Меня опять обманули!» — воскликнул он в первую минуту, потом, возвращаясь к прежнему ходу мыслей, спросил: «А Виктор?» Я молчал. «Что же Виктор?» — повторил он. «Ваше Величество! Уже около месяца Витебск был в самом опасном положении; каждый день мы обращались к герцогу Беллунскому с представлениями; каждый день маршал Гувийон просил у него подкреплений; мы указывали ему короткий и верный путь, чтобы зайти в тыл неприятельской армии. Но герцог Беллунский не решился выступить, чтобы помочь нам: ждал приказа от Вашего Величества. Когда же он, наконец, нашел возможность двинуться вперед, маршал Гувийон начал битву и проиграл ее.

«Несчастные! — сказал император с негодованием. — Нет. Виктор неспособен командовать даже полком или дивизией. Как, не идти на помощь! Позволить прорвать линию! Посмотрите, как они приносят себе в жертву благо моего войска! Какая глупость! Какое незнание самых начал военного искусства!» Говоря так, он приблизился к карте, разложенной на столе. «И таковы они все! Я слишком высоко их поставил; они служат только поневоле и губят все мои планы! Даву наполовину помешан и ни на что больше не годен. Виктор в Смоленске бесполезно истребляет заготовленные припасы. Ожеро не желает двигаться и воображает,

---

\* Пасторе явился в Смоленск сообщить Наполеону о потере Полоцка и Витебска.



что оказывает милость, повинуюсь мне. Однако они должны мне повиноваться! Они знают, кто я, а мне известно, что такое они! Да, между ними нет ни одного, кому можно было бы поручить хоть что-нибудь. Вечно все надо делать самому. Ну и хорошо! Я буду все делать сам; но пусть они хоть исполняют, пусть повинуются! О, пусть они берегутся! Я ведь сумею обойтись и без них! Ну, посмотрите, — добавил он, — какой план не удался из-за них. Вице-король в Витебске, Гувион в Динабурге, Макдональд в Риге держали в своих руках всю Двину. В Могилеве и Смоленске Даву и Ней прикрывали Днепр. Виктор вошел бы в Оршу, Ренье в Минск, Понятовский в Полоцк, Шварценберг с немцами в Украину. А из Вильно в течение зимы я устроил бы всю эту страну, дал бы отдохнуть армии и принудил бы их повиноваться. Что за невежество, что за невежество!» — повторил он еще два или три раза, стуча кулаком по столу.

*Пасторе*

\* \* \*

На одной из улиц Смоленска Г.Л., идя домой в восемь часов вечера, заметил какое-то движение рядом с трупом лошади, лежавшим около него. Он подошел и при слабом свете луны, отраженной на снегу, увидел женщину, одетую в розовую подбитую горностаем мантилью, влезшую в раскрытое брюхо лошади: он остановился, чтобы наблюдать за ней, и скоро увидел, что она намеревалась вытащить печень животного, но, не имея в своем распоряжении никакого острого инструмента, решила вырвать ее зубами, чем и была занята.

Г.Л. спросил, что она делает. Она вылезла тотчас, вся окровавленная, из трупа лошади и с принужденной улыбкой ускользнула, не говоря ни слова. Г.Л. признал в ней маркитантку.

*Рене Буржуа*

\* \* \*

Мы только и поддерживались надеждой найти в Смоленске, по прибытии туда, жизненные припасы и несколько часов отдыха. Офицеры и солдаты радовались каждому шагу, приближавшему их к нему, но вскоре и эта надежда оказалась тщетною: ибо, придя туда, мы с удивлением уви-

дели, что продовольственные магазины были точно отданы на разграбление. Тотчас по уходе императорской гвардии, чиновники бежали; а солдаты, покинув свои корпуса, и маркитанты бросились на магазины и забрали с собою все, что только могли увезти на уцелевших повозках. Разбитые бочки, наполовину наполненные мукою или сухарями, лежали целыми кучами перед магазинами. О правильной выдаче рационов нечего было и думать: всякий брал, сколько мог...

*Фоссен*

\* \* \*

К вечеру мы прибыли, полумертвые, изнемогающие от усталости, на берега рокового Днепра, переправились через него и очутились под стенами города.

У ворот и под валами давно уже скопились тысячи солдат всех корпусов и всех национальностей, входящих в состав нашей армии, ожидая, чтобы их пропустили. Сперва им этого не разрешали, боясь, чтобы все эти люди, нахлынувшие в беспорядке и умирающие с голода, не набросились на магазины и не растащили то немногое, что в них еще оставалось; рассчитывали потом по возможности в порядке распределить между ними провиант. Множество сотен людей уже умерли, стоя тут, или были при последнем издыхании.

Когда мы подошли к стенам вместе с другими гвардейскими корпусами, двигаясь в наилучшем, по возможности, порядке и приняв все предосторожности, чтобы забрать с собою всех наших больных и раненых, нам отворили ворота, и мы вступили в город. Большинство войск сейчас же рассыпалось во все стороны в беспорядке, чтобы искать себе приюта под кровлей на ночлег и съесть небольшое количество обещанного продовольствия; действительно, его потом раздали понемногу.

Чтобы восстановить мало-мальски порядок, было объявлено, что в одиночку солдаты ничего не получат. С этой минуты наиболее сильные соединялись по номерам полка и выбирали из своей среды начальника, который мог бы служить им представителем, потому что некоторых полков вовсе не существовало. А мы, императорская гвардия, прошли по городу, но с трудом, так как были страшно изнурены и

должны были взбираться по крутому подъему, тянувшемуся от Днепра до других ворот; вследствие обледенелости этого склона ежеминутно наиболее слабые падали; приходилось помогать им подыматься и нести тех, кто уже не мог ходить.

Таким-то образом прошли мы в предместье, погоревшее еще при бомбардировке города 3-го (15-го) августа. Там мы заняли позиции и расположились, как могли, в развалинах домов, еще не совсем истребленных пожаром. Мы устроили по возможности поудобнее своих больных и раненых, то есть тех, у кого хватило мужества и сил добраться до места — многих мы оставили в деревянном бараке при входе в город. Эти последние были настолько больны, что не имели сил дотащиться туда, где остановились мы. В числе тяжелобольных был один мой приятель, почти умирающий, которого мы притащили в город, надеясь, что там найдется госпиталь, где бы можно полечить его; дело в том, что до сих пор наше мужество главным образом поддерживалось постоянной надеждой, что мы остановимся в этом городе надолго и дождемся весны — но вышло совсем иначе. Впрочем, это вряд ли было бы возможно, потому что часть деревень была сожжена и разорена, а город, где мы находились, существовал, так сказать, только по имени. Виднелись еще только стены домов, выстроенных из камня; все же деревянные постройки, из которых большей частью и состоял город, исчезли; словом, город представлял какой-то жалкий остов.

Если кто отваживался ходить по улицам в потемках, то попадал в капканы: на местах, где прежде стояли деревянные дома и где не видно было никаких следов построек, теперь встречались глубокие подвалы, прикрытые снегом. Солдат, имевший несчастье попасть туда, исчезал под снегом и уже не мог выбраться. Многие погибли таким образом; на следующий день другие их вытаскивали, но не для того, чтобы предать их земле, а чтобы стащить с них платье или вообще поживиться тем, что можно было найти на них...

Было часов одиннадцать; однако я не потерял надежду отыскать Гранжье, хотя бы ночью. Я просил офицера на посту указать мне, где живет маршал Бессьер, но или он неверно мне указал, или я не понял его хорошенько, но только я сбился с дороги...

Дорога, по которой я шел, была из рук вон плоха; я так сильно утомился, пройдя по ней немного, что пожалел, зачем отважился идти туда один. Я уже собирался повернуть назад и отложить до завтра свои поиски Гранжье, как вдруг услышал шаги и, обернувшись, увидел позади себя какого-то субъекта, как потом оказалось, баденского солдата: он нес на плечах бочонок, вероятно, с водкой, по моим догадкам. Я окликнул его — он не отвечал; я хотел пойти за ним следом — он ускорил шаг; я за ним. Он стал спускаться по довольно крутому склону; я хотел сделать то же, но мои ноги оказались не такими устойчивыми; я упал и, скатившись сверху донизу, в одно время с ним угодил в дверь подвала, которая отворилась под напором моего тела, так что я очутился внутри раньше солдата.

Не успел я очнуться и узнать, где нахожусь, как меня вывели из моего оторопелого состояния крики на разных языках; кричала целая ватага каких-то людей, валявшихся на соломе вокруг огня; тут были французы, немцы, итальянцы, известные у нас как отъявленные грабители и воры; в походе они постоянно шли кучкой, впереди армии, боясь встретить неприятеля и сражаться, всегда поспевали первые в жилища, попадающиеся на дороге, и устраивались биваками отдельно от других. Когда армия, страшно утомленная, приходила на место стоянки, они выходили из своих укромных тайников, бродили вокруг биваков, забирали себе лошадей и чемоданы офицеров и выступали в путь спозаранку за несколько часов до всей колонны — и это повторялось изо дня в день. Словом, это была одна из тех шаек, которые образовались с первых же дней, когда начались сильные морозы, погубившие нас. Впоследствии эти шайки еще размножились.

Ошеломленный своим падением, я не успел подняться, как из глубины подвала вышел какой-то человек и зажег пучок соломы, чтобы разглядеть меня: в потемках по моему костюму, а в особенности благодаря медвежьей шкуре, нельзя было разобрать, к какому полку я принадлежу. Но заметив императорский орел на моем кивере, он воскликнул дерзко: «Ага! Императорская гвардия! Вон его!» Другие подхватили: «Вон, выгнать его вон!» Оглушенный, но не испуганный их криками, я поднялся и попросил их, если уж благодаря случайности, или, вернее, счастью, я попал

к ним, оставить меня по крайней мере хоть до утра — тогда я удалюсь. Но человек, закричавший первым, по-видимому, начальник, так как имел на боку полуэскадрон, который он кичливо выставлял напоказ, повторил еще раз, что меня надо выгнать; остальные завопили хором: «Вон! Вон!». Один немец подошел ко мне и хотел было схватить меня, но я так толкнул его в грудь, что он отлетел на людей, лежавших вокруг костра; я взялся за рукоятку сабли — ружье мое осталось у входа, когда я покатился с горки. Человек с полу-эскадроном зааплодировал моей расправе с немцем, собиравшимся вытолкать меня, и сказал ему, что не подобает немчуре, кочану капусты, налагать руки на француза.

Увидав, что человек с полуэскадроном взял мою сторону, я объявил, что решил остаться здесь до утра и что скорее готов дать себя убить, чем замерзнуть на дороге. Какая-то женщина — их было там две — хотела вступить за меня, но ей приказали молчать, и это приказание сопровождалось бранью и грязными ругательствами; тогда начальник опять приказал мне убраться, говоря, что я должен его избавить от неприятности выводить меня; конечно, если он вмешается, то это будет живо исполнено, и он пошлет меня ночевать к моему полку. Я спросил его, почему же он сам с товарищами не находится со своими полками? Он отвечал, что это не мое дело, он не обязан отдавать мне отчет, он у себя дома, а я не могу ночевать у них, потому что стесняю их, так как они должны отправиться в город по делам и воспользоваться беспорядком и отсутствием надзора за обозом, чтобы поживиться добычей. Я просил как милости позволения остаться еще немного, чтобы погреться и поправить обувь, потом я уйду. Человек с полуэскадроном изъявил согласие с условием, что я удалюсь через полчаса. Он поручил барабанщику, по-видимому своему адъютанту, привести этот приказ в исполнение.

Желая воспользоваться немногим оставшимся у меня временем, я осведомился, не может ли кто продать мне немного продовольствия, а в особенности водки. «Кабы у нас что было, — отвечали мне, — мы оставили бы себе!»

Между тем бочонок, который тащил баденский солдат, вероятно был с водкой; я слышал, как солдат говорил на своем наречии, что он отнял его у полковой маркитантки,

спрятавшей бочонок, когда армия прибыла в город. Из его слов я понял, что этот солдат здесь вновь; он был из гарнизона и только со вчерашнего дня пристал к этим людям, решившись, подобно им, вести партизанскую войну, гоняясь за добычей.

Барабанщик, на которого возложено было поручение вывести меня, о чем-то таинственно совещался с другими; наконец, он спросил, нет ли у меня золота, чтобы его обменять на пятифранковые монеты, купить водки. «Нет, — отвечал я, — но у меня есть пятифранковые монеты». Женщина, стоявшая возле меня, та самая, что хотела принять меня под свою защиту, вдруг нагнулась, делая вид, будто что-то ищет на полу возле двери. Потом, приблизившись ко мне, она шепнула незаметно для других: «Уходите отсюда поскорее, поверьте, они вас убьют! Я с ними от самой Вязьмы и против своей воли. Приходите сюда завтра утром с товарищами и спасите меня!»

Из советов, данных мне этой женщиной, я убедился, что не ошибся в своих догадках; действительно, я попал в настоящий разбойничий притон. Поэтому я не стал ждать, чтобы мне велели удалиться; я встал и, делая вид, будто ищу местечка, где бы улечься, приблизился к двери, открыл ее и вышел.

*Бургон*

\* \* \*

Когда мы 11 ноября достигли Смоленска, погода сделалась несколько мягче. Хотя мы, начиная с Вереи, потеряли много обозных повозок, пушек и всяких телег, все-таки за нами тянулся по долине Днепра невероятно длинный поезд...

Когда я прибыл в город, мне показалось, что я в крепости, только что пережившей осаду и бомбардировку. Мы увидели прежде всего сожженные дома; открытые, частью опустошенные, частью обращенные в лазареты церкви; солдат в обгорелом и оборванном одеянии; отошавших лошадей и все ужасающие признаки опустошительной войны. Однако были и евреи-торговцы и маркитанты, на которых мы давно уже возлагали свои надежды, а в боковых улицах оказалось достаточное число квартир, которые могли служить нам для крова и некоторого отдыха.

Были налицо и всякие запасы для армии. Гвардия получила большую часть, и наиболее нуждающимся, участникам сражений, досталось мало. Наше начальство закупило муки, риса, мяса и водки в достаточном количестве, и каждый явившийся получил достаточно. Но многие не знали об этом, и им Смоленск не доставил пищи и отдыха...

*Роос*

\* \* \*

В Смоленске, куда мы прибыли 13-го, мы не находим никакой помощи. Солдаты там собирались кучками в сараях, откуда не имеют сил выйти для добывания съестных припасов.

Ни у одного француза надежды вновь увидеть родину.

Мы узнаем, что русские оттеснили к Двине 2-й и 6-й корпуса и что нам нужно будет попытаться вступить в битву при переправе через эту реку...

Но как можно сражаться, раз у трех четвертей наших войск нет оружия, а остальная четверть с трудом носит его?

Те немногие снаряды, которые мы еще везем с собой, разрушаются ежедневно; наша конница спешена; разведочного отряда нет. У неприятеля же, сопровождаемого громадными запасами, есть поддержка в сильной артиллерии, причем большая часть орудий передвигается на санях. Мороз так силен, что говорят, будто он достигает 28 градусов. Наше положение теперь более ужасно, чем когда бы то ни было; можно, наконец, сказать, что армии нашей более не существует. Солдатам, потерявшим веселость, — единственное, что поддерживает француза в несчастьи, — грезятся одни лишь бедствия.

Однако бодрость эта не всех нас покинула целиком: я продолжаю все еще надеяться, не поддаваться горю. Несмотря на все беды, хлынувшие на меня, мне кажется, что можно быть еще несчастнее; кроме того, я вижу своего рода славу в том, чтобы оставаться спокойным среди стольких тревог.

Никогда не поддаваясь отчаянию, я был сильнее, чем обстоятельства.

*Капитан Франсуа*

\* \* \*

В этот день (12 ноября) был сильный ветер и неимоверный холод. Уверяли даже, что было более двадцати семи градусов ниже нуля, но, несмотря на это, все бегали по улицам в надежде купить провизии. Смоленск построен на склоне горы. Косогор был так крут, что, взбираясь на него, приходилось ползти по земле, хватаясь за выступы бугров и холмов, выступающих из-под снега. Мы достигли, наконец, вершины, где находилась площадка и стояли дома, менее пострадавшие от пожара. Несмотря на сильный холод, все искали провианта, а не помещения. Нескольких гарнизонных солдат, которым раздали небольшое количество хлеба, мы заставили силой нам его продать; тех же, кому удалось его купить, товарищи умоляли, в свою очередь, уступить им хоть часть его. Можно было видеть, как офицеры и солдаты смешались на улице в одну кучу и с жадностью ели его. В это время появились казаки. Ясно было видно, как они бродили по окружавшим город возвышенностям и стреляли в наши войска, находящиеся под городом.

Страшно трудно было найти помещение. Домов было мало, а народу чересчур много. Собравшись в тесные кучи в помещениях, сохранившихся от пожара, мы с нетерпением ждали раздачи пайков, но процедура длилась слишком долго, наступила ночь, а мы так ничего не получили. Опять пришлось рыскать по улицам с золотом в руке, умоляя солдат императорской гвардии продать что-нибудь съестное, так как эти баловни судьбы по большей части имели всегда в изобилии провиант в то время, как остальная армия нуждалась во всем.

Итак, этот город, который мы считали концом наших несчастий, жестоко обманул наши ожидания и, напротив, даже стал свидетелем наших горестей и самого глубокого уныния. Солдаты, не получив помещения, расположились на улицах, и несколько часов спустя их находили мертвыми около зажженных костров. Госпитали, церкви и другие здания не могли вместить больных, которых можно было считать тысячами. Эти несчастные, оставленные на морозе, лежали на телегах, фургонах или умирали, тщетно отыскивая себе убежища. Нам обещали, что мы все получим в



Смоленске, а между тем ничего не предприняли, чтобы поддержать нас; ничего не было приготовлено, чтобы помочь армии, которая ожидала от этого города своего спасения. С этого времени отчаяние овладело всеми, и каждый стал заботиться лишь о себе. Все позабыли честь и долг, иначе говоря, никто не хотел подчиняться приказам начальника, не желавшего ничего предвидеть и не постаравшегося даже добыть хлеба тем, кто жертвовал для него своею жизнью\*.

У людей, когда-то веселых и неустрашимых, теперь характер совершенно изменился, и они говорили лишь о бедствиях и катастрофах. Единственно, о чем мы мечтали, — это была родина, и единственно, что мы могли ждать, — это была смерть!

С мрачным предчувствием каждый, заботясь о своей судьбе, секретным образом справлялся о положении армии, от которой мы ждали спасения. «Где маршал Гувийон Сен-Сир?» — спрашивали мы по секрету. «Он хотел остаться на Двине, но был принужден покинуть Полоцк и отодвинуться к Лепели», — отвечали нам шепотом. «А герцог Беллунский?» Он не смог дойти до Уллы. «А где русская волынская армия?» Она отодвинула князя Шварценберга за Буг, идет на Минск и двигается на нас. Если только эти известия верны, думал каждый про себя, то положение наше ужасно, и мы должны ожидать на берегу Днепра или Березины сражения, которое завершит нашу гибель...

*Лабом*

\* \* \*

После чрезвычайно утомительного перехода, длившегося несколько дней, по местам совершенно пустынным и покрытым глубоким снегом, мы подошли 12 ноября к Смоленску...

И вот с этой поры начались все те страдания, которые нам пришлось испытать в течение злополучного отступления.

---

\* Очень много говорили о двадцати тысячах телегах, везших сухари и муку и запряженных сорока тысячами быков. Очень небольшое количество этих повозок достигло Смоленска. А быки были изнурены усталостью и плохим питанием, многие из них заболели, и мясо их стало совершенно непригодным для еды, так что военные доктора запретили их есть.

Солдаты, измученные голодом и всякими лишениями, разломали двери кладовых, захватили все оставшиеся сухари, за то были повергнуты жестоким наказаниям.

Особенно плачевно было положение врачей.

Посвящая все свое время вместе со мной уходу за ранеными, переполнявшими наши госпитали, они не могли заботиться ни о том, чтобы где-нибудь достать себе пищу, а в самом госпитале они ничего не могли получить, потому что едва хватало больным.

Мне посчастливилось, и я за большие деньги купил два мешка муки, которые и разделил между своими товарищами, у которых была самая настоятельная нужда.

*Ларрей*

\* \* \*

В Смоленске было сосредоточено огромное количество всевозможного продовольствия, и если бы была возможность установить правильную раздачу, то солдаты были бы удовлетворены в течение 15—20 дней. Но дезорганизация армии достигла уже такой степени, что, несмотря на присутствие императора, магазины были разграблены, так что корпуса, которые следовали позади нас, не могли уже ничего найти.

*Де ла Фей*

\* \* \*

Наконец, подошли к Смоленску и вступили в предместья. Полк вошел в город в боевом порядке, с распущенными знаменами и музыкою. На большой площади полк остановился, подъехал комендант и указал начальнику отдаленный квартал, где дома были целы. Отправились туда и разместились, как могли. Наши офицеры заняли флигель того дома, в котором помещался полковник со старшими офицерами. Вслед затем дали знать о раздаче продовольствия. Это случилось в первый раз по выходе из Москвы. Солдаты наши возвратились с навьюченными военными припасами лошадьми, которым досталось тоже сена и овса. Эта раздача несколько ободрила войско...

*Де ла Флиз*

\* \* \*

9 ноября и в следующие дни приходили различные армейские корпуса, и город переполнялся. Каждый день происходила раздача провизии; но так как в Смоленск не впускали разрозненных отрядов, то они оставались в предместьях, за Днепром, или же принуждены были обходить город по узкой гористой дороге, чтобы попасть в предместья на противоположном конце его. Эти несчастные почти ничего не получали при раздаче, да и раздача делалась неправильно. Магазины осаждали толпой, и только самые ловкие люди добыли себе нужное. И здесь, в Смоленске, повозки и кареты с трудом плелись по замерзшей дороге; многие стали на месте, между тем как сидевшие в них раненые зябли и не могли вылезть из экипажа. Военные, прибывшие из Москвы, рассказывали, что на обогнавшие нас корпуса часто с фланга нападали русские партии. Но мы, к счастью, не встречали их. С тех пор что наступила зима, все бедствия обрушились на армию и росли с каждым часом. Прошли четыреста верст без хлеба и фуража, и каждую ночь падали лошади на биваках. Отдельные колонны часто подвергались нападениям казаков, тревоживших их и днем и ночью. Отставших солдат они раздевали донага и закалывали, а одежду похищали...

«Опасности прежних походов, — рассказывал мне дядя (бывший также в Смоленске), — ничто в сравнении с теми, которым мы подвергаемся здесь. Конец славе наполеоновой! Вся наша кавалерия уничтожена. Я сделал все, что мог, для сохранения моего полка, заменяя наших лошадей здешними конями; наши лошади или убиты, или подошли от недостатка фуража, а тех, которые остались целыми, я велел полякам подковать. Полк мой отличился во всех делах. Надо было его видеть при переправе через Неман. Словом, с самого начала похода не было дела, в котором бы полк мой не участвовал. Я действовал как только мог, но ведь от нас требуют сверхъестественного. Император не тот, что был в Италии и Австрии. Не рассудив, привел нас в этот ужасный край. Он не понял, что неприятель, отказавшись под Витебском от сражения и отступая с зажженным факелом в руках, хотел нас утомить долгими переходами. Он не предвидел того, что многим было понятно, что, направля-

ясь на Москву, мы и там найдем все в огне, а не обещанные (им, Наполеоном) удобные квартиры и избыток.

Но я не ожидал от Наполеона этой ужасной и неисправимой ошибки: держать нас в Москве на пылающих развалинах целых шесть недель: потом предпринять позднее уже отступление не на Калугу и Киев, а по той же опустошенной дороге, мимо погорелых городов и сел. Меня огорчает это неуважение к армии, храбрее которой еще никогда не бывало, потому что никогда еще не вели войны с большею отвагою, большим мужеством и большим знанием дела. Кроме того, Наполеон даже не отблагодарил нас. Со дня вступления в Вильно он не дал ни одного сантима звонкою монетою, а раздал жалованье какими-то векселями, на которых должны были расписываться получатели; но из них нельзя было сделать никакого употребления, и касса моя с самого начала была пуста, так что, когда представлялись случаи закупить что-либо нужное для полка, я не мог ими воспользоваться, за неимением звонкой монеты.

Только с бою да заставляя бежать жителей успевали мы добывать себе прокормление. Скупость и жадность Наполеона — вот что было причиной этого недостатка в деньгах. Он хотел пополнить кассу полугодовым жалованьем людей, которые будут убиты.

Я лично оскорблен его несправедливостью; давно следовало мне быть полковником, так как я никогда нигде себя не жалел. Он забыл нас наградить за победы. Кровь наша текла понапрасну, никто не повышен чином, не пожалован орденом ни в каком полку. Впрочем, теперь не время говорить о наградах; подумаем, что станет с нашей армией. Будущее мрачно. Мы уже не способны принять сражение; русские идут по пятам нашим, и все потеряно. Однако как ни значительны ошибки Наполеона, а он не мог избежать этой войны. Ему приходилось, как он говорил, выбирать между войною и бесчестием: понятно, что выбор пал на первую. К тому же эту войну, как и все предыдущие, возбудила Англия. Пускай же пролитая кровь падет на эту нацию».

Я отвечал дяде: «Все, что вы говорите, вполне справедливо. В прежние походы Наполеон был не тот, что нынче. Тогда он не забывал своих храбрецов. Но я согласен с вами,

что, как ни велики его ошибки, а он не мог избежать теперешней войны».

«Правда, — продолжал дядя, — все войны Наполеона имели основанием справедливость, за исключением испанской. Как война в Испании, так и настоящая война возбуждена подкупам англичан, чего Наполеон в ослеплении своем не видел. Здесь он не соглашался выждать время, необходимое для организации Польши, и легкомысленно (из Польского края) удалился. Начал поход на Москву слишком поздно по времени года; пренебрег промедлением, которое требовалось для охраны тыла армии, особенно в случае отступления, из опасения отложить завоевание столицы до другого похода. Наполеон воображал, что покончит с этой войной так же скоро, как с прусскою, и не понимал, что русские, отступив за Москву, тем далеко не будут обессилены, а, напротив, когда Наполеон кончит поход, они начнут свой, и надежды Наполеона мирными переговорами загладить неосторожное движение в центр России не сбудутся. Однако что происходит во Франции? Я встретил вчера курьера, посланного к императору; он говорил мне, что в Париже вспыхнул мятеж, который едва не разрушил его трон. Не заставит ли это известие поспешить с отступлением, так как Наполеон позаботится скорее о сохранении своих корон во Франции и Италии, нежели о спасении армии. Что должны были сказать французы при получении в одно время известия о пожаре Москвы и декретов, относящихся до мелочей внутренней администрации Франции?

Я не постигаю этого человека; не могу согласовать все эти превратности с его первыми успехами и победами. Это противоречие смущает меня и вызывает самые грустные предчувствия. Я ожидал найти в Смоленске все возможные запасы, думал, что из Франции прибыл свежий корпус, который поможет нам совершить отступление в безопасности. Вместо того я очутился среди величайшего опустошения и нищеты и поэтому собирался выйти вон отсюда с остатками моего полка, как получил приказ выждать принца Евгения. Все-таки я вывел людей из города сюда, в предместье, где по крайней мере ни они, ни лошади не умрут с голоду. Меня ужаснуло все то, что я видел в Смоленске. Страданий наших людей невозможно себе предста-

вить! В госпиталях недостаток во всем. Несчастные раненые сделались людоедами, они отрубали члены у человеческих трупов, варили мясо и съедали его. Их ничем не снабжали со складов. Все запасы были заперты и сберегались для армии. Только третьего дня была раздача; зато уж и грабят склады так, что в скором времени наступит общий голод...»

Потом дядя снова повел речь о непредусмотрительности Наполеона. «Благоразумие требовало, — говорил он, — остановиться у Смоленска и далее не двигаться. Говорят, что многие генералы так и советовали ему, и более всех князь Понятовский, которому край знаком, что и видно на польских дивизиях: они и в отношении дисциплины, и в отношении содержания ничего не потеряли. Наполеон не послушался ничьих советов. Я знаю, впрочем, его стратегию — это вызывать на решительное сражение, собрав лучшие массы войска на самой крепкой позиции неприятеля, потом или окружить его, или охватить фланги, вторгнуться в центр, привести все в смятение; отыскивать самые удобные пункты для атаки и стремительно нападать и при этом не заботиться ни о продовольствии, ни об обозах, как случалось во многих сражениях и также под Можайском. Наполеон не понимает другой системы, кроме стратегической, — вот отчего он и не взял в соображение здешних местных условий. Он злоупотребляет жизнью людей, и если правда, что он говорил, что солдат не что иное, как пушечное мясо, то, судя по его адской тактике, надобно полагать, что такова мысль его на самом деле. Следовало бы дать такое сражение, которое заставило бы неприятеля прекратить преследование нас во время нашего отступления; но армия наша лишена всякой возможности сосредоточиться».

*Де ла Флиз*

\* \* \*

9 ноября мы пришли в Смоленск; нас разместили сначала в том же самом предместье, которое мы занимали по пути в Москву, но на другой же день нам приказали перейти в Витебскую слободу, расположенную по дороге в г. Ельню. Мы встретились с отрядом, пришедшим из Франции, который сообщил нам, что русская армия из Молдавии заняла Вольту. Часть офицеров предполагала, что, может быть, придется занять позицию в Смоленске и попы-

тать счастья в сражении. Но кроме неудобства от сильнейшего мороза, не было сделано также и запасов провианта и фуража; люди питались только мясом лошадей, которые гибли в огромном количестве, и несмотря на такое отчаянное положение, о солдатах совершенно не заботились: от них требовали гораздо более утомительной службы, нежели в самое благополучное время. Каждую ночь посылался батальон от полка расположиться биваками на горе, на которой нельзя было найти ни одной соломинки и никакого убежища, с запрещением разводить огонь. Это запрещение было почти бесполезно, потому что более чем на милю в окружности совсем не было леса, оно доказывало только, как мало человечны были те, которые отдавали приказания.

Мороз усиливался с каждым днем, северо-западный ветер продолжал дуть; выдали понемногу скверных, заплесневелых сухарей и по несколько капель водки, способной причинить скорее вред, чем пользу. Но, несмотря на эту легкую поддержку, огромное количество солдат стало захварывать.

Поднялся ропот на офицеров, как будто они были причиной всех тех несчастий, первой жертвой которых являлись солдаты.

*Маренгоне*

\* \* \*

11 ноября пришли мы снова в Смоленск, куда так страстно стремились, надеясь здесь найти не только магазины, но и следовавшую за нами армию, которая могла бы нас защитить. Однако нас ожидало совсем обратное; вюртембергский отряд, доташивший сюда с неописуемым трудом несколько орудий, вынужден был их здесь бросить из-за недостатка в лошадях, и теперь две пушки составляли всю его артиллерию.

В Смоленске мы нашли два магазина; поделили спирт, немного хлеба и муки; но голод, очевидно, зашел так далеко, что никому и в голову не приходило приготовить из муки какого-нибудь кушанья — все глотали ее сырой.

Страшно было видеть, как многие, с черными, грязными лицами, пожирали муку из горсти, обсыпая ею свои длинные бороды. Количество беглецов все увеличивалось; они в беспорядке продирались между изголодавшимися сол-

датами везде, где только надеялись найти съестные припасы; вырывали силой, били друг друга, чтоб только овладеть добычей. Офицеры совершенно не могли водворить какой бы то ни было порядок среди этих озверелых от голода людей, они рисковали сами быть побитыми, даже сам Наполеон получил бы от этих несчастных ответ: «Надо же и пожрать наконец».

Город весь был наполнен больными и ранеными.

Не только громадные здания, но и уцелевшие от пожара домишки были превращены в больницы.

Никаких повозок для раненых здесь нельзя было достать, и, таким образом, несчастные жертвы сражения должны были подвергнуться той же участи, как и их товарищи, оставленные в Вязме, Москве и других городах. Но их судьба не была еще так ужасна, как тех, которых сбрасывали по дороге с повозок в снег, где они и умирали в страшных мучениях. Никто из них уже не увидел Смоленска. Первые могли еще иметь хоть какую-нибудь надежду на свое спасение, рассчитывая на сострадание неприятеля, о последних же никто не мог позаботиться, и они были предоставлены своей судьбе.

Все теперь сосредоточилось в Смоленске и его окрестностях и, так как немногие пощаженные огнем дома были заняты большею частью больными, то в развалинах, на улицах, около Днепра, в испепеленных пригородах раскладывались огни, около которых пестрыми толпами располагалась армия в глубоком снегу, который напал во время последнего перехода и теперь все падал в громадном количестве. Я тоже тут находился, потому что все, что остались от вюртембергского корпуса, расположились здесь. Холод и нужда все увеличивались, дороги были очень неровны. И по скользкой вследствие гололедицы земле, покрытой снегом, едва возможно было двигаться.

Здесь я получил немного муки, рису и две бутылки водки, что и отдал на сохранение прислуживавшему мне солдату. Бог знает по какой причине, а, может быть, и намеренно, мой слуга, отлучившись зачем-то, больше не вернулся, и я его никогда уже больше не видал, так что и тут остался я ни с чем, и впереди у меня было такое же печальное будущее, как и жалкое настоящее. Несмотря на все, мне это не казалось таким ужасным, как это было на



самом деле; сделавшись равнодушным ко всему, я думал только о настоящем и не особенно тревожился о том, чем мы будем питаться, во что одеваться и т.д.

Единственная пара сапог, которую я носил с самого Штутгарта, начала рваться — не хватало уже одного каблук. Сапожников было достаточно среди солдат, но никто не хотел работать, да и не было нужного материала; я должен был успокоиться и носить их до тех пор, пока они не свалятся у меня с ног. Одет я был тоже очень убого, на мне был только мундир, а сверху скверный дырявый воротник от плаща.

Брюки, сожженные на бивачных огнях, висели лохмотьями по щиколотку. Лицо и руки были покрыты грязью и струпами (что тоже грело); об умывании думали мы мало, да это было и слишком хлопотливо, потому что прежде надо было растопить снег, чтобы получить воду, а потом достать полотенце или какую-нибудь тряпку, чтобы вытереться. Одним словом, страшно было смотреть, как на каждого отдельно, так и на всех вместе...

*Иелин*

\* \* \*

Когда мы дошли до Смоленска, у меня все лошади были еще целы, я принес массу жертв, чтобы спасти их. Они были у меня самые красивые и, наверное, самые лучшие в армии. В городе я не мог найти для них помещения. Была ночь, и я решил выйти из города и постараться отыскать хоть какую-нибудь хижину, покрытую соломой, чтобы не дать лошадям околеть от истощения. Случай мне благоприятствовал. Я уже был около последнего дома в предместье, как вдруг услышал громкие крики нескольких военных, требовавших себе помещения (это были гусары 18-го полка). Я постучал. Ко мне вышел слуга. Я объяснил ему, что я капитан (надо тебе сказать, что это было помещение польского гусарского полковника, который был в отлучке. Его слуги оставались одни в доме и должны были хранить его квартиру и припасы до его возвращения). Он пригласил меня именем своего господина войти в дом. Я спросил, есть ли у него конюшня и корм для моих лошадей. Получив от него утвердительный ответ, я сейчас же выставил спорящих гусаров и, разместив своих лошадей, сам

поместился в прекрасной комнате. Я и мои лошади питались здесь на славу. Я пробыл здесь 2 дня. Это было для меня большим счастьем, так как в это время ноги у меня были отморожены.

Кухарка полковника, очень красивая женщина, служила мне. Однако она не произвела на меня никакого впечатления — у меня вместо сердца был кусок льда. Только прибытие русских заставило меня удалиться отсюда. Французы взорвали город минами. Там находилось много больных и раненых офицеров. Но что же делать, это было необходимо. Увы! Я очень жалею эти многочисленные жертвы. Но, к несчастью, это результат войны...

*Из писем кирасирского капитана*

\* \* \*

Странное зрелище представлял тот род торговли, который возник посреди этих развалин, покрытых снегом, под стенами когда-то жилых домов. В одном месте города, где сходились четыре главные улицы, наши солдаты, особенно же гренадеры старой гвардии, устроили настоящий базар. Там можно было найти невероятнейшие вещи, все, что желает роскошь, и все, что требует нужда.

Тут маркитантка предлагала часы, перстни, ожерелья, серебряные вазы, а иногда и драгоценные камни. В другом месте гренадер продавал водку или шубы. Подальше солдат из обозной прислуги заманивал купить полное собрание сочинений Вольтера или «Письма к Эмилию» Демустье. Стрелок выставил на продажу лошадей и кареты; кирасир держал лавочку, где продавались платья и обувь. Трудно вообразить более удивительное зрелище. В те дни, продолжая надеяться, мы еще настолько хладнокровно относились к событиям, что нередко ходили на базар погулять, послушать крики, споры и пререкания торгующих и покупателей.

Было великим злом, что эти беспорядки терпелись. Офицеры, нуждаясь не меньше других, отправлялись на эти рынки за тем, что им было потребно, и отдавали в обмен все, что уже не было необходимым. Они держали себя как равный с равным со всеми, с кем имели дело, и через то солдаты потеряли всякую почтительность, всякое уважение к офицерам, видя в них таких же людей, с которыми они спорили и делили барыши и убытки.

*Пасторе*

\* \* \*

Присутствие великого человека, столь чудесного и в своем поражении, душа которого была скорее удивлена, чем удручена, оживила на некоторое время несчастный Смоленск, взятие которого несколько месяцев тому назад стоило столько крови и русским и французам.

Император жил несколько дней в трижды или четырежды опустошенном доме, который он занимал и при первом своем приезде; теперь же с трудом туда поставили его походную кровать. Я видел его там, спящего, почти одинокого, почти никем не охраняемого.

В комнату, в которой он отдыхал, в нескольких местах проникал холодный воздух. Лористон, дежурный около него в этот день, отдыхал, растянувшись на качалке; и мне стоило лишь распахнуть полуоткрытую дверь, чтобы посмотреть на того, кто заставлял еще трепетать стольких государей.

Да, там нельзя было встретить на своем пути двойного забора из придворных...

*Лемуан*

\* \* \*

За несколько дней перед выступлением из Москвы дан был по всей армии приказ — подобного тщетно искать в летописях человечества. Повелено каждому корпусному командиру представить ведомости с показаниями: 1) числа раненых, которые могут выздороветь в одну неделю; 2) числа раненых, которые могут выздороветь через две недели, и через месяц; 3) о числе тех, которые должны умереть через две недели и тех, которые еще в силах нести оружие и сражаться. Вместе с тем последовало поовеление, чтобы заботиться и прилагать попечение лишь о тех больных, которые могут выздороветь в неделю, а остальных предоставить из судьбе.

Я молчу, пускай собственное ваше чувство скажет вам, как судить о таком распоряжении?

Армия оставляет Смоленск; производятся работы, чтобы взорвать укрепления. За недостатком лошадей решено сжечь большую часть артиллерийских снарядов и бесчисленное множество других военных запасов; только прови-

ант берут с собою. Пять тысяч больных и раненых остаются здесь; им не положено провианта; с большим трудом упростили оставить несчастным больным несколько кулей муки. Доктора и прочие госпитальные смотрители, оставленные смотреть за больными, скрылись, боясь попасть в плен или быть убитыми.

Опасность увеличивается; в последние пять дней был я четыре раза на волос от смерти; меня покушались убить. Офицеры немецкие и итальянские, бывшие на карауле у винных магазинов, сами взламывали двери и напились вместе с другими своими товарищами; в пьяном виде они поссорились, и дело дошло до драки. Солдаты воспользовались их ссорой и сами напились; узнав о случившемся, я немедленно поспешил с солдатами к винным магазинам, опьяневшие офицеры и солдаты бросились на нас со штыками. И немалого стоило труда обезоружить их и выгнать из магазина. К несчастью, они сами себя наказали: в пьяном виде они заснули вблизи магазина и ночью замерзли — сегодня найдены их мертвые тела.

Подобные случаи и другие более ужаснейшие сцены наблюдаются каждый день. Солдаты обкрадывают друг друга без всякого стыда и не боясь наказания; некоторые пожирают в один миг все, что им дано на целую неделю, и умирают от объедания, одни подвергаются смертельным болезням; другие опиваются вином, которое было бы для них полезно при умеренном его употреблении. Словом, армия забыла всю дисциплину, порядок и расчетливость, каждый живет так, как будто сегодняшней день последний в его жизни. Эти до настоящего времени храбрые и послушные воины поражены таким ужасом и сумасшествием, что сами добровольно ускоряют свою смерть.

Наполеон идет со своею пехотною гвардиею; о кавалерии и думать нечего; ее нет. Я не знаю, где он возьмет конницу, необходимую для передовых разъездов. Артиллерии также почти нет; небольшое количество артиллерийских лошадей едва в состоянии сделать 6 дней пути, а до Вильно отсюда 12 дней пути. Собраны все сани, сколько их нашлось в городе, и, несмотря на то, что я чрезвычайно болен и едва могу держаться на ногах, я принужден ехать верхом. Сколько просьб стоило мне, не говоря уже о день-

гах, чтобы только подковать мою лошадь! Весь мой багаж принужден я оставить в Смоленске...

*Пюибюск, 11 ноября*

\* \* \*

Здесь остается еще часть третьего корпуса, составляющая арьергард армии. Сегодня мороз 25 градусов, неприятельские ядра летают над нашими головами. В городе в разных местах пожар; привлеченный шумом, пробегаю по разным улицам, какое ужасное зрелище представляют бедные наши солдаты! Черные, впалые, изнуренные лица, изодранные лохмотья, которыми они окутаны, придают им вид чудовищ, особенно среди дыма и пламени пожара. Но ничто так не поражает сердце, как вид многих солдатских жен, которые, несмотря на запреты, следовали за армией; несчастные, сами полуокостенелые от холода, лежат на соломе и стараются согреть дыханием и слезами маленьких детей своих, и тут же в объятиях их умирают от голода и стужи.

Вчерашний день императорская гвардия выступила из города через Виленские ворота по направлению к Красному. Теснота была ужасная, самого Наполеона чуть не задавили. Многие раненые убежали из госпиталей и тащились, как могли, до самых городских ворот, умоляя всякого, кто только ехал на лошади и в санях, или в повозке, взять их с собою; но никто не внимал их воплям; всякий только о своем спасении думал. Через несколько часов я с главным штабом оставлю город; неприятель ожидает нас впереди на дороге...

*Пюибюск, 15 ноября*

\* \* \*

Мысль о приближении к Смоленску заставляет нас ускорить шаги; быть может, там мы найдем изобилие припасов и отдых. Говорят, что маршал Виктор ожидает нас там с продовольствием, хорошими квартирами, приготовленными для нас, что там все необходимое для поправления нашего здоровья и восстановления сил.

13 ноября. Сегодня утром, пускаясь в путь, мы говорили друг другу: «Вот, наконец, предел наших бедствий; сегодня вечером кончатся наши страдания; благодаря нашей храбрости и нашей выносливости, это роковое отступление

будет закончено». Лица стали веселее, настроение — спокойнее. Увы! Боюсь, что наши несчастья станут такими же необычайными, какими были наши победы.

Дойдя до возвышенностей Стабны, где дорога из Духовщины соединяется со Смоленской и Витебской, мы вдруг оказались у подножия ледяной горы. Люди и лошади тщетно пытаются перейти через нее, они скатываются друг на друга. Счастливы те, которые благодаря своей бодрости, благодаря своему упорству могут добрести до верху, опираясь и руками и ногами. Особенно тяжело положение везущих фуры, орудия и повозки: каждую минуту разыгрываются самые плачевные сцены, когда несчастные возницы напрягают все старания, чтобы как можно скорее провести свои повозки, запряженные выбившимися из сил лошадьми.

Авангард вскоре останавливается и занимает позицию на холме возле небольшой часовни, поджидая, пока остальные части покончат со всеми затруднениями и присоединятся к нему. А тем временем казаки, догадываясь, без сомнения, о наших новых невзгодах и рассчитывая, что теперь легко навести на нас панику, собираются атаковать наш арьергард, остановившийся у подножия холма. Мы возможно скорее удаляемся, и казаки могут захватить только половину нашей артиллерии, брошенный багаж, лошадиные трупы, да еще там и сям нескольких несчастных солдат, опрокинутых и полузадавленных колесами орудий и фур.

Выносливость, смелость, самолюбие войск, пример, который подают принц Евгений и его офицеры, — только это и способно побороть чувства безнадежности, отчаяния и поддерживает дисциплину.

Восемь верст только отделяют нас от столь желанного Смоленска; сердце в нас бьется от радости, мы тихо благодарим Провидение и с признательностью обращаем к небу наши взоры: наконец-то мы находим защиту от непогоды, обретаем пристань. Кровь сильнее движется в наших жилах, наш пыл удесятряется, мы почти не чувствуем страшного холода.

Нам остается час пути до Смоленска. Но приходится стоять на месте, выстроившись в колонну на главной дороге, чтобы прикрывать движение второй дивизии. Платов, раздраженный тем, что от него ускользает добыча, удваи-

вает быстроту своего преследования. Со всех сторон многочисленные отряды надвигаются на нас. Мы должны поэтому идти медленно, должны быть готовыми к внезапной атаке и время от времени нам приходится останавливаться и поворачиваться лицом к неприятелю. Наконец, мы на вершине, господствующей над городом, оборачиваемся к неприятелю и оспариваем у него каждую пядь земли. Неприятель со всей яростью обрушивается тогда на остальных, на повозки и на арьергард.

Вице-король вступает в Смоленск со всем своим штабом, чтобы дать императору отчет в своих действиях. Генерал Бруссье подвигается с арьергардом вправо, в небольшом расстоянии от главного пути. В это время неприятель пробует выбить нас с наших позиций, старается разгромить нас своей артиллерией, которая, однако, в общем причиняет нам меньше зла, чем леденящий ветер. С минуты на минуту мы ждем прибытия войск Виктора, которые должны выйти из Смоленска, чтобы заменить нас; мы удивляемся, что они медлят, и по-прежнему остаемся в полном неведении относительно событий, совершившихся позади нас в то время, когда мы стояли в Москве.

Поэтому не столько заряды, разрывающиеся у наших ног, действовали на нас, сколько глубоко поразило нас неожиданное известие, что 9-й корпус, т.е. Виктор с 30-тысячным уцелевшим отрядом, на которого мы возлагали все наши заветные мечты, отправлен навстречу Витгенштейну. Мы узнали, что Витгенштейн, выгнавши Сен-Сира из Полоцка, угрожал уже остаткам нашей армии; мы узнали далее, что генерал Бараге д'Илье потерял одну из своих бригад, взятую в плен казаками, т.е. половину сил, которыми можно располагать в Смоленске. Мы подавлены такими новостями и в отчаянии не хотим верить. Несколько человек покидают тогда ряды, так как не в силах более выносить отчаянной обстановки, в какой мы очутились; они спускаются в Смоленск, рассчитывая найти там какое-нибудь пристанище и желая сами удостовериться в положении дел. Вскоре они возвращаются, чтобы подтвердить нам справедливость этих ужасных известий и сказать еще, что Смоленский гарнизон вынужден питаться мясом лошадей, павших после стольких путевых лишений.

Император, однако, приказывает раздать нам пищевые припасы — наделить нас порциями муки, риса и сухарей. Но в этот момент новая ужасная сцена разыгрывается на наших глазах. Часть солдат, принадлежащих к арьергарду, значительное число прислужников, отсталые, оставшиеся позади, решили присоединиться к нам, чтобы вместе с нами спуститься к Смоленску. Израненные, окровавленные, преследуемые казаками, они с воем подбегали к нам и умоляли о помощи. Весь путь покрывается этими несчастными; они представляют собою самую жалкую картину, особенно в тот момент, когда спускаются с горы, где не чувствуют себя в безопасности. Но спуск настолько крут, и покрывающий его лед делает его таким опасным, что все эти несчастные, которые и без того едва держатся на ногах, свергаются по покатости прямо вниз, и большинство их гибнет, образуя целое озеро крови, и испускает последний вздох под стенами, бывшими злосчастным предметом их пламенных стремлений. Несколько кавалерийских офицеров и драгуны гвардии, еще составляющие эскадрон принца, не могут сдержать себя при виде этого зрелища и пускаются на своих плохеньких лошадях против казаков. К счастью для них, генерал Лекки выдвинул пехоту гвардии вдоль дороги, по которой двигались бежавшие от русских. Движение Лекки приводит неприятеля в бегство и спасает известное число этих жалких людей, совсем уже ставших добычей казаков, но эти последние при нашем приближении сейчас же их оставили.

В ту же минуту к генералу Бруссье является офицер и от имени принца обещает ему, что подкрепление придет скоро. Вместе с тем Бруссье передается приказ удерживаться на позициях до появления новых войск.

Нам пришлось до поздней ночи оставаться на назначенной нам позиции. И несмотря на столько ударов, обрушившихся на нас, чувство чести и дисциплина по-прежнему сохраняют свою власть. Принц Евгений получил приказ удержать до вечера высоты нового города; нам была обещана раздача провианта, и завтра мы должны следовать за гвардией, которая отправилась в путь сегодня утром; за день раньше ее вышли Жюно, Зайончек, заменивший раненного при падении лошади Понятовского, и Клапаред,



которому было поручено сопровождать гвардию, казну, трофеи и имущество главной квартиры.

К несчастью, после отъезда императора порядок сразу нарушился. Нам было очень трудно найти себе пристанище, и весь штаб, королевская гвардия и кавалерия 4-го корпуса на эту ночь должны были довольствоваться несколькими домами, уцелевшими в предместье, наполовину разрушенном огнем.

Прежде всего мы ищем съестные припасы. Мы рассыпаемся по улицам, чтобы их купить. Иногда у тех, кто имел неосторожность их показать, хотя бы и не желая продавать, запасы вырываются из рук. Офицеры и солдаты идут попеременно, одетые самым странным и необычным образом, вступают друг с другом в драку и едят посреди дороги. Увы! Наши физиономии, похудевшие и почерневшие от дыма, наши разорванные одежды, изношенные и грязные, плохо соответствовали тому воинственному и величественному виду, который мы являли собой три месяца назад, проходя через этот самый город.

Нам была обещана раздача провианта, но долгие формальности, которые надо было выполнить, утомляли изголодавшихся солдат. Волнения возобновляются, идет какая-то путаница, и от всего этого беспорядка страдают прежде всего сами солдаты. Больные и раненые, оставшиеся в покинутых среди улицы повозках, не находят пристанища ни в домах, ни в госпиталях, которые уже переполнены. Эти несчастные не в силах были выносить холода и умирают в ужасных мучениях. В конце концов, отдых, который мы должны были найти в этом зловещем Смоленске, не говоря уже о его мимолетности, оказался отдыхом только кажущимся. Многие из нас здесь растеряли последние остатки своего увлечения, которое еще поддерживало в них надежду. Вечером слышим страшный шум и скорей бросаемся к дверям наших домов. Это оказываются отряды, оставленные на высотах; их заменил корпус Нея, и они теперь ищут убежища и стремятся хоть немного отдохнуть от невыразимых страданий. У многих из этих несчастных были отморожены ноги, руки, нос и уши; те, кто приближался к огню, скоро испытывали последствия своего неблагоразумия.

Наконец, днем, 14-го, королевская гвардия, к которой принадлежал и я, и спешенная кавалерия итальянской армии получают приказание спуститься к Смоленску.

Дивизии Бруссье и Пино остаются на позициях на возвышенностях вдоль петербургской дороги.

В момент нашего вступления в Смоленск мы узнали, что император выехал отсюда сегодня утром, в восемь с половиной часов, в сопровождении старой гвардии и предшествуемый в расстоянии 3-х часов ходьбы молодой гвардией.

С 9 ноября — день его прихода в Смоленск, — император был занят реорганизацией своей армии, поскольку это было возможно; он соединил в один корпус под командой Латур-Мобура остатки кавалерии; раздал ружья тем солдатам, у которых их уже не было; поясной патронташ снабжен был 50 патронами; переносные мельницы были распределены между различными корпусами. Большая часть раненых и больных, которых всего было здесь 3678 человек, эвакуирована из Смоленска в Оршу; в отделившиеся отряды отправлены приказы и инструкции, велено правильно распределить находящийся в магазинах города провиант по всем войскам, состоящим под оружием. Императорская гвардия при этом распределении должна была получить запасов на 15 дней; остальные части — на 6. Распределение началось с гвардии, в первый день ее прихода, но оно замедлилось и тем замедлило раздачу прочим войскам.

Отсталые, которых отчасти жадность, отчасти необходимость побудили снова вступить в ряды войск, получили тогда несколько горстей ржаной муки, овощей и немного водки. Недовольные такими порядками, они снова уходят и живут тем, что нападают на нестроевых людей, которые возвращаются с полученным провиантом к своим полкам.

Мы только накинулись на еду, добытую ценой стольких усилий, как многие из наших товарищей прибежали с криками: «Бежим скорее, грабят магазины!» Множество голодных людей, услышав, что другие части войск ушли или уходят, и боясь быть забытыми при раздаче, сломали, несмотря на страх, двери и проникли в магазины, чтобы их разграбить. У всех тех, кто оттуда выходил, одежда была полна мукой или проткнута ударами штыков. Одни сгиба-

лись под тяжестью мешков с мукой, которых они не могли нести; другие, слишком слабые, должны были довольствоваться ящиком сухарей, порцией говядины, рисом, горошком или водкой.

Итак, это верно, что Смоленск был снабжен обильным провиантом всех родов; и здесь сказалось предусмотрительность императора. Неожиданное изобилие вызвало у нас улыбку удовлетворения. После нашего беспрестанного беспокойства об обеспечении себя пищей на завтрашний день, мы можем, наконец, рассчитывать на провиант в течение нескольких дней.

Мы понемногу восстанавливаем силы и мужество и готовы идти навстречу новым приключениям. К несчастью, окружающий вид портит наше удовольствие и нагоняет на нас мрачные мысли; всюду только и видишь, что несчастных, лежащих на мерзлой земле в жестокой лихорадке или с отмороженными членами; все это умирающие, которые хотят поведать друзьям своим последние мысли.

Смоленск, 15 ноября. Мы, генералы и офицеры итальянской армии, ночью 14 и 15 ноября занимались тем, что собирали отсталых, вооружали их, возможно лучше одели, накормили, заставили их отдохнуть и подготавливали к походу сегодняшнего дня.

Мы соединили в одном помещении всех тех, кто не смог следовать за нами и должен был остаться в Смоленске. Мы достали им средств к существованию, и утром 15-го для большей осторожности вице-король, который собирал провиант повсюду, где только было возможно, приказал раздать его как отъезжающим, так и остающимся.

Как описать разлуку, которая лишила нас наших товарищей и друзей? Они безнадежно жали нам руки, обнимали колени, рыдали, кричали, они цеплялись за нас и умоляли не покидать их, найти средства к их передвижению: «Сжальтесь, — с плачем говорили они нам, — не бросайте нас в руки казаков! Если у вас есть хоть капля человеколюбия, не оставляйте нас; неужели нам наблюдать, как шаг за шагом к нам приближается смерть. Мы уже перешли через столько несчастий, через столько ужасных опасностей! И все это для того, чтобы сгореть живыми, чтоб попасть на костер, как только вы оставите нас и они придут. Товарищи, друзья, сжальтесь, возьмите нас!»

А мы, чем могли мы доставить им какое-нибудь облегчение? Разве только несколько слов утешения, поддержки. Мы удаляемся с стесненным сердцем. Тогда эти несчастные начинают кататься по земле, возбуждаясь точно одержимые; их стоны, их крики звучат в наших ушах добрую часть пути, и мы забываем думать о них только перед новыми опасностями, которые со всех сторон нас окружали.

*Ложь*

\* \* \*

Побыв некоторое время на нашем биваке, я отправился в город, чтобы найти принца Евгения, которого я не видал с утра и от которого, по обыкновению, должен был получить распоряжения на завтра. Но это было не легко сделать в ночной темноте и при необычайной суматохе, царившей в Смоленске. Все же я добрался до дома, где он устроился со своей штаб-квартирой. Его я там не застал; мне сказали, что он у императора. Я отправился к императору; но принц был занят, он был в комнате Наполеона. Совещание было продолжительно; оно показалось мне еще продолжительнее, потому что в зале, где я ждал, разгуливал ветер и, несмотря на тщательно поддерживаемый офицерами огонь, в ней был ледяной холод. Наконец, дверь отворилась, и появились Евгений с Мюратом.

Мюрат казался очень веселым; слыша его громкий смех, никто бы не догадался о нашем бедственном положении. Евгений, оставив его, подошел ко мне: «Дорогой Гриуа, — сказал он, — на рассвете будьте на той дороге, по которой мы сегодня пришли. Я тоже буду там. Дивизия Брусье, оставленная мною там на позиции, окружена неприятелем; надо ее выручать. Итак, до завтра». Тут он отошел от меня, а я, окоченев от холода и сильно раздосадованный этим распоряжением, возвратился в наш сарай и разбудил полковника Бертье, который, как начальник моего штаба, должен был меня сопровождать. Было около полуночи, а в 5 часов утра надо уже было быть на ногах. Согревшись немного у разведенного нами огня, я завернулся в пальто, бросился на солому и заснул. Но ненадолго. Во всю длину крыши нашего сарая тянулось отверстие в несколько футов, сделанное, не знаю с какой целью. Оттуда шел такой

сильный холод, что он быстро прихватил меня, и я встал наполовину замерзшим, когда надо было ехать навстречу принцу. Опять гололедица не позволила ехать верхом.

Итак, пешком в сопровождении полковника Бертье, одного капитана и одного вестового артиллериста, на 25—28 градусном морозе, в полной темноте, отправился я в город, спустился, упав несколько раз, по его крутым улицам и с еще большим трудом взобрался на крутую высоту, через которую мы накануне пришли. Уже рассвело, когда мы добрались до вершины, и мы очень удивились, увидав на этой дороге, на которой мы недавно шли, множество трупов, покрытых ранами и окоченевших от холода. Это были отставшие солдаты 4-го корпуса, на которых вчера напали казаки. Миновав несколько взводов итальянской королевской гвардии, я подошел к принцу, которого заметил у бивачного огня, направо от дороги, на опушке маленького леса с несколькими офицерами его штаба. Погода была чудесная; но бледные лучи солнца, казалось, только усиливают пронзительный холод. Принц отрядил несколько полков на прикрытие отступления дивизии Бруссье и ждал исхода предприятия остальной итальянской гвардии. Через некоторое время мы увидели дивизию, которой после довольно сильного огня удалось пробиться, она шла к нам.

Цель была достигнута, и я вернулся в Смоленск, чтобы постараться добыть в арсенале несколько лафетов на полозьях, какие употребляли русские против нас с тех пор, как из-за снега и льда дороги стали почти не проходимыми для других экипажей. Я сообщил свою мысль принцу, и он с ней согласился. К несчастью, зима захватила нас врасплох, и я не нашел в арсенале ни лафетов на полозьях, ни рабочих, чтобы их сделать; все было в расстройстве; пример приходящих из Москвы войск был пагубен для гарнизона: он быстро последовал ему.

Утром император покинул Смоленск. Командовавший конной артиллерией гвардии, друг мой, генерал Дево сделал мне накануне ценный подарок. Это был кусок прекрасного белого хлеба около фунта весом. Я взял его и спрятал заботливо в карман на случай крайности. Много раз представлялся такой случай; но бывший всегда со мною хлеб так замерз, что, несмотря на все усилия, я никак не мог

оторвать от него даже крошки, и он был еще не тронут вопреки моим желаниям, когда провианта стало больше, и я решился расстаться с ним.

Огромные запасы провианта, оружия и боевых припасов были заготовлены в Смоленске. Но внезапный приход голодных масс, не знающих больше ни порядка, ни дисциплины, не дал ими воспользоваться. Все бросились на провиантские магазины; они были взломаны и подверглись разграблению; там убивали и душили друг друга, и только голод мог заставить презреть опасность и пойти туда. Что же касается припасов, то не хватало лошадей, чтобы их везти. Можно было бы, по крайней мере, раздать оружие этой толпе солдат, растерявшей или побросавшей свое; но они остереглись пойти за ним. Оно было почти все покинуто или уничтожено, когда последние полки выходили из Смоленска. Небольшое количество было роздано некоторым усердным солдатам и артиллеристам, пушки которых остались во льду. Я велел раздать винтовки всем тем солдатам 4-го корпуса, которые образовали род батальона...

*Гриуа*

\* \* \*

Смоленск, как и Минск, был одним из крупных складочных мест для армии; для удовлетворения наиболее насущных нужд мы рассчитывали на собранные там запасы, которых вполне должно было бы хватить; но раз в столь многочисленную армию проникает дезорганизация, прекратить и приостановить ее развитие становится невозможным. Чины администрации, всякого рода служащие, на обязанности которых лежит поддерживать правильность снабжения армии всем необходимым, сами превращаются в элементы беспорядка, и зло только разрастается от усилий прекратить его. Проход армии через Смоленск был печальным тому примером. После взятия этого города генерал Шарпантье, в качестве губернатора, и г. Вильбланш, в качестве окружного интенданта, сделали все возможное, чтобы внушить жителям некоторое доверие. Благодаря их заботам и хорошей дисциплине 4-го корпуса уже приступили к восстановлению домов и подвозу съестных припасов, которые помещались в склады: но наши солдаты, пришедшие беспорядочными массами, бросились в городские ворота,

ожидая найти в Смоленске отдых и изобилие. Наполеон, опасавшийся суматохи, какую должны были вызвать все эти разрозненные солдаты, да и полки, дисциплинированные не лучше их, поспешил прибыть в город с императорской гвардией. Он запретил впускать в город кого бы то ни было и приказал полкам расположиться в предместьях. Гвардия в изобилии получила всякого рода пайки, когда же вспомнили про другие войска, то уже ничего нельзя было сделать из-за беспорядка в административной части. Всяческие злоупотребления совершались безнаказанно, склады были взломаны и подвергнуты ограблению и, как это всегда бывает, в какие-нибудь сутки уничтожены были запасы на целые месяцы; сначала все разграбили, а затем стали умирать с голоду.

Третий корпус, явившийся к стенам Смоленска последним и все еще занятый защитой доступа к нему, был забыт теми, кого он охранял. В то время как мы оказывали сопротивление неприятелю, другие корпуса армии доканчивали разграбление провиантских складов. Когда пришла моя очередь войти в город, я уже ничего не мог в нем найти ни лично для себя, ни для своего полка. Пришлось решиться продолжать отступление, не получив никакой поддержки. К 3-му корпусу были лишь присоединены 129-й полк и полк иллирийцев, которые были распределены между двумя дивизиями. Это подкрепление было весьма необходимым; со времени ухода из Москвы от 11 000 человек 3-го корпуса осталось меньше 3000. Дивизии вюртембергцев и кавалерии больше не существовало; у артиллерии осталось едва несколько пушек и с такими-то слабыми силами надо было оказывать сопротивление русскому авангарду. Армия уже направилась по дороге в Оршу, и маршал Ней, оставшись один, собирался защищать город как можно дольше, чтобы задержать преследование.

Я говорил о Смоленске в начале этого рассказа; я сказал, что самый город этот был расположен на левом берегу Днепра и что лишь одно предместье поднималось амфитеатром на правом берегу; дороги из Петербурга и Москвы шли через это предместье. В момент, о котором идет речь, оно было почти сожжено. Переброшенный через Днепр мост вел в город, и сильный *tete de pont* на правом берегу защищал проход через него.

14-го утром 3-й корпус покинул апроши у Смоленска и был размещен следующим образом: 2-я дивизия в предместье на правом берегу; 1-я, в качестве резерва, — в мостовом укреплении, 4-й полк охранял московскую дорогу, а иллирийский полк — петербургскую; заняты были также немногие дома, уцелевшие от пожара. Холод был настолько силен, что на следующую ночь солдаты, выдвинутые на удаленные аванпосты, стали грозить бросить их и вернуться в дома. Я послал хороших офицеров к солдатам с увещеваниями остаться верными своему долгу, твердо решившись в случае если мое присутствие окажется необходимым, самому последовать за ними и устроиться на биваке вместе со всеми офицерами моего полка. Дело шло о нашей чести, так как защищать вход в предместье было доверено моему полку, и в случае неожиданного нападения подверглась бы опасности вся наша дивизия. Порядок был скоро восстановлен. Солдаты не могли остаться нечувствительными к голосу чести; а те из них, у которых страдания вызвали ропот, недостойный их мужества, скоро искупили его славной смертью.

15 ноября произошло дело, в котором принимал участие лишь один мой полк. 2-я дивизия утром получила приказ покинуть предместье правого берега, пройти через город и расположиться на дороге в Вильно, оставив таким образом 1-ю дивизию в передовой линии для защиты мостового укрепления. 4-й полк, занимавший вход в предместье, оказывался наиболее удаленным от места сбора; отозвание назад передовых постов потребовало некоторого времени, и генерал Разу, спеша выполнить полученное приказание, двинулся в поход, не дожидая меня. Я двинулся вслед за ним как можно скорее, чтобы догнать дивизию, как вдруг неприятель, найдя внешние посты брошенными, проник в предместье; отдельные солдаты, преследуемые им, искали спасения в наших рядах. Я ускорил марш, но, когда мы достигли мостового укрепления, мост оказался настолько загроможденным движущимися на него повозками, что через него невозможно было провести ни одного человека.

Пришлось ждать; но затруднительность положения возрастала с каждой минутой. Русские поставили на высотах два орудия и начали обстреливать повозки и мой полк. Тогда беспорядок достиг своего апогея; возницы побросали



повозки, вдребезги разбиваемые ядрами; русская пехота и казаки приближались. Положение становилось критическим: надо было во что бы то ни стало отбить атаку, благодаря которой неприятель мог бы овладеть мостовым укреплением; но, очутившись в предместье один, я не решался завязать бой, так как имел приказ отступать. По счастью, маршал Ней, привлеченный пушечными выстрелами, появился на парапете и приказал мне пойти на неприятеля, чтобы совсем прогнать его из предместья и дать нашим время освободить проход. Я двинул свой полк беглым шагом по снегу, среди развалин домов. Солдаты, гордясь честью сражаться на глазах у маршала и полков 1-й дивизии, смотревших на них с высоты мостового укрепления, с яростью бросились на неприятеля; русские стремительно отступили, захватив с собою артиллерию; их стрелки были прогнаны из домов; в несколько минут мы овладели всем предместьем. Тогда маршал Ней приказал мне не очень выдвигаться вперед, — приказание с его стороны довольно редкое. Я построил свой полк позади Петербургской заставы, и тут завязался горячий бой с русскими, занимавшими кладбище соседней церкви, из которого они уже не решались выходить. Бой продолжался долго, хотя у русских было перед нами преимущество в позиции, в численности и в наличности артиллерии. Отступать я начал, лишь получив формальный приказ вернуться. Отступление произошло в хорошем порядке, и я привел свой полк в мостовое укрепление. Все офицеры в этом бою соперничали друг с другом в рвении; ни один из них не был ранен, да и солдат я потерял мало.

В то время как 1-я дивизия, в свою очередь, защищала город, 2-я употребила день 16 ноября на чистку оружия и на отдых. Отряд в 200 человек, прибывший из Франции, ожидал нас в Смоленске; я произвел ему смотр и включил его в свой полк, который благодаря этому подкреплению достиг теперь численности более 500 человек. С большим огорчением я увидел, насколько уже успели пострадать от трудностей пути и сурового времени года молодые люди, входившие в состав этого отряда. Повозки, уже давно пущенные вперед, тоже ожидали нас в Смоленске; я приказал им следовать за нами; другие же полковники послали свои обозы вперед, а некоторые из повозок удалось спасти.

В тот же вечер маршал Ней в самых лестных выражениях выразил мне свое удовольствие по поводу нашего вчерашнего боя. Я сообщил об этом офицерам своего полка и убеждал их быть всегда достойными таких похвал. С удовольствием думал я, что их задача будет выполнена, потому что, конечно, император воспользуется первым случаем заменить нас в арьергарде свежими войсками. Ни один из моих офицеров не был опасно ранен; оставалось еще 500 солдат, а сколько уже успела испытать эта небольшая кучка людей! Как могли не внушать сочувствия и доверия эти храбрые солдаты, которые, несмотря на столь суровые испытания, остались верны своим знаменам и отвага которых, казалось, росла вместе с опасностями и лишениями. Я гордился приобретенной ими славой; я заранее предвкушал то удовольствие, с каким они отдохнут (как я надеялся) после трудов. Эта иллюзия быстро рассеялась; но я до сих пор люблю вспоминать о ней, и это было последним приятным чувством, испытанным мною во время этого похода.

Много раненых и больных офицеров находилось в госпитале в Смоленске. Я узнал, что среди них есть офицер моего полка с оторванной ногой; я тотчас же послал за ним, чтобы захватить его с собою, а его товарищи по несчастью остались там с риском пострадать от пожара, от падения укреплений и от мести русских. Дело в том, что уже на следующий день третий корпус должен был оставить это ужасное место, взорвав укрепления и значительное число зарядных ящиков, которые армия не в состоянии была захватить в собою. Уже город представлял собою лишь груды развалин. Окна и двери уцелевших домов были выбиты, комнаты наполнены трупами; на улицах там и сям виднелись скелеты лошадей, мясо которых было съедено солдатами и немногими жителями, смешавшимися с ними в одной общей нужде. В особенности никогда не забуду я впечатления скорби и грусти, испытанных мною ночью, в пустынных улицах при блеске пожара, отражавшегося на снегу и составлявшего странный контраст с мягким светом луны. Несколько лет перед тем я видел этот город в полном расцвете богатства, и это воспоминание делало для меня еще более тягостным зрелище его теперешнего разрушения.

На следующее утро, в момент нашего ухода, несколько сильных взрывов дали нам знать, что Смоленск перестал существовать.

*Фезанзак*

\* \* \*

Мы лежали на плохой соломе и размышляли о нашем безвыходном положении, как вдруг услышали неожиданно крики: «Вставайте, вставайте, грабят магазины!» Мы тотчас же инстинктивно вскочили и, схватив кто мешок, кто корзину, кто бутылку, кинулись бежать, крича на ходу: «Я пойду за мукой, вы ступайте за водкой, пускай денщики идут за говядиной, сухарями и овощами». В одну минуту комната опустела. Долгое время спустя вернулись наши товарищи и рассказали нам, что солдаты, умирающие от голода, не могли выдержать медлительности раздачи и взломали, не обращая внимания на стражу, двери магазинов и разграбили их. Одежды у вернувшихся были все белые и во многих местах проткнуты штыками, так как они силой отняли мешок муки у солдат, которые делили муку между собой. Другие возвращались страшно усталые и ставили на стол корзины с сухарями и клали куски говядины. Час спустя вернулись денщики, таща с собой рис, горох и водку. При виде такого изобилия мы все ожили. Одни смеялись, мяли хлеб, другие пели, поджаривая говядину, но многие начали с того что напились и переходили от чрезмерной веселости к меланхолии.

Погода была великолепная, но было так холодно, что можно было замерзнуть, перейдя только улицу. По улицам на каждом шагу попадались лежащие на снегу трупы солдат, которые, изнуренные усталостью, не выдерживали холода и замерзали, ища себе помещения.

*Лабом*

\* \* \*

Был дан приказ о выступлении. Около четырех часов пополудни мы покинули Смоленск, после того, как по приказу свыше подожгли дома, которые были заняты нами, дабы закончить разрушение города.

Час спустя послышался ужасный взрыв; крепость взлетела на воздух. Однако в городе оставалось еще значитель-

ное количество раненых французов, которых везти с собой было невозможно и которых мы принуждены были покинуть в силу ужасного закона необходимости. Они находились на попечении нескольких полковых лекарей; и те и другие чувствовали себя обреченными на смерть. Несколько казаков уже переправилось через Днепр, омывающий стены этого города с московской стороны, а на высотах с той же стороны виднелись массы русской пехоты.

1-й армейский корпус шел всю ночь напролет; он следовал за 4-м и предшествовал 3-му, находившемуся под командованием знаменитого и несчастного герцога Эльхингенского, которому, как наиболее храброму, император доверил почетное, но опасное дело: образовать арьергард.

*Лемуан*

\* \* \*

Большинство наших знакомых, отправившихся вместе с французами из Москвы, погибло от голода или меча русских. Преимущественно женщины, несчастные матери, находили смерть среди самых ужасных страданий. И моя жена, мой сын были там!.. Мадам Вертейль, хорошенькая актриса, отважилась отправиться в путь с двумя детьми, беременная третьим. Одного из них она лишилась в суматохе около Вязьмы, другой умер на дороге от истощения. Тронутый несчастным положением этой женщины, виконт де Тюрен взял ее под свое покровительство. Прибывши в окрестности Смоленска, он скорее донес ее, чем довел до города, но вход в него женщинам был запрещен особым указом. Когда Тюрен и госпожа Вертейль хотели войти насильно, безжалостный часовой пронзил ее штыком. Смертельно раненная, бедняжка, сделав несколько шагов, упала в сани, где выкинула, и умерла...

Моя сестра, Аврора Бюрсе, выказала в эти ужасные минуты свой поэтический энтузиазм. Она шла некоторое время пешком, когда пушечное ядро разбило ее карету. Сестра принуждена была продолжать путешествие, поместившись на артиллерийском обозе. Первою мыслью ее, когда карета разбилась, было взять оттуда свои рукописи, которые она затем переложил в один из императорских фургонов. Но через некоторое время император, первый подавая пример пожертвования, отдал приказ сжечь этот фургон со

всем находящимся в нем. Аврора Бюрье бросается тогда со своего сидения и, удерживая за руку солдата, уже вооружившегося факелом, восклицает: «Сжальтесь, мои друзья! Отдайте мне сочинение «*Le bonheur de la mediocrité*» с эпиграфом из Горация «*auream quisquis mediocritatem diligit...*» Рукопись в желтой обертке ...прекрасный почерк... мой брат, пленник Ростопчина, переписывал ее!»

Знаменитый итальянский певец Тарквинио, которого можно было слышать на концертах в Кремле, обязан был спасением наружной неопределенности своего пола. Когда Тарквинио попал в руки казаков, то приятность лица, серебристый голос и округлость форм заставили их принять его за переодетую женщину. Между варварами произошла даже остервенелая драка из-за обладания такими прелестями. Тарквинио достался сильнейшему. Победитель дал ему лошадь и с самою предупредительною любезностью проводил до ворот Вильно. Тут одна из наших дам видела его окруженного попечениями и уважением башкир. Каждый вечер на дороге или на биваках Тарквинио услаждал своим мелодическим пением досуг казаков, которые иногда присоединяли грубые свои голоса к великолепному сопрано этого роверго Calpigi.

*Домерг*

\* \* \*

«Г-н герцог де-Бассано, четыре эстафеты прибыли сразу, так что я получил все ваши письма по 7-е. Я одобряю ваше распоряжение о прибытии 34-й дивизии в Ковно. Главное, чтобы она была хорошо продовольствована. Генерал Луазон доносит, что он закупил для своей артиллерии 600 лошадей и что тот же купец предлагает продать ему еще 10 000 лошадей. Пошлите это предложение генералу Бурсье, пусть он заключит эту сделку, если находит ее подходящей. Уведомьте генерала Бурсье, чтобы он увеличил кадры шестью тысячами голов строевых лошадей всех сортов и шестью тысячами артиллерийских и обозных. Ежедневно мы теряем значительное количество, вследствие холода и ночных морозов. Считаю излишним напоминать вам, насколько важна эта закупка. Генерал Бурсье может израсходовать до 30 000 тысяч и даже больше. Предел расхода

должен быть обусловлен только тем обстоятельством, чтобы лошади были закуплены возможно лучшего качества.

Лошадей, лошадей, лошадей, безразлично каких, кирасирских, драгунских для легкой кавалерии, артиллерийских, подъемных. В этом теперь наибольшая нужда. Вскоре 10 000 спешенных кавалеристов будут отправлены в Минск. Пусть генерал Бурсье направит их в Кенигсберг или в Варшаву, в зависимости от того, где найдутся лошади. Наблюдайте за тем, чтобы не было никаких задержек.

Напишите князю Шварценбергу, чтобы он ускорил движение, и дайте ему понять всю важность этого. Ко мне прибыл адъютант герцога Белюнского, выехавший от него 9-го. Ему я послал точные приказания».

*Письмо Наполеона к герцогу Бассано 11 ноября*

## *От Смоленска до Красного*

Главная квартира выступила из Смоленска при самых неблагоприятных предзнаменованиях. У меня украли последнюю верховую лошадь, и мне пришлось идти далее пешком. Я оставил город накануне отъезда из него Наполеона. Было приказано взорвать город, но это не удалось исполнить, так как Платов настиг наш арьергард прежде, нежели он успел зажечь городские здания. Настоящее бедствие началось за Смоленском; дорога была усеяна трупами и умирающими, артиллерия и зарядные ящики были брошены...

Особенно было жалко смотреть на женщин и детей. Мы, мужчины, по крайней мере, несли на своих плечах обыкновенную участь всякого военного человека, испытывая переменчивое счастье обычной судьбы войн. Мы были не первыми и не последними в истории; ведь большая армия несет на себе ответственность своих же военных и политических ошибок, своего чрезмерного честолюбия, при этом завися от губительных природных условий, но женщины, — те шли за нами из любви и привязанности, а некоторые просто из страха мести со стороны русских, — женщины достойны были лучшей участи и большей мягкости. Мне пришлось встретить женщин и милых и интересных, варварски и жестоко покинутых офицерами, занимавшими видные посты, а между тем этот так называемый слабый пол

был человечней и выказывал нам огромное участие и милосердие в тех неопикуемых страданиях и превратностях, которые нам приходилось переносить.

Одна маркитантка гусарского 9-го полка несколько дней кормила меня даром, а жена одного из поваров Наполеона, муж которой когда-то служил у меня в Мекленбурге, часто приносила мне суп и даже вино.

В Москве я взял себе мальчика при конюшне; он был очень расторопный и старательный, прекрасно правил лошадьми в коляске, без малейшего страха перед казаками выводил лошадей на фураж, отличался редкой храбростью, а иногда и готовил для меня. Все были в положительном восторге от ума и работы моего маленького артиллериста, и только в Смоленске он выдал себя благодаря тому, что я в минуту раздражения вкатил ему пощечину. Мой мальчик оказался девушкой лет четырнадцати, пятнадцати; она влюбилась в артиллерийского французского офицера, убитого в сражении при Бородино, и бежала из родительского дома. Она сумела великолепно выдержать инкогнито, и за целый месяц ее пребывания среди моих людей ни у кого не появилось даже подозрения. Ее родители были хорошей фамилии и она получила хорошее образование, но у нее была страсть к лошадям. Одно обстоятельство могло бы выдать ее и раньше, а именно в Москве она собирала всякие красивые женские тряпки под предлогом все это отвезти в подарок сестренке, жившей в Силезии. Мы не оказались хитроумными, как Улисс, а когда открылся секрет, то в душе мы чувствовали себя дураками, особенно несколько адъютантов, не считая моих личных, оставшихся при мне и кормившихся у нас, пока было чем.

Мой маленький жокей с тех пор был обставлен лучше, насколько позволяли нам обстоятельства, конечно, ему купили лошадь, но при переходе через Березину мы где-то потеряли моего жокея женского пола, и с тех пор я ничего не мог узнать о ней.

Когда еще мы были в Красном, я потерял все свои повозки и свои вещи и никому даже в голову не пришло чего-нибудь спасти оттуда, она одна заставила какого-то казака отдать назад мои эполеты и, кроме того, притащила мне бутылку рома, сахару и кофе.

Среди самого ужасного горя бывают минуты, когда, несмотря на бесконечные страдания, не можешь удержаться от смеха. Я испытал это во время перехода из Смоленска в Красное, когда увидел м-ме Бюрсе, бывшую фаворитку принца Генриха Прусского и затем герцога Брауншвейгского, которую я знал еще тогда, когда она была директором театров короля Вестфалии и встретил в той же должности в Москве, — я увидел ее сидящей на передней части пушки в костюме из «Моя тетка Аврора»! Это было единственное платье, которое ей удалось спасти от грабежа.

*Дедем*

\* \* \*

В Смоленске мы пробыли всего несколько дней; 14 ноября мы покинули этот город в свите Наполеона. Находясь при главной квартире, я часто видела императора. То пешком, то верхом на коне он отдавал приказания своим адъютантам. Постоянно владея собою, как и в счастье, он держал себя серьезно и спокойно. Помню я, что, когда мы выезжали из Смоленска, император, видя меня сидящую на лафете, печальную и старающуюся унять плач ребенка, подошел ко мне и сказал:

«Вы очень страдаете, сударыня... да? Но мужайтесь, вы увидите с вашим мужем, и я вас вознагражу за ваши несчастья».

«Ваше Величество, — отвечала я, — в эту минуту ваша доброта заставляет забывать о них».

Он потрепал щеку моего сына своими пухлыми длинными пальцами и отошел, вздохнувши. Наполеон был отец; вид моего ребенка всегда напоминал ему его сына, которого он не мог надеяться увидеть, находясь среди ужасных бедствий и будучи окруженным неприятельскими войсками, которые все росли вокруг остатков его армии.

Так как генерал Рапп почти постоянно находился при Наполеоне и жил на счет главной квартиры, то я ехала одна в карете в загромождении фургонов и под конвоем из 14 человек прислуги. Тут были: мажордом, камердинер, дворецкий, егерь, наконец, лакеи, ведущие свору собак свору в этом погребальном шествии!..

Среди подобных лишений, свора, лакеи, пышная обстановка, одним словом, все эти неуместные остатки ми-



нувшего величия, не были, однако, совершенно бесполезны. Постоянно будучи настороже, охотник генеральской свиты несколько раз пускал своих собак. После долгих загонов они нам пригнали однажды странную дичь — свинью необыкновенной толщины. Это была приятная находка для главной квартиры. Но через несколько дней после того голод достиг крайних пределов, и эти собаки вместе с другими домашними животными подверглись общей участи: их съели.

Свора другого рода и не менее жадная до добычи — казаки — тревожила нас беспрестанно. Под Красным мы увидели недалеко от нас отряд этих варваров, который расположился на дороге. Тотчас был отдан приказ остановиться экипажам, которые отправились затем в деревню, находящуюся вправо.

Впереди двинули батальон старой гвардии и часть кавалерии, чтобы рассеять это трусливое скопище...

Как и можно было предвидеть, отряды кочевого войска не устояли перед нашими старыми солдатами. Но в то время, как экипажи спокойно въезжали в деревню, о которой я уже сказала, другой отряд казаков, засевший здесь, вдруг напал на нас.

Карета, в которой я сидела, одна из первых подверглась нападению. Покуда один из варваров, взобравшись наверх, сбрасывал на другую находящиеся там вещи, другой старался изо всех сил отворить дверцу, механизма которой он, к счастью, не знал. В то же время третий, вставши на подножку с противоположной стороны, запустил руки внутрь кареты и уже схватил моего сына, за которого я уцепилась со всею силою отчаяния. Бедное дитя, сдавленное железною рукою казака, издавало жалкие стоны, которым я отвечала своими криками. В эту критическую минуту раздалось несколько выстрелов, и я потеряла сознание...

*Домерг*

\* \* \*

Мы опять пустились в путь после нескольких дней отдыха, во время которого терпели почти те же беды и лишения, как раньше. Теперь стало труднее двигаться из-за сильного мороза, обострившего наши страдания; но он немного

уменьшился через несколько дней после выхода из Смоленска. В довершение бед нас пожирали насекомые; избавиться от них на несколько дней можно было только одним способом: совершенно раздевшись перед огнем, нагреть и вытряхнув платье в густом дыму; на морозе такое средство было довольно жестоко, зато очень действенно, и я много ночей провел спокойно благодаря ему. Иногда, когда голод был особенно силен, мы мысленно составляли самые роскошные обеды; представляли себе, что сидим в парижском ресторане; всякий спрашивал любимые блюда; спорили о достоинствах их, о предпочтительности одних перед другими; этим мы на несколько минут отвлекались, забывая мучительный голод, но скоро ужасная действительность опять всю тяжестью обрушивалась на нас.

*Дююи*

\* \* \*

Мы оставались в Смоленске лишь около 3-х дней: скоро приблизился неприятель и занял высоты, когда мы еще были заняты тем, что сжигали повозки резервного парка. Арьергард едва смог задержать неприятеля до тех пор, когда нам можно было начать отступление. Из запасного отряда в 200 солдат и 4 офицеров, который мы получили в Смоленске, никто не вернулся обратно. Скоро и батальоны расстроились, каждый полк образовал отдельное шествие, офицеры вооружались ружьями умерших солдат. Полковое знамя сняли с древка, и офицеры несли его поочередно, в кожаной сумке. Добытые с трудом в Смоленске припасы были скоро съедены, и под конец солдаты питались исключительно мясом павших лошадей.

Вскоре можно было заметить совершенный упадок духа у офицеров и солдат; каждые десять, двадцать шагов встречались замерзшие солдаты (даже штаб и субалтерн-офицеры оставались лежать на ночных бивуаках); сзади нас, спереди и с обеих сторон мы слышали неумолкавшую пушечную пальбу: то подходил Чичагов\*.

Мороз между тем дошел уже до 28 градусов. Понемногу мы через Дорогобуж приблизились к Красному. Небольшому отряду Компана пришлось прикрывать дефиле, когда

---

\* Фоссен ошибался: скорее всего то был Кутузов.

мы прибыли к Красному. Неприятель вскоре открыл пушечный огонь по нас, под конец картечью; генерал Компан бежал, спешившись, сзади фронта и громко кричал: «Раненых больше прибирать не будут, одинаково, будут ли то офицеры или солдаты». Стемнело, поднялась сильная снежная метель. Вот при таких-то условиях началось наше отступление.

*Фоссен*

\* \* \*

14 ноября. Мы оставляем Смоленск. Дежурный адъютант сперва назначил меня ждать здесь арьергарда, так как не нашел под рукой офицеров — у некоторых из наших товарищей просто талант уклоняться от трудных поручений. Я заметил ему: «Я останусь, но это не моя очередь». Он мне ответил: «Я это знаю, вы посылаетесь чаще, чем другие; вы деятельны и усердны». Он добавил: «Это несправедливо; если я найду кого-нибудь другого, он получит работу». Она выпала на долю еще одного офицера, который никогда не прячется; это была и не его очередь, но его назначили прежде меня.

Император садится в экипаж с Неаполитанским королем, эскортируемый в первый раз пехотным батальоном старой гвардии; принц Невшательский, министр двора, шталмейстер и дежурный адъютант следуют за ними в санях. Падает большое число лошадей. Приходится бросать много пушек. Переходим через два моста; эти переходы дьявольски трудны. Я нахожу экипаж генерала Нарбонна, который не может проехать вперед. Егерь нашего генерала, очень сильный мужчина, выпив чересчур много водки, заснул и умер. Императорская штаб-квартира в Корытне. Очень холодно и очень скользко. Почти всю дорогу я иду пешком и падаю не один раз. Мы спим вповалку в крестьянской избе.

15 ноября. Холодно, по крайней мере двадцать градусов; небольшой снег.

Вчера тысяча двести человек русской пехоты и артиллерии атаковали Красный, занятый спешившимися кавалеристами; генерал Себастьяни отбросил их. Казаки с артиллерией появились у главы нашей колонны. Вестфальцы прогнали их; тогда они напали на хвост колонны, застрявший при переправе через тесный мост. Переходы по мостам дья-

вольские; казаки взяли у нас нескольких человек. Большое число повозок было разграблено; таким образом вечером мы одни за другим узнавали о пропаже наших вещей; вероятно, и моих в том числе. Я не буду роптать, если это научит нас идти в большем порядке. Фургон с планами и бумагами императора разграблен и сожжен. Два ящика с трофеями, между которыми находился и крест с Ивана Великого, утонули во время переправы по льду; погибли все — и люди, и лошади. Я еще не привык ходить пешком; поэтому я очень устал.

17 ноября. 3-й полк гренадеров гвардии, состоящий из одетых в белое голландцев, сведенных к тремстам человек, атакует деревню направо от дороги и теряет половину своих людей.

Неприятель развернул приблизительно две тысячи человек и значительное число пушек; он почти окружил Красный. Уланы гвардии выстроились направо от дороги под неприятельскими ядрами. Император был на главной дороге с четырьмя полками пехоты старой гвардии.

Неприятель показался налево; 1-й батальон 1-го полка пеших стрелков гвардии смело бросился на неприятеля и потерял своего командира и несколько человек, убитых ядрами. Немного погодя после движения этого батальона прибывший офицер сообщает о соединении 1-го корпуса с молодой гвардией. 1-й полк стрелков был уничтожен, так как единственный батальон-каре, который он мог образовать, был опрокинут русскими кирасирами.

В ту минуту, когда Его Величество вступал в Красный, ядра перелетали через дорогу, и герцог Виченцкий заметил ему, что он подвергается большой опасности. Император очень решительно оборвал его, заявив: «Двадцать пять лет ядра взрываются у моих ног». Однако пошли ускоренным шагом.

Вчера один батальон 2-го полка пеших гренадеров гвардии, который сопровождал артиллерию, очень храбро защищался при одном узком проходе; молодая гвардия получила приказ возвратиться и заместить старую; последняя возвратилась в Красный. 1-й корпус занял затем позицию молодой гвардии и получил приказ ждать на ней 3-й под командой маршала герцога Эльхингенского. Приблизительно в десять часов утра император с тростью в руке стал во

главе старой гвардии; его экипаж следовал за ним. Через некоторое время Его Величество сел на коня.

С левой стороны нас прикрывала кавалерия гвардии, за которой неотступно следовали казаки с пушкой. Главный штаб императора потерял в этот день капитана Жиру, хорошего и храброго офицера. Возвращаясь из арьергарда, он хотел пробиться во главе нескольких собранных им оставших солдат и был смертельно ранен штыком. Штаб-квартира императора перенесена в Ляды; там мы в первый раз встретили польских евреев. Мы испытываем большое удовольствие от того, что в домах находим живых людей; часть города по обыкновению оказалась сгоревшей. Я нахожу мои вещи на тележке, так как мой экипаж бросили; я их уже считал потерянными.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Я пустился в дорогу со своим денщиком в сильный мороз и при нестерпимом северном ветре. Во весь день только и видели, что самые жалкие сцены: брошенные повозки, замерзших лошадей, несчастных пешеходов, опиравшихся на палку, с продранною обувью или замененную тряпками. Не было сомнения, что все оставшие раненные давно погибли от стужи и голода или под ударами казаков. В этом общем бедствии чувство жалости и сострадания притупилось; равнодушие заменяло всякое обыкновенное и естественное в человеке участие. Люди равнялись зверям, готовым растерзать друг друга, чтоб утолить свой голод. Едва ли как в древних, так и новейших войнах встречались ужасы, подобные тем, которыми отмечено наше отступление из Москвы. Я могу упомянуть только о том, что видел собственными глазами. Особенно поражали меня толпы невоенных людей с женами и детьми, тащившихся по глубокому снегу. Кто были эти люди? Вероятно, французы, жившие постоянно в Москве, но бежавшие поневоле, от страха быть убитыми. Следуя за французской армией, они попали из огня да в полымя\*...

---

\* Эти несчастные погибли на берегу реки Березины или от ядер, или от голода и стужи, потому что в роковую ночь не позволено было разводить огонь.

Мы повстречались с полками, которых вид не представляет ничего воинственного. Солдаты и офицеры большею частью были закутаны в байковые одеяла, взятые из лазаретных фургонов. По дороге все те же печальные сцены. Нельзя забыть некоторые из них.

Вот трое детей: старшему лет пятнадцать, он несет на руках трехлетнюю сестру, мальчик восьми лет идет за ним. При них ни родителей, никого. Мать и отец, наверное, уже не существуют. Никто не позаботится помочь детям; да и имел ли кто на это возможность! Я даже опасался взглянуть на них, потому что не в состоянии был им помочь. Не забуду также красивого молодого офицера. В чистеньком мундире, но без шинели. Раненный в ногу, он нес ее на перевязи, опираясь на костыли и с трудом подвигаясь по снегу. Со слезами на глазах умолял он о помощи и местечке в проезжавших санях. Но ему не отвечали. Сколько таких раненых погибло в снегу в мучительной смерти!

*Де ла Флиз*

\* \* \*

На другой день после моего прибытия (в Смоленск) меня откомандировали с 40 человеками для охраны обоза маршала Нея и генерала Маршана, и я должен был сейчас же отправиться по дороге в Красный. Я и мои солдаты страшно этому радовались, так как знали, что в этом транспорте имелись еще съестные припасы. Первый день мы прошли без приключений. К вечеру мы остановились на ночлег у разрушенного двора, неподалеку от дороги; повозки я приказал поставить во двор, лошадей в уцелевшее стойло, расставил необходимую стражу и расположился с людьми у костров. Я попробовал попросить приставленного к повозке караульщика поделиться съестными припасами с нашими людьми, но он этого не сделал. Тогда разнесся слух, что солдаты сами хотят воспользоваться припасами, на что я не мог им дать согласия, возлагая надежду на следующий день, но последствием этого было то, что до утра сбежала половина моих людей. Это я поставил на вид караульщику, но он ничего не предпринял относительно съестных припасов, тогда мои люди нашли сами способ, как ими овладеть, против него я оказался бессилен, несмотря на страшное возмущение со стороны караульщика.

Наконец, мы тронулись, подошли к небольшому дефиле, где через жалкий ручеек был перекинут маленький мостик, здесь произошло замешательство, так как каждый хотел перейти раньше других. В то время как я расчищал место для прохода, на меня налетел отряд казаков, которых я с моими людьми сейчас же прогнал и снова принялся за работу.

Но в это время нас окружил еще более многочисленный отряд казаков, я попытался снова защищаться, но видя, что мы очень слабы, солдаты оставили меня и мне одному пришлось защищаться против 6—7 казачьих пик, одна из которых сбила у меня с головы каску. Маленькое крутое возвышение, на которое я быстро взобрался и куда не могли за мной последовать, спасло меня.

Когда я вернулся к обозу, казаки тоже приблизились к нему, теперь им уже никто больше не препятствовал; они сошли с лошадей и грабили дружно и торопливо повозки, кареты и другие экипажи вместе с нашими солдатами, — как будто они были союзниками. Когда я, как раз в середине дефиле, влез на одну из повозок, несколько французских гренадеров разбили французский денежный ящик, из которого я, тоже воспользовавшись, пополнил свою сумку. Там были, как я потом увидел, пачки золота, которые я развернул, и был так неблагоразумен, что нес его без всякой осторожности в кармане, из которого во время остановок много высыпалось, а оставшееся, за небольшим исключением, у меня было отнято в Вильно...

Наконец, после многочисленных страданий, 16 ноября 1812 года я добрался до Красного; сюда уже днем раньше пришли вюртембержцы и были там окончательно распушены. Здесь, перед моим приходом, в последний раз произошла раздача хлеба и обуви солдатам и офицерам, но и здесь мне не повезло — я ничего уже не получил; не достать хлеба было для меня не так еще обидно, как, имея полные руки золота и страшно нуждаясь в обуви (я уже ходил без каблуков на одних подошвах) я нигде не мог ничего купить.

*Иелин*

\* \* \*

Утром 13 ноября опять двинулись мы против неприятеля. Нам пришлось идти через лес, который летом вслед-

ствие болотистой почвы бывает непроходим; но теперь земля сильно промерзла, и мы удобно прошли по лесу, хотя неприятель сильно действовал гаубицами, так что несколько наших было убито. Пройдя сквозь лес, мы вышли на равнину, на которой нас ожидал неприятель. Мы вступили с ним в бой, который длился часа четыре или пять и был настолько жарок, что мы оставили на поле сражения более тысячи человек из нашей дивизии. Но все-таки нам удалось принудить врага отступить. Происходило это близ деревни Глуховцы, которую мы в продолжение боя несколько раз отнимали и которая вследствие этого стала добычею пламени, потому что каждая из воюющих сторон считала своим долгом ее уничтожить. Нельзя себе вообразить этой ужасной картины! Земля кругом была покрыта снегом, как белым покрывалом, и посреди снежной поляны поднимался красный огненный столб от селения, горевшего со всех концов. Несчастные жители, почти нагие, бежали во все стороны, не зная, когда им можно будет вернуться, не имея убежища от трескучего мороза, без куска хлеба, чтоб утолить голод своих плачущих детей.

Неподалеку от этого села стоял большой сарай, куда сносили раненых. Там им делали по возможности перевязки. Многие испускали дух при этой операции, их немедленно выносили из сарая. Когда на другой день мы уходили, я увидел ужаснейшее зрелище: сарай этот охватило пламенем. Страшно было глядеть, как те, которые еще имели силы, чтобы ползти, с криком старались спастись от огня. До сих пор еще раздается у меня в ушах вопль несчастных, которые не могли спастись и были уничтожены огнем. Не было возможности выручить тех, которые не в силах были сойти с места. Лишь немногих взяли мы с собой на наших повозках. Но как сильно страдали они от своих ран, со стонами испуская дух! Оставшись победителями, мы провели ночь в постройках, которые нам соорудили русские; но разницы было немного, лежать ли на открытом воздухе или в таких сооружениях, потому что они состояли из прямых подпорок с навешенною на них кровлею из соломы, с боков же были открыты. Как глубоко мы ни забирались под солому, но не могли согреться. Моим ногам было так холодно, что я думал, что они у меня отмерзли. Поэтому я отправился к разведенному поблизости огню, чтобы не-



много обогреться. Потом я убедился, что большие пальцы на обеих ногах у меня действительно отморожены, отчего я впоследствии терпел сильнейшую боль. Я сжег свои сапоги, не заметив от сильного холода, что держал их слишком близко к огню, и так как теперь у меня не было обуви, то я принужден был завернуть ноги в тряпки и в овчину. К счастью, уцелела моя лошадь, которая как ни отошала, но все же носила меня.

Не будь этого доброго животного, я бы давно погиб. От сильного голода она совсем изнурилась и, находясь постоянно под седлом, была так измучена, что, когда я был взят в плен при Березине, она почти не могла переступить ногами.

На рассвете 14 ноября мы снова вступили в бой. Когда день кончился, был объявлен приказ императора, чтобы все вакантные офицерские места были замещены. Это было приведено в исполнение немедленно тут же, на поле сражения.

Пришло приказание сжечь все ненужные повозки, кроме повозок с амуницией. Итак, мы свезли их в одно место и отдали в добычу пламени. Лошади же были впряжены в орудия. Через это пострадали всего больше бедные марки-тантки, так как, лишенные повозок и лошадей, они теперь вынуждены были идти пешком.

*Вагевир*

\* \* \*

14 ноября мороз невыносимый; мы ушли из Смоленска и расположились бивуаком в 6-ти верстах от него, около леса, в котором снег лежал более чем на 6 футов. Вся дорога была покрыта льдом, лошади падали ежеминутно, сотнями разбивались на смерть, другие же гибли от голода. Один из моих слуг, который вел двух лошадей, нагруженных провизией, был убит солдатами, которые все разграбили, умертвив одну из лошадей, другая же попала в руки казаков. 15-го мы расположились на ночь в ригах в Красном. В ночь с 15-го на 16-е мы были посланы на атаку деревни, в которой засел русский передний отряд; мы добились того, что овладели деревней. Большое количество русских был убито и взято в плен; с нашей стороны было убито и ранено несколько солдат и много офицеров. Я по-

лучил пять пуль, засевших в сюртуке, и две легких контузии. После этой экспедиции мы вернулись в Красный, где и провели ночь.

17-го мы двинулись вперед, чтобы прикрывать выступление 1-го корпуса, составлявшего наш арьергард. Произошло большое сражение, в котором мы потеряли много солдат и офицеров. Два первых стрелковых полка были совершенно уничтожены: от них осталось всего только сто двадцать человек; пострадали также сильно два полка фузелеров. Подоймной были убиты две лошади. Перед Красным находился овраг и небольшой мост, вскоре его так загромождали торопившиеся проехать повозки, что стало невозможно двинуться ни назад, ни вперед — и таким образом мы принуждены были оставить все, что было по ту сторону.

Когда первый корпус миновал это тесное место, мы отступили, проехав через Красный; за городом идет дорога, прорытая между возвышенностями.

У нас не было ни одной пушки, чтобы выставить против неприятеля, между тем пришлось проходить это место, не уклоняясь ни вправо, ни влево, под огнем четырех пушек и двух гаубиц, которые производили необыкновенное опустошение. Ни один выстрел не пропал: гранаты не могли отклоняться ни в ту, ни в другую сторону и переставали убивать и отрывать ноги только тогда, когда встречали на пути сопротивление груды тел. Можно судить, какой ужасной бойней было это сражение; оно привело в уныние всех, кто был свидетелем этой резни. С наступлением ночи мы расположились бивуаком около плохонького домика, где помещался император.

*Маренгоне*

\* \* \*

Весь следующий день мы были окружены казаками, и, чтобы избежать столкновения с ними, нам пришлось сделать большой крюк. Благодаря этому мы подвинулись за этот день всего только на четверть версты. Из-за этой задержки на пути мы очутились в арьергарде и находились в данный момент (как я это впоследствии узнала) во главе «отсталых». Это были солдаты всех наций, не принадлежащие ни к одному из корпусов или по крайней мере покинувшие их, одни потому, что их полки были все истребле-

ны, другие потому, что не хотели сражаться. Они побросали свои ружья и шли наудачу. Но их было такое огромное количество, что они затрудняли путь во всех узких и опасных переходах. Как начальники, так и простые солдаты грабили, воровали и вносили беспорядок повсюду, где они только проходили.

Несколько раз пытались соединить их всех в один отряд, но это не удавалось. И вот теперь нам пришлось ехать между арьергардом и этой толпой. Так подвигались мы до самой ночи. Впереди нас ехала большая берлина (род кареты). Мои слуги говорили, что она принадлежит графу Нарбонну и что там находится дама.

Какой-то полковник с отрубленной рукой попросил у меня местечка в карете. Я поспешно согласилась, однако предупредив его, что мои лошади изнемогают от усталости, и что потому мне, может быть, придется покинуть его.

Спустя полчаса мы вдруг остановились! Подошедший офицер что-то шепотом передал полковнику, и тот вышел из кареты. Я сделала то же самое и пошла к даме в берлине. При таких обстоятельствах знакомство заключается очень быстро. Ничто не объединяет так, как несчастье!

«Я думаю, — сказала я ей, — что казаки очень близко, так как какой-то офицер пошептался с раненым полковником, сидевшим в моей карете, и он, пробормотав мне несколько извинений, поспешно вышел и сел на лошадь, несмотря на то, что едва держался на ногах».

В это время подошли наши слуги, говоря, что впереди нас овраг, через который невозможно проехать в карете, а так как в окрестностях рыскают казаки, то надо садиться верхом и спасаться. Мы старались подбодрить их.

«Попробуем, однако, как-нибудь переехать, — сказала я им, — мы всегда успеем бросить карету, если она сломается». «Посмотрите сами, — ответили они мне, — и вы увидите, что это невозможно».

Мы отправились к оврагу и убедились, что они правы. Правда, недалеко от нас проходила большая дорога, но пушечные ядра долетали до нее каждую минуту. Пришлось решиться: мы сели на лошадей и стали пробираться по снегу через поля, так как не было никакой проложенной дороги. Снег доходил бедным лошадям до самого брюха, и

они совсем обессилели, так как их не кормили целый день. И вот вообразите: я верхом на лошади в полночь, не имея ничего кроме того, что было на мне, не зная дороги и умирая от холода!

В два часа ночи мы наткнулись на отряд, который тащил пушки: это было в субботу 14-го числа.

Я спросила командовавшего офицера, скоро ли мы догоним главный отряд. «Можете быть покойны, — отвечал он мне со злобой, — мы никогда его не догоним, так как если нас не захватили этой ночью, то это случится завтра утром, мы не можем этого избежать».

Не зная дальше дороги, он остановил свой отряд. Солдаты хотели зажечь костры, чтобы погреться, но офицер воспротивился, говоря, что их огни привлекут неприятеля. Я слезла с лошади и села на сноп соломы, брошенный на снег. Тут на меня напало минутное отчаяние.

Кучер привел нашу карету, и мы поехали дальше при свете горящих деревень и при громе пушек.

Я видела, как из строя выбывали несчастные раненые люди, одни, изнуренные голодом, молили нас о хлебе, другие, замерзая, умоляли взять их в карету и просили помощи, которую невозможно было им оказать, — так много их было! Те, которые плелись еще за армией, умоляли взять детей, нести которых они были уже не в силах. Это была ужасная картина! Я мучилась за них всех!

Не доезжая до Красного, кучер сказал мне, что лошади дальше идти не могут. Я пошла пешком, надеясь застать в городе главную квартиру. Уже светало! Я шла той же дорогой, по которой шли и солдаты, пока не достигла очень крутой горы. Она вся обледенела, и солдаты спускались по ней, скользя на коленях. Не желая делать того же, я обогнула ее и дошла благополучно до города. Там я спросила офицера, где главная квартира.

«Думаю, что она еще здесь, — ответил он мне, — хотя ненадолго, город начинает уже гореть».

Огонь распространялся здесь еще быстрее потому, что все дома этого маленького города были деревянные, а улицы невозможно узки. Я проходила через город чуть ли не бегом; горящие балки того и гляди могли свалиться мне на голову. Какой-то жандарм был так любезен, что проводил

меня до самого выхода из города, так как толпа была так велика, что меня стиснули со всех сторон. Он спросил меня, зачем я проходила по городу. Я ответила, что мне надо было повидать кое-кого из офицеров главного штаба. «Император уже давно выступил отсюда, — возразил он мне, — и вы не в состоянии будете его нагнать».

«Следовательно, мне остается только умереть, — сказала я, — у меня нет более сил идти дальше...»

Я чувствовала, как холод леденит мою кровь. Говорят, что смерть от замерзания очень приятна! Я верю этому! Я слышала, как кто-то говорил мне: «Не оставайтесь здесь, вставайте»... Меня трясли за руку, и мне было неприятно, что меня беспокоят. Я испытывала приятное беспомощное состояние человека, засыпающего спокойным сном. Наконец, я уже больше ничего не слыхала и потеряла сознание.

Когда я пришла в себя, то увидела, что нахожусь в какой-то избе. Я была завернута в меха и кто-то, держа меня за руку, шупал мне пульс: это был барон Дегенет (известный военный хирург, 1762—1837). Меня окружали люди: и мне казалось, что я просто очнулась от сна, но я не могла сделать ни малейшего движения — так я была слаба!

Я с удивлением смотрела на окружавшие меня мундиры. Генерал Бюрманн, с которым я тогда еще не была знакома, смотрел на меня с любопытством. Старый маршал Лефевр подошел ко мне и сказал: «Ну, как дела? Вы возвращаетесь издалека».

Оказалось, что меня нашли в снегу. Сначала меня хотели положить около большого костра, но барон Дегенет кричал: «Берегитесь, вы ее сейчас же этим убьете, заверните ее как можно лучше в меха и поместите в холодную нетопленную комнату». Я пролежала здесь довольно долго: когда я начала немного согреваться, маршал принес мне большой стакан крепкого кофе. Меня это возбудило, и кровь стала правильно циркулировать в теле. «Сохраните этот стакан, — сказал мне маршал, — он будет историческим воспоминанием в вашей семье... если только вы ее увидите...» — добавил он шепотом.

Несколько часов спустя я поехала дальше в карете маршала. Вечером мы остановились в каком-то покинутом селе для ночевки.

*Фюзи*

\* \* \*

Враг был от нас уже в ста саженьях; он превосходившими нас силами занимал дорогу, по которой нам приходилось идти, и ждал только утра, чтобы окончательно нас разбить. Удрученные холодом и голодом, уверенные, что отступление невозможно и нас ждет верная гибель, мы со страхом ждали решения вице-короля, когда около 10 часов шепотом было передано приказание построиться и выступить, и принц Евгений направился направо во главе королевской гвардии, за которой следовали некоторые остатки батальонов. Излишне было предписывать тишину; каждый понимал, что она необходима; и во время этого перехода целиком через поля, по глубокому снегу, в полной темноте едва слышался хриплый приглушенный кашель, который солдаты не могли сдержать, и бряцанье оружия, сталкивавшегося при их частых падениях. Мы поневоле бросали то немногое, что у нас оставалось от багажа и орудий, бросили и раненых за этот день, которые, может быть, надеялись на нашу помощь и которых, если бы они не умерли за ночь, ждали неволя и страдания.

Недолго мы шли, вдруг послышался вопрос по-русски «кто идет?», обращенный к нам конным патрулем, стоявшим налево, недалеко от нас. Мы были открыты, и каждый из нас приготовился хорошо встретить натиск, который, без сомнения, должен был обрушиться на нас. Но один польский офицер, к счастью, бывший с принцем, приблизился к неприятельскому посту и после переговоров, шум которых доходил до нас, вернулся к нам. Он прекрасно говорил по-русски и выдал себя за русского офицера, ведущего колонну. Итак, вопреки нашим ожиданиям, эта тревога не имела последствий, и мы продолжали с трудом продвигаться по снегу; взошла луна, и ее свет — такой полезный для нас в других обстоятельствах, только увеличивал наши опасности: не заметит ли неприятель на белом снегу нашу движущуюся колонну? Мы видели только казаков, которые приблизились, чтобы разузнать, кто мы, и, вероятно, приняли нас за свои же войска. Через час или два, повернув налево, мы вышли на большую дорогу в Красный, оставив неприятеля сзади. При приближении к городу нас встретил ружейный залп. Это был пост, постав-

ленный перед биваком молодой гвардии и стрелявший в нас, приняв нас за неприятеля. Мы дали опознать себя и подошли к подошве довольно крутой возвышенности, на которой расположен Красный...

*Гриуа*

\* \* \*

В три дня мы пришли в Красное, деревушку, отстоящую от Смоленска миль на 18, а от Витебска на 30. Мы уже бросили целый ряд карет и повозок; холод был жесточайший; дорога, плохо содержащаяся и в обыкновенное время, была еще более разрушена дождем и снегом. От недостатка фуража и утомления погибла или по меньшей мере выбилась из сил большая часть наших лошадей. Если на пути попадался овраг или крутой подъем, тотчас же две-три кареты останавливались и происходила ужаснейшая путаница. Кареты высокопоставленных лиц старались объехать образовавшееся препятствие справа; запряженные лучшими лошадьми заезжали вперед и нарушали установленный порядок. Следовало давать дорогу артиллерии, но это не соблюдалось. Кучера щелкали хлыстами, лошади рвались вперед, конюхи дрались с караульными, ряды спутывались между собой, кареты прицеплялись к обозным повозкам, берлины — к артиллерийскому поезду; особенно тяжелая карета, которая должна была отстать, вдруг делала усилие, догоняла более легкие, ушедшие вперед, и тут же теряла все колеса. Кавалеристы, попавшие в эту сумятицу, били саблями направо и налево по пехотинцам и конюхам, путавшим движение; офицеры пролагали себе путь ударами кулака или шпаги. Если, на беду, подоспевал сюда кто-либо из служащих лично при императоре, с мулами, с переносными кузницами и мебелью, то все прямо опрокидывалось, чтобы только очистить дорогу. Воскликания, ругательства, звуки ударов, окрики караульных офицеров, не достигавшие никакой цели, вопли тех, кто метался без толку, довершали картину ужасающего беспорядка. Движение вперед совершенно прекращалось, обозную стражу разгоняли силой, и быстро появлялись казаки, никогда не терявшие нас из виду; они устанавливали маленькие пушки без лафетов, которые возили с собой в санях, гнали в галоп все, что еще могло скакать, остальное жгли, а солдат, пытав-

шихся защищать, поражали ударами пики. Это происходило с нами у каждого оврага, в частности же, у оврага, перерезывающего дорогу под самым Красным. В этом месте была взята в плен, пожалуй, четвертая часть нашего обоза, и то не было единственным испытанным нами несчастьем. Нас ожидали более тяжелые потери...

*Пасторе*

\* \* \*

За несколько миль от Смоленска слышали мы впереди нас жестокую пушечную пальбу и вскоре узнали, что русские напали близ Красного на императорскую гвардию, при которой находился сам Наполеон, а на другой день русские войска и четвертый наш корпус также хорошо встретились. В полдень 16-го числа первый наш корпус находился только за две мили от Красного. Дорога была, по-видимому, совсем свободна, хотя изредка неприятель и появлялся влево от нас на возвышенности, но так как на всем пути от Смоленска мы видели его неоднократно, то и не беспокоились, а только послали фланкеров по левому нашему флангу.

Но лишь только половина первого корпуса прошла мимо неприятеля, как он открыл по нам сильный картечный огонь из 50 пушек, который был тем убийственнее, что неприятельские орудия находились от нас не далее, как на половину пушечного выстрела. Все вокруг нас пало. Затем, в самое короткое время, неприятель поставил несколько орудий на большой дороге впереди и позади той густой колонны, в которой находились и мы, и открыл по нам сильный картечный огонь. Мы были с трех сторон окружены пушками; картечь сыпалась на нас градом, нам оставалось одно средство — искать спасения в ближайшем лесу. Не успели мы добраться до леса, как вдруг наскочили на нас казаки и изрубили всех, которые остались на дороге. Невозможно вообразить казацкие наезды: каждую минуту они нас тревожат, толпы их на каждом шагу вдруг и внезапно, как будто из земли роятся.

Мы пробирались лесом, избегая большой дороги и селений, и через два дня к ночи пришли в деревню, находившуюся посреди этого леса, где нашли много солдат нашей армии. Нас было до 120 человек. Я предложил всем, отдох-



нувши немного, продолжать путь в полночь, чтобы догнать армию, которая находилась от нас на несколько миль; но ни просьбы, ни угрозы не подействовали; все отвечали, что смерть у них везде перед глазами и что они решились умереть здесь, а не в другом месте; целые двое суток не было ни у кого из нас ни куска хлеба, ни капли вина. С трудом уговорил я несколько солдат идти с нами, и только что перед рассветом мы собрались уходить, как вдруг показались неприятельская колонна с пушками и множество казаков.

Не успел я собрать наших людей, как роковое «ура» пронеслось по воздуху. Неприятель поставил у входа в деревню пушки, казаки окружили нас, а пешие солдаты начали зажигать дома, из которых открыли стрельбу. Наши солдаты, которые думали спастись, отдавшись в плен, были изрублены, а остальные погибли в пламени огня. Через час осталось нас только четверо...

*Пюибюск*

\* \* \*

Приблизительно на расстоянии часа от Красного мы увидели конные ряды русских и их артиллерию, расставленные по высотам, влево от дороги, на таком близком расстоянии, что мы с минуты на минуту готовились очутиться в плену. Нам нельзя было идти ни вперед, ни назад, ибо пред нами находилась впадина, по которой большая дорога проходила через ручей с мостом; артиллерия и всякие иные повозки застряли там, и русские, казалось, обратили преимущественное внимание на этот пункт, ибо туда направлена была отовсюду их артиллерия.

Тем временем наша кучка отсталых, состоявшая из офицеров и солдат всех наций, и притом в самом оборванном виде, возросла до 300 человек. Генералы фон Штокмейер и фон Кернер построили ее в ряды; у большинства в руках были палки, шомполы и иного рода дорожные посохи, которые они взяли на плечо, словно оружие. Я тоже спешил и примкнул со своею лошадью к правому флангу, чтобы несколько увеличить линию. Тем временем подвезли одну из наших пушек; но она настолько была завалена ранцами и тому подобным, что прошло немало времени, прежде чем ее подготовили к выстрелу, а когда она, наконец, вы-

палила, грохот оказался таким вялым и слабым, что кто-то заметил: «Совсем плохо наше дело, даже порох утрачивает силу, не только люди и лошади».

Когда и русские в свою очередь пустили в нас несколько ядер, храбрый генерал фон Штокмейер скомандовал: «Направо! С Богом! Вперед! Марш!» Тогда мы торопливо стали пробираться через дефиле, частью по мосту, а частью около него. Ручей оказался замерзшим. Но тут русские направили на нас и на мост удвоенный артиллерийский огонь; однако, большинство из нас проскочило благополучно и перебралось на другую сторону.

Миновав эту теснину, мы отошли вправо от дороги, потому, что она загромождена была повозками, и мы хотели уйти из-под огня русской артиллерии. Наш упавший дух настолько поднят был этим столь удачным предприятием\*, что мы, невооруженные, в этот вечер теснее примкнули к своим генералам и шли с ними, как стада за пастырями. Ночью мы благополучно добрались до Красного...

*Роос*

\* \* \*

От Смоленска до Красного не было ни одного жилья; все было сожжено на протяжении двадцати четырех верст. Земля была покрыта глубоким снегом, а мороз увеличился еще на два градуса. Войска, хотя и отдыхали иногда ночью несколько часов в лесах, по которым приходилось идти, очень страдали от голода и холода.

В этот маленький переход солдатам особенно пришлось искать убитых лошадей для пропитания; если же случилось, что какая-нибудь лошадь отставала, то ее тотчас же немедленно убивали и рвали на части почти живьем.

Горе животному, которое отставало на два шага от своего хозяина.

Дележ этой добычи доводил часто до драки людей всех состояний, даже женщины и те готовы были одолеть все препятствия, лишь бы получить свою долю.

---

\* Граф Сегюр, который в своей истории этой войны рассказывает все события в освещении, выгодном для его нации, приписывает этот храбрый подвиг французскому генералу д'Эксельману. Возможно, что генерал д'Эксельман также находился в нашей пестрой кучке и даже участвовал в обсуждении плана, но командовал в деле генерал фон Штокмейер.

Войско, сильно пострадавшее во время похода своего до Смоленска, потеряло еще значительное количество людей при переходе в Красный, главными причинами чего были голод и стужа...

В Красном мы надеялись достать провиант и пробыть там, по крайней мере хоть двадцать четыре часа, но и на этот раз наши надежды не оправдались.

На следующий день, 17 ноября, нас окружили многочисленные войска русских. Пришлось сражаться, во-первых, чтобы проложить себе путь к дальнейшему отступлению и, кроме того, нам надо было доказать врагам, что мы не так уж беззащитны, как они думают.

Однако только арьергард и старая гвардия в состоянии были выдержать это столкновение. Особенно гвардия билась с небывалой отвагой. Мы имели около двухсот раненых, которых я приказал перевести в Красный в госпиталь; и немедленно сам туда отправился, чтобы произвести операции тяжело раненым и подать пример остальным. Хотя в городе и оставалось порядочное число жителей, но по большей части это были евреи, и мы были лишены тех самых необходимых средств для лечения несчастных жертв; с огромными затруднениями мне удалось подать им первую помощь, но после нашего ухода им пришлось перенести много страданий. Не имея повозок в достаточном количестве, мы могли взять с собой очень небольшое число раненых.

Всех тех, кто не мог следовать за нами, разместили в городском госпитале, и я оставил при них врачей, чтобы продолжать их излечение\*.

После сражения необходимо было немедленно выступить в поход, чтобы избежать новой схватки и добраться как можно быстрее до населенных мест, где есть лавки и магазины.

Почти вся армия была без оружия и в полном беспорядке. Только одна гвардия, хотя уничтоженная почти наполю-

---

\* В такой опасности и при таких тяжелых обстоятельствах все в войске выказывали необыкновенное хладнокровие. Французские женщины, разделявшие с нами нашу судьбу и избежавшие несчастий при Березине, довели свою неустрашимость до того, что под выстрелами неприятельских пушек помогали нам перевязывать раненых. Директор Московских театров г-жа Бюссе, известная своим драматическим талантом, в особенности отличалась своим человеколюбием и храбростью, совершенно необычной для ее пола.

вину, имела еще при себе свое оружие и сохраняла дисциплину; и вот под защитой этих полков шли все отдельные отряды, так что неприятельские войска хотя и не переставали нас преследовать и тревожить, но все-таки держались приличной дистанции.

*Ларрей*

\* \* \*

Устав от ходьбы, я сел на пень около красивого, только что перед этим раненного канонира. Два санитары проходили мимо, я попросил их осмотреть рану. При первом же взгляде на нее они сказали, что надо сделать ампутацию руки. Я спросил тогда канонира, согласен ли он ее перенести. «Все, что угодно», — отвечал он гордо. «Но нас только двое, — сказали санитары, — чтобы сделать эту операцию, надо, чтобы вы, генерал, были так добры, помогли бы нам». Видя, что это предложение не особенно мне улыбается, они поспешили прибавить, что совершенно достаточно будет, если я позволю канониру опереться о мою спину во время операции, которой я не увижу. Тогда я согласился, принял должное положение, и я думаю, что мне это показалось дольше, чем самому пациенту.

Санитары вынули свою сумку с инструментами; канонир не проронил ни одного слова, ни вздоха; я слышал только легкий звук пилы, и через несколько секунд или минут после того они сказали мне: «Все кончено! Жаль, что у нас нет немного вина дать ему выпить для восстановления сил после волнения». У меня оставалось полфляжки малаги, которую я берег, выпивая только изредка по капле. Я предложил ее ампутированному, который был бледен и молчалив. Глаза у него тотчас же оживились, он опорожнил в один миг фляжку и отдал ее мне совершенно пустую. Потом сказав мне: «О, мне еще далеко отсюда до Каркасона», зашагал таким бодрым шагом, что я с трудом мог за ним следовать.

*Лежен*

\* \* \*

Остается еще несколько свидетелей довольно горячей сцены, разыгравшейся в ту ночь (между Смоленском и Красным) в моем присутствии.

Маршал Даву шел во главе остатков своей части армии. К нему подошел генерал, теперь член палаты депутатов, чтобы отдать отчет в исполненном им поручении. «Это еще не все, — сказал маршал, выслушав его, — теперь вы возвратитесь назад»... Тут генерал прерывает маршала: «С вашего позволения я не возвращусь назад». — «Как это?»

«Я команду бригадой и мое место впереди». — «Я вам приказываю повиноваться». — «Нет, я не стану... нет, г-н маршал». Даву, в бешенстве, велит вызвать роту саперов, спрашивает саблю упрямого генерала, ломает ее на своем колене и бросает ее обломки далеко в сторону, потом приказывает саперам взять генерала, который шел потом всю ночь между двойным рядом солдат.

*Монтиньи*

\* \* \*

Мы приводим здесь остроумный способ, употребленный генералом Ж., чтобы избежать крайней нужды, которой подвергались особы самого высокого ранга, и вместе с тем, чтобы обеспечить себе радушный прием на биваках, куда он приходил затем, чтобы провести ночь. У генерала Ж. не оставалось больше никого в бригаде; он потерял также своих лошадей, у его прислуги были отморожены члены, и из всего его багажа у него осталась (или он постарался сохранить) только большая кастрюля, которая сослужила ему такую службу, какую не могло бы выполнить все золото в мире. Он бережно охранял ее и носил постоянно с собой. Обладавшего этой скромной, но драгоценной утварью приглашали на перерыв те, у кого не в чем было сварить себе пищу; хозяина такого сокровища сажали на лучшее место, у огня, давали ему добрую часть содержимого в кастрюле, а на следующее утро возвращали ему ее, хорошо вычищенной; храбрый генерал вскидывал ее себе на плечо и продолжал свой путь без заботы об ужине и ночлеге, которые были ему всегда таким образом обеспечены.

*Бодюс*

\* \* \*

Накануне одной арьергардной битвы я прибыл в Красный в компании двух моих товарищей и Кольрейтера, главного врача нашей армии, которые ко мне присоединились.

Мы надеялись найти в этом месте подходящий ночлег, несмотря на сильный холод, должны были провести ночь на базарной площади, под открытым небом. Все дома были переполнены войсками. С трудом набрав дров, мы развели посреди площади большой костер и расположились вокруг него с намерением переночевать здесь.

Наш костер начинал распространять приятное тепло; мы удобно устроились на соломе, добытой с соседних крыш, и приготовились варить рис в большом глиняном горшке, добытом где-то одним из моих товарищей. Все предвкушали удовольствие поесть горячего, так как кроме черствых корок, оставшихся от раздачи провианта в Смоленске, ни у кого ничего не было. Пока варился рис, мы весело болтали, поглядывая по временам жадными взорами на желанный котел.

Вдруг по всем улицам маленького городка началось необыкновенное движение.

Пехотинцы, кавалеристы бежали опрومتью к Немецким воротам. Мы недолго оставались в неведении того, что происходило, так как крики «казаки!» понеслись со всех сторон. Затем последовал пушечный выстрел, которым казаки возвестили о своем прибытии. Ядро упало посреди площади, в двух шагах от нашего бивака. Разумеется, было не до риса. Пришлось опрокинуть горшок, взвалить на спину принесшему его и привязать веревкой. Уцелевшие части нескольких французских полков соединились и двинулись навстречу неприятелю, который продолжал угощать нас пушечными выстрелами; между тем как мы, беззащитные, поспешили достигнуть противоположных ворот, чтобы избежать, насколько возможно, столкновения с «господами казаками». Правду сказать, казаки на этот раз не были одни; их поддерживала регулярная кавалерия, задача которой была не только настигнуть нас, но и сделать разведки. Более важные сражения были даны в Красном в последующие дни (16, 17, 18 ноября), но нас там не было.

Я вновь потерял моих товарищей и был опять один, с главным доктором, о котором я говорил выше. Все кругом было загромождено фургонами, артиллерийскими повозками и отдельными кавалеристами и пехотинцами, и я рисковал каждую минуту быть раздавленным. Едва мы достигли ворот, как были неожиданно остановлены. Мы должны

были проходить мимо местной церкви; под церковным порталом стоял человек громадного роста, в большой синей шинели и в шляпе, обшитой галуном.

Этот человек, — всего вероятнее, французский штаб-офицер или генерал, — останавливал прохожих и обращался к ним с воззванием, приглашая соединиться вокруг него, поддерживать честь французской армии и защищать от этих варваров церковь в Красном. Он хотел дать нам ружья, но мы поблагодарили его за такую деликатную внимательность, менее всего думая терять время на защиту этой церкви. Так или иначе, она непременно должна была достаться русским. Кроме того, не вюртембержцам, было затворяться в церкви, чтобы сдаться затем в русские руки. Итак, мы с поспешностью стали продолжать свой путь.

Но это продолжалось недолго. Немного спустя пришлось идти *piano* (тихо) и *pianissimo* (совсем тихо).

Улица, идущая от церкви к воротам, и без того очень узкая, была загромождена экипажами, так тесно следовавшими друг за другом, что бедным пехотинцам стоило невообразимых усилий пробиться между ними. В довершение всех бед на самой дороге опрокинулся фургон вестфальского армейского корпуса и вывалил на землю свое драгоценное содержимое, к которому никто и не думал прикоснуться. Это были старые корпусные бумаги, тюки актов и белой бумаги, переплетенные тетради, регистры, книги приказов и рапортов, военные планы и т.п. Все это валялось в беспорядке, и никто не думал о том, сколько бесчисленных неприятностей может доставить потеря этих бумаг какому-нибудь полковому квартирмейстеру или чиновнику казначейства NN в день проверки и приведения в порядок счетов.

Если бы русские в этот момент проникли в город, им не стоило бы большого труда в одной этой улице захватить я не знаю сколько тысяч людей, которые не оказали бы им ни малейшего сопротивления.

Несмотря на все эти препятствия, мы все-таки достигли выхода. Перед нами расстилалась широкая равнина, вся покрытая толстым слоем снега, окаймленная на горизонте березовым лесом. Наступила ночь, но луна так великолепно освещала этот прекрасный пейзаж, что можно было подумывать, что был белый день.

Есть воспоминания, которые не изглаживаются никогда. Так и теперь еще, когда зимой я выхожу из дома, и луна освещает закрытые снегом поля, я не могу удержаться, чтобы не сказать: вот вечер, как в Красном.

Но оставляя в стороне красоту пейзажа, эта ночь была одной из самых ужасных ночей, какие я провел в России после нашего ухода из Москвы. Дорога была запружена бесчисленными беглецами, которым посчастливилось прибыть раньше нас, и мы были принуждены идти по самой равнине, увязая по колени в снегу. Ни дров, ни огня, ничего съестного. На что был мой рис, если не было возможности сварить его? Нечего было и думать прилечь — нас очень скоро занесло бы снегом.

Все окружавшие меня единодушно говорили о невозможности оставаться до следующего дня в подобном положении. Но что было делать? Самое простое было идти по дороге до ближайшей деревни, чтобы раздобыть топлива. Но для этого надо было пройти через березовый лес, а все были уверены, что там засели казаки, хотя до сих пор еще никто их там не замечал. Удивительно, какой панический ужас наводило одно имя этих верзил на отступающих! Всякое несчастье, которое случалось с тем или другим из нас, приписывалось казакам, хотя у них только и было ужасного, что их бороды.

Если, например, прибыв в деревню, мы находили дом, объятый пламенем, — поджог тотчас приписывался казакам, хотя по большей части эти пожары происходили от небрежности отступающих, которые во время кратких своих остановок разводили громадные костры и, уходя, оставляли их, не заботясь о последствиях. Кавалерист, заснувший с поводьями в руках, проснувшись и не найдя своей лошади, не задумываясь, говорил на казаков, что это кто-нибудь из них увел его лошадь, но никогда не думал на своего соседа. Мародеры, бродившие по деревням для грабежа, часто попадались в руки крестьянам, шатавшимся с флангов и с тыла армии; последние раздевали и забивали их, — и эти несчастные, догнав нас, жаловались с плачем, что их ограбили казаки.

Как же нам было выйти из плачевного этого положения?

Ежеминутно ставился этот вопрос, и никто из нас не находил на него удовлетворительного ответа.



Наконец, Кольрейтер принял смелое решение и предложил мне вместе с ним его исполнить.

— Что вы скажете, — обратился он ко мне, — если мы, несмотря на все, что говорят про казаков, двинемся вперед и поищем деревни по ту сторону леса? Я убежден, что там еще ничего не знают о тревоге, которая произошла в Красном, и мы во всяком случае найдем себе убежище, более удобное, чем эта пустынная равнина.

Предложение это показалось мне очень рискованным. На самом деле надо было углубиться в лес, размеры которого нам были неизвестны и который мог скрывать в себе множество врагов. Мы не могли бы даже защищаться, так как все наше оружие заключалось в несчастных маленьких шпагах, но что это перед пиками казаков! Итак, подумав минуту, прежде чем решиться на это предложение, я согласился только для того, чтобы не выказать меньше смелости, чем ее было у моего спутника, способного больше владеть ланцетом, чем шпагой.

Признаюсь, в начале этого предприятия, которое могло закончиться смертью, я чувствовал себя не совсем по себе. По мере нашего удаления шум бивака, в котором мы покинули несколько сот наших товарищей по несчастью, стихал, и немного спустя мы больше ничего не слышали, кроме глухих звуков собственных шагов по мерзлой земле. Вскоре мы дошли до опушки леса, пересекли ее, и нашим глазам предстала одна из поразительнейших картин, какие возможно встретить, по крайней мере из всей Европы, в одной России. Вообразите большую дорогу, вдвое шире наших германских дорог; направо и налево — густой березовый лес; почва и деревья покрыты сверкающим белым снегом, и все это а гюгно освещено луной; зрелище поистине феерическое. Мы боимся произнести слово, чтобы не выдать своего присутствия, как вдруг раздается пронзительный крик: «Боже мой! Боже мой!» В то же время мы замечаем, на некотором расстоянии впереди нас, двух людей, которые суетсяя вокруг третьего, лежащего на земле. Подойдя ближе, мы увидели двух русских крестьян, вооруженных громадными дубинами. Мы обнажили шпаги. Человек, лежащий на земле, был французский пехотинец, совершенно пьяный. При виде нас двое русских сделали вид, что помогают подняться пьяному, несмотря на разные дру-

жеские имена, которыми они его называют, последний не мог встать на ноги. «Милый братец», — говорили они, но милый братец был так пьян, что падал тотчас же опять, как только его приподнимали. Среди его пьяной икоты можно было разобрать: «Боже мой! Боже мой!».

Я сильно сомневаюсь, чтобы оба крестьянина продолжали подвиг самарянина и после нашего ухода; всего вероятнее, они это делали, испугавшись нашего появления, с нашим же уходом, наверное, продолжали свою грабительскую работу, а может быть, и отправили его к праотцам. Да мы и не могли помочь собрату в этом случае, так как, повторяю, он был совершенно не в состоянии идти за нами; с другой стороны, мы не хотели жертвовать собой ради пьяницы.

Перед тем как удалиться, я просил знаками двух крестьян получше обойтись с этим человечком и, чтобы расположить их в его пользу, предложил им выпить из фляжки, в которой была еще водка. Они поднесли ее к своим губам и вернули мне ее, низко кланяясь. Едва мы двинулись в путь, как Кольрейтер осыпал меня жестокими упреками.

— О чем вы думали? — говорил он мне. — Как могли вы проявить такую неосторожность? Без всякой причины вы показали крестьянам, что у вас есть бутылка водки. Разве вы не знаете, как они любят водку? Ведь это нектар для них! Чтоб достать водки, они готовы на все и пренебрегают всякими опасностями. Вы увидите, что поплатитесь за это! Дай Бог, чтобы мы отделались этой проклятой бутылкой водки!

Положительно я не узнавал храброго Кольрейтера. Перед этим он был так решителен и стоек, что я никогда не думал, чтобы он мог так струсить. В конце концов он был прав, но нельзя было пренебрегать и моими доводами, которые я мог привести в защиту моей щедрости. Прежде всего я хотел их умаслить и расположить к французу. Потом я так был доволен, что их было только двое, а не шестеро, что рад был угостить их. Вообразите только, если бы их было полдюжины! Очень возможно, что мы в последний раз любовались бы луной.

Уже прошло несколько часов, как мы возобновили наш путь, и конца леса не было видно. Мертвая тишина царила

вокруг. Наше положение все больше нас удручало и беспокоило, так как силы наши исчезали.

Вдруг послышался стук колес. Это были многочисленные повозки, но кто был с ними — французы или русские?

Несколько мгновений мы оставались в большом волнении, недоумевая, что делать: идти вперед, отступать или кинуться в лес, несмотря на снег. Во всяком случае нам недолго пришлось раздумывать; экипажи скоро приблизились настолько, что мы отчетливо слышали французский говор. Значит, мы встретили друзей и решили идти навстречу им. Немного спустя мы наткнулись на передовой обоз артиллерии. Начальник его, офицер, после обычных приветствий, спросил, как дела в армии. Мы ему ответили, что армия в полном отступлении, в чем завтра утром он убедится собственными глазами. Со стороны офицера последовал возмутительный ответ. Он объявил, что не верит ни одному нашему слову, так как получил приказ везти эти орудия в Смоленск. Мы его уверяли, что, если он будет следовать по этому направлению, русские возьмут и его и орудия. Тогда он холодно откланялся, сказав: «До свидания, господа».

Перед тем как расстаться, мы спросили, скоро ли кончится лес? «Полчаса ходьбы», — сухо ответил он. Этот человек не хотел понять, как могла отступить его армия. Я несколько раз потом вспоминал об этом и спрашивал себя, как далеко он мог уйти вперед и спас ли он свои орудия.

Как бы там ни было, этот товарищ, которому так не нравились наши известия, оказал нам важную услугу, сообщив, что мы скоро выйдем из леса. В самом деле, темная масса леса мало-помалу делалась светлее, и мы испытали большое облегчение при виде опушки леса.

Я не знаю более неприятного чувства, чем то, которое испытываешь ночью, в неприятельской стране и в лесу, размеры которого неизвестны. Кроме того, сознание своего одиночества, в случае опасности — отсутствие всякой помощи; одним словом, мы были очень рады, когда через полчаса вышли из леса.

Только что мы вышли на опушку леса, как заметили налево от дороги деревню, ярко освещенную многочисленными огнями биваков. Очевидно, там были войска. Вопрос был только: французы или русские. Принимая во внимание

относительное положение армий, и то и другое было возможно. Однако, казалось совсем невероятным, чтобы неприятель успел настолько опередить нас. Нас брало сомнение, и мы замедляли шаги по мере приближения к деревне. Но вскоре мы успокоились; приблизившись еще несколько, мы могли различить отрывки немецкой речи. Это придало нам храбрости. Мы ускорили шаг и вскоре очутились среди компатриотов, которые были в карауле перед лагерьем с этой стороны. Это были люди рослые, крепкие солдаты, еще сытые и хорошо одетые. Сразу было видно, что они только что прибыли в Россию и еще не испытали тягот и лишений, которые выпали на нашу долю. Они указали нам на блестяще освещенный дом и сказали, что это квартира их начальника. Этот штаб-офицер, которому мы поспешили представиться, принял нас очень любезно.

Он был занят заготовкой печеного хлеба для своего отряда. От этого продукта и от всего, что связано с его приготовлением, мы успели уже давно отвыкнуть. Я и мой товарищ не подумали поэтому просить его снабдить нас мукой. Мы были слишком счастливы, получив каждый по куску хлеба, который при этих обстоятельствах показался нам превосходным. Потом гессенский офицер приказал приготовить нас подстилки из соломы в своей теплой избушке. Нетрудно представить себе удовольствие, которое мы испытали, растянувшись на мягких подстилках. С нашего отъезда из Смоленска, в 15—16-градусный холод, мы ни на минуту, ни днем, ни ночью, не имели пристанища.

Расположившись в свое удовольствие, мы должны были затем «заплатить по счету», то есть рассказать нашему товарищу, что происходило по ту сторону леса и в предыдущие дни.

Улегшись около большой русской печи, хорошо нагретой, мы непринужденно болтали, в продолжение доброго часа по меньшей мере, с нашим гостеприимным хозяином. Невозможно сказать, какими счастливыми мы чувствовали себя после всего, что мы выстрадали в эти дни.

Из нашего разговора выяснилось, что мы были первыми вестниками несчастья. Кроме пьяного француза, встреченного нами в лесу, никто еще не приходил по эту сторону леса, чтобы известить о злополучии Великой Армии.

На другой день утром мы дружески пожали руку гессенскому офицеру, благодаря его за радушный прием; затем мы отправились в путь к границе этой негостеприимной страны. Начиная маршалом Франции и кончая простым барабанщиком, самое страстное желание всех было достигнуть как можно скорее этой границы. Только об этом и думали и говорили все как на походе, так и во время остановок.

*Фон Зукков*

## ***Бой под Красным***

Говоря о бое под Красным, уместнее было бы употребить слово «битвы». Действительно, 16 ноября французская армия была еще разбросана в виде четырех отдельных корпусов. Эти корпуса выступили из Смоленска один за другим через промежутки в один день; сражение происходило на обширном пространстве в 40 верст с лишком. Одновременные сражения этого дня были отчасти не связаны друг с другом. Главный и решительный пункт борьбы находился за местечком Красным, где пребывал император, окруженный своей старой и молодой гвардией. Этой последней была поручена главная задача задержать армию Кутузова, которая, следуя за нашей армией и соприкасаясь с нею, приблизилась передней колонной к нашему авангарду.

Император пробыл несколько дней в Красном в ожидании прибытия корпусов вице-короля, Даву и Нея, вышедших один за другим из Смоленска, через промежутки в один день. Вице-король присоединился к нам первый. Корпус маршала Даву, следовавший за ним, сначала сражался самостоятельно с храбростью, оказанной им в течение всей кампании, потом присоединился к нам в виду Красного, куда он пришел среди дня. Он прошел через город и расположился невдалеке от нашего лагеря, немного позади позиции, занимаемой Наполеоном; так как в это время император со своей старой гвардией продвинулся до Ляд по дороге к Зембинскому дефиле, где было необходимо опередить русских. Действительно, в этом месте на большое пространство растянулось болото и тянулись деревянные мосты, которые мог бы сжечь отряд в пятьдесят кавалеристов.

Ввиду обширности и сложности хода сражения я ограничусь описанием битвы, в которой участвовал корпус молодой гвардии, которому было поручено остановить неприятеля и охранять войска, выступившие за Красный.

Накануне атаки, которую, по-видимому, собиралась предпринять русская армия, Наполеон решил напасть на нее ночью, неожиданно повернув назад.

Одному из генералов корпуса герцога Тревисского, бесстрашному генералу Роге, было поручено произвести это нападение. Во главе четырех батальонов он приблизился к русскому лагерю, неожиданно атаковал бивачную линию и с полным успехом выполнил свою задачу. До наступления дня он удалился в пределы французской линии, оставив русских изумленными такой смелостью и уверенными, что мы сосредоточили в этом пункте большие силы, способные решительно отразить нападение, так как мы решились на наступление. Это ночное сражение имело большое значение для следующих битв. Главнокомандующий Кутузов, собравший в этом пункте большие силы, не мог предположить, что корпус молодой гвардии, нанеся ему такой смелый удар, не превышал шести тысяч человек, включая действующую с ней вместе бригаду принца Эмиля Гессен-Дармштадтского.

Император, прежде чем покинуть Красный со своей старой гвардией, сказал герцогу Тревисскому:

— Дорогой маршал, я оставляю вас здесь с полным доверием. Вы будете атакованы авангардом русской армии; прошу вас оказать ему сопротивление как можно дольше. Я буду вам благодарен за каждый выигранный вами лишний час.

Герцог Тревисский отвечал:

— Ваше Величество, я задержу неприятельскую армию на нынешний день.

И он сдержал слово.

Мы были готовы до рассвета; мы пошли навстречу русским и заняли наши позиции. С самого начала битвы один из наших самых доблестных генералов понес тяжелую утрату: брат генерала Бертезена был смертельно ранен рядом с ним.

Герцог Тревисский поручил части своего войска выдерживать первый натиск врага. Он тщательно выбрал позицию для батальонов, поставленных в передней линии.

Поле битвы представляло обширную равнину, покрытую снегом и пересеченную параллельно нашему фронту длинным и глубоким оврагом, какие часто встречаются в этой местности и напоминают русло высохшей реки.

По дну Лосминского оврага и сейчас течет узкая речка, давшая ему название. На очень крутом берегу этого оврага, тянувшегося до бесконечности, были расположены налево бригада гессенцев, состоявшая только из пятисот или шестисот человек, в центре два полка такой же силы — 1-й полк вольтижеров и 1-й полк стрелков, затем направо батальон голландских гренадеров.

В версте расстояния, почти параллельно этому оврагу, растянулась наша боевая линия, правый фланг которой опирался на Красный.

Герцог Тревисский, его штаб, его конвой красных гвардейских улан и его эскадрон португальской кавалерии, под начальством маркиза де Луле, находились впереди этой длинной и узкой линии пехоты, фронт, которой мы чрезмерно растянули, поместив солдат в два ряда вместо трех.

Таким образом мы противопоставляли неприятелю боевую линию, удлинненную на одну треть, но ослабленную в той же пропорции, на случай рукопашной схватки. Неприятель не воспользовался нашей смелой стратегией и даже не заметил ее вовсе во время битвы, потому что он ограничился тем, что усиленно обстреливал эту узкую линию, окаймлявшую далекий горизонт. Генерал Делаборд со своим штабом присоединился к штабу герцога Тревисского.

В таком виде представилось мне первое правильное сражение, которое мне пришлось отчетливо наблюдать. Оно открылось очень сильной пушечной пальбой. Неприятельские ядра и гранаты, попадая прямо или рикошетом, производили большие потери в наших рядах.

Русские, рисовавшиеся вдали темными массами, выдвинули с утра тридцать орудий, число которых впоследствии удвоилось.

Наши молодые солдаты в первый раз слышали пронзительное шипение ядер и более сильный шум, производимый разрывающимися гранатами.

Наш старый генерал проходил вдоль фронта, говоря:

— Ну, дети, давайте поднимем носы, чтобы в первый раз понюхать пороху.

Радостные клики встречали эти слова.

Огонь русских батарей все усиливался; он был в особенности направлен на слабые полки, поставленные впереди нас для прикрытия и для того, чтобы не позволить русским перейти через осминский овраг. Они были тут, по меткому выражению одного из наших старых капитанов, костью, брошенной нами неприятелю, чтобы дать ему что погрызть.

В самом разгаре битвы генерал галопом переехал через равнину и встал в центре бригады гессенцев, на которых в это время был направлен огонь неприятеля, слева мы слышали пушечную пальбу генерала Даву. С утра наш командир объявил нам, что предстоит серьезное дело, и я приготовился к нему. В порыве безрассудного и во всяком случае бесполезного рвения я снял для этого великого дня свою теплую лисью шубу и отдал ее на хранение верному Виктору. Я действительно думал, что, будучи предназначенным для исполнения обязанностей адъютанта, которые мне предстояли в этом сражении и мысль о которых радовала меня, я буду более проворным при передаче приказаний и более легким для лошади, которую надо было беречь.

Это не была уже лошадь бедного дю Брейля. Фигаро украли у меня за несколько дней до этого, и я купил прелестную серую кобылу, носившую имя Гризельды. Она была захвачена одним из наших гусарских полков.

Таким образом Гризельда быстро примчала меня к нашему генералу. Я последовал за ним, когда он стал объезжать бригаду принца Эмиля Гессенского. Пушечные выстрелы ежеминутно вырывали из строя его солдат. Молодой принц, которому было тогда двадцать лет\* и который отличался геройскою храбростью, был окружен убитыми и ранеными. Когда генерал Делаборд подъехал к нему, он в промежуток между двумя залпами картечи воздал хвалу этому немногочисленному отряду.

— Поздравляю Ваше Высочество, — сказал он, — с храбростью ваших солдат и благодарю за удержание важного поста.

— Вы видите, генерал, — отвечал принц, — что я теряю много людей.

---

\* Впоследствии он был австрийским фельдмаршалом.



— Наши французские войска страдают не менее наших союзников, полное равенство на поле битвы — наша постоянная привычка. Справа от вас два полка молодой гвардии защищают выступающий пост.

— Мое замечание не было жалобой, генерал, — благородно возразил принц Эмиль, — мои солдаты будут продолжать выполнять свой долг.

— Я в этом не сомневаюсь и еще раз благодарю Ваше Высочество. К тому же время идет, наша задача будет скоро выполнена.

Было необходимо дать знать этим союзным солдатам, что французские войска не сберегались на их счет. Гессенцы удержались на своей позиции в течение всей битвы.

Мы проехали с генералом Делабордом вдоль гребня оврага, обозначавшего выдающуюся часть нашей линии, где с утра находились упомянутые мною полки, затем мы возвратились к нашей второй линии.

Было около четырех часов вечера, начало темнеть. Время года способствовало сокращению этого дня, каждую минуту которого имел право считать герцог Тревисский.

Русская армия, наконец, решилась двинуться вперед. В эту минуту при тусклом свете угасающего дня она с ожесточением атаковала один из полков молодой гвардии — первый полк вольтижеров, находившийся у оврага.

Тогда герцог Тревисский сказал генералу Делаборду: «Генерал, эти храбрые войска достаточно пострадали. Я не хочу вполне пожертвовать ими. День подходит к концу. Мы выполнили намерение императора. Пошлите адъютанта приказать этому полку отступить». Это приказание было исполнено; окровавленные отряды этой части придвинулись к нам; пушки и кавалерийская атака истребили из него две трети.

Но еще более печальная судьба ожидала другой полк молодой гвардии — первый полк стрелков, который занимал еще более отдаленную позицию. Вскоре мы убедились, что все усилия неприятеля сосредотачивались на этом одиноком отряде.

Сначала послышалась частая пушечная пальба — это полк засыпает картечью, чтобы заставить его сдвинуться с места, потом начинается ружейная стрельба долгими перекатами. Мы ясно различаем голоса наших двадцатилетних ново-

бранцев, обычный их боевой крик, крик преданности государю, смешивающийся с криками «ура» нападающих; затем следует мгновение мрачного молчания.

— Неужели они погибли? — спрашиваем мы себя с мучительным беспокойством.

— Нет, вот они опять все кричат с усиленной энергией: «Да здравствует император!» Они хотят дать нам знать изда-лека, что они еще живы, что они снова отразили нападение.

Но наши начальники взволнованы. Они предвидят, что этот героический отряд будет истреблен более сильным неприятелем.

— Храбрые юноши, бедные дети! — говорит наш старый генерал. — Они снова отразили неприятеля.

— Пора приказать им отступить, — отвечает маршал Мортье. — Поспешите, генерал, пошлите им приказ отступить.

Офицер, которому поручено передать этот приказ, тот-час же пускается в путь. Он подъезжает к краю оврага и едет затем вдоль правой его стороны. В то время как он проезжал через эту обширную равнину, была произведена новая атака, новая канонада. Он направляется к тому мес-ту, где дым сражения едва виднеется в вечерних сумерках.

Он подъезжает, но было уже слишком поздно. Крики, отдаленные выстрелы были еще слабо слышны; несколько групп, образовавшихся там и сям, сопротивлялись казакам и новгородским драгунам, эскадроны которых еще кида-лись на солдат, большею частью раненых, уцелевших от полного истребления их полка. Офицер обращается к пору-чику с окровавленным лицом, раненному в голову саблей:

— Где находится первый полк стрелков?

— Его больше нет; неприятель преследует только от-дельные группы несчастных беглецов, которые защищают-ся против кавалеристов.

Выстрелы, раздававшиеся вдали, были только отголос-ком этих последних усилий отчаяния. 1-й полк стрелков был принесен в жертву необходимости. Надо было задер-жать русскую армию на этой позиции по крайней мере на один день, этого требовало спасение армии.

Вот отрывок из книги графа Филиппа де Сегюра, кото-рый так описывает эту горькую жертву: «Голландские гвар-дейцы, потеряв треть людей, были принуждены оставить

важный пост, с которого русские тотчас открыли артиллерийский огонь. Роге, изнемогая под этим огнем, вознамерился потушить его. Полк, высланный сначала, был отброшен. Затем 1-й полк стрелков вторгся в середину русских войск. Он отразил две кавалерийские атаки и подвигался еще вперед, истерзанный картечью, когда последняя атака доконала его».

Мы оставили только при наступлении ночи эту снежную равнину, обрызганную кровью молодой гвардии: русские после отступления гессенцев, гибельной участи двух французских полков и потерь, понесенных голландским батальоном, который храбро сражался на крайнем правом фланге, перешли наконец через Лосминский овраг.

Их массы продвинулись вперед и их бесчисленная артиллерия, подъехав ближе, произвела большие опустошения в наших рядах.

Филипп де Сегюр так описывает последние мгновения битвы под Красным:

«Мортье приказал тогда этим полкам отступать шаг за шагом ввиду столь очевидного превосходства неприятеля.

— Слышите, солдаты! — воскликнул генерал Делаборд. — Маршал приказывает идти учебным шагом. Учебным шагом, солдаты!

И этот доблестный и несчастный отряд, увлекая за собой некоторых из своих раненых, под градом пуль и картечи медленно отходит с поля битвы, точно находясь на манаеврах».

В это время генерал Делаборд поместился со своим штабом при входе в город, чтобы ободрять и направлять своих солдат, которые защищали вход в город. Я шел с последними частями, которые проходили через Красный. Неприятельские ядра, попадая на очень близком расстоянии пронизывали деревянные стены домов этого маленького городка и убили нескольких солдат из нашего арьергарда. Некоторое время спустя стрельба началась на главной улице, и в эту минуту я встретил Виктора, отставшего барабанщика, подвергавшегося огню неприятеля, подобно нашим самым храбрым пехотинцам. Он ждал меня все это время, чтобы передать мне шубу, которую он не хотел оставить. Храбрый и верный юноша шел пешком с этой меховой шубой, волочась за ним. Он мог бы идти с головой

колонны, где он не подвергался бы никакой опасности, но из преданности своему хозяину он дождался до конца этого дня и находился добровольно на самом опасном посту. Как только он меня увидел, он радостно вскрикнул и сказал мне, смеясь:

— Скорее, г-н поручик, возьмите вашу шубу, я не поспею за арьергардом, а надо идти очень скоро, чтобы не остаться позади!

— Бедный мальчик! Сколько беззаботной веселости в такую минуту!

Не связанный ни дисциплиной, ни корпоративным духом, он оставался так долго под действием неприятельского огня в этом месте, откуда он видел дефилирование последних батальонов арьергарда, которые вели офицеры, последних групп пехотинцев, соединявшихся вместе, ободрявших и поддерживавших друг друга, перелезая через деревянные заборы города Красного, стреляя в неприятельскую кавалерию.

Только что прошла молодая гвардия, унося своих многочисленных раненых, но мой верный слуга еще не видел меня и ждал, чтобы передать мне то, что я оставил ему на хранение. Признаюсь, я был удивлен и тронут, когда посреди двух десятков солдат, стрелявших по неприятельским разведчикам, которые приблизились на тридцать шагов, я узнал моего маленького парижанина. Я едва успел сойти в лошади, чтобы освободить его от меховой шубы, мешавшей ходьбе.

Ночь мало-помалу положила конец нашим битвам, и, как только мы пошли через Красный, нас больше никто не тревожил. Я поблагодарил тогда Виктора за его преданность.

— Нечего сказать, хорошо было бы, если бы я удрал с вашей шубой, — отвечал он мне решительным тоном детей нашей столицы.

Затем он рассказал мне, что с того места, где я встретился с ним, он наблюдал за ходом всей битвы.

— Я видел, как вы скакали по равнине перед фронтом молодой гвардии, — сказал он. — Я узнал вас издали по Гризельде.

Вечером этого дня император дошел со своей старой гвардией до Ляд.

Наш корпус расположился позади на расстоянии одного лье. Император выразил герцогу Тревисскому всю похвалу, которую он заслужил.

Сражения под Красным показали неприятелю, что армия, которая отступала перед ним, была еще страшна, но с этого времени каждый день похода ослаблял нас как вследствие смерти наших солдат, так и вследствие все увеличивающегося рассеяния полков.

*Бургон*

\* \* \*

15-го к вечеру я прибыл в Красный.

Наполеон, который только что прибыл туда, дал мне приказ квартировать мои войска в предместье города...

Дефиле Красного были из наиболее благоприятных для остановки отступающей армии. Через глубокий овраг с отвесными берегами вела к узкому мосту жесткая дорога, идти по которой было особенно затруднительно вследствие гололедицы.

Там нагромодились, смешавшись между собой, множество экипажей и значительная часть обозов. Переход конницы затруднялся другими расстроенными частями. Император сошел с дороги в сторону и, собрав вокруг себя офицеров и унтер-офицеров старой гвардии, сказал им, что не увидит в этом беспорядке шапок своих гренадеров.

— Я рассчитываю на вас, как и вы можете рассчитывать на меня при совершении великих дел.

Благодаря этой речи, они держались вместе до конца.

Оставшись на большой дороге, Наполеон ожидал маршала Нея. Он узнал о приближении русской армии. Корпус Ожаровского, расположившийся около Красного, угрожал слева от дороги в Малеево.

Евгений, Даву и Ней оставались позади в неприятном положении, потеряв сообщение между собой.

Наполеон велел тотчас же позвать Раппа.

«Пусть Роге отправляется сию же минуту, — сказал он, — и в темноте атакует русских в штыки. Эта пехота обнаружила впервые столько дерзости; я заставлю ее рассказывать в этом ...что она не посмеет больше подходить так близко к моей главной квартире».

В девять часов вечера я получил этот приказ и, кроме того, приказ внезапно овладеть деревнями: Широково, Малеево и Буяново, находившимися на расстоянии приблизительно в одну версту по дороге из Смоленска в Красный и занятых на протяжении четырех тысяч сажен значительными силами пехоты, артиллерии и казаков. Я судил о позиции неприятеля по направлению его бивачных огней: деревни находились на вершине красивого плато, позади глубокого оврага. Я выстроил три колонны для атаки на них; правая и левая подошли без шума на возможно близкое расстояние к неприятельским полчищам; затем по сигналу, данному мною из центра, они бросились на русских в штыки и стреляя. Оба крыла тотчас же вступили в бой около Буянова и Широкова.

Была полночь, и мороз был так велик, что русские прятались в своих убежищах. В то время как они, будучи схваченными врасплох и не зная, где сосредоточить оборону, передвигались от правого крыла к левому, к часу ночи я напал на их центр находившийся между Буяновым и Малеевым; смешавшись с ними, мы проникли в середину их лагеря.

Русские, которые были разъединены и приведены в беспорядок, успели только побросать свое оружие и пушки в озеро, находящееся при истоках ручья Красного.

Я не считал полезным в темноте далеко преследовать беглецов: я удовольствовался нанесенными им большими потерями и провел ночь победителем на поле сражения, среди разбросанных куч неприятельских тел. Удар этот остановил на сутки движение русской армии; он дал императору возможность пробыть день в Красном, а принцу Евгению соединиться с ним в ночь с 16-го на 17-е.

...16-го утром, во время рекогносцировки, я заметил на вершинах нескольких соседних холмов многочисленного неприятеля; я приказал своей дивизии вооружиться и двинулся на русских, но последние начали отступать в виде полукруга по мере того, как мы к ним приближались. Убедившись в том, каковы их планы, я вновь занял позицию, откуда мне было удобно получать приказы и выполнять их.

...Однако 16-го ночью я был отозван маршалом Мортье на дорогу за Красный по направлению к Катову. Я должен был облегчить движение объединенных корпусов под на-

частьством двух маршалов, которым русские надеялись отрезать отступление. Я успел прибыть вовремя. Неприятель пересек глубокими колоннами наискось деревню Малеево, которую я перед этим очистил, и все более растягивался по ту сторону нашего правого крыла с намерением нас окружить.

Начался бой, бой ужасный. Мы должны были защищаться и вырвать у русских отделившиеся части, без надежды на те непредвиденные удары, которыми Наполеон возвращал назад свое бывшее счастье.

Сильным натиском русские могли нас раздавить; но престиж нескольких побед, огромная слава, а также и гвардия, силу которой они только что испытали, внушали им страх. Они полагали, что можно уничтожить этот резерв одними лишь пушками, сделали большие опустошения в рядах молодой гвардии, но убивали, не победив...

Полк под командою Мортье и Делаборда находился в продолжение трех часов под смертельным огнем, не делая ни одного движения для того, чтобы избежать его, и не имея возможности отплатить тем же. Он лишился части своих пушек, которые отныне везли на себе сами артиллеристы; русские же держались на расстоянии ружейного выстрела. С каждым мгновением неприятель усиливался, тогда как силы Наполеона истощались; пушечные выстрелы и генерал Клапарэд предупредили его, что у него в тылу, за Красным, Беннигсен овладел дорогою в Ляды.

Восток, юг и запад горели от неприятельских огней. Свободно оставалась лишь северная, днепровская сторона, по направлению к холму, возле которого на большой дороге находился император; но и она покрылась вдруг батареями, почти в упор. Император взглянул туда.

«Пусть один из моих стрелковых батальонов овладеет ими», — сказал он. Потом взор его обратился на опасную позицию Мортье. Тогда явился Даву, рассеивая перед собой целое облако казаков; его войско, на наших глазах, бросилось, чтобы опередить правое крыло неприятельской линии и соединиться в Красном.

После нескольких славных схваток, в которых участвовали батальоны старой гвардии, 17-го, утром, Наполеон решил, что его арьергард не может более защищаться в Красном; Ней, быть может, еще в Смоленске; неприятель

же выступает со всех сторон и достиг уже Ляд; следует подумать об отступлении корпусов, которые уже прошли. Император приказывает Даву и Мортье продержаться в Красном до ночи, медленно удаляется с поля битвы, к десяти часам проходит через Красное, где и останавливается еще раз, и пробивается со своей старой гвардией к Лядам. Моя дивизия заняла только что покинутое им место; но в тот же момент голландские гвардейцы потеряли вместе с третью своего состава позицию, которую неприятель тотчас же занял сильной артиллерией. Русские по-прежнему занимали деревню на возвышенности, откуда они обстреливали дорогу, по которой должны были пройти оставшиеся в тылу корпуса.

Чувствуя, что их огонь вырывает у меня целые ряды и считая возможным прекратить его, я намеревался приложить усилия к тому, чтобы захватить позицию и продержаться как можно дольше на дороге, где с таким нетерпением ожидали Нея. Я двинул полк фланкеров. Этот бесстрашный полк не мог, однако, ничего сделать, и дивизия продолжала обстреливаться неприятельскою артиллерией. Тогда я приказал выступить стрелкам, которые неудержимым порывом пробились сквозь более многочисленные силы неприятеля. Полк русских кирасир двинулся, чтобы зайти им сбоку; они принуждены были образовать каре.

Положение становилось более критическим: моя артиллерия отступала за неимением боевых запасов; войска мои были окружены все более и более сжимавшимся кругом огня; в деле приняли участие новые толпы неприятельской конницы. Приказ о том, чтобы выиграть время, был более чем выполнен: я решился, наконец, отступать эшелонами, полк фланкеров, менее подвергшийся опасности, защищал движение с другой стороны.

Полковник фланкеров, видя, что стрелки его сильно схватились, отчаялся в возможности их поддержать и начал отступать. Это было ошибкой, последствия которой я хотел остановить, приказав следовать за собой гренадерским фюзелерам.

Я быстро двинулся к фланкерам, остановил их под огнем, который их крошил, и послал инженерного капитана Люкотта, своего адъютанта, чтобы ускорить отступательное движение стрелков. Капитан с большим трудом выпол-



нил это поручение, стрелки были отрезаны и окружены русской конницей.

Воспользовавшись одним отраженным нападением, Люкотт бросился в середину каре, уже значительно ослабленного атаками, огнем сильной батареи и ружейными выстрелами с плато. Полковник попытался, однако, заставить каре отступить навстречу полкам фюзелеров и фланкеров, которые привел я.

Русская конница, получив подкрепление, воспользовалась беспорядком, который усилился еще более вследствие этого маневра, для того, чтобы сделать четвертое, общее нападение. Каре, которое было совершенно разрушено несколькими залпами шестидесяти артиллерийских орудий, было прорвано прежде, чем к нему могла подоспеть помощь.

Неприятельские кирасиры, раздраженные потерями, которые они понесли во время предыдущих попыток, не давали пощады; ускользнуть удалось лишь тридцати солдатам и одиннадцати офицерам, среди которых находились командир Пиу и капитан Люкотт, все были ранены.

Мы продержались до 2-х часов перед полчищами русских и их внушительными позициями, когда, наконец, русские, ободренные отъездом императора, начали нас так теснить, что молодая гвардия вскоре не была в состоянии ни держаться на месте, ни отступать. Внимание неприятеля, к счастью, было привлечено несколькими взводами, выстроенными Даву, и появлением другого отряда из отставших людей. Мортье сделал более, чем было возможно.

Я получил приказ — отступить с 3000 солдат, которые еще у меня оставались, имея впереди себя 50 000 русских.

Увозя своих раненых под градом пуль и картечи, медленно проходил этот храбрый, но злосчастный отряд по полю битвы, словно по равнине, где происходили маневры. Доблестный Мортье был спасен, когда Красный оказался между ним и Бенигсеном. На расстоянии между этим городом и Лядом раздавалась пальба из неприятельских батарей, окаймлявших большую дорогу слева; Кольбер и Латур-Мобур сдерживали ее напор на высотах.

Я остановился ночью в Лядах.

Дивизия потерпела в тот день жестокий урон: 41 офицер и 761 человек унтер-офицеров и солдат были убиты;

капитан Люкотт и 1500 фюзелеров, из которых большинство были ранены, за невозможностью быть перевезенными были покинуты и попали в руки неприятеля.

*Рогг*

\* \* \*

Корпус маршала Даву, как и 5-й корпус, весь день 16-го беспокоили казаки, вооруженные артиллерией. Ночью они немного меньше мучили нас, и мы постарались за это время пройти возможно большее расстояние, чтобы приблизиться к Красному. 17-го на рассвете значительные силы пехоты и кавалерии пытались окружить нас, чтобы принудить сдаться; они не решались подойти к нам, и их артиллерия действовала губительно.

Наше маленькое войско, в котором было всего 4000 вооруженных людей при массе отсталых, несколько раз останавливалось, чтобы отразить неприятеля и дожидаться маршала Нея, прикрывавшего отступление. В этих обстоятельствах я мог еще раз оценить хладнокровие и мужество генерала Компана. Страдая от раны в плече, он должен был идти пешком, как все мы, и это не мешало ему улыбаться и быть перед лицом врага таким же спокойным, каким бывал во время своих обычных долгих прогулок по собственному саду. Вид его довольного, ясного лица заставлял солдат думать, что нет никакой опасности, и поддерживал в них твердость духа.

Наше положение в Красном было, однако, незавидно. Окруженные неприятелем, в 10 раз более многочисленным, мы не могли понять, почему маршал Ней, шедший за нами, хотя бы отчасти не удержал их. Мы продолжали сопротивляться в надежде, что он явится. Но пальба все усиливалась, в наших рядах образовались жестокие бреши, и шедший с вечера снег делал наше положение невыносимым. Тревожась за нашу участь, император великодушно приехал сам к нам навстречу. Во главе своей старой гвардии он пробился через ряды врагов и соединился с корпусом маршала Даву, авангард которого встретил за Красным.

В сражении при Красном, которое длилось целый день и сопровождалось страшной канонадой картечью, был ранен мой слуга, убиты две верховые лошади, которых он вел, и серьезно ранена та, на которой он сидел. Я думал, что животное погибнет от страшной раны, а между тем как раз

только эта лошадь добралась до Вислы; она даже поправилась, и у ворот Торна была взята неприятелем, убившим моего бедного слугу. С убитыми лошадьми я потерял меха, навьюченные на них, и теперь у меня остался для защиты от холода один шелковый плащ, проклеенный каучуком. Это одеяние оказалось лучше, чем я предполагал: снаружи оно не пропускало холодный воздух и удерживало внутри то небольшое количество тепла, которое давало мое тело.

Битва все шла, а маршал Ней не появлялся. Император и его армия были в величайшей тревоге. Императору приходилось опасаться за собственную безопасность по пути в Оршу; он не мог дольше медлить в Красном и ушел со своей гвардией за час до наступления ночи, приказав нам ждать маршала Нея. Он оставлял Красный переполненным людьми, ранеными в этом деле. Нельзя себе представить более печального зрелища, чем вид домов, полных молодых и красивых людей от 20-ти до 25-ти лет, недавно пришедших сюда, в первый раз в этот день бывших в сражении; через час они должны были попасть в руки неприятелей. Те, которые после перевязки в силах были двигаться, решили уйти; все прочие оставались без врачей, без помощи, их было тысячи три.

Гвардия ушла, ослабленный 1-й корпус не мог отстаивать высоты перед Красным, генерал Компан последним спускался в город и с наступлением ночи переправился через ров. Когда он прошел, я двинулся по краю рва вдоль изгороди на разведки. Ширина рва была не больше 30 шагов, и я был таким образом почти на русской батарее из нескольких пушек, которые подвозили, собираясь засыпать нас картечью. Я увидел, что за этими десятью или двенадцатью орудиями движутся цепью значительные корпуса пехоты, после чего я удостоверился, что мы окончательно отрезаны от маршала Нея. Я сообщил маршалу Даву эту грустную новость. Соображаясь с обстоятельствами, он выдвинул батальон в несколько орудий, чтобы помешать русским переправиться через ров, и приказал тем временем пехоте отступать к Лядам, куда мы пришли незадолго до рассвета, причем отступление наше облегчала сравнительно светлая ночь. Русские, думая, что мы укрепились в Красном, вошли в него только поутру.

*Лежен*

\* \* \*

Пока мы стояли в Красном и его окрестностях, войско в 80 000 человек окружило нас: впереди, направо, налево, позади — всюду виднелись одни русские, очевидно, рассчитывавшие без труда одолеть нас. Но император хотел дать им почувствовать, что это не так легко, как они думают: правда, мы в жалком положении, умираем с голоду, однако у нас осталось еще нечто поддерживающее нас — честь и мужество. Император, которому наскучило преследование всей этой орды, решил от нее избавиться.

Вечером, по прибытии, генерал Роге получил приказ перейти в наступление с частью гвардии, с полками фюзелеров-егерей, гренадеров, вольтижеров и стрелков. В 11 часов вечера послано было несколько отрядов с целью произвести рекогносцировку и хорошенько удостовериться в положении неприятеля, занимавшего два селения, перед которыми он раскинулся лагерем; направление его позиций можно было узнать по огням. Очень вероятно, что неприятель кое о чем догадался, потому что, когда мы явились атаковать его, часть войска уже приготовилась стрелить нас...

Около двух часов ночи началось движение: мы выступили тремя колоннами; фюзелеры-гренадеры, в состав коих входил и я, и фюзелеры-егеря образовали центр. Стрелки и вольтижеры составляли правую и левую колонны. Мороз стоял такой же лютый, как и в предыдущие дни; мы пробирались с трудом, по колена в снегу. После получасового пути мы очутились среди русских; часть их была под оружием — справа от нас тянулась на расстоянии каких-нибудь 80 шагов длинная линия пехоты и направляла в нас убийственный ружейный огонь. Их тяжелая кавалерия, состоявшая из кирасир в белых мундирах с черными латами, находилась по левую руку от нас на таком же расстоянии; они ревели, как волки, подзадоривая друг друга, но не осмеливались подступать к нам, а их артиллерия, расположившись в центре, сыпала в нас картечью. Но это не останавливало нашего движения; несмотря на их огонь и множество падавших людей, мы пошли на них в атаку и вступили в их лагерь, где произвели страшнейшую резню, орудуя штыками.

Те, что находились подальше, успели схватить оружие и прийти на помощь первым. Тогда начался другого рода бой: они подожгли свой лагерь и оба селения. Мы дрались при свете пылающих пожаров. Правая и левая колонны обогнали нас и вступили в неприятельский лагерь с двух концов, а наша колонна в центре.

Я забыл упомянуть, что в ту минуту, как мы пошли в атаку и голова нашей колонны врезалась в массу русских и привела их лагерь в расстройство, мы увидели лежавших распростертыми на снегу несколько сот русских, которых мы сперва приняли за мертвых или за тяжело раненых. Мы миновали их, но едва успели мы пройти немного вперед, как они вскочили, подняли оружие и стали стрелять в нас, так что мы принуждены были сделать полуоборот, чтобы защищаться. К несчастью для них, позади подоспел еще батальон, который шел в арьергарде и которого они не заметили. Тогда они попали между двух огней: в каких-нибудь пять минут их не осталось ни одного в живых; к этой военной хитрости русские часто прибегали, но тут она им совсем не удалась.

Пройдя через русский лагерь и атаковав селение, мы заставили неприятеля побросать часть артиллерии в озеро, после чего большинство их пехоты засело в домах, часть которых была в огне. Там-то мы и дрались с ожесточением врукопашную. Произошла страшная резня, мы рассыпались, и каждый сражался сам по себе.

Во время этого обособленного боя я заметил во дворе русского офицера на белом коне, который бил саблей плашмя своих солдат, порывавшихся бежать, перескакивая через барьер; в конце концов ему удалось овладеть проходом, но в ту минуту, как он собирался перескочить на ту сторону, лошадь его была ранена пулей и упала под ним, так что проход стал затруднительным. С этого момента бой стал еще отчаяннее. При свете пожара происходила сущая бойня. Русские, французы вперемешку, в снегу, дрались, как звери, и стреляли друг в друга чуть не в упор.

Русские, засевшие на мызе и блокированные нами, видя, что им угрожает опасность сгореть живьем, решили сдаться; один раненый унтер-офицер под градом пуль явился к нам с предложением о сдаче. Тогда полковой адъютант послал меня с приказанием прекратить огонь. «Прекратить огонь?—

отвечал один раненый солдат нашего полка.— Пусть прекращает кто хочет, а так как я ранен и, вероятно, погибну, то не перестану стрелять, пока у меня есть патроны!»

Действительно, раненный пулей, раздробившей ему бедро, и сидя в снегу, окрашенном его кровью, он не переставал стрелять и даже просил патронов у других.

Полковой адъютант, видя, что его приказание не исполняется, подошел сам от лица полковника. Но наши солдаты, сражавшиеся отчаянно, ничего не слушали и продолжали свое. Русские, потеряв надежду на спасение и, вероятно, не имея более боевых припасов, чтобы защищаться, попытались массами выйти из здания, где они засели и где их уже начало поджаривать, но наши солдаты отеснили их назад. Немного спустя, не имея больше сил терпеть, они сделали новую попытку, но едва успело несколько человек выскочить во двор, как все здание рухнуло, и в нем погибло более сорока человек. Впрочем, тех, что успели выскочить, постигла участь не лучше.

После этого эпизода мы подобрали своих раненых и сомкнулись вокруг полковника, с оружием наготове дожидаясь утра. Все время вокруг нас только и слышались ружейные выстрелы частей, сражавшихся в других пунктах; к этому примешивались крики раненых, стоны умирающих... Ужасное дело эти ночные сражения, когда часто случаются роковые ошибки и недоразумения.

В таком положении мы ждали утра. Когда показался рассвет, мы могли осмотреться и судить о результате сражения: все окружающее пространство было усеяно убитыми и ранеными.

Последствием этого кровопролитного боя было то, что русские отступили со своих позиций, однако не удалились, и мы остались на поле сражения весь день и всю ночь, с 4(16) на 5(17) ноября, находясь постоянно в движении. Ежеминутно, чтобы держать нас на чеку, нас заставляли браться за оружие; все время мы были настороже, не имея возможности ни отдохнуть, ни даже погреться.

5(17) ноября утром, как только рассвело, мы взялись за оружие и, сформировавшись в тесные колонны, подвизионно выступили с целью занять позиции на краю дороги, с противоположной стороны поля сражения, только что покинутого нами.

Прибыв, мы увидели часть русской армии перед собою на возвышенности, тылом к лесу. Тотчас же мы развернулись линией лицом к лицу с неприятелем. Наш левый фланг опирался на пересекавший дорогу ров, к которому мы были обращены тылом; эта дорога, вдавленная, с высокими краями, могла защитить и укрыть от неприятельского огня всех находящихся на ней. Наш правый фланг состоял из фюзелеров-егерей, и голова его находилась на расстоянии ружейного выстрела от города. Перед нами, шагах в 250, находился полк молодой гвардии — 1-й вольтижерский, сформированный тесной колонной, по дивизиям, под командой полковника Люрона. Подальше впереди, направо, стояли старые гренадеры и егеря в том же порядке, то есть как остальная часть императорской гвардии, кавалерии и артиллерии, не участвовавшая в ночном бое с 3-го (15-го) на 4-е (16-е) число. Всем командовал лично сам император, пеший. Он шел твердой поступью, как в дни больших парадов, и встал впереди, среди поля сражения, перед неприятельскими батареями.

С самого рассвета стала видна русская армия, которая с трех сторон — спереди, слева и справа — со своей артиллерией, казалось, собиралась оцепить нас. В ту же минуту, почти вслед за тем, как был убит полковой адъютант, подошел император. Мы окончили свое передвижение; тогда начался бой.

Из своей артиллерии неприятель пускал в нас смертоносные залпы, которые ежеминутно сеяли смерть в наших рядах. Со своей стороны, чтобы отвечать им, мы имели всего несколько орудий и при каждом выстреле наносили им глубокие бреши; но часть наших орудий вскоре была сбита. Между тем наши солдаты встречали смерть стойко, не дрогнув. В этом плачевном положении мы пробыли до двух часов пополудни.

Во время сражения русские послали часть своей армии занять позицию на дороге за Красным, чтоб отрезать нам отступление, но император остановил их, отправив против них батальон старой гвардии.

Пока мы подвергались таким образом неприятельскому огню и наши силы убывали вследствие множества убитых, мы заметили позади и немного влево остатки армейского корпуса маршала Даву среди тучи казаков, которые не ос-

меливались подойти к ним и которых они спокойно истребляли по пути, направляясь в нашу сторону.

В то время как проходили остатки корпуса маршала Даву, голландские гренадеры гвардии покинули важную позицию; русские немедленно заняли ее артиллерией и направили ее против нас. С этого момента наше положение стало нестерпимым. Один полк, уже не помню какой, был послан против них, но он принужден был отступить; другой полк, 1-й вольтижерский, стоявший впереди нас, произвел движение в свою очередь и добрался до подножия возвышенности с батареями, но тотчас же масса кирасир, тех самых, с которыми мы имели дело ночью на 15 ноября и которые не решались атаковать нас, подоспели и остановили вольтижеров. Тогда последние отступили немного влево от батарей и почти против нашего полка и сформировались в каре. Едва успели они это сделать, как неприятельская кавалерия бросилась к ним, чтобы прорваться сквозь их ряды, но вольтижеры встретили ее убийственными залпами почти в упор, и множество их попадало. Остальные сделали полуоборот и отступили. Вслед за тем дали второй залп, оказавший такое же действие: стороны каре были сплошь усеяны людьми и лошадьми. Но в третий раз, при помощи картечи, кирасирам удалось смять наш полк. Тогда они ворвались в его ряды и dokonчили дело сабельными ударами; несчастные вольтижеры, почти все молодые солдаты, имея большею частью отмороженные ноги и руки, не могли владеть оружием для защиты и почти все были изрублены.

Эта сцена проходила на наших глазах, но мы ничем не могли помочь. Всего одиннадцать человек вернулось; остальные были перебиты, ранены или захвачены в плен и угнаны сабельными ударами в лесок, лежавший насупротив; сам полковник (Люрон), как и многие офицеры, покрытый ранами, был взят в плен.

Было около двух часов; мы уже потеряли треть наших людей, но фюзелеры-егеря пострадали еще больше нас: находясь ближе от города, они подвергались еще более убийственному огню. С полчаса назад император удалился с первыми полками гвардии, следуя большой дорогой; на поле сражения оставались еще только мы да несколько взводов из различных корпусов, лицом к лицу с 50 с лишком



тысячами неприятельских сил. Маршал Мортье отдал приказ к отступлению, и мы начали движение, отступая шагом, как на параде, преследуемые русской артиллерией, обстреливавшей нас своей картечью. Отступая, мы тащили за собой товарищей, не столь тяжело раненых.

Момент, когда мы покидали поле сражения, был ужасен и печален; наши бедные раненые, видя, что мы их покидаем на поле смерти, окруженных неприятелем, в особенности солдаты 1-го вольтижерского полка, у большинства которых ноги были раздроблены картечью, с трудом тащились за нами на коленях, обагрывая снег своей кровью; они поднимали руки к небу, испуская раздирающие душу крики и умоляя о помощи, но что могли мы сделать? Ведь та же участь ежеминутно ожидала нас самих; отступая, мы принуждены были оставлять на произвол судьбы всех, кто падал в наших рядах.

Все дома этого жалкого городишки и тамошний большой монастырь были переполнены ранеными, которые, увидев, что мы покидаем их, испускали громкие вопли. Мы принуждены были бросить их на произвол беспощадных неприятелей, которые обирали несчастных раненых, не принимая во внимание ни их несчастного положения, ни ран.

Русские все еще преследовали нас, но уже вяло; несколько орудий обстреливали левую сторону дороги, но уже не могли наносить большого вреда; дорога, по которой мы шли, была вдавлена, ядра летали поверх и не попадали в нас, а присутствие небольшого количества кавалерии, еще оставшейся у нас и также шедшей слева, препятствовало неприятелю подойти к нам ближе.

Когда мы отошли на четверть мили по ту сторону города, стало поспокойнее; мы шли грустные и безмолвные, размышляя о нашем положении и о несчастных товарищах, которых мы принуждены были бросить; мне все представлялось, что я их вижу перед собою умоляющими о помощи. Оглянувшись, мы увидели несколько не очень тяжело раненых, почти нагих, потому что русские сняли с них плаще и бросили. Нам посчастливилось спасти несколько человек, — по крайней мере, временно: мы поспешили дать им все, что было возможно, чтобы прикрыться.

*Бургонь*

\* \* \*

Выступая из Смоленска, император возложил на корпус Нея обязанности арьергарда и приказал маршалу покинуть город не прежде, чем будут разрушены его укрепления. Ней, который должен был прикрывать корпус Даву, выступил 17 ноября. Но в ночь на это число неприятель предпринял действия, имевшие целью отрезать корпус Нея от корпуса Даву.

Последний был впереди первого в расстоянии одного перехода. Император, узнав в Красном о движении русской армии и считая, что корпуса обоих маршалов находятся в опасности, решил навлечь на себя нападение русских. У него был свободный выбор: или продолжать отступление, или сражаться, чтобы не покинуть два своих корпуса. На что решился Наполеон, не подлежало никакому сомнению. Он возвратился назад, чтобы на следующий день атаковать неприятеля. Выступив из Красного на рассвете с горстью солдат, он направляется против русской армии, защищенной грозной артиллерией, атакует ее во главе своей гвардии, приводит ее этим смелым нападением в расстройство, заставляет покинуть позицию на большой дороге и очистить путь маршалу Даву.

Корпус Нея, однако, не показывается, и о нем нет даже никаких сведений. Между тем арьергарду, оставленному в Красном, грозит обход неприятеля, и армия рискует быть отрезанной от пути отступления. Опечаленный неизвестной участью Нея, которого он считал погибшим, император находит себя вынужденным продолжить отступление.

Великодушный поступок Наполеона, когда он для спасения двух своих маршалов, подвергся сам риску быть окруженным русскими, доставил ему славу даже в глазах врагов. Он свидетельствует также о той необычной силе духа, которую он сумел сохранить среди всех несчастий.

*Меневаль*

\* \* \*

Около семи часов утра мы последовали за 1-м корпусом, шедшим на Красный. Как и накануне, мы увидели слева на расстоянии ружейного выстрела линию казаков, растянувшуюся приблизительно версты на четыре. Они рас-

положились таким образом, по-видимому, лишь для того, чтобы помешать нам удалиться рассматривая нас, без сомнения, уже как своих пленников.

Когда мы были на расстоянии 5 верст от города, нам загородили дорогу колонны русской пехоты, намеревавшиеся остановить 1-й корпус, подобно корпусам, проходившим здесь в предыдущие дни.

В то время как колонны, строясь в каре, приготовились к битве, из орудий, расположенных налево от нас, летели ядра и картечь вдоль всей нашей линии. Чтобы защититься от них, повозки бросались в беспорядке направо и случайно направлялись в разные стороны, пока какое-либо препятствие не останавливало их.

В то время, как среди повозок царила подобная сумятица, императорская гвардия, которой император велел двинуться назад, атаковала левое крыло русских и принудила его отступить к правому. Это движение облегчило проход 1-му корпусу, но, будучи принужден проходить в виде каре и плотных колонн под ядрами и картечью неприятеля, этот корпус потерпел большие потери.

Во время движения дивизий на Красный повозки, разбросанные по правую руку, были атакованы донскою конницей, а люди, сопровождавшие их, как и возницы, принуждены были покинуть их.

Кто успел, выпряг лошадей, вытащил из фургонов наиболее ценные вещи и через поля, леса и овраги пытался догнать армию.

В продолжение получаса я следовал за фургоном со счетными делами и за повозкой полковника Мабрю, — вещь вполне естественная, так как каждый из них содержал в себе часть моих припасов; но, чуть было не сделавшись жертвой своей неосторожности, я повернул своего белого коня на юг и, подобно многим другим, скача по земле, покрытой инеем, словно заблудившаяся овца, пытался догнать свое стадо.

Проехав около часу, я встретил капитана Удара, отделившегося от повозок, которые он хотел спасти. У него остались в качестве добычи лишь обе его лошади и маленький чемодан, но ему посчастливилось более, чем мне, и он извлек из фургона бочонок, содержащий около кружки водки, которую и хранил от самой Москвы.

Что касается потери моих вещей, то я мало об этом беспокоился, ввиду того, что, начиная с Дорогобужа, я предвидел невозможность их сохранения; но что мне было особенно неприятно, так это — потеря съестных припасов, которую не могло возместить золото всего мира. Но в конце концов, чтобы положить предел своим мрачным размышлениям, я попросил капитана передать мне бочонок; и, проглотив несколько глотков содержащегося в нем спиртного напитка, мы продолжали свой путь в виде колонны, образовавшейся из людей, которых постигла одинаковая с нами участь.

В то время как мы делились друг с другом своими приключениями в только что имевшей место стычке, мы заметили две саперные роты, составлявшие вместе человек 140—150 и находившиеся вправо от колонны отделившихся людей, часть которых составляли и мы. Слева мы увидели равнину, усеянную конницей. Одновременно с этим мы услышали перед собою крики «ура!», прерываемые пушечными и ружейными выстрелами. Ввиду того, что мы были беззащитны, я стал побуждать капитана взять направление вправо, чтобы избежать подготавливавшейся атаки; но он мне ответил, что предпочтительнее будет догнать колонну вооруженных войск, идущую в Красный, и присоединиться к 1-му корпусу, чем отделиться и быть схваченными казачками.

Подобно всем тем, которые только что покинули на произвол партизан Милорадовича и Платова более 80-ти разнообразных повозок, заключавших в себе большую часть сокровищ главных штабов армии, мы бросились по направлению к двум ротам, которые, успев образовать каре, подверглись нападению со стороны четырех сильных колонн кирасиров русской гвардии. Капитан со своими двумя конями бросился в каре, где находился генерал, имени которого я не знаю; я же, отставший от капитана, принужден был бросить своего Коко (кличка, данная мною лошади) и как можно скорее пробраться в толпу, образовавшуюся в глубине каре из колонн отбившихся людей, прибежавших из тыла. Едва вошел я в эту толпу, которая все росла, как четыре эскадрона приблизились к фронту каре, на расстоянии штыка от первого ряда, остававшегося неподвижным, тогда как второй и третий хорошо поддержи-

вали пальбу рядами и, несмотря на частые осечки, метали свои смертоносные пули в московскую конницу. Последняя, не будучи в состоянии проникнуть в каре и на мгновение рубнув лишь беззащитных, должна была отступить, оставляя у фронта каре более пятидесяти своих трупов...

Таким образом, я потерял в течение менее чем двух часов лошадь, сумку, чемоданы и должен был превратиться в улитку, без всякого затруднения несущую все свое добро на спине.

Неприятель, опасаясь, что не сможет прорвать наших двух рот, двинул свою артиллерию, чтобы поколебать их, и, когда начали свистеть ядра и картечь, какая-то лошадь, прискакавшая из тыла, сделалась для меня якорем спасения. Не знаю, каким образом, схватив ее, я вскочил на нее, и, чтобы избежать вторичной атаки, спросил капитана, согласен ли он следовать за мной. После его отрицательного ответа, не измерив пространства, отделявшего нас от армии и не представляя себе всей опасности, я пришпорил своего нового скакуна и сквозь ряды рассеявшихся казаков, под градом железа и свинца достиг 1-го корпуса, спускавшегося с холма по ту сторону Красного, где спасшая меня от опасности лошадь была признана принадлежащею одному польскому генералу. Принужденный слезть с коня, я должен был идти пешком. Ускользнув от бури, подобно многим другим, я потерял свое хрупкое имущество, но зато перешел волны, которые должны были, быть может, похоронить под собою или предать в плен большое количество моих товарищей. Осаждаемый мрачными размышлениями, следуя за правым крылом настигнутых мною колонн, я начал чувствовать приближение предвестников голода, уже погубившего столько воинов. Я видел необходимость в поисках средств для удовлетворения своих потребностей. Смешавшись с толпою солдат всевозможных корпусов, блуждая там и сям, словно овца, потерявшая стадо, я проходил через различные биваки в надежде встретить кое-кого из знакомых, чтобы принять участие в их ужине, в случае если бы судьба оказалась более благоприятною по отношению к ним, чем ко мне, и сделала их обладателями каких-либо съестных припасов.

Уже около получаса проходил я по линии, как вдруг на переходе через дорогу заметил солдат, выбивших дно у бо-

чек на только что покинутой повозке. Тут я подумал, что настиг апогея счастья, но надежды мои были обмануты: вместо муки и сухарей или другого рода провизии, которая, как я предполагал, находится в этих бочках, они содержали лишь башмаки; чтобы воспользоваться благоприятным случаем, предвидя, что мне придется немало идти пешком, я положил несколько пар их в сумку одного польского улана, найденную под повозкой. Вслед за тем я пошел вновь вдоль огней линии, и мне посчастливилось встретить офицеров из обоза нашего дивизионного парка, сохранивших еще свой фургон и занятых варкой похлебки из муки и воды.

Несмотря на то, что мы были с ними очень дружны во время войны, я заметил, что мое появление было для них не из приятных, что касалось вполне естественным, так как, участвуя в их ужине, я должен был отнять у каждого частицу его порции, едва достаточной для удовлетворения его собственного аппетита, в менее критический момент я бы, конечно, воздержался от подобной назойливости; но в ту пору голод одержал верх над чувством самолюбия, и как только эти господа расположились вокруг котла, я не заставил себя просить о том, чтобы занять место среди них.

Когда тощий ужин был закончен и когда я намеревался перейти в объятия Морфея, чтобы положить предел всем превратностям дня и наверстать потерянное в предыдущую ночь, разыгралась новая сцена.

Неприятель, который при свете пылающей избы, находившейся вправо от дороги, заметил наши позиции, стал метать в различные пункты ядра. Это произвело смятение по всей линии. Солдаты, вместо того чтобы соединиться в более компактные массы для защиты, рассыпались, ища спасения в бегстве. Офицеры старались всеми силами удерживать их, но и они были увлечены потоком безоружных людей из различных корпусов, предоставленных самим себе.

Маршалу Даву, тотчас же бросившемуся в наиболее опасный пункт, удалось как собственным примером, так и словами собрать вокруг себя тех, кто с пренебрежением отнесся к двадцати пяти или тридцати пушечным выстрелам, которые были направлены на нас русскими. Благодаря этой уловке маршал скрыл от неприятеля беспорядок, царив-

ший в его армейском корпусе, и это помешало русским повторить свою попытку.

Приблизительно в 2-х верстах по сю сторону от места, где обнаружился беспорядок, благодаря болотистой почве справа, а слева — мосту, по которому можно было проехать лишь по одной повозке, произошла сумятица, и так как при подобных обстоятельствах никто не хочет оставаться последним, желая во что бы то ни стало преодолеть это препятствие и не думая о последствиях, случилось то, что несколько повозок увязло и часть экипажей была разграблена разбежавшимися солдатами, а офицеры, как высшие, так и низшие, были почти лишены припасов и обречены на крайнюю нужду, еще более тягостную, чем нужда солдат. 1-й корпус, до сих пор шедший в сравнительном порядке, был после этой ночи почти совершенно дезорганизован. Эти рассеявшиеся люди обогнали императора, расположившегося со своей гвардией в Лядах, и на протяжении всего пути распространяли беспорядок.

*Соваж*

\* \* \*

За час до рассвета прибыли в Красный, расположенный на холме, на который мы вскарабкались с трудом, причем артиллерия 4-го корпуса принуждена была оставить часть своих больших орудий.

Ночью новый русский корпус присоединился к тому, который пытался остановить движение императора и 4-го корпуса, составлявшего авангард, так что неприятель ожидал нас со значительными силами.

Как только рассвело, мы заметили на горизонте тысячи казаков, и многочисленная пехота, сопровождаемая пушками, которые везли на санях, начала двигаться во всех направлениях. Пальба началась со стороны русских. Когда дело стало принимать серьезный характер, я грелся у огня на биваке, импровизированном саперами одного из полков правого крыла 1-й дивизии 1-го корпуса. Маршал, находившийся недалеко оттуда, пытался проникнуть в намерения неприятеля. Генерал Шарпантье, возле которого я присел (на корточках) перед огнем, только что разговаривал со мною; я не заметил, как он встал, чтобы удалиться. Вот летит ядро в самую середину нашего костра; делает рико-

шет, обсыпав нас пеплом, искрами и осколками дерева и поражает на расстоянии пятидесяти шагов далее несколько рядов солдат-пехотинцев, ударив в них сбоку. Внезапное появление неприятельского снаряда вызывает смятение среди тех, которые, подобно мне, грелись. Я встаю изумленный, ища глазами генерала; долг мой никоим образом не позволял мне его покинуть. За первым ядром следуют другие. В то же мгновение соседняя дивизия получает приказ — двинуться вперед. В то время, как она строится в колонны, чтобы образовать каре, я продолжаю тщательно искать своего начальника. Совсем расстроенный, я заметил принца Экмюльского, пешего, одетого в богатый польский сюртук со зрительной трубой в руке. Он был один, совершенно один. Я приблизился к нему и, сообщив, что прикомандирован к его новому начальнику главного штаба, которого не вижу вот уже несколько минут, попросил позволения остаться возле него, что мне и было позволено.

Неприятель обнаружил значительные силы и, как казалось, хотел заградить нам путь. Там находились лишь полки 1-го корпуса и молодая гвардия, которую командовал маршал герцог Тревисский.

Император пробился вперед под защитой остатков своей старой гвардии.

Мы хотели лишь пробиться и сохранить оборонительное положение; но нужно было стоять твердо и не позволять неприятелю приобрести над нами моральное преимущество, это преимущество победителя, которое часто решает успех дела и которое он был весьма склонен присвоить себе при взаимном положении обеих армий. Необходимо было также не слишком отделяться от корпуса Нея, оставшегося в тылу в Смоленске.

Целый час следовал я за маршалом, пока он не нашел случая дать мне поручение. С самого начала битвы дивизия генерала Жерара получила приказание занять позицию в селении Красном лицом к лицу с левым крылом неприятеля, чтобы облегчить отступление нашего правого крыла. Маршал, рассудив, что эта дивизия должна была тоже отступить, послал меня туда с соответствующим приказанием. Я повиновался. Я уже говорил о том, что приходилось подниматься на гору, чтобы добраться до селения; с тру-



дом поднялся я пешком, так как мороз заставлял всадников то и дело слезать с коней.

При въезде в Красный я поразился царившему там гробовому молчанию. Направляюсь в ту сторону, где должен был встретить войска дивизии Жерара: ни одной души.

Направляюсь в другой пункт: то же молчание и та же пустота.

В тот момент, когда я собирался завернуть на одну из улиц, до моего слуха начало долетать глухое звяканье оружия и звук шагов; я останавливаюсь, выглядываю, не показываясь сам, и замечаю русскую колонну, выходящую отсюда с барабанами, но без барабанного боя... Нужно было мне вовремя подумать о собственном отступлении... Я бросаюсь направо, по направлению к оршинской дороге, и как можно скорее спускаюсь вниз. У подошвы холма я нахожу французский пост, а позади его, далее, встречаю дивизию Жерара, отступавшую от села, не дождавшись приказа, который я нес ей.

Осмелившись выразить по поводу этого свое удивление самому генералу Жерару, я, хотя и поздно, исполнил возложенную на меня миссию и возвратился к месту, где оставил маршала.

Только я успел ему рассказать о поспешности, с которой выступил генерал (что, по-видимому, не особенно ему понравилось), как он покинул свое место, сделав мне знак, чтобы я следовал за ним. Я заметил, что он удалялся от места, где сражались войска, находившиеся под его командой, чтобы приблизиться к месту, где находилась молодая гвардия, державшаяся храбро. Там погиб целиком прекрасный голландский гвардейский полк, до сих пор хорошо сохранившийся.

Идя некоторое время в том же направлении, мы встретили офицера главного штаба корпуса маршала\*, которого принц спросил: не знает ли он, где находится этот маршал.

Офицер предложил провести нас к нему, и мы последовали за ним. Я был далек от того, чтобы предвидеть странную (по меньшей мере) сцену, свидетелем которой мне пришлось быть.

---

\* Речь идет о Мортье.

Мы шли по ямистой дороге. Ружейная и пушечная пальба продолжалась, и ядра летали над нашими головами. В двухстах шагах оттуда мы нашли герцога. Офицер главного штаба удалился.

Оба маршала встретились в дурном расположении духа, не поздоровавшись предварительно. Не считая себя вправе слышать их разговор, я держался на почтительном расстоянии и вначале слышал лишь несколько отрывочных или незначительных фраз; но несколько мгновений спустя они оба до такой степени возвысили голос, что я тотчас же очутился в курсе их разговора.

Дело касалось движения, которое император предписывал обоим генералам. Каждый из них, без сомнения, получил особый приказ — держаться там как можно дольше со своим гвардейским корпусом, дабы дать Наполеону время пробраться со своим конвоем, и как можно теснее связать свои действия с действиями герцога Эльхингенского. Однако император, по забывчивости ли, или по какой-либо другой причине, не выяснил вопроса о том, которому из двух корпусов должно было идти вперед. Именно этот вопрос и обсуждали оба знаменитых начальника. После того как каждый из них представил доводы, казавшиеся ему убедительными для защиты интересов общего дела, они перешли к обоюдным упрекам, обвинениям, резким словам и, наконец, к ругательствам... да, к ругательствам...

*Е. Лемуан*

\* \* \*

16 ноября рано утром, сделав привал в 15 верстах от Красного, мы продолжаем свой путь. Мы подвигаемся медленно, будучи принужденными то и дело оборачиваться, чтобы отражать казаков. К полудню мы замечаем несколько французских дивизий, посланных нам на помощь. Мы соединяемся с этими дивизиями и располагаемся бивуаком около Красного. На следующее утро, в шесть часов, мы двигаемся вместе с 4-м корпусом толпой, так как русские бомбардируют нас со всех сторон сразу. Какой-то русский корпус выходит из деревни Катово и направляется на нас. В следующее мгновение три других неприятельских корпуса появляются около деревни Воскресенской.

Против этой деревни находится гвардия, и это подает нам некоторую надежду. Маршал Даву готовит нас к бою. Несмотря на неприятельскую картечь, мы занимаем позицию влево от Воскресенской, и начинается жаркое дело. Наш полк стоит впереди, на расстоянии лишь ста шагов от русских батарей; их картечь так поражает нас, что 30-й полк принужден отступить к Красному. Среди смятения, царящего во время этого быстрого отступления, не имея возможности идти так быстро, как другие, вследствие ран, в середине полка я совсем не замечаю знамени. Тот, кто нес его, быть может, убит, и знамя наше, без сомнения, осталось на поле битвы. Как только мысль эта пришла мне в голову, я поворачиваю назад и возвращаюсь, прихрамывая, к позиции, занятой 30-м полком, не думая об опасности и нисколько не беспокоясь о русских стрелках, которые подвигаются к линии, только что оставленной дивизией. Наконец, я замечаю знамя, поднимаю его, уношу, как можно скорее, под ружейными выстрелами, направленными на меня. Несколько пуль пронизывают мою шубу. Я присоединяюсь к нескольким раненым солдатам, которым, как и мне, надо догонять полк.

Заметив нашу маленькую группу с французским знаменем посредине, русские делают по нам залп. В меня попала маленькая железная пуля, которая задела мне правую руку и сделала рубец на правом боку; у меня их было довольно и без того. К счастью, я сохраняю достаточно сил и присутствия духа, чтобы не изнемочь под этими новыми ударами. Хотя у меня левая рука на перевязи, а в правой, раненой, руке — костыль, я не выпускаю знамени. Я прихожу в Красный, не испытывая боли, настолько я озабочен тем, чтобы сохранить наше знамя. Тотчас же по прибытии боль дает себя чувствовать; но нет ни воды, ни белья, чтобы перевязать мои раны.

Чтобы сохранить то, что я спас, я ограничиваюсь тогда тем, что прошу одного из товарищей отломить древко знамени и повесить мне последнее при помощи галстука на шею.

В таком состоянии догнал я за Красным 30-й полк, когда русские, пораженные стойкостью наших войск, отступили.

Там нахожу я своего денщика и пару своих лошадей.

Увидев меня бледным, окровавленным, с содранною верхнею частью руки и рубцом на боку (от железной пули), этот добряк плачет, перевязывая мои раны, а я ему рассказываю о своем воинском подвиге. Он спешит передать об этом подполковнику, который сообщает о случившемся генералу Мортье, а тот, в свою очередь, — маршалу Даву, поручающему моему подполковнику сделать доклад о моем поведении. Доклад этот сделан; впоследствии я получил от маршала свидетельство, удостоверявшее мой подвиг и обещавшее, что я буду представлен к награде орденом Почетного Легиона... Что случилось с этими обещаниями?

Когда в ночь с 17-го на 18-е собрались все офицеры 30-го полка, каждый из них жаловался на общую судьбу.

Внимание обратился на меня: начальники мои свидетельствуют о своем полном удовлетворении, но считают меня погибшим, так как я покрыт ранами.

Но я не отчаиваюсь: у меня всегда хороший аппетит, хотя блюда, входящие в состав моего обеда, далеко не способны возбудить его. Я хочу привыкнуть ходить без костылей, но меня весьма смущает то обстоятельство, что я не имею возможности пользоваться своими руками.

На следующий день мы продолжали отступление.

*Капитан Франсуа*

\* \* \*

Прежде чем говорить о сражении под Красным и описывать различные движения войск, необходимо дать общее представление о местности, на которой столкнулись противники\*.

Вокруг Красного расстилается плоскогорье, слегка волнистое, но пересеченное довольно глубокими оврагами, которые, пользуясь ходячим выражением, можно обозначить названием «рытвины». Поэтому атакующие войска, не будучи совершенно разъединены, были, однако, лишены той связи между собой, которая в момент нападения или защиты дает возможность быстрого объединения действий. Такой характер местности, невыгодный для русских, которые наступали, тем самым давал преимущество войскам Бонапарта, которым предстояло защищаться. Однако нет

---

\* Кроссар был на русской стороне.

худа без добра: местные препятствия, затруднявшие атаки русских во время самого дела, помогли русским войскам развернуться перед его началом, избавив их от опасности быть захваченными врасплох во время подготовительных эволюций. Это лишило Бонапарта того единственного способа защиты, который может изменить положение слабой стороны; потому что для наступающего — если ему недостает опыта или привычки строиться в виду неприятеля, нет ничего более опасного, как подвергнуться нападению во время передвижения. Именно эта неопытность русских доставила Бонапарту победу при Аустерлице.

Широкий и глубокий овраг не позволял кн. Голицыну сомкнуть свою боевую линию: корпус, находившийся под его командой, оказался разделенным на две части, оторванные одна от другой. Это положение было тем более рискованно, что неприятель мог сосредоточиться на Красненской возвышенности и разгромить часть русских войск, которая была перед ним. В случае этого нападения войска кн. Голицына могли ожидать поддержки только от правого крыла кн. Кутузова. Главнокомандующий должен был двинуть свою армию со дня на день; но никто не знал положительно, в каком направлении он двинется, с какой стороны подойдет. Равным образом было неизвестно, на какой дистанции он будет держаться и какой изберет образ действий для поддержки войск кн. Голицына в случае атаки, которую последний думал предпринять на противоположной стороне оврага. Все эти обстоятельства делали крайне рискованным положение кн. Голицына, ему оставалось только атаковать Красный. Эта атака представлялась необходимой, чтобы стеснить неприятеля и задержать отступательное движение, которое он замышлял.

При таком положении вещей князь Голицын, широко развернув свою артиллерию, начал с усиленного обстрела неприятельских батарей, расположенных перед городом, одновременно с этим он решил перебросить часть войск на другую сторону оврага, чтобы обеспечить себе возможность перейти через него; зная, что у неприятеля нет кавалерии, он снарядил туда кавалерийскую часть, присоединив к ней несколько батальонов пехоты; кроме того, он приказал занять бугор, выдававшийся по самой середине большого оврага. Этот пункт, укрепленный самой природой, служил

опорой обоим участникам боевой линии, исправляя то, что было гибельного в ее разделении. Он являлся солидным прикрытием для войск, которым предстояло спускаться в овраг, чтобы овладеть его откосом с неприятельской стороны. Положение этого холма было таково, что неприятель не мог сделать ни одного движения вперед без риска подвергнуться огню, сначала с фланга, а потом и с тыла.

Князь Кутузов не замедлил осведомиться о ходе наступления и о расположении кн. Голицына. Он возложил это поручение на офицера гвардейских егерей, бывшего в то время адъютантом императора Александра. Я описал этому офицеру расположение войск той и другой стороны, обратил его внимание на тот талант, с каким князь сумел овладеть местностью и сделать приблизительно к ней надлежащие распоряжения; благодаря этому главнокомандующий мог рассматривать корпус кн. Голицына как базу для всех операций, какие его светлости угодно будет предпринять.

Однако противоположный берег оврага внушал мне некоторое беспокойство. Если бы неприятелю удалось прогнать кавалерию, которая составляла там главную силу, он легко мог, продвинувшись к югу от Красного, выйти во фланг левого крыла кн. Голицына; он мог также схватить бугор полукругом своего огня. Случись это, кн. Голицыну не удалось бы удержать свою позицию, он был бы принужден потерять местность, которой только кн. Кутузов, двинувшись вперед, мог бы овладеть вновь. Такой поворот счастья — какими бы подавляющими обстоятельствами он ни был обусловлен, — был бы крайне неприятен кн. Голицыну. Таким образом, сохранение позиции князя зависело, на мой взгляд, от того, где находился и какие движения предпринимал Кутузов.

Между тем удачно поставленная артиллерия кн. Голицына производила страшные опустошения в неприятельских войсках, расположенных перед Кутузовым; Бонапарт лично присутствовал здесь. По-видимому, введенный в заблуждение малым числом войск, какое он видел перед собой, он развернул значительные силы. Я говорил, что корпус маршала Даву, корпус принца Евгения и молодая гвардия были соединены. Это казалось мне серьезным, так как внушало опасения за южную часть нашей позиции; я решил перейти овраг и подбехать поближе к войскам, кото-

рые построил Бонапарт. Адъютант кн. Голицына, поручик конной гвардии Башмаков, храбрый, деятельный и толковый молодой офицер, поехал со мною. Но как ни велико было мое желание разведать что-нибудь о движениях Кутузова, обстоятельства не позволяли мне удаляться от поля битвы, особенно от этой (южной) его части, от которой в значительнейшей мере зависел исход дела. Положение войск здесь с трудом поддавалось определению; здесь не было точек опоры (*points d'appui*), которые могла бы уравновесить численное неравенство: правый фланг, упиравшийся в большой овраг, мог, правда, рассчитывать на пехоту и артиллерию кн. Голицына; но эта поддержка едва ли могли быть достаточно деятельной. Левый фланг был прикрыт только кавалерией, которая, к счастью, имела перед собой удобную местность. Но войска были прижаты к краю большого оврага. Я не понимаю, каким образом Бонапарт не заметил всех этих обстоятельств, крайне неблагоприятных для войск, которые были перед ним, почему он не решился ринуться на них, не теряя времени. Этот промах, может быть, объяснен только тем, что ему недоставало кавалерии. Тем решительнее действовала русская кавалерия. Однако, попытавшись ударить на строящуюся пехоту Бонапарта, она не выполнила с честью своего предприятия; отброшенная ружейным огнем, она повернула назад. Эта стычка едва не повлекла за собою самых печальных последствий; она подняла мужество неприятельской пехоты.

Таково было положение дел, когда я заметил, что князь Голицын необыкновенно смелым движением спустился в овраг и начинал уже взбираться на Красненское плато. Строганов, в тылу позиции, тоже выбирался из оврага; под его командой шел гренадерский корпус, в который входили войска, остававшиеся в стороне с самого начала дела. В этот момент Бонапарт решил сделать усилие и опрокинуть бывшие перед ним войска, не ожидая, пока пехота Голицына и корпус Строганова целиком выберутся из оврага. Если бы это удалось ему, поражение русских было бы полным.

За неимением кавалерии Бонапарт построил каре и приказал ему двинуться в атаку. Только один гренадерский батальон со стороны русских выступил вперед, чтобы принять удар.

Это было смелое движение; но вдруг батальон стал замедлять шаг, началось колебание. К счастью, я заметил другой батальон, только что выбравшийся из оврага, под начальством князя, фамилии которого я не знаю. Я попросил его поскорее двинуться вперед; невозможно описать пылкость, с какою князь принял мое предложение, и воодушевление, которое он внушил своим гренадерам. В один момент он соединился с батальоном, который шел впереди него. Штыки скрестились, каре было смято; подоспевшая кавалерия довершила остальное. Не все еще, однако, было кончено: в дело двинулась пехота, построенная Бонапартом в резерве; но граф Строганов успел уже выйти из оврага; выбралась и его артиллерия.

— Скорее, генерал! — сказал я ему. — Выставляйте батарею и открывайте огонь, иначе нас разнесут!..

— Да, — отвечал он, — будет скверно...

Тотчас был открыт ужасный артиллерийский огонь. В движении войск Бонапарта с самого начала видна была нерешительность; жестокий огонь нашей артиллерии в связи с недостатком орудий у Бонапарта заставил его отступить. Он начал отступление, казаки бросились на хвост его колонн. Так закончилось сражение 16 ноября.

Битва прекратилась около одиннадцати часов утра. Казалось, драться более не с кем, как вдруг пришло известие, что к Красному подходит новая колонна. Возникло мнение, что это отсталые, и я думаю, что мнение это было основательное. Как бы то ни было, мы двинулись потихоньку навстречу новой колонне. Я выехал вперед с генералом Бенигсеном; при виде мужчин, шедших вразброд, и женщин, тащившихся в хвосте колонны, растянутой в общем беспорядке, я убедился, что первоначальное предположение было правильно. Люди шли вооруженные, совершенно беззаботно. Но, увидев русских, они быстро сомкнулись и простым поворотом налево вытянулись в линию; подходившие примыкали к передним, еще более растягивая строй. Горсть людей, которой располагали против них русские, конечно, не могла напугать их, потому что, говоря по справедливости, к этому новому появлению неприятельских войск у нас отнеслись с очень непохвальным легкомыслием. Эскадрон полка генерала Кретьева первый вышел им навстречу. Приблизившись к неприятелю, эскадрон



готовился броситься на него, но был остановлен князем Сергеем Голицыным. Последний выехал к колонне, еще не успевшей построиться, и потребовал сдачи. Эти вооруженные люди, которым я не решаюсь присвоить название арьергарда (на меня эта колонна произвела впечатление бесформенного сборища всякого рода людей), выказали большую решительность. Они взяли за оружие и собирались открыть огонь. Неправда, будто кто-то из (русских) парламентариев был убит: мне было легко все наблюдать и видеть. После того как предложение кн. С. Голицына встретило отказ, кавалерия бросилась в атаку. Ружейный залп заставил ее повернуть назад. Вслед за тем вся колонна ударилась врассыпную, побросав всех наименее проворных. Регулярные войска захватили только малую часть; наибольшее число было захвачено казаками. Вероятно, лишь лучшие из этих людей присоединились к армии Бонапарта; но не менее справедливо и то, что никогда атака не была так бестолкова и не велась с наименьшей распорядительностью.

На другой день около двух часов пополудни, во время обеда, послышалась тревога: пришло известие о приближении корпуса Нея. Генерал Раевский (один из замечательнейших людей своего времени по знаниям, военным способностям и храбрости) оказался, к счастью, совершенно готовым к встрече неприятеля. Он выстроил свою дивизию позади большого оврага, который неприятелю нужно было перейти, чтобы продолжить путь. Однако Раевский не мог растянуть свою боевую линию настолько, чтобы занять большую дорогу, которая шла мимо его левого крыла. Насколько было возможно, он отстранил опасность, отставив это левое крыло, построенное тупым углом. В том пункте, где неприятель, по-видимому, собирался переправиться, стоял полк польских улан. Я обратил на это внимание полковника, уверяя его, что, если он стремительно обрушится на первые войска, которые станут переходить овраг, он не только опрокинет их, но и вовсе отобьет у неприятеля охоту перебираться на эту сторону, — и нам не нужно будет беспокоиться насчет нашего правого крыла. Действительность оправдала мое мнение, и полковник не обманул моих ожиданий. Решительным ударом он отбросил направлявшиеся войска, и неприятель оставил в покое правый фланг Раевского.

Главный интерес дела сосредоточился в центре, так как именно здесь проходила большая дорога. Кн. Сергей Долгорукий, тот самый, который отличился в сражении с Мюратом 18-го октября, поспешил перерезать ее. В его распоряжении был всего один пехотный полк и несколько ополченских батальонов, вооруженных пиками; шесть орудий составляли его артиллерию. Ему нужно было установить связь с правым флангом корпуса Строганова, занявшего со своими гренадерами лесистую местность. Боевая линия была слишком растянута, чтобы можно было сохранить ее силой. Я посоветовал кн. Долгорукому оставить на дороге только батарею, а ополченские батальоны расположить таким образом, чтобы внушить неприятелю мысль о существовании второй боевой линии. Князь сумел извлечь все выгоды из леса, располагавшегося между ним и Строгановым; под прикрытием этого леса он установил связь со Строгановым и увеличил свои силы на глазах у неприятеля. Последний был, по-видимому, сбит с толку демонстрациями кн. Долгорукого, так как действовал против нашего центра очень слабо. Вероятно, лесистая местность на левом фланге представлялась неприятелю более выгодной для его действий и для того, чтобы скрыть слабость его сил.

Маршал Ней имел временный успех, но павловские гренадеры отбросили его, смертельно ранив генерала Карпантье. С трудом посаженный на лошадь, генерал был доставлен к князю Меншикову. Он попросил, чтобы ему помогли слезть; ни по словам его, ни по голосу нельзя было заключить, насколько тяжела была его рана. Как только его сняли с лошади, он опустился на колени и умер на наших глазах, едва успев ответить на вопрос о его имени: «Я барон Карпантье...» Его адъютант, взятый в плен в этот же день, рассказал нам, что умерший генерал родом из Феры. «Вы, — сказал молодой офицер, — лишили жизни отца двух прелестных девушек...» Такова война: конечно, не женщин, не прелестных женщин хотят огорчить мужчины, которые воюют.

На всех пунктах войска Нея встречали отпор, и было безумием надеяться сломить его. Овраг, разделявший противников, являлся непреодолимым препятствием для той и другой стороны. Обстреливаемых многочисленной артиллерией и частым ружейным огнем неевских солдат ожидали

на другом берегу оврага свежие войска, отдохавшие в течение 24 часов. Истощив все силы, видя, что число их все уменьшается, эти солдаты должны были прекратить бесполезные усилия. Поэтому мы нимало не были удивлены, когда к нам явился неприятельский офицер в качестве парламентаря. Вместе с канониром из армии Нея он был отведен полковником гвардейской артиллерии к Милорадовичу, под главенством которого находились генерал-лейтенанты Раевский, Строганов, Дмитрий Голицын и Сергей Долгорукий.

— Генерал, — сказал прибывший, — две колонны, по три тысячи людей каждая, только что сдались, но ваша артиллерия их громит.

— Ваше Сиятельство, — сказал я Милорадовичу, — благоволите послать офицера с трубачом. Господин парламентар поедет с ним и передаст своим товарищам распоряжения, которые Вашему Сиятельству угодно будет сделать на их счет.

Милорадович согласился на мое предложение. Он отправил своего офицера, князя Андрея Голицына, конно-гвардейского офицера, находившегося как раз при нем, когда я сделал свое предложение. Но парламентар, ссылаясь на крайнюю усталость, отказался ехать с князем. Канонира посадили на круп позади трубача, и Андрей Голицын отправился с ними. Огонь смолк по всей линии. Спустилась ночь, и генерал Милорадович решил отпраздновать свои именины. То состояние крайнего напряжения и беспокойства, в котором прошел самый день именин и все дни, следовавшие за ним, не дали возможности своевременно отпраздновать его. Между тем формальности этого рода неизбежно соблюдаются русскими. Нельзя было удачнее выбрать момент для общей радости, Милорадович пригласил к своему столу пленных офицеров. Разумеется, особенность их положения ничем не была подчеркнута, и если была заметна, то разве лишь по усиленному вниманию, которое было им оказано. Я сидел рядом с одним военным комиссаром, который показался мне человеком, заслуживающим полного доверия. Как и все его товарищи, он осыпал Бонапарта проклятиями. Среди шума и острот, подогретых вином, комиссар вдруг поднялся и импровизировал четверостишие, в котором сравнивал Милорадовича с его патро-

ном — Св. Михаилом. Он без колебания отдал преимущество первому: «Архангел, — сказал он, — ниспроверг духа мира (pour le monde), повалив Бонапарта, это поганое животное (cet animal immonde)». Не скажу, чтобы поэзия эта показалась мне особенно богатой; но в этих скверных стихах выражалось мнение должностного лица, которое по самому своему положению было хорошо осведомлено о настроении умов в армии и на родине. Мне стало ясно, насколько привязанность солдат к Бонапарту была ослаблена всеми неудачами, как сильно была поколеблена его популярность.

Из деревни, где Милорадович устроил свою главную квартиру, мы вернулись в Красный. Дома здесь были переполнены ранеными и пленными; вокруг бивуачных костров томились безоружные неприятельские солдаты вперемежку с русскими. Никогда война не создавала ничего подобного тому, что было здесь. Я молча смотрел на этих несчастных, в лицах и движениях которых читалось полное изнеможение. Если б я стал говорить, повинуюсь голосу сердца, моя речь оказалась бы слишком слабой; если же я пожелал бы остаться только повествователем, я ничего не прибавил бы к истории, уже переполненной раздирающими душу описаниями.

Генерал Кретов провел ночь у Милорадовича и на другой день очень живо и забавно рассказывал нам обо всем, что было ночью. Уснуть было невозможно: то и дело солдаты из корпуса Нея стучались в окна и спрашивали:

— Здесь, что ли, сдаются?

Получив утвердительный ответ, они собирались вокруг костров, и с этого момента не было более ни друзей, ни врагов. Кн. Андрей выполнил свою миссию с успехом, превзошедшим все ожидания. Изнуренные голодом и усталостью, подавленные перспективой неизбежной гибели, злополучные солдаты Нея толпились вокруг костров. Подойдя к первому бивуаку, князь послал канонира вперед, приказав ему объяснить, по чьему поручению он явился. Измученные люди, настроение которых, видимо, поднялось, окружили его; он обещал им безопасность и раздачу провианта, указав при этом на полную невозможность пробиться на соединение с армией. Все согласились сдаться. Число пленных, которых князь набрал за ночь, доходило до шести тысяч.

*Кроссар*

\* \* \*

15 ноября путь был менее утомительным, но зато нам угрожала опасность от близкого соседства неприятеля, направлявшегося в Красный по дороге, пролежавшей недалеко от нашего левого фланга. Весь день нас тревожили казаки. В полутора верст от Красного шедшей впереди меня конно-гвардейской артиллерийской батарее пришлось даже обменяться с ними несколькими выстрелами, причем фургон генерала Дево был отбит. Немного далее этого места находился овраг, через который мы должны были пройти по перекинутому через него мосту, упавшийся на противоположном берегу в целый ряд возвышенностей, которые нам надо было преодолеть. Благодаря этому узкому переходу здесь произошло страшное скопление всякого рода экипажей.

Прибыв сюда вечером, я тотчас же увидел полную невозможность перейти овраг сейчас же и потому отдал приказ остановиться и покормить людей и лошадей. Генерал Киржене (гвардейского инженерного корпуса) командовал моим конвоем. После трехчасового отдыха мне донесли, что движение экипажей приостановлено и переход через мост прекращен, т.к. невозможно проникнуть через скопившиеся здесь экипажи. Зная критическое положение, в котором я находился благодаря близости казаков к моему левому флангу, и зная, что они уже опередили меня, я решился двинуться вперед и проложить себе силой дорогу сквозь эту беспорядочную кучу экипажей. Я отдал приказ, чтобы все мои повозки следовали друг за другом на самом близком расстоянии, без перерыва, чтобы не быть разъединенными, и сам встал во главе колонны. Мои люди силой убирали с дороги экипажи, мешавшие нашему проходу, и опрокидывали их; мои собственные повозки тронулись, расширяя путь, проложенный нами, и подвигались медленно вперед, давя и разбивая все, что попадалось на их пути, и ни крики, ни вопли, ни плач, ни стоны, ничто не замедлило хотя бы на миг их движения.

Наконец, после тысячи приключений, голова колонны достигла моста, который пришлось также очистить, и пробились через бывшее здесь загромождение. Правда, теперь путь был свободен, но здесь дорога шла круто вверх и

земля вся обледенела! Я велел колоть лед, взять земли с придорожных боковых рвов и набросать ее на середину дороги. Подавая сам пример, я приказал тащить повозки за колеса, чтобы хоть каким-нибудь образом ввезти экипажи один за другим на вершину. Двадцать раз я падал, то взбираясь, то спускаясь с холма, но благодаря сильному желанию достичь цели меня это не останавливало. За час до рассвета вся моя артиллерия была уже на вершине. Не теряя времени, я отправил ее дальше; конвоя со мной уже не было (он достиг Красного).

Я заметил на рассвете в 800 или 1000 метрах от моего левого фланга многочисленных казачьих разведчиков, но я уже приближался к Красному и был впереди их. Ускорив шаг, я вскоре очутился вне их выстрела и дошел, потеряв только несколько павших лошадей, оставшихся на дороге, на которую я только что взошел. Мое прибытие доставило большую радость генералу Сорбье, который уже думал, что со мною что-нибудь случилось.

Я передал с такими подробностями этот случай моей жизни, так как на самом деле он был очень тяжел и мне понадобилось масса энергии и твердой воли, чтобы благополучно выйти из него невредимым. Обыкновенно при таких обстоятельствах, когда приходится останавливаться благодаря какому-нибудь затруднению, на ночь глядя, после целого дня ходьбы, то принято отдыхать до рассвета и трогаться в путь лишь тогда, когда можно ориентироваться. Но я обсудил со всех сторон мое положение, и мои догадки оказались верны, так как после меня (я хочу сказать — после моей артиллерии) никто не достиг, по крайней мере, без труда, вершины. Русские поместились на холме, и вся масса всякого рода экипажей, среди которых я прошел с таким трудом и усилием, безжалостно тревожа сон людей или разбивая их экипажи, — все это было захвачено неприятелем. Маршал Даву, принц Евгений и маршал Ней были еще позади, они также должны были испытать затруднение.

Я расставил свою артиллерию рядом с остатками шедшей впереди меня артиллерии гвардии, при выходе из города, с правой стороны дороги на Оршу, на берегу маленького озера. Я нуждался в отдыхе. Прошедшая ночь измучила меня, и я уже начал хромать от испытываемой мною боли от холода в ногах.

17-го на рассвете объявили, что император во главе гвардии направляется к мосту, о котором я говорил, чтобы выбить оттуда русских и очистить путь войскам, оставленным там и находившимся в опасном положении. Взято было четыре батареи гвардии; мои не были назначены, и Друо принял командование. Может быть, благодаря тому, что я последним вошел в город, я не был причислен в этот отряд. В продолжение трех или четырех часов, пока длилось сражение, мне некогда было отдохнуть и я не оставался без дела. Ясно было, что будет отступление, и надо было избавиться от всего, что невозможно увезти. Так как уже значительно уменьшившееся число моих лошадей убавилось еще ввиду того, что теперь мне пришлось отдать нескольких из них, чтобы пополнить запряжку батарей, отправившихся сражаться, я принужден был пожертвовать частью снарядов. Озеро, около которого мы расположились, очень помогло мне. Я воспользовался этим и приказал бросить туда часть снарядов и несколько орудий. Однако пушки оглушительно грохотали в недалеком от нас расстоянии. Гром выстрелов, ясно доносившийся до нас, благодаря морозному воздуху, слышался все с одинаковой силой, что указывало на упорное сопротивление, но в то же время перестрелка, доносившаяся с нашего левого фланга, показала, что мы были обойдены неприятелем с этой стороны. Мы находились в большом страхе, увеличивающемся еще от беспорядочного движения войск и экипажей, покрывавших дорогу и бегущих к тылу армии. Это было печальное, полное отчаяния зрелище.

Наконец показались передние ряды колонны гвардии, и она, не останавливаясь, по выходе из города двинулась по направлению к Лядом; отряды армии маршала Даву и принца Евгения были освобождены из этого фатального места. Но войска маршала Нея оставались еще позади, и от него не было никаких известий. Таким образом, император достиг своей цели, по крайней мере, по отношению к двум первым отрядам. Большого сделать было невозможно. Дав пройти гвардии, я последовал за ней, но казаки уже появились на нашем левом фланге. Из присутствие сильно беспокоило нас, так как у нас не было ни одного кавалериста и пехотинца, могущего оказать им сопротивление. Пройдя версту от Красного, вновь овраг и вновь скопление.

Первое же мое орудие здесь застряло, и я не мог его втащить. Тогда я увидел невозможность преодолеть этот трудный переход и по какому-то мимолетному вдохновению направил остатки моей колонны немного левее, хотя это и приближало нас к казакам. Чтобы не завязнуть на дне оврага, я распорядился, чтобы ни одна повозка не шла по пути, проложенному предыдущей, и, благодаря этой предосторожности, мой план прекрасно удался, и я счастливо продолжил свой путь, не потеряв времени и оставив за собой весь хаос, по которому русские уже стреляли из своих орудий. Однако мне было очень жалко оставить здесь одну из моих пушек, и прежде, чем окончательно от нее отказаться, я решил еще раз убедиться, что нет никакой возможности ее спасти, и потому я вернулся к тому месту, где она находилась, но ядра уже произвели беспорядок среди массы людей и экипажей — ничего нельзя было сделать в этом хаосе.

Пока я находился здесь, тяжелая сцена произошла перед моими глазами: одной бежавшей из Москвы молодой женщине, очень красивой и порядочной на вид, только что удалось выйти из всей этой сумятицы, и она верхом на осле с трудом подвигалась вперед, как вдруг ядро разбило челюсть бедному животному. Не могу передать тяжелого чувства, испытанного мною, когда я покидал там эту несчастную, сознавая, что она вскоре сделается добычей и, по всей вероятности, жертвою казаков, но моя артиллерия уже удалилась, и у меня не было никакой возможности спасти несчастную женщину.

*Булар*

\* \* \*

Казаки атаковали наш арьергард. Весь мой багаж, лошади, слуги были захвачены. У меня осталась лишь маленькая русская лошадка, от которой мне пришлось отказаться несколько дней спустя при довольно необычных обстоятельствах. Холода стояли ужасные. В одну ночь, чтобы противостоять страшному действию холода, я, прислонившись спиной к ели, отчаянно топал ногами, держа за узду свою бедную лошадь, которая, в свою очередь, скребла землю, ища в ней пищи. Каково же было мое удивление и горе, когда я с рассветом увидел бедное животное все в крови.



Ночью из нее вырезали бифштексы. Оставалось убить ее и съесть. Я получил при этом свою долю...

Положение наше ухудшалось с каждым днем. Батальон, остановившись к концу дня на ночлег, срубал ели, и разводил огромные огни. Те, кто ложился вокруг этих костров, почти всегда становились их жертвами. Большая часть их оставалась на месте, задохнувшись с одной стороны и замерзнув с другой. Полки были дезорганизованы. Можно было увидеть на походе, как люди падали, три раза повернувшись вокруг себя; несколько капель крови выходило у них из носу, и они умирали. Не было больше ни припасов, ни отдыха. Русские постоянно держали нас в тревоге.

*Бонневаль*

\* \* \*

Мы покинули Лубню до рассвета 16 ноября и все утро шли, не встречая никаких препятствий. Принц Евгений, сопровождаемый штабом и ротами саперов и гардемаринов, ехал впереди войска. Отъехав на 3 версты, он около 3 часов увидел перед собой группу отсталых и оторвавшихся от своих отрядов; они занимали дорогу на большом пространстве, атакуемые казаками. Принц приказал генералу Гильемино, начальнику своего штаба, присоединить всех этих несчастных к отрядам саперов и гардемаринов, затем занять позицию в пересекавшем дорогу лесу и там держаться.

Вдруг русский офицер, князь Кудашев, полковник и адъютант генерала Милорадовича, предшествуемый трубачом, возвестившим о парламенте, приблизился к группе вице-короля. Он объявил, что император и его гвардия вчера были разбиты. «Двадцать тысяч русских, за которыми идет вся армия Кутузова, окружают вас, — сказал он, — и вам ничего не остается лучшего, как сдаться на почетных условиях, которые предлагает вам Милорадович».

Уже несколько офицеров, желая скрыть вице-короля, чтоб он не был узнан, двинулись вперед, чтоб ответить, как он отстранил их: «Вернитесь скорее откуда пришли, — сказал он парламентеру, — и скажите тому, кто вас послал, что если у него 20 000 человек, то у нас 80 000!» И русский, который собственными глазами мог видеть всю слабость этой горсти непреклонных людей, удалился, изумленный таким ответом.

Затем вице-король галопом догнал свой отряд, остановил и обратился к нему с речью, в которой обрисовал опасность положения. И солдаты, которые за минуту до того чувствовали себя изнуренными и подавленными, нашли в себе остатки прежней энергии; их лица озарились тем светом, который в былые времена предвещал победу. Все, у кого осталось оружие, становились в ряды, хотя многие из них изнурены лихорадкой и едва живы от холода. Вице-король разворачивает свои батальоны; они, правда, не представляли собой достаточно растянутой и глубокой линии, но все же держатся гордо и неустрашимо.

Принц Евгений приготовился к сражению. Гильемино под прикрытием своих саперов и итальянских гардемаринов, несмотря на жестокий артиллерийский и мушкетный огонь, формировал роты разрозненных солдат, сохранивших свое оружие. Он сформировал таким образом 1200 человек. Кругом толпились солдаты потерявшие свои части, чиновники, служащие, а также женщины...

Вице-король все еще не подходил, а дальнейшее сопротивление становилось невозможным. Требования сдать оружие следовали одно за другим, а в краткие промежутки итальянцы слышали и издали пушечную стрельбу, и впереди, и позади, так как принц Евгений был также атакован. Надо было на что-нибудь решиться. Достигнуть Красного? Невозможно, это было слишком далеко и все заставляло думать, что и там шло сражение. Покориться необходимости и отступить? Но русские нас окружили со всех сторон.

И все-таки казалось более благоразумным идти отыскивать принца Евгения, возвратившись назад, соединиться всем вместе и, уже соединившись, двинуться вперед к Красному.

Таково было предложение Гильемино. Его слова были встречены единодушным одобрением. Немедленно он строит колонну в каре и бросается против 10 000 ружей и пушек неприятеля.

Сначала русские в глубоком изумлении расступились; они смотрели, что хочет делать это небольшое число почти безоружных воинов; но затем, когда они поняли план Гильемино, они, не то от удивления, не то от другого какого-то чувства, закричали, чтобы отряд остановился. Смелые и благоразумные русские офицеры заклинали их сдаться;

но вместо всякого ответа наши решительно продолжали свое наступление в зловещей тишине, надеясь только на свои штыки.

Почти против них вспыхнул вдруг весь неприятельский огонь, и после нескольких шагов вперед половина героической колонны покрыла собой почву.

Но те, кто остался, продолжали свой путь в полном порядке (результат, действительно, необычный, достигнутый отрядом, состоящим из самых разнообразных элементов) до того момента, когда их встретила итальянская армия с громкими криками радости и освободили их от всякого преследования.

Тем временем Евгений, видя, что Милорадович хочет ему преградить дорогу, поставил королевскую гвардию в центр, вторую дивизию слева, первую — справа от дороги, а дивизию Пино позади, в резерве. Оторванные от отрядов солдаты и багаж укрылись в маленьком лесу, расположенном позади правого крыла дивизии Пино. Многочисленная русская кавалерия двинулась вперед и начала битву. Дивизии, построенные в каре, ее оттеснили, и русские, не решаясь атаковать вновь, открыли артиллерийский огонь. На него мы могли отвечать только медленно и слабо, ввиду скудности запасов, которыми располагали.

Принц Евгений, утомленный столькими бесполезными жертвами, посылал королевскую гвардию атаковать фланг русских; дивизия эта, хотя и была слишком слаба, чтобы оперировать против линии войск, не медлила принести себя в жертву под ужасный огонь картечи. Новый отряд неприятельской кавалерии вступил в дело, и хотя наши храбрецы, сильно разреженные пулями, с великим хладнокровием опять выстроились в каре, — но все-таки вынуждены были отступить.

Пользуясь тем, что слева королевская гвардия осталась, таким образом, без прикрытия, русские драгуны попытались атаковать ее. Но, довольно плохо принятые, они не возобновили попытки.

Направо, первая дивизия получила приказание атаковать левый фланг русских, стоящий в лесу. Вначале этот маневр как будто удался, но вскоре же под натиском новых масс неприятеля, под губительным орудийным огнем

наши принуждены были вернуться на старое место, чтоб не быть окруженными...

Вице-король соединил свои войска: «Не остается других средств, — сказал он, — как проложить себе дорогу остриями наших сабель. Тишина и порядок, следуйте примеру королевской гвардии, которую веду я!»

Ночь развернула уже над полем сечи свой густой покров. Мы шли без шума, с большой осторожностью; мы проходили по полям, по оврагам, по волнообразной местности, покрытой снегом, оставляя слева от себя левый фланг боевой линии русских, минуя их огни и их посты. Первая же неосторожность могла погубить эти, еще оставшиеся после боя, силы. Ночь благоприятствовала нам, но луна, скрывавшаяся до последнего момента за густым облаком, вдруг вышла, чтоб осветить наше бегство. Скоро русский голос нарушил эту таинственную тишину, приказывая нам остановиться: «Кто идет?» Мы все остановились, только полковник Клиский отделился от авангарда, подбежал к часовому и сказал ему тихо, по-русски: «Молчи, несчастный; разве ты не видишь, что мы из корпуса Уварова и назначены на секретную экспедицию?» Часовой больше не сказал ничего.

Чтобы скрыть свое движение, мы должны были обойти деревню Рюмино, затем выйти на большую дорогу, между Кутьковом и Ксензовом, где мы надеялись найти французские войска; вместо этого мы были здесь встречены ружейными выстрелами. Вице-король остановил колонну и послал узнать, откуда стреляли. Мы считали себя погибшими, так как были совершенно отрезаны от императора. Мы уже начали готовиться к отчаянной защите, но вернулся полковник Клиский и доставил нам величайшую радость, рассказав нам, что он нашел только посты молодой гвардии, которые, будучи всегда настороже ввиду соседства с корпусом Карпова, по ошибке выстрелили в нас. Тогда мы продолжаем путь, проникаем в Красный и там соединяемся с войсками, шедшими впереди нас. Дивизия Пино пришла только часом позднее нас.

Наши потери сегодня были велики; нам пришлось бросить все пушки, повозки, зарядные ящики, багаж, и оказалось, что наше число сократилось почти на 4000 штыков. Многие из выдающихся офицеров погибли, пораженные яд-

рами, которые пронизывали ряды сражавшихся; стояли также ужас и смерть и в массе отсталых, раненых и больных.

*Ложье*

\* \* \*

Принц очень долго частным образом беседовал с генералом Гильемино, и результат их разговора был тот, что решили пробиться сквозь неприятеля.

В это время наши войска двинулись вперед. Русские, отброшенные нами накануне к Палкину, встали на позициях по полевой стороне дороги, чтобы отрезать наш отряд от отряда герцога Эльхингенского. Увидав, что мы выступаем, они начали стягивать свои силы по мере того, как мы подвигались вперед; они отступили до равнины, на которой расположились их главные силы. Здесь они выдвинули вперед свои орудия, поставленные для более легкого передвижения на сани.

Они стали осыпать нас ядрами, между тем как кавалерия, оставив свои позиции, выехала на равнину и атаковала наши каре. Наши храбрецы 35-го полка, изнемогая от усталости, едва держась на ногах, большая часть из них была ранена, но тем не менее они встретили неприятеля с тем жаром, который может проявить только французский солдат.

Только вспомнив ужасное положение, в котором мы находились, можно отдать должное их героическому поведению.

Под неприятельским огнем генерал Орнано двинул остатки тринадцатой дивизии на помощь отрядам четырнадцатой дивизии, которой приходилось очень плохо. Пушечное ядро так близко пролетело мимо него, что сбросило его с лошади. Все думали, что он мертв, и солдаты кинулись к нему, чтобы его раздеть, но оказалось, что он только оглушен падением. Тогда принц послал своего адъютанта полковника Дельфанти с батальоном, чтобы воодушевить войска. Этот храбрый воин кинулся в самую середину боя и под градом пуль и картечи возбуждал солдат своими советами и собственным примером. Получив две опасные раны, он не мог долго пробыть здесь, и ему пришлось выступить из рядов. Хирург сделал ему перевязки, и он с большим трудом покинул поле сражения. По дороге он встретил Вил-

лебланша, который в качестве члена государственного совета должен был покинуть Смоленск, где он состоял интендантом. С ним же был генерал Шарпантье — губернатор Смоленска. По роковой судьбе он испросил позволения у вице-короля сопровождать его. Этот молодой человек, увидав раненного полковника Дельфанти, опирающегося на руку офицера, благодаря своему доброму сердцу предложил ему опереться на него, и они вдвоем стали медленно удаляться от поля сражения, как вдруг ядро, ранив в плечо полковника, сносит голову великодушному Виллебланшу. Так погибли два молодых человека, которые, хотя и в разных должностях, проявили так много мужества и способностей. Первый сделался жертвой своей храбрости, а второй — гуманности. Вице-король, тронутый этим случаем, почтил память полковника Дельфанти, оказав много благодеяний его отцу. Он постарался бы, конечно, утешить также и отца Виллебланша, если бы только последующие события не задержали поток его щедрости.

Двести человек, бывшие под командой полковника Дельфанти, пустились вперед, чтобы поддержать каре 35-го полка, которым командовал генерал Хейлигер. Лишившись начальника, они помещались частью впереди, часть позади этого каре. Неприятельская кавалерия, воспользовавшись этим беспорядком, возобновила атаку и, убив массу солдат, отняла у нас наши две последние пушки, которые произвели всего только несколько выстрелов из-за недостатка зарядов. Генерал Хейлигер старался привести в порядок наши слабые остатки, но получил три удара саблей по голове, и два русских солдата уже приставили к его груди штыки, как, к счастью, какой-то кавалерист узнал в нем генерала и, схватив за воротник, взял его в плен. Многие доставленные офицеры погибли в этом кровавом бою. К несчастью, я не помню их имен, кроме майора Орейля, известного своей горячностью, и флигель-адъютанта Фромажа, усердие которого проявилось во многих подвигах. Между тем пушечные выстрелы все продолжались и приносили с собой опустошение и разорение; все поле было усеяно трупами и умирающими; многочисленные раненые, бросая оружие, присоединились к своим уже бездеятельным товарищам. Выстрелы продолжали выбивать их из строя наших солдат, начиная с первых рядов и кончая последни-

ми, где находились офицеры без лошадей; здесь, например, погибли Бардони и Мاستини, капитаны итальянской гвардии, которая хотя и в небольшом количестве, но все еще существовала.

Вице-король, видя, как упорно русские хотели загородить нам проход, воодушевляя и соединяя четырнадцатую дивизию на левом фланге, сделал этим маневром вид, что желает продолжать сражение, и в то время как русские сконцентрировали в этом пункте свои силы, чтобы окружить эту дивизию, принц приказал всем оставшимся воспользоваться темнотой вечера и ускользнуть правой стороной вместе с королевской гвардией, которая не сражалась... Час спустя мы соединились с молодой гвардией, находившейся по эту сторону реки, протекавшей недалеко от Красного. Здесь находился император, и наши страхи понемногу рассеялись...

*Лабом*

### *Отступление Нея*

Мы спокойно двинулись по дороге в Оршу. Пушечные выстрелы слышались лишь в отдалении, и мы подумали, что это 9-й корпус приближался к большой дороге. В самом деле, как было предположить, что неприятель находится у нас на пути, а корпуса, находящиеся впереди нас, и не подумали предупредить нас об этом. Между тем оказывалось фактом, что русская армия фланговым движением достигла Красного в то время, как французы занимали еще Смоленск, и что она готовилась преградить нам путь. Император с гвардией, 4-м и 1-м корпусом были последовательно атакованы в Красном 15, 16 и 17-го числа. Не говоря уже о превосходстве численности, можно себе представить, какое преимущество имели русские над войсками, истомленными и почти совершенно лишившимися кавалерии и артиллерии. И все-таки мужество восторжествовало над всеми препятствиями: императорская гвардия, пробившись сквозь неприятеля, осталась у Красного на помощь 4-му и 10-му корпусу. Вице-король и маршал Даву с негодованием отвергли предложение капитулировать, которое осмелились им сделать. Они, в свою очередь, прорвали не-

приятельскую линию, но зато потеряли почти всю свою артиллерию, багаж и большое число людей пленными.

Императору нельзя было теперь терять ни минуты, чтобы достигнуть Березины; он увидел себя вынужденным покинуть 3-й корпус и ускорил движение к Орше. В течение трех дней, когда происходило все это, маршал Ней не получил ни малейшего предупреждения относительно опасности, грозившей теперь ему.

Император сильно упрекал маршала Даву за то, что он не остановился на день в Красном подождать 3-го корпуса. Маршал уверял, что не имел к тому никакой возможности. Но, по крайней мере, он должен был бы предупредить маршала Нея. Впрочем, может быть, сообщение между ними было отрезано. Как бы то ни было, генерал Милорадович ограничился посылкой нескольких легких отрядов в погоню за императором и соединил все свои силы против 3-го корпуса, рассчитывая захватить его целиком.

18-го утром мы отправились из Корытни и двинулись к Красному; несколько казачьих эскадронов стали тревожить при приближении к этому городу 2-ю дивизию, шедшую в арьергарде. Это появление казаков не имело никакого значения: мы к ним привыкли, и нескольких ружейных выстрелов бывало достаточно, чтобы рассеять их. Но вскоре авангард наш встретился с дивизией генерала Рикара, принадлежавшей к 1-му корпусу, которая оставалась в арьергарде и была отброшена на нас. Маршал собрал все остатки этой дивизии и под покровом тумана, который благоприятствовал нашему маршу, скрывая незначительность нашего числа, он приблизился к неприятелю, пока выстрел из пушки не заставил его остановиться. Русская армия, выстроенная в боевой порядок, заграждала нам путь; тут только узнали мы, что отрезаны от остальной армии и что спасения нам надо искать лишь в нашем отчаянии.

Дело 3-го корпуса у Красного было одним из самых блестящих в эту кампанию; никогда еще не видано было боя более неравного; никогда еще талант полководца и самоотверженность войск не проявлялись в большом блеске. Едва успел маршал Ней поместить свой авангард под прикрытием артиллерийского отряда, как прибыл от генерала Милорадовича парламентар с требованием сложить оружие. Те, кто знали Нея, поймут, с каким презрением должен



он был отнестись к этому предложению, но русский парламентар стал уверять его, что высокое уважение, которое высказывал русский генерал к его талантам и мужеству не позволяет ему предложить маршалу что-либо недостойное последнего, что эта капитуляция была необходима; что другие корпуса покинули его на произвол судьбы; что перед ним находилась армия в 80 000 человек и что, если он пожелает, он может послать офицера убедиться в этом. 3-й корпус вместе с подкреплениями, полученными в Смоленске, не достигал 6000 человек; артиллерия сведена была всего к 6 орудиям, кавалерия — к одному взводу охраны. Несмотря на все это, маршал вместо сдачи взял парламентар в плен; несколько орудийных выстрелов во время этих своеобразных переговоров послужили предлогом, и маршал, не обращая внимания на огромную численность неприятеля и ничтожное количество своих войск, скоординировал атаку. 2-я дивизия, построившись в колонны по полкам, прямо двинулась на неприятеля. Да позволено мне будет воздать должное самоотверженности этих солдат и поздравить себя с той честью, что я шел во главе их. Русские с восхищением смотрели, как дивизия стала приближаться к ним в наилучшем порядке, ровным шагом. Каждый оружейный выстрел вырывал целые ряды; каждый шаг вперед делал смерть все более неизбежной, но движение не замедлялось ни на шаг. Наконец, мы настолько приблизились к неприятельской линии, что первое отделение моего полка, сломленное в конце каре картечным огнем, было отброшено на следовавшее за ним второе и внесло в него расстройство. Тогда русская пехота, в свою очередь, атаковала нас, а кавалерия, ринувшись на наши фланги, довершила наше поражение. Несколько занявших выгодные позиции стрелков остановили на минуту преследовавшего нас неприятеля; в бой двинута дивизия Ледрю, и 6 орудий стали отвечать на огонь многочисленной артиллерии русских. Тем временем я собрал уцелевшие остатки моего полка на большой дороге, куда снаряды долетали изредка. Наша атака не продолжалась и четверти часа, второй дивизии уже не существовало более; мой полк потерял нескольких офицеров и сократился до 200 человек; иллирийский полк и 18-й полк, потерявший своего орла, пострадали еще больше; генерал Разу был ранен, генерал Ланшантэн взят в плен.

Тотчас же маршал приказал второй дивизии идти назад по дороге к Смоленску; после двух верст ходьбы он направил ее влево, через поле, перпендикулярно к дороге. 1-я дивизия, уже давно истощившая силы, выдерживая натиск всей неприятельской армии, последовала за этим движением вместе с пушками и частью багажа; все раненые, которые еще в состоянии были ходить, тащились на нею. Русские остались в деревнях, пославши для наблюдений за нами колонну кавалерии.

Смеркалось, 3-й корпус двигался в молчании; никто из нас не мог понять, что с нами будет. Но присутствие маршала Нея было достаточно, чтобы придать нам бодрость. Не зная, ни что он хотел, ни что он мог сделать, мы знали все-таки, что он что-то сделает. Его уверенность в себе равнялась его мужеству. Чем больше была опасность, тем быстрее принимал он решения; а раз решившись на что-либо, он уже не сомневался в успехе. И в этот момент его лицо не выражало ни нерешительности, ни беспокойства. Все взгляды обращены были на него, но никто не осмеливался задать ему вопрос. Наконец, увидев около себя одного офицера своего штаба, маршал сказал ему вполголоса: «Неважно у нас». — «Что вы будете делать?» — спросил офицер. «Перейдем через Днепр». — «А где дорога?» — «Найдем». — «А если он не замерзнет». — «Замерзнет». — «В добрый час», — сказал офицер. Этот своеобразный диалог, который я воспроизвожу буквально, раскрыл план маршала — достигнуть Орши, идя по правому берегу реки, и сделать это достаточно быстро, чтобы еще застать там армию, двигавшуюся по левому берегу. План был смелый и ловко задуман; сейчас мы увидим, с какой энергией был он выполнен.

Мы шли через поля без проводника, и неточность карт еще больше путала нас. Маршал Ней, одаренный свойственным воину талантом — извлекать пользу из малейших обстоятельств, заметил лед в том направлении, в котором мы шли, и приказал пробить его, полагая, что под ним скрывался ручей, который должен привести нас к Днепру. То был действительно ручей, мы пошли по его течению и пришли, наконец, в деревню. Маршал сделал вид, что собирается остановиться. Были зажжены большие костры и выставлены аванпосты. Неприятель оставил нас в покое, рассчитывая назавтра легко расправиться с нами. Спокой-

ный теперь насчет неприятеля, обманутого этой хитростью, маршал занялся приведением в исполнение своего плана. Нам нужен был проводник, а деревня была пуста; солдаты в конце концов нашли хромого крестьянина; у него спросили, где Днепр и замерз ли он. Крестьянин ответил, что в 4 верстах находилась деревня Сырокоренье и что Днепр в этом месте, вероятно, успел уже замерзнуть. Мы двинулись, руководимые крестьянином, и скоро прибыли в деревню. Днепр, с очень крутыми берегами, здесь, действительно, был покрыт достаточно крепким льдом, чтобы по нему можно было перейти пешком. Пока искали переход, дома стали наполняться офицерами и солдатами, ранеными утром; они дотащились сюда, и хирурги едва могли оказать им первую помощь; те, кто не был ранен, заняты были поисками съестных припасов. Один маршал Ней, забывая и сегодняшние и завтрашние опасности, спал глубоким сном.

Около середины ночи мы снялись с лагеря, чтобы перейти Днепр, оставив неприятелю артиллерию, багаж, всякого рода повозки и раненых, которые не могли ходить. Лед был настолько тонок, что лишь очень небольшое количество лошадей могло пройти по нему, войска построились на другом берегу реки.

Первый план маршала уже увенчался успехом; Днепр был перейден, но мы были более чем в 60 верстах от Орши. Нею нужно было прийти туда прежде, чем уйдет оттуда французская армия; приходилось идти по незнакомым местам, отбиваясь от атак неприятелей, без кавалерии и артиллерии, с кучкой пехотинцев, истомленных усталостью. Поход начался при благоприятных предзнаменованиях. Мы нашли в одной деревне (Гусиное) спящих казаков и взяли их в плен. 19-го, с рассветом, мы двинулись по дороге в Любовичи. Задержаны мы были лишь на несколько минут переходом через встретившийся нам поток и еще несколькими казачьими пикетами, снявшимися при нашем приближении. В полдень мы достигли двух расположенных на возвышенности, деревень, обитатели которых едва успели скрыться, оставив нам свои съестные припасы. Солдаты наслаждались этими несколькими моментами физического благополучия, как вдруг раздался крик: «К оружию!» Неприятель приближался и оттеснил наши аванпосты. Войска вышли

из деревень, построились в колонну и двинулись в путь в виду неприятеля. Но то уже была не кучка казаков вроде тех, каких мы встречали до сих пор; то были целые эскадроны, маневрировавшие в порядке под командой самого генерала Платова. Наши стрелки задержали их; колонны ускорили шаг, в то же время перестраиваясь для отражения кавалерийской атаки. Несмотря на многочисленность этой кавалерии, мы ее нисколько не боялись, потому что никогда казаки не решались атаковать пехотное каре.

Но вскоре несколько орудий открыли огонь по нашим колоннам. Это артиллерия следовала за движением кавалерии и перевозилась на санях всюду, где с пользой могла действовать. Вплоть до сумерек маршал Ней не прекращал борьбы со столькими препятствиями, пользуясь малейшими условиями местности. Среди снарядов, падавших в наши ряды, несмотря на крики казаков, производивших демонстрацию атаки, мы шли прежним шагом. Ночь приближалась, неприятель удвоил силы. Пришлось оставить дорогу и броситься налево вдоль лесов, окаймляющих Днепр. Казаки уже овладели этими лесами; 14-й и 18-й полки, под командой генерала д'Энена, получили приказ выехать оттуда. А тем временем неприятельская артиллерия заняла противоположный берег оврага, через который мы должны были пройти. Тут-то генерал Платов и рассчитывал истребить всех нас.

Я последовал за своим полком в лес. Казаки удалились; но лес был большой и довольно густой, приходилось обочиваться во все стороны, чтобы ограждать себя от неожиданностей. Наступила ночь; мы ничего не слышали вокруг себя; было более чем вероятно, что маршал Ней продолжал двигаться вперед. Я посоветовал генералу д'Энену следовать за ним; он отказался, боясь упреков со стороны маршала за самовольное оставление поста. В этот момент сильные крики, свидетельствовавшие об атаке, слышались впереди нас и уже на некотором расстоянии; становилось несомненным, что наша колонна продолжала свой путь и что нам предстояло быть отрезанными от Нея. Я удвоил свои настояния, уверяя генерала, что маршал, которого я хорошо знал, не пошлет ему приказа, потому что он предоставлял каждому командиру действовать сообразно об-

стоятельствам; что, кроме того, он находится слишком далеко, чтобы быть в состоянии сообщаться с нами, и что 18-й полк уже наверно давно отправился.

Генерал упорствовал в своем отказе; единственно, чего я мог добиться от него, — это отвести нас к тому пункту, где должен был находиться 18-й полк, чтобы соединить оба полка. 18-й полк уже ушел, и вместо него мы нашли эскадрон казаков. Генерал д'Энен, убедившись слишком поздно в справедливости моих замечаний, решил, наконец, догонять колонну. Но мы уже исходили лес в стольких направлениях, что не могли найти дороги; костры, горевшие с разных сторон, еще больше запутывали и сбивали с толку. Мы посоветовались с офицерами моего полка, и двинулись в том направлении, какое указало большинство. Я не стану описывать всего, что нам пришлось выстрадать в эту ужасную ночь. У меня оставалось не больше 100 человек, и мы находились на расстоянии больше 4 верст от арьергарда нашей колонны. Нужно было догнать его, пробиваясь среди окружавших нас врагов. Приходилось идти быстро, чтобы наверстать потерянное время, и в достаточно строгом порядке, чтобы отбивать атаки казаков. Темнота ночи, неуверенность в направлении, которого мы держались, трудность прибираться через лес — все это увеличивало наше затруднительное положение. Казаки кричали нам, чтобы мы сдавались, и стреляли в нас в упор; настигнутых их пулями мы покидали.

У одного сержанта выстрелом из карабина была перебита нога. Он упал около меня, хладнокровно сказав своим товарищам: «Вот еще один человек погибает; возьмите мой ранец, он вам пригодится». Мы взяли его ранец и молча покинули его. Двое раненых офицеров подверглись той же участи. Но я с беспокойством наблюдал за впечатлением, какое производило такое положение вещей на солдат и даже на офицеров моего полка. Те, кто был героем на поле битвы, проявляли беспокойство и тревогу: настолько справедливо замечание, что условия, сопровождающие опасность, пугают более, чем самая опасность. Лишь очень немногие сохраняли столь необходимое для нас присутствие духа. Мне потребовался весь мой авторитет, чтобы поддержать порядок при движении и чтобы помешать солдатам покинуть ряды. Один офицер дал мне понять, что мы, быть может,

вынуждены будем сдаться. Я громко сделал ему выговор, и тем более сурово, что он был заслуженный офицер, а это еще более усиливало данный ему урок. Наконец, больше чем через час мы вышли из леса; Днепр оказался у нас с левой стороны.

Направление нашего дальнейшего пути было установлено, и это открытие оживило солдат минутной радостью; я воспользовался этим, чтобы ободрить их и посоветовать собрать все свое хладнокровие, которое одно только могло нас спасти. Генерал д'Энен приказал нам двинуться вдоль реки, чтобы помешать неприятелю обойти нас. Мы далеко еще не выпутались из опасного положения; мы уже не сомневались более в направлении нашего пути, но равнина, где мы шли, позволяла неприятелю атаковать нас всей массой и пустить в ход артиллерию. По счастью, наступила ночь, и орудия стреляли почти наугад. От времени до времени казаки с громким криком подступали к нам: тогда мы останавливались, делали в них залп и, отогнав их таким образом, тотчас же снова пускались в путь. Этот путь шел на протяжении двух верст в очень неудобной местности: приходилось перебираться через овраги настолько крутые, что еле удавалось вскарабкаться на противоположный берег, переправляться через ручьи, замерзшие лишь наполовину, вода которых доходила до колена. Ничто не могло сломить стойкости солдат; порядок сохранялся все время самый строгий, никто не выходил из рядов. Генерал д'Энен, раненный картечью, скрывал это, чтобы не лишать солдат мужества, и с прежним рвением продолжал командовать. Конечно, ему можно поставить в упрек, что он слишком долго упорствовал, защищая лес у Днепра; но в столь затруднительных обстоятельствах ошибка всегда простительна. Во всяком случае нельзя оспаривать мужество и умение, с каким он вел нас в продолжение всего этого опасного перехода. Под конец преследование со стороны неприятеля замедлилось; мы заметили впереди себя на возвышенности несколько костров. То был арьергард маршала Нея, делавший привал в этом месте и снова отправившийся в путь; мы присоединились к нему и узнали, что маршал накануне атаковал неприятельскую артиллерию и заставил ее открыть ему дорогу. Таким-то образом 4-й полк вышел из своего отчаянного положения. Движение его продолжалось еще час.

Истомленные солдаты нуждались в отдыхе; сделан был привал в одной деревне, где нашлось немного съестных припасов.

Мы находились еще в 25 верстах от Орши, и надо было думать, что генерал Платов несомненно удвоит усилия, чтобы захватить нас. Всякая минута была дорога: в 1 час ночи ударили сбор, мы тронулись в путь. Деревня была объята пламенем; темнота ночи, нарушаемая лишь отблеском пожара, придавала всему мрачный оттенок. Я с грустью смотрел на это зрелище. Утомленный предыдущим днем, с сапогами, полными воды, я вновь испытывал страдания, мучившие меня перед тем. Едва будучи в состоянии двигаться, я опирался на руку Лаланда, молодого офицера из стрелков. Поведение его заслуживало некоторых упреков в начале кампании, и ему даже не дали чина капитана, на который он вполне мог рассчитывать по старшинству. Я внимательно наблюдал за ним и, так как был им очень доволен, то счел момент вполне подходящим, чтобы обещать ему повышение. Я выразил ему свое удовольствие и сожаление по поводу замедления в его движении по службе и дал ему слово, что первое назначение капитаном в моем полку будет принадлежать ему. Он очень благодарил меня и еще удвоил свое рвение, на сколько ему позволяли силы. В конце концов этот несчастный молодой человек не выдержал и свалился; но мне хочется думать, что, быть может, надежда, которую я внушил ему, поддерживала его мужество и несколько смягчила ужас последних минут.

Мы продолжали наш путь до утра, не тревожимые никем. С первыми лучами солнца снова появились казаки, и вскоре дорога, по которой мы шли, вывела нас на равнину. Генерал Платов, желая воспользоваться этим благоприятным обстоятельством, выдвинул вперед на санях артиллерию, которой мы не могли ни избежать, ни настигнуть; а когда, по его мнению, внесен был достаточный беспорядок в наши ряды, он скомандовал атаку. Маршал Ней быстро построил в каре каждую из своих дивизий; вторая, под командой генерала д'Энена, находясь в арьергарде, была первой выставлена против неприятеля. Мы силой заставили стать в ряды отдельных солдат, у которых были ружья; пришлось прибегнуть к самым сильным угрозам, чтобы пустить их в дело. Казаки, встречая слабый отпор со сторо-

ны наших стрелков и гоня перед собою толпу наших безоружных отставших солдат, прилагали все усилия, чтобы добраться до каре. Солдаты ускорили шаг при приближении неприятеля и под огнем его артиллерии. Двадцать раз я замечал, как они вот-вот готовы были разорвать ряды и бежать в разные стороны, отдавши себя и нас на произвол казаков; но присутствие маршала Нея, внушаемое им доверие, его спокойствие в момент такой опасности удержали их в повиновении долгу. Мы достигли возвышенности. Маршал приказал генералу д'Энану держаться на ней, прибавив, что в случае необходимости надо будет суметь умереть там ради спасения чести Франции. Тем временем генерал Ледрю шел на Якубово, деревню, примыкавшую к лесу. Когда он занял там позицию, мы двинулись, чтобы присоединиться к нему: две дивизии расположились там, поддерживая друг друга с флангов. Не было еще и полудня, а маршал Ней объявил, что будет защищать эту деревню до 9 часов вечера. Генерал Платов раз двадцать пытался сбить нас, атаки его мы постоянно отражали, и он, утомленный таким сопротивлением, сам расположился против нас.

Маршал с утра послал польского офицера, которому удалось добраться до Орши и сообщить о нашем положении. Император уехал оттуда накануне; город занимали вице-король и маршал Даву.

В 9 часов вечера мы снялись со стоянки и в глубоком молчании двинулись в путь. Казацкие посты, выставленные на дороге, снялись при нашем приближении. Движение продолжалось в большом порядке. В расстоянии 4 верст от Орши авангард наш встретил выдвинутый пост, с которого ему ответили по-французски. То была дивизия 4-го корпуса, шедшая нам на помощь с вице-королем во главе. Нужно было провести три дня между жизнью и смертью, чтобы судить о радости, какую нам доставила эта встреча. Вице-король встретил нас с глубоким волнением. Он громко выразил маршалу Нею свое восхищение его подвигом. Он поздравил генералов и двух уцелевших полковников (полковник Пельпора из 18-го полка и меня). Адьютанты его окружили нас, засыпав вопросами о подробностях этой великой драмы и об участии, которое каждый из нас принимал в ней. Но время не терпело; через несколько минут надо было двинуться в Оршу. Вице-король пожелал идти у



нас в арьергарде, и в три часа утра мы вступили в город. Несколько довольно жалких домов предместья послужили нам убежищем. Раздача пайков назначена была на следующий день, и нам, наконец, можно было немного отдохнуть.

Так кончился этот отчаянно смелый поход, один из наиболее замечательных эпизодов всей кампании. Он покрыл славой маршала Нея, которому обязан был своим спасением 3-й корпус, если можно называть корпусом прибывший в Оршу отряд в 800 или 900 человек, оставшихся из тех 6000, что принимали участие в бою под Красным.

*Фезанзак*

\* \* \*

От места, где мы расположились бивуаком, до поля битвы было расстояние в четыре мили. Во время этого перехода саперный полковник Бувье взял меня под руку и сказал: «Друг мой, мы погибли... Мы слишком далеко от родины; у нас решительно во всем недостаток, и если нам и удастся ускользнуть от неприятельского огня, то мы наверняка сделаемся жертвами чрезвычайно сурового климата». — «Полковник, — ответил я ему, — я слишком хорошо сознаю весь ужас нашего настоящего положения; но, каким бы оно ни было критическим, зачем так отчаиваться? Быть может, мужество и настойчивость дадут нам возможность выпутаться из этого скверного положения».

Зловещие предчувствия полковника Бувье оказались, к сожалению, слишком справедливыми, по крайней мере относительно его самого. Он простился со мной, обнимая меня: «Прощайте! — воскликнул он, — прощайте, в последний раз».

Наконец, мы подошли к Красному. Неприятель ожидал нас на высотах, чтоб отрезать нам отступление. Мы выстроились тотчас же на равнине в боевом порядке.

Наш корпус состоял самое большее из шести тысяч человек, включая в это число два эскадрона польских улан; половина этих солдат были безоружны.

Собрали всех саперов и к ним прибавили сотню самых общительных людей, командование над которыми было поручено полковнику Бувье.

Поддерживаемый несколькими орудиями и остатками нашего арьергарда, он должен был сделать нападение и

прорвать ряды неприятеля; но в самый разгар дела этот храбрый офицер погиб от пушечного ядра, а отряд его был отброшен перекрестным огнем неприятеля, который был бесконечно многочисленнее, чем мы.

Смерть полковника Бувье составляла большую потерю для артиллерии. Этот достойный уважения офицер соединял с военными талантами и с обширным образованием, которое требовалось для его рода службы (инженерная часть), чрезвычайную энергию и непоколебимую храбрость.

В то время, как мы сражались на равнине, поддерживая постоянно ужасную пальбу, наши повозки, лошади, часть артиллерии, все безоружные люди, отсталые и больные, оставшиеся на дороге, попали в руки казаков. Таким образом были потеряны для нас съестные припасы и те немногие средства, которые еще у нас оставались. Маршал Ней приказал поддерживать сражение по возможности до конца дня, чтобы быть в состоянии отступить к Днепру. К четырем часам вечера мы выполнили это движение; мы шли по вспаханной земле и ужасно страдали от голода. Я шел пешком, словно простой солдат; в начале атаки под Красным лошадь моя была подо мною убита, и я не имел ни малейшей возможности добыть себе другую. К девяти часам вечера мы подошли к какой-то деревне на берегу Днепра; вместо пищи нашли там лишь напиток, приготовленный из свеклы.

Маршал Ней намеревался дожидаться рассвета, чтобы переправиться через реку, которая еще не совсем замерзла, несмотря на чрезмерный мороз. Необходимо было, следовательно, видеть ясно, чтобы испробовать места, где лед был достаточно крепок для того, чтобы выдержать на себе людей и лошадей; но в полночь нас предупредили о приближении неприятеля; в самой деревне даже будто бы видели казаков.

Маршал Ней дал тотчас же приказ о переправе. Пушки и артиллерийские повозки были брошены; беспорядок и сумятица достигли своего апогея; каждый пытался переправиться вперед. Мы тихо скользили друг за другом, опасаясь провалиться под лед, который то и дело трещал под нашими ногами: мы находились непрерывно между жизнью и смертью. Но, кроме опасности, угрожающей нам лично, мы должны были стать свидетелями самого печально-

го зрелища. Всюду вокруг нас виднелись несчастные, провалившиеся вместе с своими лошадьми глубже, чем до плеч; они звали своих товарищей на помощь, которую те не могли им оказать, не подвергаясь риску разделить их печальную участь; их крики и жалобы раздирали наши души, уже достаточно потрясенные опасностью, грозившей нам самим.

Когда мы прибыли на противоположный берег, мы должны были взобраться на высоту в двенадцать футов с очень крутым подъемом; глинистая почва, истоптанная теми, которые переправились перед нами, делала дорогу невозможной. Я поднимался трижды доверху и трижды падал вновь в реку. Силы начали изменять мне, как вдруг я услышал голос маршала Нея, который торопил меня взобраться поскорей.

«Я никак не могу, — ответил я, — мне не на что опереться». Маршал тотчас же отрубил своей саблей древесную ветвь, протянул ее мне и втащил меня таким образом на берег; без его помощи я бы, наверное, погиб.

Среди подобного беспорядка и сумятицы было очень трудно собрать рассеявшиеся войска, которые пали духом и почти изнемогали от холода. В особенности долго задерживала нас конница; немыслимо было, чтобы она переправилась в том же месте, где мы, и ей пришлось поэтому идти далеко, в поисках более надежной переправы. Наконец, она нас догнала, и мы пустились в путь.

В тот день неприятель совсем не показывался. В следующую же ночь он энергично преследовал нас; он был даже так близко, что, несмотря на темноту, ядра и картечь падали в наши ряды и производили там большое опустошение. В конце концов, русские почти что настигли нас; тогда мы бросились, смешавшись с конницей, в болото, проваливаясь до половины ноги. Едва удавалось вытащить одну ногу, как тотчас же погружалась в болото другая. Я находился среди лошадей и погружался в эту жижу, откуда никогда бы не выбрался, если бы в виде предосторожности не привязал себя к хвосту одной из лошадей, которой после тяжелых усилий удалось-таки выручить меня из беды.

Ночь была из самых темных; тем не менее мы собрались и выстроились в боевом порядке. Один русский обер-офицер приблизился к нам на довольно близкое расстояние,

чтобы крикнуть: «Сдавайтесь, сдавайтесь: всякое сопротивление бесполезно!»

«Французы сражаются, но не сдаются», — ответил ему генерал Ледрю-дез-Эссар и велел начать пальбу взводами.

Нам раздали боевые патроны, оставшиеся после сражения под Красным. Мы продолжали путь, все время тревожимые неприятелем. На третий день, к трем часам пополудни, маршал Ней приказал нам занять позицию около леса. С большим трудом собрали мы полторы тысячи человек, бывших в состоянии носить оружие, но царивший тогда ужаснейший мороз делал их неспособными пользоваться им. Мы их выстроили в боевом порядке в два ряда, чтобы представить более внушительный фронт; все те, которые бросили или потеряли свое оружие при переправе через Днепр, были поставлены позади их.

Впереди себя мы заметили целую тучу казаков, стрелки которых приближались к нам на расстоянии ружейного выстрела.

Тем не менее наши отряды все время оставались с оружием в руках и за недостатком боевых патронов производили подобие пальбы лишь в том случае, когда казаки приближались взводами. Тогда последние отступали и маневрировали перед нами. В этот именно момент маршал Ней приблизился ко мне и сказал: «Ну, Фрейтаг, что бы думаете насчет этого?»

— Наше положение, маршал, не блестяще, но это было бы только полбеда, если бы у нас были патроны.

— Верно, но тут-то и нужно учиться дорого продавать свою жизнь.

При наступлении вечера маршал приказал местами зажечь огни, чтобы заставить неприятеля подумать, будто мы собираемся ночевать в лесу. В то же время мы не давали своим солдатам заснуть, так как в девять часов лагерь надлежало снять.

В этот промежуток времени русский военачальник прислал нового офицера в качестве парламентаря, чтобы побудить маршала Нея сдаться со своим слабым корпусом, который, по его словам, не может устоять против окружающих его ста тысяч русских.

Я присутствовал при этом свидании, и вот какой ответ дал Ней парламентарю:

«Скажите вашему генералу, что французский маршал не сдастся никогда».

Через час явился второй парламентар с тем же предложением.

— Что касается вас, милостивый государь, вы останетесь с нами, — сказал ему маршал, — я очень рад, что вы будете иметь возможность убедиться сами, как сдаются французские солдаты.

В три четверти девятого явился третий парламентар, чтобы потребовать своего предшественника и сделать маршалу то же предложение.

— Вы оба будете не лишними, чтобы быть свидетелями того, каким образом я сдамся русским.

Протесты этих офицеров оказались тщетными. Но, что русские окружили нас со всех сторон, была правда. Ровно в девять часов маршал отдал приказ собраться без всякого шума; он посоветовал нам идти, образуя очень сжатые колонны и не произнося ни слова.

Мы двинулись в путь и прошли через русский лагерь с величайшим хладнокровием и среди глубочайшего молчания. Однако враги нас заметили, но, прежде чем они успели закричать «ура!», мы уже находились за пределами их лагеря. Они не могли нас настигнуть по случаю темноты, а также вследствие того, что мы шли ускоренным шагом. Тем не менее они послали нам вслед много пушечных выстрелов и взяли в плен несколько отставших, если можно так назвать несчастных, которым нужно было бы употребить сверхчеловеческие усилия, чтобы избежать своей участи.

В конце концов, несмотря на всякие препятствия, мы прибыли к четырем часам утра в Оршу. Армия расположилась лагерем на снегу перед городом, где находилась главная квартира Наполеона. Нас всех считали погибшими.

Сам император, увидев Нея, сказал, обнимая его: «Я больше не рассчитывал на вас».

К восьми часам утра нам прислали из пищи лишь немного муки и плохой водки. Русские сосредоточились в районе Орши около девяти часов утра, и нам пришлось снова начать отступление.

*Генерал Фрейтаг*

## От Красного до Орши

18-го оттепель, сани становятся бесполезными. Мы узнаем о занятии русскими Минска, в котором были собраны большие провиантские запасы.

Всю ночь император на ногах. Я дежурный; у нас нет ни минуты спокойствия. Его Величество поместился в доме одной польской княгини; переходить двор приходится по колена в воде; вещь очень приятная ночью, когда нужно идти в город.

19-го на рассвете, около семи часов утра, у нас была тревога; за городом показались казаки и заставили бежать пять или шесть тысячи отставших солдат, которые ворвались в город с криками «К орудию, неприятель!». Гвардия готовилась к битве. Приготовились отбивать нападение тысяч двадцати человек; все ограничилось дюжиной казаков.

Капитан артиллерии 1-го корпуса Карамон, не имея больше ни снарядов, ни пушек, потеряв своих лошадей и свои вещи, пришел к нам просить убежища. Я дал ему одежду, генерал Нарбонн — лошадь. Мы едим рис с шоколадом; это — событие.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Ляды были для нас как бы убежищем, и одно время казалось, что судьба наша с минуты нашего прибытия несколько улучшилась...

Деревня была первой, где мы нашли несколько человек жителей, правда, очень рассеянных, очень перепуганных, но настолько бодрых и рассудительных, чтобы не разбежаться при нашем приходе, ждать нас и предпочесть дурное обращение в течение пяти-шести дней поджогу своих собственных жилищ. Откуда-то вынырнули евреи, а с ними появились все потребности жизни. В России им запрещено жить; но едва мы вступили в дозволенные им местности, как они предстали перед нами, исполненные каким-то особым рвением, а довольно значительные денежные пожертвования побудили их употребить в нашу пользу всю их оживленную торговую деятельность и все средства, которыми они могли располагать.

В Лядах должен был прекратиться также и пожар, истребивший по нашему пути города и деревни. Император, возмущенный сожжением Москвы, приказал поступать подобным же образом и со всеми русскими поселениями. До самого того времени, как мы вернулись в Белоруссию, приказ выполнялся с таким усердием, извинить которое могут только суровые морозы. В Белоруссии император прекратил это опустошение и издавал приказы, что в будущем подобные неистовства будут наказываться. К сожалению, эти приказы не выполнялись.

В Ляды и следующие за ними Росиены мы пришли в жестокий мороз. Внезапно наставшая оттепель дала нам понятие о пытке иного рода. Снег, как шедший непрерывно с неба, так и покрывавший землю, превращался в воду; земля растворялась; густая грязь размешанная шагами громадной толпы, в конце концов, сделала путь как бы совершенно непроходимым. Так погибло много лошадей, оставлено много повозок, брошено много орудий; все те, кто по благоразумию положил свои экипажи на полозья, потеряли сразу и то, что они везли, и то, на чем везли...

*Пасторе*

\* \* \*

Ляды находятся в Литве, и мы думали, что они будут пощажены, так как принадлежали древней Польше. На следующий день, 18 ноября, мы выступили с рассветом и были страшно удивлены, увидев зарево от горящих домов. Во время этого пожара мы увидели сцену, самую ужасную из всех, когда-либо виденных нами во время нашего отступления. Мое перо прямо отказалось бы описать ее, если бы только не цель моего рассказа — внушить отвращение к этому гибельному честволюбию, которое заставляет цивилизованные народы вести такие жестокие войны.

Между горящими домами находились три большие риги, наполненные бедными, большей частью ранеными солдатами. Через две из них нельзя было выйти, не пройдя первой, которая вся была охвачена огнем. Более крепкие спаслись, выпрыгнув из окон, но больные и калеки, не имея возможности даже повернуться, смотрели, как огонь постепенно добирался до них. При криках этих несчастных многие из мягкосердечных попытались спасти их, но все

было напрасно, и вскоре мы увидали их погребенными под горящими балками. Задыхаясь от дыма, они умоляли товарищей прикончить их мучения и убить их; конечно, по человеколюбию это следовало бы сделать. Многие из них еще были живы и кричали слабым умирающим голосом: «Стреляйте нам в голову, не промахнитесь!» Эти раздирающие душу крики прекратились только тогда, когда этих несчастных прикончил огонь...

*Лабом*

\* \* \*

Я шел пешком, так как мои обе лошади никуда уже не годились. Ночью я не раздевался и не снимал сапог из боязни, что не смогу надеть их на другой день. Эти ботфорты, незаменимые для верховой езды, были страшно утомительны для ходьбы. Раньше широкие и свободные, они стали узки от мороза. Утром я не мог ступить на ногу, мне приходилось идти или краем сапога, или на пятке, или же на цыпочках до тех пор, пока я не разминал подошвы; ноги пухли и ночью так болели, что я не мог спать...

22-го числа (ноября), в то время, когда мы готовились выступить, явился адъютант и сказал, что Его Величество возмущен поведением артиллерийских офицеров его гвардии, которые, покинув орудия и муниционные повозки, запрягли лучших лошадей в свои фургоны, чтобы спасти свои вещи.

«Но сударь, — ответили мы, — конечно, мы должны спасти свои вещи, ведь мы заботимся не о том, чтобы раздеться и переменить белье на биваках, а хотим только сохранить остатки наших припасов, без которых мы погибнем от голода; да, говоря по совести, мы, конечно, ценим нашу жизнь дороже орудий, которые совершенно бесполезны благодаря недостатку повозок и канониров».

«Господа, поступайте как хотите, — ответил он нам, — но имейте в виду, что император велел поджечь один из фургонов вашего командира и не позволил ничего оттуда взять». Минуту спустя мы на самом деле увидели майора Леруа, который рассказал нам то же самое.

«Однако, — сказал я ему, — император должен был бы запереть вас в вашем фургоне, чтобы вы погибли, как



капитан на корабле, вместе с остовом фургона и вашим имуществом».

«Лучше бы его самого туда запереть!» — таково было милое пожелание Его Величеству одного из его самых усердных слуг. Однако об этом случае пришлось призадуматься. Если император встретит наш фургон, он также может его сжечь. К тому же измученные лошади не могли далеко провезти его, лучше было бы навьючить лошадей самой необходимой провизией, а все остальное покинуть. Мы привели в исполнение эту тяжелую резолюцию вечером, прибыв в Толочино.

Здесь я поместился с несколькими офицерами в риге с наполовину разрушенной крышей. Казначей Еггерле выдал всем аванс. Я открыл свой фургон и зажег свечи. Я спросил у Друо, не может ли он взять в свою повозку кое-что из нашей провизии и главным образом ящик с вином.

— Моя повозка вся заполнена, — ответил он мне.

— Ну так выбросите все железо и дерево, которое вы везете с собой. Может быть, уже завтра у нас не будет ни одного орудия. Спасем хоть вино.

— У меня еще есть нетронутая бочка!

— Но что стоит одна бочка на столько человек? Нам часто приходится собираться на биваке по 10 и 12 человек!

— С нас двоих хватит!

Таким образом милосердный Друо обрекал на гибель всех других, не желая расстаться со своим железом и деревом. Мне приходилось уступать. «Кончено, — сказал мне Битш, — через неделю мы умрем!» Я вынул из сундука вещи и переложил их в дорожный саквояж, заказанный мною в Москве из ковров князя Барятинского. Шпагу я отдал Лагранжу, который потерял свою, положил в мешок 100 ф(унтов) сухарей и сахарную голову, а в мой погребец поместил четыре бутылки рома, опустил себе пятую в карман и разделил между товарищами 100 ф(унтов) прекрасной муки, чай, кофе и остаток сахару. Оставалось еще 150 бутылок вина и ликеров, которые мы и опорожнили в продолжение ночи. Таким образом в несколько часов было истреблено все, что помогло бы нам прожить еще две недели. На другой день утром мой чемодан и саквояж были нагружены на лошадь моего слуги, перекинутые для равновесия через седло; мой мешок с хлебом и сахаром лежал

на ее спине. Моя лошадь была навьючена моим маленьким чемоданом, погребцом и моей саблей. Фургон, в котором лежала великолепная зрительная труба, ручной секретер из красного дерева и ящик с книгами, был покинут, но я сохранил ящик с великолепным сервизом из китайского фарфора и поместил его в артиллерийской повозке, которую в конце концов все-таки пришлось покинуть 10 декабря в Вильно.

У Друо оставалось еще много прекрасной провизии, которую он переложил из своего фургона в муниципальную повозку. На привалах он для вида съедал в нашем присутствии несколько сухарей и, отойдя, украдкой делал несколько глотков из бутылки, которую постоянно носил на себе. Битш и я не спускали с него глаз; мы следили за ним, хотя он этого не замечал, и не раз ловили его с поличным.

Следует заметить, что, несмотря на потерю наших фургонов, он несколько раз прибегал ко мне и очень неделикатно прикладывался к моей фляжке. Надо, однако, отдать ему справедливость, что он предложил мне однажды длинную колбасу. Я разделил ее надвое, причем одну часть, самую маленькую, отдал ему обратно, другую же, очень большую, я разделил между Битшем и Буало, очень довольными моей проделкой. К сожалению, у меня не было больше другого такого случая.

*Пьон де Лош*

\* \* \*

...Холода становились все сильнее и сильнее; лошади умирали на биваках от холода и голода. Каждый день сколько-нибудь из них оставались на месте там, где упали; дороги были, как зеркало, лошади падали и никак не могли подняться.

Наши солдаты расслабли, у них не хватало сил, чтобы нести свое оружие. Было 28 градусов мороза. Но в гвардии только смерть разлучала солдата с его ранцем и его ружьем. Для пищи приходилось пользоваться лошадиным мясом. Когда лошадь падала, солдаты прорезали ей бедра и вытаскивали оттуда кусок мяса.

Мясо разогревали на углях, а если под рукой огня не находилось, то не брезговали и сырым. Мясо вырезали у лошади прежде, чем она умирала. Пользовался и я этой

пищей, пока еще лошади оставались. До Вильно небольшие дневные переходы мы делали вместе с императором; весь его штаб шел по бокам. Армия была деморализована; шли, точно пленники, без оружия, без ранцев. Не было ни дисциплины, ни человеческих чувств по отношению к другим. Каждый шел за свой собственный счет; чувство человечности угасло во всех; никто не протянул бы руки родному отцу, и это понятно.

Кто нагнулся бы, чтобы подать помощь своему ближнему, сам не был бы в состоянии подняться. Надо было все идти прямо и делать при этом гримасы, чтобы не отморозить носа или ушей. Всякая чувствительность, все человеческое погасли в людях, никто не жаловался даже на невзгоды. Люди мертвыми падали на пути. Если случайно находили бивак, где отогревались какие-нибудь несчастные, то вновь прибывшие без жалости отбрасывали их в сторону и завладевали их огнем. А те ложились в снег...

Нужно самому видеть эти ужасы, чтобы в них поверить. Холод был настолько силен, что люди не могли уже его переносить; даже вороны замерзали.

*Куанье*

\* \* \*

Уже было невозможно отличить генералов и офицеров; как и солдаты, они были одеты во все, что им попадалось. Зачастую генерал был покрыт плохим одеялом, а солдат дорогими мехами. Эгоизм был единственным двигателем этих несчастных. Если два человека находили немного дров и разводили костер, то третьего, подошедшего отогреться и умиравшего от холода, жестокосердно гнали прочь, если только он не приносил своей доли дров для поддержания огня, а между тем у костра было место, и две протянутые к огню и замерзшие руки не отнимали тепла от собственников костра.

Оригинальное зрелище всевозможных одежд представляла эта длинная колонна призраков. Все мундиры армии были перемешаны. Рядом с шелковыми всевозможных цветов шубами, отороченными дорогими северными мехами, помещалась фигура в пехотной шинели или кавалерийском плаще. Головы были плотно закутаны и обмотаны платками всех цветов, оставались отверстия только для глаз. Самым

распространенным видом одежды было шерстяное одеяло с отверстием посредине для головы, падавшее складками и покрывавшее тело. Так одевались по преимуществу кавалеристы, так как каждый из них, теряя лошадь, сохранял попону; попоны были изорваны, грязны, перепачканы и прожжены — одним словом, омерзительны. Кроме того, так как люди уже три месяца не меняли одежды и белья, то их заедали вши.

Но и все это можно было бы вынести, если бы было продовольствие. Чем же питались войска? Как это не погибли они все поголовно? Это прямо необъяснимая тайна, только доказывающая, как мало нужно для поддержания сил человека!

Несмотря на усталость и опасности, которым подвергались люди, сворачивая с дороги, голод все же толкал множество людей на мародерство по деревням в 8—10 верстах от дороги, которые еще не были разграблены, не сожжены при наступлении к Москве. Много из этих мародеров было схвачено, но все же эти мародеры снабжали колонну продовольствием и спасли армию. Они возвращались с лошадьми, отобранными у жителей и нагруженными ржаной мукой, перемешанной с отрубями, и свининой, что продавали за большие деньги, а на следующий день опять шли за добычей для продолжения торговли, но, конечно, сомнительно, чтобы они остались в барышах.

Как ни плоха была мука, из нее делали размазню, которую, чтобы согреться, ели горячей. Из муки, сваренной в воде, без соли и без жира, получалась отвратительная пища, к которой я никак не мог привыкнуть и предпочитал ломти обжаренной конины, хотя они внутри и оставались наполовину сырыми. К несчастью, чем дальше мы двигались, тем лошадей становилось меньше. Тех лошадей, которых мы предназначали себе в пищу, мы уже не могли, убив, рассекать на части, так как для этого было слишком холодно и наши ознобленные руки отказывались служить и замерзли бы, а поэтому мы вырезали у лошадей, еще движущихся и бывших на ногах, куски мяса из крупа. Бедные животные не подавали вида, что им больно, что ясно доказывает, что под влиянием страшного холода происходило полное онемение членов и полная нечувствительность тела. При других условиях вырезывание кусков мяса вызвало бы

кровотечение, но при 28° мороза этого не было; вытекавшая кровь мгновенно замерзала и этим останавливала кровотечение. Мы видели, как эти несчастные животные брели еще несколько дней с вырезанными из круп громадными кусками мяса; только менялся цвет сгустков крови, делаясь желтым и обращаясь в гной. Я нашел себе еще другой способ питания. У меня была маленькая жестяная кастрюля, которую я не променял бы ни на какие сокровища и в которой я варил себе все, что мне попадалось и что я покупал. И благодаря кастрюле я сделался колбасником. И вот как я орудовал: когда я находил лошадь недалеко от стоянки, я вонзал ей возможно осторожно между ребер лезвие ножа, под льющуюся из раны кровь подставлял кастрюлю, варил эту кровь и получал таким образом кровяную колбасу, которую теперь нашел бы приторной и отвратительной, а тогда находил ее чудесной, что не раз вспоминал и утверждал, что когда испытываешь тот голод, который мы тогда испытывали в России, то не бывает плохого повара и каждый поваренок обращается в знаменитого Вателя (повара Людовика XIV).

Нет сомнения, что недостаток продовольствия способствовал деморализации войск, подрывая их силы, и что обильная горячая пища парализовала бы действие холода. Те казаки, над которыми при наступлении посмеивались наши солдаты, на которых когда-то, не считая их числа, весело ходили они в атаку, эти самые казаки теперь стали не только предметом уважения, но и предметом ужаса всей армии, и число их при содействии придорожных жителей значительно увеличилось. Почти все придорожные крестьяне в надежде на добычу вооружились пиками — этим национальным русским оружием — или же просто кольями с железными остриями на конце. Верхом на маленьких лошадаках, в бараньих шубах и черных барашковых шапках, они следовали вдоль колонны и немедленно на нее бросались, как только замечали, что встреченная теснина задерживала войска, вызывая перед ней скопление и разрезая за ней колонну. В сущности, эти импровизированные, жаждавшие грабежа войска не представляли ничего опасного, так как малейшее сопротивление их останавливало и обращало в бегство, и целью их была не борьба, а только добыча этих странных трофеев. Но ужас, производимый их по-

явлением, был таков, что при первом крике «Казачи!», перелетавшем из уст в уста вдоль всей колонны и с быстротою молнии достигавшем ее головы, все ускоряли свой марш, не справляясь, есть ли в самом деле какая-либо опасность.

Эти нападения были направлены главным образом на блокаузы. Так как на всем этом длинном пути от Вильно до Москвы не было пощажено ни одного города, ни села, ни лачужки, то для обеспечения тыла и сообщений армии через каждые 20—30 верст были искусственно устроены укрепленные этапы: на квадратной площади, огороженной рвом и палисадами, были возведены бараки, и эти блокаузы занимались соответствующими пехотными отрядами, конвоировавшими проезжавших курьеров\*. В подобных блокаузах ночевали обыкновенно охранявшие следование армии части.

При отступлении марши (переходы и привалы), естественно, приурочивались к этим блокаузам, где всегда находились небольшие гарнизоны для обороны войск при всякого рода налетах (партизан). Первые пришедшие люди располагались у палисадов, и по мере стягивания колонны круг прибывавших прогрессивно увеличивался, достигая в конце концов до 50 и 100 тысяч человек.

Наибольший контингент людей, искавших прикрытия, составляли причисленные к армии чиновники, которых войска прозвали «рис-хлеб-соль». Только они сохранили богатые экипажи, лошадей, нагруженных добычей, награбленной в Москве и в богатых усадьбах, которые они опустошили для блага армии. Казаки знали, где искать добычу, а потому и направляли свои поиски и налеты именно на эти блокаузы; и тогда начиналась свалка и ужасающее «спасайся, кто может!». Напрасно старались мы удерживать вооруженных людей, напрасно им доказывали, что чем нас будет больше, тем нам легче отбиться от противника: лишь только мы выпускали того, кого, как нам казалось, мы достаточно убедили, чтобы перейти к убеждению следующего, как первый пускался опять в бегство, оставляя нас на месте и предпочитая бегство встрече с казаками.

---

\* Эти укрепленные этапы были созданы предусмотрительностью великого Наполеона, и трудно себе представить, что бы было при отступлении, если бы не было этих этапов. (Прим. авт.)

Я уже говорил, что эгоизм был единственным чувством, доступным этим несчастным. Эгоизм не знал себе меры, и если изнеможенный человек, не имея сил идти далее, падал, то шедшие около него, заметив, что он умирает, вместо естественной помощи, которая так свойственна (способным даже и к самоотвержению по отношению к товарищам) французским солдатам, ставили ему ногу на тело, переворачивали его, снимали обувь и даже штаны, если они еще были годны, что, в общем, ускоряло последний вздох умирающего. Я считаю своим долгом утверждать, что несколько раз был личным очевидцем подобных тяжелых сцен.

Погибавшие от голода и холода, все умирали одинаково: они падали на колени и на руки и, пока сохраняли остаток сил, разгребали руками снег и землю и затем падали на бок и мгновенно застывали.

Неоднократно наблюдал я следующее явление: если только человек, говоря о будущем, начинал утверждать невозможность пройти в подобных условиях оставшиеся до границы 500 или 600 верст, то его следовало считать погибшим, и действительно он непременно погибал не позже 2-го или 3-го дня...

*Тирион*

\* \* \*

К вечеру (18-го) благополучно достигли Дубровны: мы не очень утомились, никого не встретили по пути, не беспокоили нас и казаки. В Дубровне оказалось мало военных; зато обыватели, христиане и евреи, были дома. Мы скоро нашли себе квартиру, а лейтенант Вейс быстро разыскал необходимое для приготовления солдатской пищи. Вскоре прибыл и император с гвардией, мои генералы, остатки армии и все, кто вчера вместе с нами бежал в Ляды. Я указал нашим генералам удобный дом поблизости от нашей квартиры, который они и заняли. Император остановился также неподалеку от нас: гвардия расположилась частью за пределами города; внутри же него стояла необычайная суета от множества народа, примкнувшего к нашему бегству.

Погода сделалась мягче, стало таять, а с наступлением ночи пошел дождь. Мы отличнейшим образом спали в теплых комнатах. С наступлением дня, 19 ноября, мы трону-

лись в путь. Образовалась гололедица, которая, как всегда, вызывала массу неприятных случаев. Бывало, кто-нибудь, одетый очень хорошо, падал на землю и больше не в состоянии был подняться; тогда его ближайшие товарищи набрасывались на него, самым безжалостным образом срывали с него одежду, ссорились и дрались из-за нее, а раздетый, при такой суровой погоде, оставался лежать на дороге, брошенный на произвол судьбы.

Сегодня на этом пути Наполеон несколько раз приказывал делать остановки, и в результате этого мы не достигли Орши. Как нередко и раньше, начиная с Вязьмы, сам он находился в рядах своей гвардии и время от времени разговаривал также с офицерами союзных войск. У одного он похвалил собаку; с другим капитаном нашей легкой пехоты, фон Грюнбергом, он вступил в более продолжительный разговор...

*Роос*

\* \* \*

Недалеко от Дубровны я встретил императора среди гренадер его гвардии, к которым он перед дорогой обратился с речью, напомнив, чего он ждет от их дисциплины и храбрости. Одетый в бархатную шубу на меху и в такой же шапке, с длинной палкой в руках, он шел пешком под руку с Мюратом, уверенность и обычная веселость которого не исчезла от холода и нашего бедственного положения. Он улыбался, говоря с императором, а странный вид и окоченевшие лица сопровождавших его давали пищу его шуткам. Перед ним шел маршал Бертье, одетый в синий сюртук и, казалось, не находивший ничего забавного в своем теперешнем положении. Шуба, шапочка и польские сапоги на меху составляли костюм Мюрата, нарядный вид которого так не вязался со всем его окружавшим. Экипаж следовал за императором, это, кажется, было все, что осталось от его блестящих экипажей. Перед самым наступлением ночи я прибыл к вновь построенному на Днепре мосту против маленького городка Орши. Это было 19 ноября.

Недавно прибывшие в армию жандармы охраняли подходы к мосту и старались упорядочить переправу, но это было невозможно: множество людей так его загромождало, что я решился остаться на левом берегу и подождать завт-



рашнего дня, чтобы войти в город. Я устроился со своими дорожными товарищами в лачужке, где жили евреи. Хороший огонь и кое-какая провизия, купленная нами на вес золота, заставила нас позабыть нечистоплотность наших хозяев и их кроватей и грозившую нам опасность нападения казаков. К счастью, в этом месте нападений не было, и мы провели ночь спокойно...

*Гриуа*

\* \* \*

В тот день, когда мы прибыли в Дубровну, Наполеон по своей всегдашней привычке сделал большую часть пути пешком. В продолжение этого времени неприятель не появлялся, и он мог на свободе рассмотреть, в каком плачевном состоянии находилась его армия. Он должен был увидеть, как неверны были рапорты многих начальников, которые, зная, как опасно говорить ему правду, из боязни навлечь на себя его немилость, скрывали от него истину. Тогда он вздумал произвести в армии тот же эффект, как когда-то манна в пустыне, и стал бранить офицеров и шутить с солдатами, желая возбудить страх в одних и внушить мужество другим. Но прошли времена энтузиазма, когда одно его слово могло совершить чудо; его деспотизм все уничтожил, и он сам придушил в нас все честные и великодушные идеи и тем самым лишил сам себя последнего ресурса, которым он мог бы еще наэлектризовать нас. Самым неприятным для Наполеона было, когда он увидал, что и в его гвардии такой же упадок духа.

*Лабом*

\* \* \*

Вскоре нам скомандовали формироваться в каре; гренадеры и егеря, а также остатки полков молодой гвардии сделали то же самое. В эту минуту прошел император с королем Мюратом и принцем Евгением. Император стал среди гренадеров и егерей и, обратившись к ним с речью, приличной случаю, объявил им, что русские караулят нас у Березины и поклялись, что ни один из нас не переправится через нее обратно. Затем, обнажив саблю и возвысив голос, он воскликнул: «Поклянемся и мы в свою очередь, что скорее умрем с оружием в руках, сражаясь, чем отка-

жемся от намерения увидеть Францию!» В один миг мохнатые шапки и кивера очутились на концах ружей и сабель и раздались крики: «Да здравствует император!» К нам подобную же речь держал маршал Мортье, и мы отвечали ему с таким же энтузиазмом.

Ввиду плачевного положения, в котором мы находились, этот момент был глубоко торжественный, и на время мы позабыли о своих бедах.

В ожидании момента, когда двинется наш полк, я вышел на дорогу и увидел маршала Лефевра. Он был один, шел пешком с палкой в руке посреди дороги и кричал зычным голосом со своим немецким акцентом: «Друзья, сомкнитесь! Лучше же образовать многочисленные батальоны, чем быть разбойниками и трусами!» Маршал обращался к тем, которые не шли со своими корпусами, а отставали или заходили вперед, смотря как им было удобнее.

*Бургон*

\* \* \*

Император во все время отступления находил нужным с особой твердостью сопротивляться просьбам и убеждениям окружающих. Как только попадалось нам удобное место отдыха, менее других опустошенная деревня, более значительный склад припасов, у нас у всех тотчас являлось желание остаться там. «Один денек, — говорили мы, — это так немного — один денек! Мы так устали и так много перенесли!» Переходя из уст в уста, эти слова достигали, наконец, императора. «Господа! — отвечал он, — один день — это очень много. Нельзя останавливаться. Идемте!» Случалось, что он шел первым во главе всех нас. Жестокий опыт слишком хорошо показал ему, сколько бедствий может принести один день промедления, и он пользовался этим дорого доставшимся знанием...

*Пасторе*

\* \* \*

Когда мы уходили из Красного, температура поднялась на 10 или 12 градусов, и мы уже меньше мучились голодом; но мы страшно утомились от падавшего в течение нескольких дней снега. В деревнях трудно было достать чего-нибудь съестного. Останавливались только ночью на не-

сколько часов в местах, где можно было добыть чего-нибудь, хотя бы топлива, чтобы развести бивачные костры. Мы дошли быстро до Дубровны, маленького городка, переполненного евреями; здесь мы купили немного дрянной водки и хлеба. У нас было очень много больных, и мы устроили амбулаторию. Все, кто мог идти, следовали за войском, а других мы оставили там с несколькими лекарями, чтобы оказывать им помощь...

Подходя к Орше, мы в последний раз перешли Днепр; к счастью, мост не был снят, река же не совсем замерзла.

Под прикрытием все той же гвардии армия перешла мост без препятствий, правда, надо сказать и то, что арьергард маршала Нея сдерживал русские войска, все время нас преследовавшие.

*Ларрей*

## *Орша*

В Орше мы достали кое-какие припасы, но все пошло исключительно больным. Почти всех, которые следовали за армией, пришлось разместить в местных больницах. Всю ночь я провел, перевязывая раненых, а утром назначал им лечение; затем предоставил им достаточное число лекарей.

Войска шли дальше в Толочино. Не теряя надежды и думая, что арьергард возвратится, мы не разрушили моста на реке, и на самом деле маршалом Неем был послан офицер, который принес известие, что, несмотря на огромное число неприятеля, его храбрые солдаты не только не сдались, но им даже удалось прорвать русские колонны и они идут уже к берегам Днепра. Мы встретили их с искренним восторгом.

Когда отряд перешел мост, то его сломали и взорвали под самым носом неприятеля, так что русским пришлось на несколько дней прервать поход, потому что река еще не замерзла окончательно. Несмотря, однако, на это преимущество, все труднее и труднее делалось наше отступление. Лошади в артиллерии были в ужасном состоянии, дороги совершенно не проходимы.

Мы дошли до Толочина...

Здесь был огромный склад с мукой и порядочным количеством водки. Те двадцать четыре часа, что мы пробыли здесь, принесли нашим людям и лошадям большую пользу, и мы оставили мало больных.

*Ларрей*

\* \* \*

Во время отступления император останавливался по два, по три раза в день, чтобы наблюдать за движением своего арьергарда. Так как я состоял в первой роте гвардейских егерей, то мне приходилось почти всегда служить при особе императора и я имел преимущество разводить для него огонь на всех его остановках. Я был обязан этим тому, что, помогая зажигать огонь на наших биваках, я всегда давал место около него самым зябким. Видя, что я не очень держусь за то, чтобы греться у огня, мой капитан поручил мне ту заботу, о которой я сейчас упомянул.

Эта привычка никогда не подходить к огню была замечена моими товарищами; они с удивлением говорили между собой: «Этот чертовский египтянин никогда не зябнет; он помогает нам разводить огонь, а сам никогда им не пользуется».

Я имел через это ту выгоду, что не отморозил себе ни одного члена в противоположность тем солдатам, у которых были отморожены ноги. Те, кто принял мою систему, хорошо себя чувствовали.

Однажды, собираясь разводить огонь для императора, я повязал свой платок поверх форменной шапки, чтобы несколько защититься от холода; увидав, что он подходит, я хотел снять платок, но он сказал мне: «Мы здесь не на площади Карусели, сегодня холоднее обыкновенного, оставь свой платок на голове».

Тем временем император отдал приказ Бессьеру сделать смотр гвардейским егерям; из них оказалось всего шестьсот, имевших лошадей. Но один польский барон прислал императору триста лошадей, чтобы помочь ему в его отступлении. Он предпочел отдать их тем из своих егерей, у которых не было лошадей, — так он о них заботился.

*Мерм*

\* \* \*

Не доезжая Дубровны, было решено сформировать особый эскадрон. В состав его входили все генералы и полковники, оставшиеся без дела, но у которых еще оставались лошади; они должны были охранять священную особу государя, но скоро в этом эскадроне избранников образовался раскол на почве зависти, и, еще не доходя до Березины, он почти распался.

Сам император после Дубровны собрался было реорганизовать гвардию; он шел пешком и проповедовал дисциплину. Маршал Дюрок и многие другие генералы старались, со своей стороны, останавливать солдат и офицеров, желая их упорядочить, но все их усилия оказались тщетными. И тогда Наполеон сам убедился, что наше и его спасение зависело только от недостаточной решительности врагов. Враги наши после битвы при Красном могли убедиться, что нас не так-то легко взять, но, с другой стороны, они также могли бы убедиться и в том, что мы потеряли все, что было у нас годного для войны; вся французская отвага должна была в конце концов смириться перед нищетой, утомлением и численностью неприятеля. Когда мы вошли в Оршу, вся армия была поражена любезностью русских. Они оставили нам проход свободным, благодаря чему мы переправились на ту сторону Днепра по наскоро сколоченным мостам. Такое бездействие Кутузова дало нам приятную надежду встретить еще часть армии, шедшую под началом маршалов Виктора и Удино, которые нас и на самом деле спасли при Березине. Кутузов действовал как генерал, не привыкший к победам, а может быть, как хитрый политик. Он принципиально давал нам возможность уйти. «Этого урока с них довольно, — говорил он, — они больше не вернуться; их нужно прогнать от себя, но уничтожать французскую армию не следует — это значило бы работать на наших общих врагов». Кутузов был за союз Франции с Россией...

В Дубровне и Орше мы нашли съестные припасы, но беспорядок, господствовавший в армии, был причиной, что они не были выданы правильно; тут повторилась та же история, как в Смоленске: одни получили более, чем было нужно, другим ничего не доставалось, и они гибли от голода...

Известия все ухудшались; 22 ноября я уже не мог более заблуждаться насчет нашего положения, увидев вечером, что граф Дарю жжет бумаги императора, и притом самые секретные. Его секретарь, показав ему один документ, лежавший в прекрасном перламутровом ящике, сказал: «Мы не имеем копии с него в Париже». Министр отвечал: «Все равно сожгите его». Когда я говорил об этом за ужином с графом, то он сказал мне: «Завтрашний день — переход через Березину, он решит нашу участь; может быть, я не увижу более Франции, моей жены и детей. Эта мысль ужасна».

*Дедем*

\* \* \*

Мы переходим Днепр и приходим в Оршу (20 километров); дорога обсажена прекрасными березами, местность изрезана рытвинами. Мы переходим через два ручья. Император помещается в большом монастыре. Мои планы потеряны. Аудитор приносил мне ящик в обертке министра Дарю; он отнесся к этому ящику с большой предупредительностью, думая подслужиться какой-нибудь Светлости, и был неприятно поражен, когда увидел, что приложил столько стараний для простого офицера Императорского главного штаба. Его разочарование было комично. Я обязан такой удачей предусмотрительности моего превосходного отца. Ящик содержит таблетки бульона, шоколад, две шляпы. Одну из них я отдаю пажу Френелю (Fresnel), который оказал мне такую же услугу на пути. Я дарю одну пачку таблеток императорскому метрдотелю, который заботится обо мне за обедом, во время которого мы часто едим конину; другую я даю директору эстафет, отправляющему письма моему семейству.

Нападения врасплох казаков ежедневны.

20-го — главная штаб-квартира перенесена в Бороново (Вогопово) — поместье немного направо от дороги. Вечером польский полковник приносит известие о соединении с маршалом Неем. Император говорит: «Если бы час тому назад с меня потребовали бы три миллиона, которые у меня есть в погребах Тюильри, за это событие, я отдал бы их».

Сыро; местность изрезана рытвинами, попеременно с лесом; дорога обсажена по обе стороны березами.

Довольно долго я иду рядом с молодой хозяйкой модного магазина в Москве. Многие несчастные иностранки бежали вместе с армией из боязни дурного обращения русских; они, подобно Грибуйлю, бросились в воду из страха перед дождем; большинство этих несчастных погибло трагически. Во время этого отступления люди обнаружили себя не с лучшей стороны. Эгоизм был доведен до высокой степени; в общем к этим несчастным относились жестоко. Доброе сердце шталмейстера побудило его дать приют семейству этой модистки в императорском фургоне; она там спала. Бедняжка умирала от голода; я поделился с ней полученным накануне шоколадом. Ухаживание не было в моем поступке; мы были так утомлены, что каждый из нас предпочитал — это мы повторяли непрерывно — бутылку скверного красного вина самой хорошенькой женщине в мире.

Незадолго до прибытия императора казаки с пушкой показались впереди пути; они атаковали нескольких пеших кавалеристов, выступивших им навстречу и считавших их малочисленными; казаки показались в небольшом количестве по своему обыкновению, чтобы заманить нас. Полковник 12-го кирасирского полка был взят в плен со многими офицерами.

Мы узнали, что русские занимают Борисов. Наше положение становится критическим; армия продолжает питаться только кониной.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Озаренной солнцем и приветливо встретившей нас Орши мы достигли в полдень. Хороший паром быстро доставил нас через Днепр, уже довольно широкий в этом месте, в город, показавшийся нам пристанью отдыха и восстановления сил. Мы нашли здесь гарнизон и жителей, особенно много евреев. С последними можно было иметь дело; у них были припасы, у нас деньги, следовательно, можно было раздобыть себе кое-что.

Наполеоновская гвардия нашла здесь возможность сбыть собранные в Москве ассигнации. Некоторые из гвардейцев изрядно запаслись ими. Я еще не знал ассигнаций и только раз видел в Гжатске синюю бумажку, стоимости которой

не знал никто из нас. Лишь впоследствии, когда я ознакомился с этими денежными знаками, я понял, насколько чудовищно солдаты обмануты были евреями в Орше при размене денег...

*Роос*

\* \* \*

Едва мы взошли на возвышенность над Оршей, как в городе началась перестрелка между казаками и солдатами 1-го корпуса, образовавшими арьергард, которые с трудом подвигались, изнуренные усталостью и недостатком пищи. Переход, сделанный нами ночью, окончательно истощил лошадей, которых я получил при новой артиллерии. Они еле тащились, и только с помощью артиллеристов, толкавших колеса, добрались мы к ночи до недалеко стоящей совершенно сожженной деревни, где остановились на бивак. С этих пор мне стало ясно, что скоро я буду принужден покинуть пушка за пушкой свою артиллерию. В самом деле через несколько дней капитан Меркастель явился сообщить мне о потере своей батареи. Она не смогла выбраться из опасного места; усилия артиллеристов, помогавших лошадям, были напрасны; пушки и запряжки — все осталось там; скоро и французскую артиллерию постигла та же участь; до прихода в Борисов она была вынуждена бросить на дороге свою последнюю пушку.

По приходе в Оршу постарались немного восстановить в армии порядок. В первый раз после ухода из Москвы можно было сделать раздачу провианта (магазины в Орше были полны). Но его раздавали только солдатам, собравшимся под свои знамена, и император велел объявить, что впредь все, кто их покинет, будут расстреляны. Ненужное распоряжение и напрасные угрозы! День еще не кончился, а вся эта масса людей, у которых беспорядок и распущенность обратились в привычку, уже покинула свои полки и начала свою бродячую жизнь.

К этому же времени дезорганизация 4-го корпуса стала полной, и из 40 000 храбрецов, составлявших его в начале кампании, осталось только несколько тысяч несчастных, разбитых усталостью, отупевших от нищеты и имевших энергию только для самосохранения. Некоторые жили во-



ровством и считали вполне честным тащить у товарищей все, что можно. И редко бывало, чтобы, приходя вечером на бивак, кто-нибудь из нас не жаловался на то, что обкраден...

*Гриуа*

\* \* \*

Императору довелось проехать сквозь множество лошадей и повозок, толпившихся во главе войсковых колонн, и он с негодованием рассматривал пушки и зарядные ящики, брошенные за неимением перевозочных средств, тогда как целая толпа бездельников и отбившихся от рядов солдат беззастенчиво гарцевала на краденых лошадях. При въезде в Оршу он встал у самого входа на мост и с тростью в руке в продолжение двух часов выполнял обязанности главного вагенмейстера. Повозки въезжали на мост одна за другой; он спрашивал у каждой, чья она, силой своей невероятной памяти удерживал в голове число, сколько кому их принадлежит, пропускал одни из них, а другие останавливал, приказывал жечь, а лошадей от них отдавал артиллерии. Маршалам было предоставлено две повозки, главным офицерам по одной, князю Невшательскому шесть, и в этом же роде другим. Кто имел право ехать верхом, удерживал за собой лошадь, другие же должны были уступить ее и идти пешком. Если бы такой пересмотр был доведен до конца с неизменным рвением, у артиллерии оказалось бы почти достаточное число лошадей. Но по прошествии двух часов императору надоело это занятие, и он ушел, передав свое место князю Невшательскому; тому его новая должность надоела еще скорее. Переходя от одного к другому по нисходящим ступеням, обязанность эта была, наконец, поручена простому офицеру генерального штаба; тут настала ночь, и все желающие проехали без затруднения. Беспорядок начался вновь...

*Пасторе*

\* \* \*

Орша 19 ноября. В два часа дня мы приходим в Оршу, достигаем Днепра, не встретив ни одного казака...

Благодаря устроенным здесь магазинам, можно было произвестить раздачу, — правда скудную, — припасов, оружия,

снарядов. Здесь находим также 36 орудий; из них формируют 6 батарей и распределяют их по разным отрядам, у которых они отсутствуют.

Наконец, Наполеон занимается реорганизацией армии, насколько это было возможно, включает в нее войска Зайончека, гарнизоны Орши и ее окружностей, между ними отряд польской кавалерии, составляющий сильную и очень полезную при нашей бедности в лошадях поддержку.

Офицеры и жандармы задерживают у днепровских мостов толпу оторвавшихся от своих отрядов солдат и заставляют их возвращаться под свои знамена. Как на что-то новое, необыкновенное, от чего мы уже давно отвыкли, смотрим мы на чистую экипировку жандармов, на блеск их оружия, на их сверкающую амуницию, на их заботливость о своих мундирах. Все это составляет удивительный контраст с грязью и лохмотьями, к которым мы привыкли. Императорская гвардия и итальянская королевская гвардия должны энергично, с оружием в руках, охранять магазины, которые без этих предохранительных мер подверглись бы беспощадному разграблению.

Орша 20 ноября. Император хотел остаться здесь несколько дней, чтобы армия оправилась, отдохнула, восстановила свои силы. Но получается известие о взятии Минска, о невыполнении приказаний, отданных маршалу Виктору, атаковать и отбросить Витгенштейна на ту сторону Двины. Поэтому необходимость отправить на помощь Домбровскому и минскому губернатору 2-й корпус с одной стороны, а с другой — наша неизвестность о том, что предпринимает теперь Шварценберг, заставляют императора отказаться от этого плана. Вот уже четыре дня, как до нас не доходит никаких известий о том, что делает русская армия, ничего не могут сказать о ней и евреи, несмотря на то, что им обещают за сведения крупные вознаграждения. В этот вечер император уезжает в Борисов, находящийся отсюда в расстоянии 15 верст. Там он устроит свою главную квартиру. Принц Евгений, Мортье и Даву остаются здесь. Они без конца посылают разведчиков по Смоленской дороге, но те возвращаются, повстречав только неприятелей, готовых грозить мостам через Днепр.

*Ложье*

\* \* \*

Наши странные наряды доказывают самую страшную нищету и придают нам отвратительный вид. Они закоптели от дыма и покрыты землей с наших биваков. Лица у нас желтые, глаза тусклые и ввалившиеся, сальные волосы висят в беспорядке, борода длинная, и на конце ее висят бесчисленные ледяные сосульки, происходящие от текущей на нее мокроты. Не имея возможности действовать руками и не будучи в силах почиститься, мы открываем сзади панталоны и не смеем останавливаться для исполнения самых необходимых естественных надобностей из опасения замерзнуть. Таков ужас положения, который нельзя выразить никакими словами.

Во время ходьбы слышится непрерывное хрустение скрытых под снегом трупов, которые топчут ногами лошади или давят колеса повозок. К этому шуму примешиваются взрывы фургонов, которые мы принуждены взрывать за невозможностью тащить их за собой и не желая оставлять их неприятелю. Еще более ужасный шум пугает нас на каждом шагу: это крики несчастных, которые, выбившись из сил, падают на снег с жалобными воплями, тщетно борясь с самой ужасной агонией.

*Франсуа*

\* \* \*

В Орше было объявлено при барабанном бое и музыке, какой дорогой должен двигаться каждый корпус — одни должны были идти на Витебск, другие — на Вильно; но все избрали одно направление — на Вильно.

Здесь моя обувь дошла до такого состояния, что у нее отвалились даже и подошвы. Я старался обвязать ноги тряпками. Наконец, я узнал, что в одном магазине раздают обувь, но, когда я туда пришел, было все уже роздано, — как всегда, меня и здесь постигла неудача.

К счастью, погода сделалась немного мягче; я шел совершенно обессиленный, не имея никакой другой пищи, кроме палой конины, без соответствующей обуви; одежда моя была в таком печальном состоянии, что я чувствовал каждое дуновение ветерка. В таком ужасном физическом и моральном состоянии я ежедневно отставал от общего дви-

жения; часто случалось, когда я среди ночи мечтал найти спокойный бивак, — арьергард армии, с маршалом Неем во главе, увлекал меня вперед; тогда я это считал за несчастье, теперь же вижу, что это было единственным для меня спасением, — потому что, оставшись до утра на одном месте, может быть, я, как многие другие, уже больше не смог бы встать. Иногда случалось встречаться с товарищами. Обещали друг другу держаться вместе, но, из-за громадной толпы, двигавшейся в беспорядке по дороге, снова терялись и больше уже никогда не встречались. Впрочем, было необходимо снова к кому-нибудь присоединяться, так как, идя отдельно, надо было постоянно опасаться быть ограбленным и раздетым, если только имелись на теле более или менее приличные лохмотья; к тому же при совместном путешествии удавалось то одному, то другому раздобыть съестных припасов, которыми делились с товарищами. Раз вечером, бродя около бивака, я увидел группу французов, лежавших около огня, в котором стоял большой горшок. Когда я, наконец, после долгих наблюдений убедился, что тот, кто стерег варево, задремал, то бросился к горшку, схватил его и поспешил к товарищам, которые были бесконечно рады, завидев меня: там оказался почти уже сварившийся горох, который мы сейчас же и уничтожили с громадным аппетитом.

Таким же способом раздобыл я в другой раз котелок с прекрасным кофе, который варился неподалеку от бивака императора и, по всей вероятности, был приготовлен для него самого или для кого-нибудь из его генералов. И этот кофе, хотя мы и проглотили его без хлеба и сахара, очень подкрепил наши силы.

Должно быть, каждый раз было определено заранее, где остановится император. Высылался вперед кто-нибудь из гвардии искать место в лесу около дороги. На намеченном месте срубали деревья, сгребали снег и таким образом очищался длинный четырехугольник, приблизительно 10 фут. ширины, 20 — длины, и 2 — глубины, земля убиралась в сторону. В этом углублении зажигался огонь, куда подбрасывались дрова до тех пор, пока все место не представляло из себя раскаленную массу, кругом же вбивались колья и перила. Земля вокруг этой ямы прогревалась приблизительно на 10 фут.; приятная теплота распространялась со всех

сторон, так что император и генералы могли сидеть и стоять около перил без плащей. Часто мне очень хотелось попроситься, хоть в качестве сторожа, к этому местечку, но туда никого не пропускали, немцев же в особенности.

*Иелин*

\* \* \*

18-го был спокойный переход до Орши, где мы в последний раз перешли Днепр. Ночью я отправился за распоряжениями к герцогу Данцигскому. Он оставил меня ночевать у себя в комнате на медвежьей шкуре, но, несмотря на это, я дрожал от холода и у меня разболелась поясница. 19-го мы отдыхали и, так как в Орше было нечто вроде депо, то нам раздали съестные припасы в виде небольшого количества говядины. Мы расположились налево при входе в город, на обширном дворе какого-то огромного здания. Хотя я находился и на снегу, но две стены меня закрывали от ветра, и я чувствовал себя недурно. Сюда же являлись отряды, прибывшие из Франции, и транспорты с лошадьми и материалом для мостов. Среди вновь пришедших я с удовольствием заметил лейтенанта Лиоте. Наше положение, кажется, улучшается, но мы все очень беспокоимся о судьбе маршала Нея и его войска — по всей вероятности, они в плену. 20-го большая радость армии — объявили о прибытии маршала. Благодаря неслыханной и невероятной смелости и самоотверженности ему удалось избежать несчастного моста при Красном; он взял вправо, перешел Днепр по едва державшемуся льду, и ему удалось чудесным образом провести свой отряд в Оршу, идя вниз по правому берегу реки. Поступок действительно героический!..

*Булар*

### *От Орши до Борисова*

После перехода через Днепр армия ринулась в полном беспорядке на Березину, которая согласно мерам, принятым русскими, должна была стать нашей могилой.

Не имея привычки к продолжительной ходьбе, я через несколько дней почувствовал, что не в силах идти далее. Но дух мой был бодр, нравственное состояние мое не было

подавлено, и во всех представлявшихся случаях я присоединялся к группе сражающихся, которые наспех собирались, чтобы отражать нападения казаков.

Именно во время одного из этих нечаянных нападений, г-н Англес, главный инспектор почты, тот самый, который велел доставить мне на позицию Винкова ящик с плитками бульона и шоколада, не имея возможности ускользнуть, был совершенно раздет и оставлен на снегу без всякой одежды, ему оставили только золотые очки, бывшие на нем, вероятно потому, что эти дикари приняли их за его собственные глаза. Конечно, они не могли ему ничем помочь при этом ужасном холоде. С величайшим трудом и после самых жестоких страданий удалось ему достигнуть полузамерзшим главной квартиры. Он тщательно хранил эти очки как воспоминание об этом тяжелом случае в его жизни.

Наконец, за два дня до прибытия к берегам Березины, после нескольких дней ходьбы, в полном изнеможении от усталости, умирая от голода и холода (сапоги мои были опалены огнем бивака), я сел на край дороги, решившись перенести все последствия жестокого плена и безропотно покоряясь даже смерти. Передо мной проходили один за другим, бесконечной вереницей, солдаты в лохмотьях, с посиневшими лицами, свирепые, угрюмые. Все мундиры, всякое различие чинов — все смешалось. Каждый облакался в одежду, взятую с мертвых.

Они шли по дороге мрачные и вид у них был дикий. Всадники, лишенные лошадей, закутались в свою лошадиную попону, сделав в середине отверстие для головы, а на нее надевали каску, или кивер, или закрывали ее окровавленными лохмотьями. Они еле-еле бросали взор на меня, и то не из-за сострадания, но чтобы убедиться, не умер ли я, чтобы захватить мою одежду.

Ни единого слова не было мне сказано, ни одна спасительная рука не протянулась ко мне...

Арьергард подходил. По временам слышалась канонада и также ружейная перестрелка. Через несколько минут я должен был подвергнуться печальной участи, когда, к моему счастью, прошел мимо меня старинный друг нашей семьи, Гильяр, служивший при почте армии, о котором я уже говорил. Он узнал меня, был настолько человеколюбив, что остановился, заставил меня проглотить несколько глот-

ков водки, которая была у него в запасе в маленькой фляжке, поднял меня за руку, поставил на ноги и, поддерживая, потащил вперед.

*Комб*

\* \* \*

Мы тронулись после полуночи с 21-го на 22 ноября и опять оставили больных и все, менее необходимое, чтобы легче было идти. Для того, чтобы русские не заметили нас с левого берега и не подвергли обстрелу, мы соблюдали при выступлении возможную тишину и шли окольными путями. В некотором расстоянии от города мы вновь вышли на большую дорогу и сделали привал в первой деревне, когда уже наступил день. Польский гарнизон из Орши увеличил собою нашу небольшую боеспособную армию, которая состояла почти из одной гвардии, и в этот же день остаток вюртембергской пехоты получил совершенно неожиданное пополнение в виде целой гренадерской роты. Дело в том, что капитан Валлуа с июля месяца оставался где-то, кажется, на Двине. Вытесненный со своей позиции русскими, он примкнул теперь к нам со своей командой, находившейся в полном составе и в наилучшем состоянии. Не поддается описанию, сколько утешения и радости вызвало у нас прибытие этой роты и сколь печальное и подавляющее впечатление произвело на этих людей жалкое наше состояние и бессилие. Во всяком случае, остается удивляться, что мы в печальном нашем положении хоть раз получили радость и некоторое утешение, вызвав, однако, глубочайшую печаль тех, кто был виновником этой радости. При первой же остановке сбереженные нами досюда знамена переданы были сильнейшим из этих гренадер. Один предпочел обернуть знамя вокруг своего тела, другой спрятал его в ранец, и, как при выступлении из Вязьмы, так и теперь, начальник отряда сказал, чтобы я заметил этих людей...

Днем таяло, ночью слегка морозило, голодная нужда сделалась менее ужасной, ибо в Орше мы снова нашли съестные припасы, и теперь можно было порою покупать кое-что. И тем не менее дальнейшее наше отступление мало изменилось в своем характере и спешности, когда мы получили в этой местности самые печальные вести. А именно,

что молдавская армия русских из Минска продвинулись на Борисов, захватила все магазины; генерал граф Витгенштейн с Двины идет на Березину, которую нам предстояло перейти, баварцы же бегут так же, как и мы...

Мы спокойно тронулись дальше, так как казаки не беспокоили нас; сжигание городов и усадеб днем давно прекратилось; зато по ночам деревни нигде не подвергались большому опустошению, им здесь, близ Бобра, и вплоть до Борисова. Подобно тому, как в лагере при Чернишне мы постепенно растаскивали и сжигали деревню Тетеринку, так это делалось второпях и теперь. В одну ночь снесли целую деревню и пожгли ее на костры. Утром мы покинули пожарище, и жителям, должно быть, трудно было отыскать места, где стояли их дворы и дома.

Между Оршей и Бобром, в том месте, где наша дорога скрещивалась с дорогой, идущей из Могилева, сидел у дороги вестфальский солдат, предлагавший в обмен на хлеб огромный кусок серебра, должно быть, церковного, в форме четырехугольника, весом фунтов в 15—20. Никто не позарился на это серебро, ни у кого не было хлеба, ни у кого не было охоты тащить такую тяжесть; проходившие делали замечания, шуточные или оскорбительные. Не нашлось никого, кто бы предложил ему за серебро хотя бы кусочек хлеба.

Подходя к Бобру, мы встретили повозки, которые прибыли из Карлсруя с рисом и сухарями для баденских войск. Благодаря каким благоприятным обстоятельствам и нам досталось из этих припасов, — я не мог узнать...

После полуночи, с 25-го на 26 ноября, мы снялись с места, — я в обществе одного курьера из армии и нескольких офицеров, — и бодрым шагом прибыли к Борисову по дороге, гладкой от многочисленных повозок, массы идущих и от мороза. Усыпанное звездами небо светило нам.

Осматриваясь в Борисове, нельзя ли купить у евреев съестных припасов или не слышно ли чего о приближении русских, мы заметили следующий обман. Какой-то немецкий гренадер, который так же мало знаком был с русскими ассигнациями, как и мы, держал в руках бумажник, туго набитый ими, толщиной пальца в два, и предлагал его еврею за четыре бутылки водки и четыре хлеба. При такой выгодной сделке еврей остался настолько хладно-



кровным, что совершенно равнодушно сказал: «Я дам только три бутылки водки и три хлеба». Солдат согласился, и когда пришлось отдавать покупку, еврей заявил, что бутылки в счет не входят, однако уступил, когда солдат сказал: «Без бутылок мне твоя водка не нужна». Когда я впоследствии узнал цену русских бумажных денег, я убедился, что еврей получил за свой товар 3-4 тысячи рублей.

*Роос*

\* \* \*

Мы шли по большой дороге, ведущей из Смоленска в Вильно через Минск. До Толочина она старательно обсажена в два ряда деревьями. Вне дороги, по правую и левую сторону, шла кавалерия, на которой лежала забота прикрывать нас. Перед нами шли два батальона пехоты с двумя орудиями, образуя обычный авангард, всяким войском выставляемый впереди себя; непосредственно за ним ехали императорская карета, карета князя Невшательского, как старшего генерала, и карета графа Дарю, главного интенданта армии; все остальные были перемещены назад. За авангардом следовал боевой корпус; во главе шел император один, за ним следовали старший генерал и главный интендант, которые шли вместе, и герцог Фриульский, министр императорского двора, шедший за своими санями. Герцог Виченцкий, великий шталмистер, впереди сопровождал карету. Еще дальше шел маршал герцог Данцигский, командующий гвардией, с обнаженной шпагой в руке; гвардия шла за ним, выровнявшись, как в дни парада.

Солдаты, вновь подчиненные дисциплине, маршировали правильным строем в образцовом порядке. Однообразный и ровный шаг словно сливал воедино множество разнообразных движений, и глубокое молчание, царившее над этой необъятной толпой, нарушалось только отрывистыми и твердыми криками команды; в определенные промежутки времени офицеры повторяли команду по рядам, и от гвардии она переходила последовательно ко всем, шедшим сзади частям войск. Неприятель наблюдал за нами издали, но наше спокойное и мерное движение производило на него такое впечатление, что в течение нескольких дней он не тревожил нас...

*Пасторе*

\* \* \*

Мы прошли через местечко, имени которого я не знаю и где говорили, что император должен был заночевать (хотя он давно проехал мимо). Множество войск разного оружия останавливалось там; было уже поздно, а, по слухам, оставалось еще добрых 8 верст до места привала, намеченного в большом лесу.

Дорога в этом месте очень широка и окаймлена с обеих сторон огромными березами. По ней удобно было следовать людям и повозкам, но когда настал вечер, то по всему ее протяжению виднелись павшие лошади, и чем дальше мы подвигались, тем гуще она была усеяна повозками, издыхающими лошадьми, даже целыми упряжками, изнемогающими от усталости, а также и людьми, которые, не будучи в силах идти дальше, останавливались, располагались на биваках под большими деревьями, потому что, как они сами говорили, тут под рукой у них все, чего они не найдут в другом месте: топливо для костров, на что пригодятся сломанные повозки, а вместо пищи — мясо тех лошадей, которыми завалена была дорога и которые уже начинали задерживать движение.

Давно уже я шел один в этой тесноте, стараясь добраться до того места, где мы должны были ночевать, чтобы наконец отдохнуть от этого тяжелого перехода, еще более затрудненного гололедицей, образовавшейся с тех пор, как опять подморозило по талому снегу, так что я ежеминутно падал; ночь застигла меня среди этих бедствий.

Северный ветер подул с новою яростью; с некоторых пор я потерял из виду своих товарищей; несколько солдат, изолированных, как и я, чуждых тому корпусу, к которому я принадлежал, тащились с трудом, делая сверхъестественные усилия, чтобы настигнуть колонну, от которой отделились, как и я. Те, к кому я обращался, не отвечали — у них не хватало сил. Другие падали в смертельном изнеможении, чтобы уже не встать.

Скоро я очутился совершенно один, не имея более никаких товарищей, кроме трупов, служивших мне проводниками. Силы были истощены вконец. Уже я падал раза два, задремав, и, если б меня не пробуждала холодная влаж-

ность снега, я не мог бы устоять и погиб бы, отдавшись непреодолимой сонливости.

Место, где я находился, было усеяно людьми и лошадьми, заграждавшими мне дорогу и мешавшими волочить ноги, потому что я уже не имел сил поднимать их. Каждый раз, как я падал, мне казалось, что меня остановил один из несчастных, валявшихся на снегу; часто случалось, что люди, лежавшие при последнем издыхании на дороге, цеплялись за ноги проходивших мимо, умоляя их о помощи, и иногда те, что нагибались, чтобы помочь товарищам, сами падали, чтобы уже не подняться.

Минут десять я шел наобум, не придерживаясь никакого направления; я брел как пьяный; колени мои подгибались под тяжестью слабого тела. Словом, я чувствовал близость моего последнего часа...

В эту минуту показалась луна, и я увидел шагах в десяти от меня двух людей — один лежал, другой сидел возле. Направившись в ту сторону, я с трудом добрался до них вследствие наполненного снегом рва, отделявшего дорогу. Я заговорил с тем человеком, который сидел; он захохотал как безумный и проговорил: «Друг мой, смотри не забудь же!» И опять рассмеялся. Я убедился, что это смех смерти. Другой, которого я считал мертвым, еще был жив и, слегка повернув голову, промолвил эти последние слова, которых я век не забуду: «Спасите моего дядю, помогите ему, а я умираю!»

Я сказал ему еще несколько слов, но он уже не отвечал мне. Тогда, обратившись в сторону первого, я старался подбодрить его встать и пойти со мной. Он смотрел на меня, не произнося ни слова; я заметил, что он закутан в толстый плащ, подбитый мехом, но старается сбросить его. Я хотел помочь ему подняться, но это оказалось невозможным. Держа его за руку, я убедился, что на нем эполеты высокопоставленного офицера. Он заговорил со мной о смотре, о параде и наконец повалился на бок, лицом в снег. Мне пришлось оставить его, я не мог оставаться дольше, не подвергаясь опасности разделить участь этих двух несчастных.

Надежда встретить какой-нибудь бивак заставляла меня по возможности ускорить шаг. В одном месте дорога была почти совершенно заграждена лошадиными трупами и поломанными повозками. Вдруг я поневоле отдался слабости

и опустился на шею дохлой лошади, лежавшей поперек дороги. Вокруг лежали без движения люди различных полков. Я различил между ними несколько солдат молодой гвардии, которых легко было узнать по киверам; потом я сообразил, что часть этих людей умерла в то время, как старались разрезать труп лошади, чтобы съесть его, но у них не хватило силы, и они погибли от холода и голода, как это случалось каждый день. В этом печальном положении, очутившись один среди обширного кладбища и страшного безмолвия, я отдался мрачным мыслям: я думал о своих товарищах, с которыми был разлучен каким-то роком, думал о своей родине, о своих близких — и заплакал как ребенок. Пролитые слезы немного облегчили меня и вернули мне потерянное мужество.

Я нашел у себя под рукой, у самой головы лошади, на которой сидел, маленький топорик, какой мы всегда носили с собой в каждой роте во время похода. Я хотел употребить его, чтобы отрезать кусок мяса, но не мог: до такой степени труп заоченел от мороза — совершеннейшее дерево. Я истощил последние силы, одолевая лошадь, и повалился в изнеможении, зато немного согрелся.

Поднимая топорик, вывалившийся у меня из руки, я заметил, что отколол несколько кусков льда. Оказалось, что это лошадиная кровь; вероятно, кровь выпускали, прежде чем убить лошадь. Я подобрал насколько мог больше этих кусочков крови и тщательно спрятал их в ягдташ; потом я проглотил несколько кусочков этого льда; это подкрепило меня, и я продолжал свой путь, отдавшись в руки Божие; все время я старался переходить с правой стороны на левую, чтобы избежать трупов, усеявших дорогу; оставался и пробирался ощупью в потемках каждый раз, как темная туча набегала на луну, и ускорял шаг по направлению к лесу всякий раз, как показывалась луна.

Через некоторое время я увидел вдали перед собой какой-то предмет, который я сперва принял за зарядный ящик, но, подойдя ближе, увидел, что это просто сломанная повозка маркитантки одного из полков молодой гвардии; я встречал ее несколько раз после Красного везущей двух раненых фюзелеров-егерей гвардии.

Лошади, везшие повозку, были мертвы и частью съедены или разрезаны на куски; вокруг повозки валялось семь

трупов, почти обнаженных и до половины занесенных снегом; на одном только был надет овчинный тулуп.

В том положении, в каком я находился, чувство самосохранения было всегда моей первой мыслью; вот почему необдуманном движением я хотел попытать свои силы, чтобы отрезать кусок лошади, забыв о том, что за минуту перед тем я свалился от слабости, стараясь сделать то же самое. Тем не менее я взял топор в обе руки и стал рубить лошадь, находившуюся еще в оглоблях повозки, но, как и в первый раз, это оказалось напрасным трудом...

Наконец, не будучи в силах оторвать ни клочка мяса, чтобы поестъ конины хотя бы в сыром виде, я решился заночевать в повозке, оказавшейся крытой...

Но только я начал действовать, как раздирающий крик раздался изнутри повозки. Я оборачиваюсь — опять крик: «Мари, дай мне пить, я умираю!» Я опешил. Через минуту тот же голос простонал: «Ах, Боже мой!» Я сообразил, что это несчастные раненые, покинутые помимо их ведома. Действительно, так и было.

Я влез на остов лошади в оглоблях, оперся на край повозки и спросил, что нужно. Мне с трудом отвечали: «Пить».

Я вспомнил о кусочках обледенелой крови, спрятанных мною в ягдташ, и хотел спуститься за ними, вдруг луна, светившая мне некоторое время, спряталась за большую черную тучу; думая, что ставлю ногу на что-то твердое, я оступаюсь и падаю на три трупа, лежавших рядом. Ноги мои очутились выше головы, поясницей я упирался в живот мертвеца, а лицом — на его руку. За последний месяц я привык спать в подобной компании, но тут оттого ли, что я был один-одинешенек, мной овладело чувство сильнее простой трусости. Мне казалось, что это кошмар; на мгновение я лишился языка. Я был как безумный и вдруг принялся кричать, точно меня кто держит и не хочет отпустить. Несмотря на все мои усилия, я не мог встать. Наконец, я хочу подняться, упираясь на руки, но невзначай попадаю рукой в лицо мертвеца, а один из моих пальцев засовывается ему в рот.

В этот миг выплывает луна, и я могу разглядеть все окружающее. Меня охватывает дрожь, я теряю точку опоры и снова падаю. Вдруг все изменяется. Вместо страха мною

овладевает какое-то неистовство. Я встаю, ругаясь, и задеваю руками, ногами за лица, туловища, конечности — словом, за что попало. Я с проклятьями устремляю глаза в небо, точно посылая ему вызов; не помню, может быть, я даже ударил беспомощных бедняков, валявшихся у меня под ногами.

Немного успокоившись, я решил заночевать в повозке возле раненых, чтобы защитить себя хоть от дурной погоды. Я взял кусок обледелой крови из своей сумки и влез в повозку, ощупью отыскивая человека, просившего пить и теперь не перестававшего стонать, хотя слабо. Приблизившись, я убедился, что у него ампутирована левая нога.

Я спросил, какого он полка, но не получил ответа. Тогда, пощупав его голову, я с трудом сунул кусочек обледелой крови ему в рот. Тот, что лежал с ним рядом, был холоден и тверд как мрамор. Я попробовал спустить его с повозки, чтобы занять его место, дожидаться дня и ехать дальше с теми, которых я предполагал назади, но мне это никак не удавалось. У меня не хватило сил своротить тело, и так как край повозки был чересчур высок, то я не мог сбросить тело вниз. Видя, что другому раненому остается жить несколько минут, я прикрыл его двумя шинелями покойника и стал шарить, не найду ли в кибитке чего-нибудь, что бы пригодилось мне. Не найдя ничего, я стал заговаривать с раненым, но не получал ответа. Я провел рукой по его лицу — оно уже застыло, и во рту еще торчал кусочек льда, всунутый мною. Он покончил и с жизнью и со страданиями...

*Бургон*

\* \* \*

Спрятавшись, через минут пять-шесть мы увидели голову отряда, предшествуемого десятью—двенадцатью татарами или калмыками, вооруженным кто пиками, кто луками и стрелами, а по правой и левой сторонам дороги шли мужики, вооруженные каким попало оружием: посредине еле тащились более двухсот пленных из нашей армии, жалких и едва живых. Многие были ранены: у кого рука на перевязи, у кого отморожены ноги — те шли опираясь на толстые палки. Несколько человек упало, и, несмотря на удары древками пик, которыми наделали их татары, они

лежали не двигаясь. Легко представить себе, как мы страдали при виде несчастного положения наших братьев по оружию! Пикар молчал, но по его движениям можно было ожидать, что он выскочит из леса и бросится на эскорт. В эту минуту прискакал верхом офицер и остановился; обратившись к пленным на чистом французском языке, он сказал им: «Отчего вы не идете скорее?» — «Мы не в состоянии, — отвечал солдат, — лежавший на снегу — я согласен лучше умереть, чем тащиться дальше!»

Офицер возразил, что надо вооружиться терпением — вот скоро подъедут повозки, и если окажется место для наиболее больных, то их повезут на лошадях. «Сегодня же вечером, — прибавил он, — вам будет лучше, чем с Наполеоном, потому что теперь он уже в плену со всей своей гвардией и остатками армии, все мосты через Березину отрезаны». — «Наполеон в плену со своей гвардией! — воскликнул один старый солдат. — Да простит вам Господь! Видно, сударь, что вы не знаете ни Наполеона, ни гвардии. Они сдадутся не иначе, как мертвые; они в этом поклялись, следовательно, они не в плену». — «А вот и повозки», — сказал офицер. Мы увидели два фургона из нашей армии и походную кузницу, нагруженную ранеными и больными. Сбросили наземь пятерых людей, и мужики тотчас же поспешили ободрать их догола; их заменили пятерыми другими, из коих трое уже не могли двигаться...

Мы вернулись к своей лошади: она сунула голову в снег, отыскивая траву. Случайность натолкнула нас на место, где помещался костер, мы разожгли его и могли согреть свои окоченевшие члены. Ежеминутно мы ходили по очереди смотреть, не видать ли чего вдали; вдруг мы услышали стоны, и к нам подошел человек, совершенно голый. На нем была шинель, до половины сгоревшая, на голове оборванная полицейская шапка; ноги его были обернуты в тряпки и обвязаны веревками поверх дырявых штанов из толстого сукна. Нос у него был отморожен и почти отвалился; уши его были покрыты струпьями. На правой руке у него оставался только большой палец, все остальные отвалились до последнего сустава. Это был один из несчастных, покинутых русскими. Невозможно было понять ни слова из того, что он говорил. Увидев наш костер, он кинулся к нему с жадностью, точно хотел пожрать его. Не говоря ни слова,

он опустился на колени перед огнем. С трудом мы заставили его проглотить немного можжевельки, но половина пролилась — он не мог разжать зубов, страшно стучавших.

Между тем стоны его замолкли, зубы перестали стучать, но вдруг мы заметили, что он опять начал трястись, бледнеть и валиться, причем из губ его не вылетало ни единого слова, ни единой жалобы. Пикар хотел поднять его, но это уже был труп. Вся сцена длилась не больше десяти минут...

Не сумею описать всех бедствий, всех страданий, всех раздирающих душу сцен, какие я имел случай наблюдать, и в каких принужден был сам участвовать. Все это оставило во мне страшные, неизгладимые воспоминания.

Настало 25 ноября, было часов семь утра, и еще не совсем рассвело. Я сидел, погруженный в черные думы, как вдруг увидел вдали голову колонны и указал на нее Пикару.

Первые, кого мы увидели, были генералы; некоторые ехали верхом, но большинство шло пешком, как и многие другие высшие офицеры, остатки священных эскадрона и батальона, которые были сформированы 22-го и от которых теперь, через три дня, остались лишь жалкие следы. Они плелись с трудом, у всех почти были отморожены ноги и завернуты в тряпье или куски овчины; все умирало с голоду. Затем шел император, тоже пеший, с палкой в руке. Он был закутан в длинный плащ, подбитый мехом, а на голове у него была шапка малинового бархата, отороченная кругом чернобурой лисицей. По правую руку от него шел, так же пешком, король Мюрат, по левую — принц Евгений, вице-король Италии; далее маршалы Бертье, принц Невшательский, Ней, Мортье, Лефевр и другие маршалы и генералы, чьи корпуса были большею частью истреблены.

Миновав нас, император сел на коня, как и часть сопровождавшей его свиты; у большинства генералов уже не было лошадей. За императорской группой следовали семь или восемь сотен офицеров и унтер-офицеров, двигавшихся в глубочайшем безмолвии с значками полков, к которым они принадлежали и которых столько раз водили в победоносные сражения. То были остатки от шестидесяти-тысячной с лишком армии. Далее шла пешая император-



ская гвардия в образцовом порядке: впереди — егеря, а за ними — старые гренадеры.

Мой бедный Пикар, целый месяц не выдавший армии, наблюдал все это, не говоря ни слова, но по его судорожным движениям можно было догадаться, что происходило в его душе. Несколько раз он стучал прикладом ружья о землю и бил себя кулаками в грудь. Крупные слезы катились по его щекам на обledenевшие усы.

Повернувшись ко мне, он промолвил: «Ей-Богу, земляк, мне кажется, что все это сон. Не могу удержать слез, видя, что император идет пешком, опираясь на палку — он, этот великий человек, которым все мы так гордимся!» При этом Пикар опять хотел придать больше выразительности своим словам.

— А заметили вы, как он взглянул на нас? — продолжал Пикар. Действительно, проходя мимо, император повернул голову в нашу сторону. Он взглянул на нас так, как всегда глядел на солдат своей гвардии, когда встречал их идущими в одиночку, а тут, в эту злополучную минуту, он, вероятно, желал своим взглядом внушить нам мужество и доверие. Пикар уверял, будто император узнал его — вещь весьма возможная.

Мой товарищ, из опасения показаться смешным, снял свой белый плащ и держал его под мышкой. Хотя у него все продолжала болеть голова, но он опять надел свою мохнатую шапку, не желая показываться на людях в мерлушковой шапке, подаренной ему поляком. Бедный Пикар забывал о своих грустных обстоятельствах и думал только о положении императора и своих товарищей, которых ему страстно хотелось увидеть.

Наконец, показались старые гренадеры. Это был первый полк, а Пикар принадлежал ко второму. Скоро мы увидели и его, потому что колонна первого была не очень длинна. По-моему, в нем не хватало по крайней мере половины. Очутившись перед батальоном, где он состоял, Пикар выступил вперед, чтобы присоединиться к нему.

Тотчас же послышались восклицания: «Смотрите, как будто бы и Пикар!» — «Да, — отвечал Пикар, — это я, друзья мои. Я самый, теперь не покину вас до смерти!» Рота немедленно овладела им ради лошади, само собою разумеется. Я сопровождал его еще некоторое время, чтобы

получить кусок конины, если убьют лошадь, но тут с правой стороны роты раздались крики: «Лошадь составляет собственность роты, раз человек служил в ней!» — «Это правда, — возразил Пикар, — что я принадлежу к роте, но сержант, которой требует своей доли, сшиб с седла хозяина этой самой лошади». — «В таком случае, — сказал один сержант, — знавший меня в лицо — и он получил свою долю!» Этот сержант, исполнял должность фельдфебеля, умершего накануне. Колонна остановилась, офицер спросил Пикара, откуда он взялся и как очутился впереди, когда все, которые подобно ему, сопровождали обоз, уже вернулись три дня тому назад. Привал продолжался довольно долго. Пикар рассказал о всех своих приключениях, поминутно прерывая свою речь, чтобы осведомиться о многих товарищах, которых не находил в рядах: все они погибли...

Между тем войска двинулись. Я распрощался со своим спутником, обещая повидаться с ним вечером на бивуаке.

Я остановился на краю дороги и стал выжидать прохождения нашего полка — мне сказали, что он находится в арьергарде.

За гренадерами следовало более 30 тысяч войска; почти все были с отмороженными руками и ногами, большей частью без оружия, так как они все равно не могли бы владеть им. Многие шли, опираясь на палки. Генералы, полковники, офицеры, солдаты, кавалеристы, пехотинцы всех национальностей, входящих в состав нашей армии, шли попеременно, закутанные в плащи, подпаленные, дырявые шубы, в куски сукна, в овчины, словом — во что попало, лишь бы как-нибудь защититься от стужи.

Шли они не ропща и не жалуясь, готовясь, как могли, к борьбе, если бы неприятель стал противиться нашей переправе. Присутствие императора воодушевляло нас и внушало доверие; он всегда умел находить новые ресурсы, чтобы извлечь нас из беды. Это был все тот же великий гений, и, как бы мы ни были несчастны, всюду с ним мы были уверены в победе.

Это множество людей на ходу оставляло за собой мертвых и умирающих. Мне пришлось подождать с час, пока прошла вся колонна. Дальше тянулась длинная вереница еще более жалких существ, следовавших машинально, на

значительных промежутках. Эти дошли, выбиваясь из последних сил, — им не суждено было даже перейти через Березину, от которой мы были так близко. Минуту спустя я увидел остатки молодой гвардии, стрелков, фланкеров и несколько волтижеров, спасшихся в Красном, когда полк, командуемый полковником Люроном, был на наших глазах смят и изрублен русскими кирасирами.

Эти полки, смешавшись, шли все-таки в порядке. За ними следовали артиллерия и несколько фургонов.

*Бургон*

\* \* \*

23-го. Император прибыл в Бобр. Он приказывает образовать четыре отряда почетной гвардии, составленных из всех офицеров кавалерии, у которых еще остались лошади. Дивизионные генералы будут капитанами или лейтенантами, бригадные генералы — подлейтенантами. Орлы кавалерийских полков сожжены; мы уверены, что таким образом их у нас не отнимут. 8-й Вестфальский корпус под командой герцога д'Абрантеса совершенно разгромлен: в нем осталось двести человек пехоты и сто кавалерии.

Военнопленный поляк — мой слуга — убежал с лошадью и большею частью моих вещей, еще больше обокрав своих товарищей; другой путешествует за свой счет с одной из моих лошадей. У меня осталось из одежды только то, что на мне. Вдобавок у меня пала лошадь, так что у меня остается пять, из которых одна хорошая. У нас изобилие снега и недостаток всего остального.

24-го. Императорская штаб-квартира перенесена в Лощинское — плохое пристанище (32 километра), сплошные леса. Даже сам император, отправившийся в восемь часов утра и прибывший в семь часов вечера, помещен очень неудобно. Мы слышим канонаду герцога Беллунского в двадцати пяти верстах вправо от нас. Маршал Удино находится со 2-м корпусом в Борисове; вчера у него было удачное дело, он вытеснил неприятеля, который, отступая, сжег мост, но побросал все свои экипажи. Число солдат, отстающих от армии, значительно увеличивается с каждым днем; солдаты умирают от голода под знаменами. Корпус маршала Нея состоит теперь из шестисот — семисот человек. По-прежнему снег.

25-го. Маршал Удино утром является в Борисов, чтобы побеседовать с императором о переправе через Березину, которая представляет большие затруднения; это не весело. Мы выступаем в девять часов утра; император останавливается в пути на два часа. Из Вильно прибыл польский офицер, пробившийся переодетым через русскую армию. Этот поляк сообщает нам о победе князя Шварценберга, взявшего у русских две тысячи двести человек. Проносится слух о вступлении австрийцев в Минск, находящийся в двух переходах от нас; это нас немного радует. Польский офицер отсылается обратно, депеш ему не вручают. На этом биваке я второпях набросал несколько слов моему отцу, сообщая ему, по обыкновению, сведения о себе и о своих товарищах. Мне попалась ведомость; я написал: «Ведомость моя благополучна». Я послал эту весточку в конверте господина Монье, секретаря герцога Бассано в Вильно.

*Кастеллан*

\* \* \*

Положение армии несколько улучшилось благодаря тому, что после сильных морозов наступила оттепель.

Эта перемена погоды давала армии возможность расположиться биваком. В период холодов бывало иначе: высшие чины поселялись в деревнях, где назначался постой, а простые солдаты бродили по окрестностям. Дома, не занятые офицерами, подвергались разорению, причем выгоняли лиц, нашедших себе там пристанище, а здание разбивалось и шло для костров. Большим подспорьем являлось то обстоятельство, что вблизи бивака можно было достать сухое топливо. Дело не обошлось, правда, без схватки с теми, которые не желали нас подпустить.

Но, с другой стороны, в силу той же перемены погоды передвижение стало гораздо труднее, так как дороги покрылись теперь толстым слоем грязи, а люди ослабели, обувь у них была плохая или, лучше сказать, ее почти не было.

Наш печальный жребий несколько облегчился тем, что мы имели кой-какие припасы и, кроме того, у нас всегда была возможность где-нибудь укрыться. Однако болезни, раны, сырость, долгие переходы, плачевное состояние наших ног, почти полное отсутствие отдыха — все это производило между нами огромные опустошения.

В добавление ко всем нашим тяжким невзгодам явилось новое бедствие: люди, недостаточно одаренные от природы энергией, нужной для того, чтобы мужественно вынести все выпадавшие на нашу долю ужасы, впадали в крайне удрученное состояние, иногда даже граничившее с острым умопомешательством, и вот многие солдаты не в силах больше крепиться; у них опускаются руки, и то самое оружие, которое раньше служило им в стольких славных боях, вдруг оказывается для них слишком тяжелым, и они уже не в силах его нести. До Смоленска число строевых значительно превышало число отпавших, но после Красного наблюдается обратное.

В таком жалком положении 21 ноября мы прибыли в Коханов. Здесь Наполеон устроил главную квартиру, а мы расположились вокруг города.

Толочин 22 ноября. Встречаем на пути прискакавшего к нам во весь опор адъютанта маршала Удино...

Русские овладели не только оборонными укреплениями на Борисовском мосту, но в их руки попал также и город со всеми складами.

Известие о потере нами Борисовского моста было настоящим громовым ударом, тем более что Наполеон, считая утрату этого моста делом совершенно невероятным, приказал, уходя из Орши, сжечь две находившиеся там понтонные повозки, чтобы везших их лошадей назначить для перевозки артиллерии.

Император приказал генералам распорядиться сожжением своих повозок, фур и даже всех упряжных экипажей, принадлежавших офицерам; лошадей приказано было немедленно отобрать в артиллерию, всякого же, нарушившего этот приказ, подвергнуть смертной казни.

И вот началось уничтожение всех лишних экипажей; офицерским чинам, включая сюда и полковников, не разрешалось иметь больше одного. Генералы Зайончек, Жюно и Клапаред также принуждены были сжечь половину фургонов, колясок и других разных легких экипажей, которые они везли с собой, чтобы уступить своих лошадей гвардейской артиллерии. Один офицер из главного штаба и 50 жандармов должны были при этом присутствовать. Император дал разрешение брать в артиллерию всех лошадей, какие только понадобятся, не исключая и лично ему при-

надлежащих, только бы не быть вынужденным бросать пушки и фуры. Наполеон первый подал этому пример, но, к несчастью, мало нашлось подражателей.

Близ Начи, 25 ноября. Итальянская армия, уменьшившаяся до 2600 человек, расположилась лагерем около одной заброшенной церкви близ Начи. Даву стоял между Начей и Крупками. Подойдя к Лошнице, мы неподалеку справа услышали громкие крики. Это кричат солдаты Виктора, теперь соединяющиеся с нами. Они думают, что видят перед собой императора вместе с армией, увенчанной лаврами Москвы и Малоярославца, и восторженно нас приветствуют, чего мы уже так давно не слыхали. Нам было чрезвычайно приятно смотреть на войско в образцовом, давно не виданном порядке. Мы забыли всё и все опасности, грозящие нам, по слухам, в будущем; теперь мы считаем их преувеличенными и придаемся беззаботному веселью, хотя оно и мало гармонирует с нашими измученными и бледными физиономиями.

9-й корпус еще ничего не знал о наших бедствиях, скрывались они даже от его генералов; так что можно себе представить, какое изумление вызываем мы в них своим видом: вместо грозных завоевателей люди видят проходящих мимо них, один за другим каких-то призраков, одетых в лохмотья, в женские салопы, закутанных в оборванные плащи или в куски оборванных ковров, с ногами, обернутыми тряпками.

Идет только тень Великой Армии. Эту Великую Армию победила природа, но все же, несмотря на всю свою слабость и угнетенное состояние, она, пока ее ведет Наполеон, не впадает в отчаяние.

Солдаты Виктора, такие радостные вначале, потом, когда мы в молчании дефилируем перед ними, начинают с каким-то растерянным видом на нас смотреть. Они видят только измученных, бледных людей, с небритыми, покрытыми грязью лицами. Многие от голода и утомления падают у их ног.

*Ложье*

\* \* \*

Остановка в Минске была, казалось, делом решенным, и, несмотря на то, что, собрав от Березины до Вислы все гарнизоны, обозы, сводные батальоны и дивизии Дюрют-

та, Луазона и Домбровского, можно было сформировать в Минске армию в 30 000 человек; несмотря на это, малоизвестный генерал и 3000 солдат оказались единственной силой, выставленной для того, чтобы остановить Чичагова. Знали даже, что этот небольшой отряд молодых солдат был выставлен перед рекою, где его и опрокинул адмирал; а между тем это прикрытие защищало бы их на некоторое время, если бы оно было поставлено за рекою.

Так всегда бывает: ошибка в общем плане влечет за собою ошибки в частностях. Губернатор Минска был выбран без особого внимания; это был, как говорят, один из тех людей, которые берутся за все, отвечают за все и которые во всем делают промахи. Шестнадцатого ноября он потерял этот город и вместе с ним 4700 больных, боевые запасы и 2 000 000 пайков продовольствия. Уже прошло пять дней, как слух об этом пришел в Дубровну, где получили известие о еще большем несчастье.

Этот самый губернатор бежал в Борисов. Там он не сумел ни предупредить Удино, который был на расстоянии двухдневного перехода, и попросить его прийти к нему на помощь, ни поддержать Домбровского, который отступал от Бобруйска и Игумена. Домбровский прибыл только в ночь с 20-го на 21-е к мосту: но там уже был неприятель. Однако он прогнал оттуда авангард Чичагова и расположился на его месте; там он храбро держался вплоть до вечера 21-го, но, подавленный, наконец, русской артиллерией, которая громила его с фланга, и атакованный вдвое большею силой, он был опрокинут и оттеснен на ту сторону реки и города, на московскую дорогу.

Наполеон не ожидал такого бедствия; он полагал, что он предотвратил его своими инструкциями, посланными из Москвы Виктору шестого октября. «Они предусматривали сильную атаку со стороны Витгенштейна или Чичагова; в них предписывалось Виктору держаться ближе к Полоцку и Минску; приставить к Шварценбергу умного, осторожного и сообразительного офицера; поддерживать регулярное сношение с Минском и разослать в разных направлениях несколько других агентов».

Но так как Витгенштейн начал атаку раньше Чичагова, то ближайшая и более серьезная опасность отвлекла все внимание; мудрые инструкции от шестого октября не были

повторены Наполеоном и, по-видимому, были забыты его лейтенантом. Наконец, когда в Дубровне император узнал о потере Минска, он сам не видел особенно серьезной опасности, угрожавшей Борисову, потому что, отступив на следующий день в Оршу, он приказал сжечь все свои материалы для мостов.

К тому же его письмо от 20 ноября к Виктору доказывает его уверенность в безопасности; он предполагал, что Удино должен прибыть в Борисов 25-го, между тем как этот город уже должен был перейти во власть Чичагова.

Только на следующий день после этого рокового дня на большой дороге, на расстоянии трехдневного перехода от Борисова, какой-то офицер принес Наполеону весть об этом новом несчастье. Император ударил по земле своею тростью и сказал, бросив на небо яростный взор: «Стало быть, там, наверху, написано, что теперь мы будем совершать только ошибки!»

Между тем маршал Удино уже на пути к Минску и, ничего не подозревая, остановился 21-го между Бобром и Крупками; как вдруг среди ночи явился генерал Брониковский и сообщил ему о своем поражении, о поражении Домбровского, о взятии Борисова и о том, что русские следуют за ним по пятам.

22-го маршал выступил им навстречу и соединился с остатками дивизии Домбровского.

23-го он столкнулся, не доходя 12 верст до Борисова, с русским авангардом и опрокинул его. Здесь он захватил 900 пленных и 1500 экипажей и привез их после сильной пушечной пальбы и сабельных и штыковых стычек вплоть до самой Березины. Но остатки дивизии Ламберта, проходя через Борисов и через Березину, разрушили этот мост.

Наполеон был в то время в Толочине; он выслушивал описание расположения Борисова. Ему подтвердили, что в этом месте Березина не только река, но и озеро, покрытое движущимися льдинами, что мост через нее в 260 сажен длины, что его разрушение непоправимо и переправа невозможна.

В этот момент явился один генерал-инженер; он прибыл из корпуса герцога Беллюн. Наполеон призвал его; генерал объявил, «что спасение он видит только в попытке пробиться через армию Витгенштейна». Император ответил, «что



ему необходимо направление, при котором он был бы обращен спиною ко всем, к Кутузову, к Витгенштейну, к Чичагову». И он показал пальцем на карте Березину ниже Борисова: здесь он хочет перейти через эту реку. Но генерал возразил ему, указывая на присутствие Чичагова на правом берегу, и император указал другое место для переправы, ниже первого, потом третье, еще ближе к Днепру. И потом, видя, что он приближается к области казаков, он остановился и воскликнул: «Ах да! Полтава! ...Это как Карл Двенадцатый».

Действительно, все несчастья, которые только мог предвидеть Наполеон, осуществились; таким образом, печальное сходство его положения с положением шведского завоевателя так сильно подействовало на его душевное состояние, что его здоровье пошатнулось еще более, чем под Малоярославцем. В произнесенных им тогда речах отметили следующее выражение: «Вот что получается, когда делают ошибку за ошибкой».

Однако эти первые вспышки волнения оказались единственными обнаруженными им; один только лакей, который оказал ему при этом помощь, заметил его тревогу. Дюрок, Дарю и Бертье говорили, что они не знали о его волнениях и видели его непоколебимым; говоря по правде, это было верно, потому что он настолько владел собою, что имел силу не обнаружить своей тревоги, а сила человеческой воли чаще всего состоит в том, чтобы скрывать свои слабости...

В его приказах видна та же твердость. Удино объявил ему о своем решении опрокинуть Ламберта; он согласился на это и торопил его овладеть переправой выше или ниже Борисова, все равно. Он хотел, чтобы 24-го был выбран пункт для этой переправы, чтобы были сделаны приготовления к ней и чтобы он был извещен об этом и мог бы подготовить свое выступление.

Совершенно не думая вырваться из кольца неприятеля, он мечтал только о том, чтобы разбить Чичагова и снова овладеть Минском. Надежда проскользнуть между русскими армиями была потеряна; он был оттеснен Кутузовым к Березине, и эту реку было необходимо перейти, несмотря на то, что армия Чичагова окружала ее.

23-го Наполеон готовился к этому почти безнадежному предприятию. Сначала он приказал принести орлов ото всех

корпусов и сжег их. Из 1800 спешенных кавалеристов своей армии, из которых 1154 человека были вооружены только ружьями и карабинами, он составил два батальона.

Кавалерия московской армии пришла в такое печальное состояние, что у Латур-Мобура, например, оставалось только 150 конных солдат. Император собрал вокруг себя всех офицеров этой армии, имевших еще лошадей, и назвал этот отряд из 500 офицеров своим священным эскадроном. Груши и Себастьяни были назначены начальствовать над ними; дивизионные генералы служили в нем в качестве капитанов.

*Сегюр*

\* \* \*

Здесь (в Бобре) узнали, что армия Чичагова, свободная после мира с Турцией, надвигается на наш левый фланг и заняла уже Борисов.

Тогда явилась мысль собрать кавалерийских офицеров, у большинства из которых уже не было солдат, и сформировать из них отряд; его назвали священным эскадроном.

В 21-м выпуске Военного обозрения я поместил заметку об этом корпусе избранных. Когда нам предложили войти в состав его, от нас не скрывали, что предстоит нести службу трудную и, может быть, опасную; все предполагали, что нам, вероятно, придется прорваться через войска Чичагова, чтобы спасти императора; никто не колебался: добровольно записались все офицеры, которые были еще достаточно крепки и имели лошадей.

Единственный в истории акт самопожертвования остался без результата: не представлялось случая действовать, но заслуга от этого не меньше и была бы, вероятно, упомянута нашими историками с большим уважением, а не мельком, если бы в то время, когда они писали, еще стоял трон императора!

В каждом кавалерийском корпусе составила роту человек в 200, генерал Груши был капитаном нашей роты, обозначенной № 1; генералы Сен-Жермен и Жаккино — лейтенантом и подлейтенантом, генерал Пире — унтер-офицером, а Неаполитанский король — шефом эскадрона.

По рангу бригады и полка и по чину я оказался 1-м солдатом отряда 1-й роты. Мы в тот же день организовались и последовали за проехавшим императором.

*Дюпюи*

\* \* \*

В воскресенье 22-го мы провели ночь на биваках арьергарда в придорожном лесочке, вечером 23-го мы остановились в Коканине. Здесь мы узнали, что генерал Чичагов со значительным отрядом занял Борисов, и путь к спасению для нас отрезан. Новость была очень грустная, но случай, который произошел в 3 часа утра, опечалил нас еще больше.

В двух шагах от дома, в который набились мы с маршалом Даву, была огромная рига с четырьмя большими дверями, в ней приютились человек 500 офицеров, вооруженных солдат, отсталых и беглецов, следовавших за армией. Собравшись группами, они на гумне этой риги разложили 30 или 40 костров и теперь спали крепким сном, согрешившись в воздухе более теплом, чем на биваках. Но дым и искры костров разогрели кровлю риги, сложенную из дерева и соломы. Она вдруг занялась с глухим гулом, и горящие головни стали падать на соломенные подстилки спящих. Лежавшие ближе к дверям успели выскочить в загоревшемся платье и стали звать на помощь. Через несколько секунд мы были у дверей; но какое зрелище представилось нам тут! Языки пламени в 4—5 метров высоты с силой вырывались из дверей, оставляя проход метра в два высоты под огненным сводом, раздуваемым ветром.

Никому не удалось добраться до несчастных, движения которых нам были видны. Они горели и бросались ничком на землю, чтобы уменьшить свои страдания. Мы наспех связали узлы из веревок и платков и бросили их внутрь, чтобы иметь возможность вытаскивать несчастных; некоторые привязали себя к ним, и мы стали их тянуть; скоро они криками стали умолять оставить их: увлекаемые нами, они падали на штыки, протыкавшие их, что увеличивало их страдания... Люди, которых было в риге от 500 до 600, несколько раз пытались приподняться с земли, но скоро окончательно опустились, и кровля, обрушившись на страшное горнило, закончила самое ужасное жертвоприношение.

Железо на ружьях раскалилось, они стреляли, и эти 400 или 500 выстрелов, следовавших один за другим, послужили единственным погребальным салютом стольким воинам. Очень немногие спаслись; с них пришлось срывать

горящее платье; я видел в том числе совершенно голого ребенка лет 12—14, замерзавшего на 18-градусном морозе: нам не во что было одеть его, так как наши лошади и повозки пропали. На каждом шагу приходилось черствостью побеждать в себе добрые порывы, желание дать то, чего больше не было у нас...

В этот день, 24-го, начавшийся так трагически, со мною случилось необыкновенное происшествие. Я упоминаю здесь об этом факте, чтобы показать, каким превратностям судьбы мы подвергались в течение отступления. Я страдал от голода, как все, уже несколько дней приходилось питаться корками сухарей, и я поддерживал свои силы только тем, что выпивал от времени до времени стакан кофейного настоя. Я шел, грустно думая о наших бедах, как вдруг офицер, которого я едва знал в лицо, подбежал ко мне и с ласковой улыбкой попросил оказать ему услугу. «Мое положение, — отвечал я, смеясь, — как вы сами видите, таково, что едва ли я смогу услужить кому-нибудь; но чего же вы хотите от меня?» Тогда он подал мне пакет величиною с два кулака, старательно обернутый бумагой, и стал просить сделать ему одолжение и принять этот подарок. «Но что же вы даете мне?» — «Умоляю вас, не отказывайтесь». — «Но что в этой бумаге?» Я хотел правой рукой отстранить сверток, а он оставил его в моих руках и убежал. Я был заинтересован данным подарком; ни по форме, ни по весу нельзя было определить, что находится внутри свертка: это могла быть мистификация, и я поднес его к носу. Тогда начали рассеиваться мои сомнения: я ощутил, еще не решаясь развернуть бумагу, соблазнительный запах трюфелей: это была действительно четверть страсбургского или тулузского пирога! Я больше не встречал этого офицера, но надеюсь, что Господь довел до его души горячий трепет моей благодарности. Надеюсь, что ему удалось избежать жестокой судьбы, преследовавшей нас, в борьбе с которой его подарок поддерживал меня несколько дней.

В этот день произошел и другой счастливый случай. Я потерял меха и зимнее платье, а в пустыне золото не имело цены и невозможно было купить что-нибудь. Я был грустно настроен, как вдруг встретил полковника Л., инспектора смотров, в закрытой карете, больного и страдающего от излишней предосторожности, с какою он охранял себя от

холода. «Зачем вам столько мехов, — сказал я ему, — они задушат вас! Не уступите ли мне один из них?» На это он ответил: «Я не отдам их за все золото мира». — «Ну что там! — сказал я ему. — Вы сейчас дадите мне медвежью шкуру, которая стесняет вас, а вот сверток в 50 золотых». — «Черт возьми! Это раздражает меня; но вам, генерал, я не могу не уступить». Он взял золото, а я поспешно выхватил медвежью шкуру, боясь, как бы он не раздумал. Она была громадная и великолепная, и я унес ее с великой радостью. У бедняги остались другие меха, соболя и куницы, и он все-таки замерз через несколько дней...

25-го мы переночевали в лесу по соседству с сожженной деревней. Снег очень беспокоил нас; отдохнуть удалось только усевшись на высокие груды хвороста и еловых ветвей ногами в сторону громадного костра, огонь которого все время поддерживали. Мой медведь покрывал собою больше трех квадратных метров; мы с генералом Аксо завернулись в него и уснули в приятный теплоте, которую мех удерживал, и благословляли продавшего его. Наутро армия выступила до рассвета, по обыкновению не решаясь считать мертвых и замерзших, остающихся возле костров.

26-го мы переправились через Бобр, и 1-й корпус остановился на ночь в Крупках... Постоялый двор со стойлом на 20 лошадей был отведен для маршала Даву. Размещая следовавших за нами лошадей — мы давно шли пешком, — люди нашли в яслях под соломой трех детей, из которых одному было не больше года, а два других казались новорожденными. Они были завернуты в лохмотья, окоченели и не кричали. В течение часа я велел разыскивать родителей: старания были напрасны, все жители деревни разбежались, и мы оказались единственными покровителями злосчастных детей. Я попросил дворецкого маршала дать им немного бульона, если удастся приготовить его, и больше не заботиться о них. Скоро теплота лошадиного дыхания оживила маленькие создания, и их жалобные крики долго слышны были в комнатах, в которых мы теснились. Желание облегчить их страдания боролось в нас с непреодолимой потребностью сна, который и победил под конец. В два часа нам сказали, что вся деревня охвачена огнем: во всех домах загорелось оттого, что вся деревня отапливалась по несколько раз подряд. Уцелел только наш дом, стоявший в стороне, и

дети все еще кричали; но когда незадолго до рассвета мы собрались выступить, их уже не было слышно. Я спросил дворецкого, что он с ними сделал; и человек этот, которому приходилось страдать не меньше нас, сказал мне с довольным видом, как будто совершил доброе дело: «Я не мог сомкнуть глаз, их крики надрывали мне сердце; я не мог достать им кормилицу; тогда я взял топор, прорубил лед у водопоя и утопил их, чтобы они не мучились». До какой степени страдание может ожесточить человеческое сердце!..

*Лежен*

\* \* \*

Какой-нибудь дом, уцелевший от пожара при проходе первых колонн, являлся благополучием для несчастных, шедших сзади. Они сжигали его; это был большой бивачный огонь, вокруг которого они собирались на несколько минут согреть свои заочевенные члены и подбодриться для дальнейшей дороги. То же было с экипажами, которые принуждены были бросать; их сейчас же поджигали. Поддаваясь, как и другие, очарованию сильного и яркого огня, я редко проходил, не останавливаясь, мимо этих пылающих костров, и вот один раз я присоединился к кружку таких же, как и я, измёрзших путников, собравшихся вокруг пылающего госпитального ящика. Вдруг раздался взрыв. В ящике была винтовка, и огонь добрался до нее. В ту же минуту послышался крик, и один вюртембержец упал около меня; пуля раздробила ему коленку. Рана эта была ужасна; мы все подошли к немцу, стараясь его поддержать, но наша помощь ограничилась несколькими утешениями, даже не очень продолжительными, и постаравшись уверить его, что какая-нибудь повозка скоро подоспеет ему на помощь, каждый из нас уходил, радуясь, что в самого не попала роковая пуля.

Я еще немного остался, чтобы постараться заставить взять его на одну из повозок, которые изредка проезжали по дороге, но это было напрасно. Те, к кому я обращался, не отвечали мне или очень сухо говорили «нет». Между тем крики вюртембержца разрывали сердце; они усилились, когда я увидел, что приближается отряд кавалерии его соотечественников, но его товарищи ограничились тем, что с

состраданием смотрели на него; они даже не спешили, чтобы немного помочь ему; ночь приближалась, и я пустился в путь, покинув простертого на снегу несчастного в самых ужасных мучениях. Вряд ли они были продолжительны, потеря крови и ночной холод, наверно, быстро прервали их. Вот смерть, угрожавшая каждому из нас; не нужно было даже тяжелой раны; простой ушиб ноги был смертельным приговором...

*Гриуа*

## *В Борисове*

Путешествие прошло без всяких препятствий вплоть до Борисова, куда мы прибыли 15 ноября. Здесь начались все наши великие напасти.

Мы остановились у одного соотечественника, старого солдата генерала Костюшки, который принял нас как нельзя лучше. Все приготовления сделаны были с расчетом на завтра же отправиться дальше. Но — человек предполагает, а Бог располагает, дьявол иногда тоже! На другой день в 8 часов утра, когда мы явились на базарную площадь, все было там в движении. Несколько беглецов из конвоя, захваченного врагом на другом берегу Березины, в недалеком расстоянии от Борисова, принесли в город достовернейшее известие о том, что сообщение с Минском и Вильно отрезано: переправа уже никоим образом невозможна! Это был удар тем более неожиданный, что мы сделали от Москвы уже 614 верст, т.е. большую часть пути, и притом такую, которую, казалось, можно было считать самой опасной...

Мы были прикованы к месту в Борисове в течение шести дней, показавшихся нам очень мучительными; однако это было еще ничто по сравнению с тем, что ожидало нас. Во время этой вынужденной задержки я неустанно упражнялся на своих костылях; что-то говорило мне, что скоро придется ограничиваться исключительно этим способом передвижения. Положение ухудшалось с каждым днем. Один за другим прибыли — сначала генерал Брониковский, у которого русские без особенных усилий только что отняли Минск с его запасными складами (потеря непоправимая!), а затем генерал Домбровский со своей небольшой дивизи-

ей, которой поручена была охрана Днепра. Поведение этих генералов подверглось строгому осуждению. Говорили, что Брониковский знал больше толку в устройстве хороших обедов, чем в военном искусстве, и что он дал захватить себя врасплох; что Домбровский, который был впереди неприятеля всего на сутки, потерял драгоценное время на то, чтобы проводить до Могилева свою жену.

Я нашел впоследствии подтверждение этих обвинений в дневнике Продзинского, очевидца событий.

Между тем город наполнялся разношерстными беглецами из разных новообразуемых полков, эмигрантами из Литвы и Волыни и толпой бездельников, которые переполняли трактиры и кабаки, только и занимались, что карточной игрой да пьянством. В этой суматохе господствовала полнейшая анархия, и мы неоднократно вынуждены были брать в руки пистолеты, чтобы избавить нашего хозяина от более чем подозрительных визитов. Дом его находился не в городе, а на соседней возвышенности, поднимающейся над Березиной. Оттуда нам видны были действия, наспех предпринятые для защиты места; они показались нам безусловно недостаточными. Вот почему мы нашли целесообразным не выжидать исхода сражения и последовать за отливом (толпы), который уже совершался по направлению к Бобру, в обгон французской армии. События вполне оправдали наши предвидения, ибо русские скоро овладели постом и городом. Мы сердечно расстались с милым нашим хозяином, которого нам более не суждено было видеть. Несколько дней спустя, когда я вернулся в Борисов с остатками армии, я нашел это гостеприимное жилище опустошенным и брошенным. Двери и оконные рамы были выломаны, хозяин исчез; быть может, его уже не было в живых!

Это отступление к Бобру носило признаки поражения. Не принадлежавшие ни к какой части при подобных обстоятельствах объединялись и сговаривались вредить другим; они беспрестанно старались использовать тревогу, вызванную пушечной пальбой, которую мы слышали за собой, на Березине. Они кричали: «Казаки! Спасайся кто может!» — и начинали усиленно торопить наш отряд, что давало им возможность легко добывать себе припасы из опрокинутых в суете повозок.



В Бобре, куда мы прибыли очень поздно, все находилось в неопишемом смятении... Мне и двоим моим товарищам не без труда удалось устроиться кое-как, и притом за очень дорогую цену, на краю пригорода, у одного отставного русского артиллериста, жена которого была самой неопрятной женщиной, какую я когда-либо видел. На другое утро я отправил нашего хозяина за справками, но я имел неблагоразумие заранее дать ему на чай, и он немедленно постарался отправить эти деньги в место их назначения. Вернулся он настолько пьяным, что не стоял на ногах и лопотал неразборчивые фразы. Так как я начинал довольно легко передвигаться с помощью своих костылей, я решил самолично отправиться на разведки, и мои товарищи остались охранять наш экипаж и пару лошадей, которых мы, разумеется, не нашли бы на месте без этой предосторожности.

*Брандт*

\* \* \*

12 ноября 22-й Литовский полк, составлявший голову колонны, был разбит у Свергина.

14-го остатки этой дивизии были окружены, захвачены или рассеяны у Койданова.

15-го решено эвакуировать Минск; но Брониковский не составил никакого плана отступления и не отдал никаких приказаний, так что гарнизон покинул город без генерала в беспорядке, направляясь большею частью совершенно машинально по направлению к Великой Армии, о которой было известно, что она отступает. Видя этот беспорядок, я взял на себя смелость собрать и организовать около по 1500 человек, которые шли по дороге в Борисов и которых я нашел ночью на биваке на углу леса, и в два перехода дошел до Березины. Брониковский, совсем потерявший голову, заблудился со своим обозом и присоединился к нам только в Борисове. Он хотел уйти оттуда уже на другой день с войсками, покидая таким образом мост на Березине. Португальский генерал Памплуа (одна из жертв дон Мигуэля) и я воспротивились этому и уговорили его дожидаться генерала Домбровского и послать уведомление маршалу Удино. Вследствие непостижимой медлительности Чичагова мы оставались в Борисове целых четыре дня без

нападения; если бы оно случилось 18-го, то мы были бы разбиты с одного маху, особенно ввиду того, что мы не получили никакой поддержки от Удино, который нисколько не заботился ни об нас, ни об мосте, в результате чего Домбровский мог быть окружен и взят в плен; последний узнал о приближении Чичагова только после разгрома у Койданова, и он шел к Минску, когда узнал, что город эвакуирован. Ему пришлось тогда броситься на берег Березины и подняться вверх по этой реке до моста в Борисове, важное значение которого он вполне сознавал. Он прибыл только ночью с 20-го на 21-е и занял, как мог, укрепленный лагерь; но так как никакой офицер главного штаба не был прислан заранее определить позицию, то в результате оказалось, что он не прикрывал моста.

21-го, незадолго до рассвета, неприятель, появившийся в одно время с Домбровским, внезапно напал на нас. Французский батальон, карауливший мост, был опрокинут, и русские уже завладели мостом, но стоявший невдалеке и под оружием немецкий отряд прогнал их оттуда. Сражение продолжалось до ночи между Домбровским, который вместе с минским гарнизоном имел около 7000 человек, и Чичаговым, у которого было 30 000. Я приведу из него только один случай, настолько почетный для врожденной храбрости французов, что о нем нельзя умолчать.

Домбровский, слишком сильно теснимый с фронта, успел только довольно-таки поздно укрепить достаточно свой левый фланг для прикрытия моста. Перед этим неприятель установил на самом этом левом фланге, близко к реке, батарею, обстреливавшую мост вкось, угрожая его разрушить. Надо было спешить на помощь, и я решился выдвинуть находившуюся на возвышении позади городка резервную батарею, чтобы противопоставить ее неприятелю. Помощник военного комиссара Розьера, по фамилии Пардалян, из очень известной семьи, попросил у меня позволения сопровождать меня в качестве адъютанта: он еще ни разу не видел сражения вблизи. Позиция для батареи была скоро найдена около часовни, налево от моста, но она была так изрыта неприятельскими ядрами, что я сам не знал, сможем ли мы установить на ней батарейные орудия. Тотчас после нашего прибытия был убит ядром один из моих ординарцев, следующее ядро ударило между ног лошади

Пардальяна, который от сотрясения упал с нее. Я думал, что Пардальян убит, но он поднялся вместе с лошадей и быстро вскочил на седло. Через несколько минут после этого русская батарея, довольно-таки поврежденная, почти прекратила огонь; я спросил Пардальяна, как ему нравятся обычные любезности на войне. «Только и всего! — отвечал он. — Я не пропущу ни одного сражения без того, чтобы в нем не участвовать». Я встретился с этим храбрым молодым человеком в 1814 г., он потерял отмороженными во время отступления по три пальца на каждой руке.

Так как незадолго до ночи в дивизии Домбровского выбыло из строя более 2000 человек и стал ощущаться недостаток в боевых припасах, то пришлось подумать об отступлении. Оно совершалось в порядке, и храбрые поляки перешли обратно мост тесно сомкнутыми рядами и выдерживая возобновленный натиск неприятеля. Домбровский расположился непосредственно за Борисовым на возвышенном левом берегу ручья; неприятель тщетно старался сбить его с позиции; ночь положила конец битве. Таким образом, был потерян мост через Березину в Борисове, что было причиной больших бедствий, испытанных армией пятью днями позднее. Между тем корпус Удино находился между нами и Бобром, куда доходила голова колонны. Одна из его дивизий под начальством генерала Марля была на Наче в трех лье от нас; канонада в Борисове была слышна целый день; маршал Удино был осведомлен о нападении Чичагова через генерала Памплуа. Значит, он мог отделить одну дивизию, которая пришла бы в Борисов, самое позднее к полудню. Одной бригады, перешедшей мост, было бы достаточно, чтобы удержать за нами укрепленный лагерь, прикрывавший его. Корпус Удино, занявший таким образом Борисов, сохранил бы для армии эту военную переправу и помешал бы принесению в жертву около 20 000 человеческих жизней.

По окончании сражения при Борисове я направился к Бобру с поручением от Домбровского, бывшего моим старинным товарищем и другом со времени нашего пребывания в Италии, чтобы постараться прислать ему какое-нибудь подкрепление к ночи. Неприятель, занявший Борисов, когда темнота уже не позволяла различить предметы, не успел расположиться в нем по-военному, более прочно.

Поляки еще оставались хозяевами мельницы и узкого шоссе, пересекающего долину ручья, по которому легко было проникнуть в город. Внезапной атакой перед рассветом еще можно было прогнать русских от моста и завладеть им. В 2-х верстах от Начи я встретил артиллерийский парк 2-го корпуса, куда я прибыл, не заметив часовых. 2-й корпус стоял фронтом к Днепру и в направлении подходящей Великой Армии, предварительно обратясь спиной к неприятелю, находившемуся не более как за три лье. Артиллерийский парк, расположенный в тылу, охранялся впереди и был открыт с той стороны, откуда я вошел. Оборона его была поручена португальскому полку, я поспешил предупредить его командира о происшедшем и об опасности, угрожавшей им со стороны казачьих отрядов, если на рассвете они обрушатся на них, перейдя за фронт Домбровского.

На Наче я встретил генерала Мерля и передал ему поручение Домбровского. Он выразил крайнее удивление по поводу происшедшего, которое, по-видимому, не особенно его встревожило и которое даже, кажется, он хотел оставить под сомнением. Впрочем, он сказал, что не получал никакого уведомления, не слышал картечной стрельбы (сотни пушек на расстоянии 12 верст и в продолжение одиннадцати часов) и будет ожидать распоряжений маршала. Признаюсь, что, если бы у него под командой были не французы, я пожелал бы, чтобы Чичагов появился бы в тот же момент, хороший был бы у нас кавардак. С Начи я отправился в Бобр, куда прибыл около полуночи. Я не мог увидеть маршала, хотя велел передать ему о случившемся в Борисове и настаивал на том, чтобы лично дать ему отчет о положении Домбровского и русских. В девять часов утра мне пришли сказать, что маршал меня ожидает... Действительно, было уже пора. Я не мог сдерживать моего негодования и отвечал, посылая к черту посланного и его начальника. То, что я узнал на Бобре о нашей Великой Армии, не позволило мне отправиться дальше; она должна была к тому же прийти на другой день. Она действительно пришла, но в каком виде?..

Никогда не забуду впечатления, произведенного на меня первыми полками, которые я увидел; это были кирасиры. Эти кавалеристы были бледные, расстроенные, с трудом передвигающие по грязи босые ноги, так как в это время

наступила оттепель. Они гнали перед собой палками своих лошадей, нагруженных их кирасами и с трудом переносивших эту незначительную ношу.

*Воданкур*

## *Действия 2-го, 4-го и 9-го корпусов*

18 октября мы выступили из Витебска.

30-го в 9 часов вечера дивизия двинулась к Чашникам и прибыла сюда утром 31-го. Погода, до тех пор хорошая, вдруг изменилась; наступили сразу такие холода, что их почти нельзя было переносить, и скоро все замерзло и затвердело. На рассвете опять началась пальба; на этот раз близко к Чашникам. Русские старались все дальше оттеснить 2-й корпус. Около 8 часов наша дивизия подошла к левому крылу неприятеля. Канонада и ружейная перестрелка продолжались до вечера, потом мы отошли на бивак в лес...

9 ноября мы на 8 верст продвинулись вперед к Строчевичам. Здесь мы оставались до 12 ноября. Целый день со стороны Смолен слышалась пальба, и наконец, поздно вечером, пришел приказ следовать за центром войска. Почти всю ночь мы шли на жестоком морозе по скользким дорогам. Многие не знали пути, сбивались в потемках с дороги и погибали. Наконец мы пришли и расположились на биваках на том месте, где накануне была битва, в которой погиб храбрый гусарский полковник фон Кавкрин. В эту ночь мы в первый раз сознали ужас своего положения. Нельзя было достать топлива, а если окоченевшие люди подходили к костру, их грубо отгоняли те, которые разложили его; просил ли кто воды, тот, у кого она была, отказывал...

13 ноября мы оттеснили неприятеля и подошли к Чашникам. В этот день дул резкий ветер, холод был ужасный; говорили, что термометр спускался до 22 градусов ниже 0. 14 ноября, едва занялся день, опять началась канонада. Русские построились на возвышенности около Чашников, за рекой Лукомлей, выдвинули орудия и открыли против нас сильный огонь. Мы шли теперь под огнем против их левого крыла, опиравшегося на деревню, которую атаковал батальон бергских войск. Стрелковые роты баденской бригады стали обходить неприятеля, чтобы отрезать деревню. Между

тем русские батареи поддерживали жестокий огонь; их ядра вносили смерть и гибель в наши ряды, но стрелки под градом ядер и картечи устремлялись на врага и несколько раз прогоняли его из деревни. Русские упорно отстаивали свои позиции. Когда начало темнеть, и у нас истощился запас снарядов, мы отошли в соседний лес.

15 ноября. Наш корпус на виду у русских войск отошел по дороге на Черему, но пришлось бросить много повозок и колясок; они достались казакам. Мы еще некоторое время оставались на возвышенности позади Смолен с целью тревожить генерала Витгенштейна...

20-го корпус прибыл в Черему, где опять остановился.

Маршал Удино спешил тем временем с 2-м корпусом на помощь к генералу Домбровскому, которого сильно теснил русский авангард под начальством генерала Ламберта; Удино хотел обезопасить таким образом переправу французов через Березину.

23-го он нашел неприятеля уже на левом берегу реки, послал кирасиров атаковать его и оттеснил обратно за реку, при чем отличился генерал Беркегейм.

После этого русские разрушили большой мост у Борисова и разместились вдоль всего правого берега Березины, чтобы помешать нашей переправе...

9-й корпус продолжал отступать 22-го и 23-го прибыл в Докшицу... 24-го мы продолжали идти на Батуры, но остановились по дороге варить пищу. Подходя к Батурам, мы шли взводами, потому что заметили поблизости от обоих флангов казаков. Потом мы отправили вперед обоз, состоявший из множества повозок.

Мы спокойно грелись у огня, когда появились казаки, опрокинули несколько постов и стали в нас стрелять, производя большой беспорядок. Но наши войска были сейчас же стянуты на такие позиции, которые были всего выгоднее при сражении. Когда мы заняли их, мы увидели, что колонна русских собирается обойти нас. Русские действительно немедленно атаковали нас; мы упорно сопротивлялись, и, когда неприятель хотел занять лес, через который нам необходимо было пройти, наш 2-й батальон усиленным маршем двинулся к роще, чтобы остановить его. Потери наши были не велики, несмотря на сильную стрельбу неприятеля. Когда многочисленный обоз оказался в безо-

пасности, корпус с наступлением темноты отступил к Ломпеничам, куда мы пришли около полуночи. Неприятель шел за нами по пятам и, к несчастью, захватил наш скот. В эту ночь мы похоронили прах фон Имхота, капитана 1-го полка, погибшего в сражении.

25 ноября мы в 2 часа утра снялись с бивака. Около полудня остановились варить пищу. Потом двинулись через Ратуличи к главному тракту армии, чтобы соединиться с отступавшими от Москвы остатками Великой Армии.

В 2 часа пополудни мы были в Лошнице. Но в каком же виде шла эта армия, называемая великой! Все бежали вперемышку, без признака строя, без соблюдения хоть какой-нибудь дисциплины. Только вокруг знамен и орлов шли еще вооруженные люди; у остальных не было оружия, они кутались в лохмотья и меха.

2-й и 9-й корпуса, у которых было до сих пор достаточно провианта и соломы, должны были теперь переносить все лишения, так как ничего нельзя было достать: местность вдоль большой дороги была выжжена и опустошена. Как только 9-й корпус, в котором было еще 15 000 человек, вышел на большую дорогу, пришел приказ держаться в величайшем порядке, потому что на другой день Наполеон должен был сделать ему смотр. Он проехал, однако, с величайшей поспешностью к Березине и там расположил свою квартиру на возвышенности, в деревне Веселово, в которой было всего несколько сараев. Не обращая внимания на сопротивление русских, он велел навести здесь два понтонных моста.

16 ноября 9-й корпус выступил в 8 часов утра и двинулся к Борисову; войско очень подтянулось и сохраняло порядок на удивление остальным частям; дивизия Партуно составляла наш арьергард.

Мы двигались с войсками армии посреди величайшего беспорядка. Приблизительно на середине пути нам повстречались фургоны с сухарями, присланными нам с родины из Германии. Был тут и бочонок вина, которое досталось офицерам. Солдатам раздали часть сухарей, остальное и самые повозки пришлось бросить, потому что приближались казаки. К вечеру мы пришли в Борисов. Дойдя до рыночной площади, мы свернули с дороги, которая вела к занятому

русскими мостовому укреплению, и пошли вправо по пути на Веселово, где остановился Наполеон.

*Штейнмюллер*

\* \* \*

1 ноября 2-й и 9-й корпус, находившийся под начальством герцога Беллунского, соединились в Лепеле, маленьком литовском городке.

Некоторое время спустя мы узнали (мы, которые и без того изнемогали под тяжестью бедствий) ужасную весть о том, что австрийский корпус, которому было поручено прикрытие и защита города Минска с огромными складами хлеба, откуда армия сильно надеялась получить съестные припасы — покинул и город и склады на произвол русских, только что прибывших из Молдавии после рокового мира в Яссах.

Вслед за тем мы узнали, что корпус, который находился под начальством адмирала Чичагова и состоял из 30 000 человек, разграбив и сжегши наши склады, направился на город Борисов и вытеснил оттуда польскую дивизию генерала Домбровского. Наконец, нам сообщили, что русская дивизия под начальством генерала Ламберта находится на левом берегу Березины, тогда как адмирал своим корпусом занял высоты на правом берегу, чтобы преградить нам путь через эту реку.

Находясь в столь критическом положении, император приказал маршалу Удино, который, только что оправившись от ран, вернулся в армию и вновь принял на себя командование 2-м корпусом, напасть очертя голову на дивизию Ламберта, опрокинуть ее, овладеть городом и мостом и, таким образом, обеспечить армии отступление. Это было 22-го.

Мы тотчас же двинулись в путь. На следующий день мы соединились с польской дивизией, которую русские отгнали к нам, и с яростью бросились на неприятеля. Неприятель был поражен тем, что встретил столько дерзости и энергии у людей, которых он считал умирающими от голода, нужды и холода. Он совершил быстрое отступление к Борисову, оставив нашему авангарду большое количество повозок со съестными припасами. Это было истинным счастьем для нас и для всего нашего армейского корпуса вви-



ду того, что мы терпели лишения, идя по опустошенной дороге. 24-го стрелковый конный полк, изрубив несколько драгунских эскадронов при помощи легкой батареи, которая следовала за нашими быстрыми движениями, напал на пеший финляндский стрелковый полк, защищавший городские траншеи, окружил его и без особенных потерь взял его почти целиком в плен. Я жалею, что не запомнил имени бесстрашного командира батареи 4-го артиллерийского конного полка, который рубился с нами, несмотря на свою деревянную ногу, в то время как его артиллеристы расстреливали неприятельскую колонну, находившуюся вправо от нас и искавшую убежища в городе.

Овладев первыми домами, часть наших егерей заняла их под квартиры, ожидая прибытия нашей легкой конницы.

Случайно я напал на дом, около которого находился покинутый запряженный экипаж одного русского генерала.

Я разрешил своим солдатам разграбить его, оставив себе лишь часть съестных припасов в виде сухарей, мяса — солонины, чая, рома и других лакомств, которыми я поделился с офицерами эскадрона на вечернем биваке.

К несчастью, мы были остановлены русской пехотой, находившейся под защитой домов, откуда то и дело раздавалась сильная пальба; прежде чем покинуть город, она успела подготовить разрушение моста.

*Старый солдат*

\* \* \*

К двум часам дня мы достигли большой Борисовской дороги, ведущей на Смоленск, и расположились лагерем около Лохвы.

Никогда не забуду этого дня. Еще оставалось несколько часов пути до большой дороги, а уже горящие деревни указывали на присутствие Великой Армии, о положении и отступлении которой девятый корпус, знал только по темным и сомнительным слухам. Никто не догадывался о ее настоящем положении и впечатление, произведенное ею при встрече на 9-й корпус не предвещало ничего хорошего. Вот мое впечатление, которое произвел на меня этот памятный день.

Мы спокойно подвигались вперед, когда нам сообщили о появлении нескольких кавалеристов. Я поспешил к пере-

довым линиям арьергарда и убедился, что полученные мною сведения были верны. Сначала кавалеристов приняли за казаков, но потом оказалось, что один из них был прусский гусар, а другой — из легкой вюртембергской кавалерии. Они сидели на маленьких русских крестьянских лошадаках. Я спросил, откуда они. «Из Москвы», — ответили они мне, и когда я осведомился о Великой Армии, они добавили, что она идет совсем близко отсюда по большой дороге. Скоро я достиг этой дороги и увидел такую картину бедствий, которая никогда не изгладится из моей памяти.

Это было как раз отступление польской армии. Я приказал своей бригаде остановиться, чтобы вблизи наблюдать картину, которую никто в жизни еще не видал. Прежде всего я увидел до двадцати знамен, несомых унтер-офицерами. За ними шли генералы, одни пешком, другие верхом, многие из них были в женских шелковых собольих шубах. За ними двигались около 500 человек безоружных солдат — остатки армии, выступившей в поход в количестве тридцати или сорока тысяч человек. В этот день погода была великолепная и солнце ярко освещало эту горестную для нас картину. Едва мы успели расположиться лагерем, как мимо нас прошли другие отряды в таком же жалком состоянии.

Я встретил около маленького города Неманицы обоз, состоящий из сорока четырех фургонов, который еще в начале июля вышел из Карлсруе и под командой лейтенанта Хамеса вез значительное количество сухарей, кашицы\* и сапогов.

Прибытие этого столь важного в тот момент обоза привело все войско в самое лучшее расположение духа. В то время как армия страдала от недостатка пищи и обуви, мы лично были в изобилии снабжены всем необходимым. Я

---

\* По поводу этой кашицы граф Хохберг дал следующее разъяснение: «Эта каша — изобретение гессенского лейтенанта подполковника Шосса и состоит из кипяченой воды, смешанной с частицами соленого и копченого мяса; четырех унций этой смеси совершенно достаточно на порцию вкусного и крепкого супа для одного солдата, и во время самой сильной нужды эта пища, которую можно было только найти в баденских войсках, была всегда великолепной. Брели горсть этой кашицы, смешивали со снегом, бросали в кастрюльку и через некоторое время получали питательное блюдо, которое спасло жизнь многим храбрым солдатам».

получил разрешение остановиться на дороге и сейчас же произвел дележку. Тут происходило очень много курьезных сцен. Каждый офицер получил что-нибудь, и все с жадностью накидывались на доставшиеся на их долю пакеты. Так, например, я видел, как полковник Брюкнер, стоя во весь рост на повозке, откупоривал большую коробку, которую я считал наполненной съестными припасами; он вытащил оттуда парик, с быстротою молнии снял со своей плешивой головы старый и надел новый, стараясь руками придать ему форму, — весь этот туалет продолжался всего лишь несколько минут. Я также послал бригаде Берга кашицы и сухарей, чтобы доказать свое товарищеское отношение. Разгруженные фургоны были сожжены, а лошади отданы артиллерии.

*Граф Хохберг*

\* \* \*

Генерал Корбино, сильно желавший разделить великую опасность, в которой находился 20-й корпус, получил от Вреде, пехота и конница которого усилились, позволение — покинуть его со своей бригадой, заключавшей в себе еще 1500 человек. Чтобы пройти двенадцатидневное расстояние, которое отделяло нас от 2-го корпуса, нам пришлось идти среди незнакомой местности, занятой неприятельскими войсками. Мы должны были пройти через Борисов, но узнали, что он занят русскими. Известие это не заставило генерала Корбино отказаться от плана соединения со 2-м корпусом и либо победить, либо умереть с нашими храбрыми товарищами по оружию. Крестьяне указали нам место, где мы могли перейти реку вброд. В ночь с 18-го на 19-е мы отправились к этому отдаленному месту и совершили переправу очень близко от одного русского корпуса, который расположился биваком и огни которого светили нам во время безмолвного перехода. У Березины почти всюду глубокое русло и крутые берега. Она протекала через древние леса и через болота; но в том месте, которое нам было указано, она была шире и мельче.

Мы переправились через реку еще до зари. Открытие указанного брода, по моему мнению, было настоящим спасением для всех тех, кому удалось избежать московских бедствий. Мы вскоре присоединились ко 2-му корпусу. При-

бытие наше изумило маршала, он очень обрадовался, получив ценное подкрепление.

«Где пробрались вы, дорогой генерал? — спросил он Корбино, заключая его в свои объятия. — Разве у вас выросли крылья, на которых вы перелетели через сонмы неприятелей, преграждавших вам дорогу?»

Корбино дал ему отчет о своем переходе, за который получил чин начальника дивизии и звание императорского адъютанта. На правом берегу реки русские прибавили новые окопы к тем, которые уже существовали раньше на этом опасном месте. Они оставили там, как и в Борисове, часть своих войск и подвинулись перед нами на несколько миль ближе к городу, расположенному на противоположном берегу (если считать со стороны Франции). Фортификационные работы происходили на нашем берегу, а между обоими берегами находился мост. 2-й корпус направлялся на Борисов.

*Дрюжон-де-Болье*

## *Перед переправой*

Во время наших переходов от Толочина до Борисова к нам постоянно доходили самые зловещие слухи, которые оставляли мало надежды, что нам удастся ускользнуть: Минск со своими огромными складами провианта был в руках неприятеля; Борисов был взят, его мост разрушен, и русская армия занимала берега Березины; итак, приходилось приступом брать переправу через эту реку, мы сожгли последний понтон перед оставлением Орши! Какое ужасное будущее, и в три или четыре дня все должно было решиться! Я приписываю только ослаблению наших умственных способностей, вследствие продолжительных страданий, ту странность, что несчастья, которым мы подвергались и которые при всяких других обстоятельствах заняли бы всецело наши мысли, разбудили бы всю предусмотрительность, теперь далеко не производили такого действия на меня и на моих товарищей. Я чувствовал себя почти чуждым всему, что происходило, и неприятельские пушки, грохотавшие кругом нас, почти не выводили нас из апатии.

Это были сражавшиеся с корпусом Витгенштейна корпуса Удино и Виктора, которые спешили к Березине. 26-го мы встретили часть корпуса Виктора, которая приостановилась у деревни. Я еще вижу удивление, смешанное с состраданием и ужасом, с которым собирались вокруг нас солдаты этого корпуса и смотрели как нетвердым шагом проходят один за другим эти призраки, у которых весь остаток жизни сосредоточился в движении и странный, отталкивающий наряд которых при других обстоятельствах вызвал бы только насмешку. Это было все, что осталось от армии, взявшей Москву! А мы, мы смотрели на них, как на что-то удивительное, о прошлом у нас осталось слабое воспоминание. И что особенно ярко рисует состояние нашего падения, это то, что, и не думая краснеть за свои бедствия, мы улыбались при мысли, что и они вскоре будут на нашем уровне.

26 ноября 4-й корпус остановился для ночевки в Неманице; в этой деревне еще уцелело несколько домов, и мы устроились в одном из них. Поев безвкусной похлебки, мы крепко спали на лавках, стоявших вдоль стен, когда слышался усиленный стук. Спросонья я подумал, что это какие-нибудь менее счастливые, чем мы, солдаты стараются выломать двери или разрушить избу для поддержания бивачного огня, а так как подобные сцены повторялись ежедневно, я вовсе не думал беспокоиться, когда раздался новый стук и крик: «Полковник, спасайтесь, дом горит!» Я вскакиваю с лавки, открываю дверь и вижу, что все кругом в огне. Моя крыша уже пылала, и через пять минут избы не стало: то же было бы и со мной с товарищами, если бы не энергичное предупреждение штаб-лекаря 6-го гусарского полка; его бивак был рядом с моим домом, и он своим криком предупредил меня об опасности. Было около 2-х часов утра, и мы, стоя в размягченной огнем грязи, ждали рассвета вокруг нескольких горящих бревен...

За три часа до рассвета остатки итальянской гвардии, взяв оружие, выступили с принцем Евгением. Барабан пробил сбор. Его заунывный вкус был похож на похоронный, да на смерть и шло большинство тех, кого он собирал! Слабый, истощенный страданиями и усталостью, я последовал за 4-м корпусом. Холод не был очень велик, но все же морозило, и в одном месте, где была гололедица, моя ло-

шадь упала; падение было ужасно, оно стоило мне нескольких контузий, и это был последний удар для моей лошади. Бедняжка встала с трудом; через два дня ее не стало. Еще не рассвело, когда я вошел в Борисов. Там царил беспорядок, который трудно себе представить. Отбившиеся люди, повозки, лошади загромождали улицы. Полки Виктора прокладывали себе путь сквозь толпу. Люди наталкивались друг на друга в темноте, крики и проклятия слышались со всех сторон.

Из-за апатичного неведения нашего действительного положения я не знал, был ли восстановлен Борисовский мост или переход через Березину должен совершиться в другом месте. Я не старался даже справиться об этом и следовал за толпой. Отделенный от товарищей, которых я потерял в темноте, я вошел в дом, откуда виднелся слабый свет. Это был остаток огня от печи. Два-три человека, как и я, воспользовались этим счастливым случаем, чтобы согреться; они говорили мало: это были проклятия или жалобы, смотря по степени бедственного положения говорившего...

Вместо того чтобы идти через Борисов дорогой, ведущей к прежнему мосту, остатки которого еще дымились, я направился к дороге, ведущей вверх по левому берегу Березины. Я не знал, куда она ведет; но по ней шла толпа, за которой я последовал. Я отошел еще не очень далеко от Борисова, когда между этим городом и тем местом, где я был, произошло нападение ...

И среди этой испуганной бегущей толпы, не знающей, где опасность, я спокойно продолжал идти, не ускоряя шага и не смущаясь тем, что происходило вокруг меня. С моей стороны казаки не появлялись, днем я добрался до Студянки, лежащей в 12 верстах от Борисова...

*Гриуа*

\* \* \*

На следующий день мы подходили к Борисову. Я видел, как император, сидя в экипаже, диктовал какой-то приказ принцу Невшательскому; я удивился его хладнокровию, хотя вид у него был и озабоченный, и положительно любовался им.

На стоянке зажгли костер из сосновых поленьев, которые очень плохо горели. Наполеон отдал приказ генералу Красинскому послать кого-нибудь из поляков с крестья-

нином найти брод где-нибудь вправо на расстоянии версты. Посланные пробыли дольше, чем этого хотелось императору, он скомандовал: на коней! И мы двинулись к городу. Поляку был дан приказ исследовать дорогу и в случае уда- чи один раз выстрелить из пистолета, но оказалось, что он упал в воду и пистолеты его промокли, вот почему он не мог выполнить данного ему приказа. Император вышел из экипажа и принялся с нами болтать как ни в чем не быва- ло. Там, где мы стояли, видны были позиции, взятые рус- скими по ту сторону моста; положение их было командую- щее. Нам пришлось расположиться в пригороде, и они нас могли там прекрасно накрыть, но ночь прошла спокойно.

К восьми часам император выехал по направлению к маленькому «шато», лежавшему около Студянки, где ос- новался, и всю ночь, по его приказу, там шли работы по постройке мостов, — в том самом месте, где прошел когда- то Карл XII, вступая в Россию.

*Дедем*

\* \* \*

Мы спешили, как только было возможно, дойти до реки Березины, от которой мы были теперь удалены на расстоя- ние часов четырех или пяти. Уже несколько дней мы были на большой дороге, где происходило непрерывное движе- ние. Наперебой друг перед другом все стремились перейти реку, и каждый напрягал силы, чтобы дойти до нее, но многие падали от усталости или под тяжестью тащимой добычи и таким образом кончали смертью. От времени до времени мы оборачивались фронтом назад, чтобы показать неприятелю, что мы еще живы. Но неприятель, тоже утом- ленный и, сверх того, уверенный в своей победе, отпускал нас с миром: мы не дошли еще до того места, на котором неприятель хотел нас видеть. На другой день, 27 ноября, мы тронулись в путь, окоченелые от холода и изнуренные голодом, в темную, хоть глаз выколи, ночь, чтобы по возможности быть ближе к реке, и пришли к городу Бори- сову, где должна была решиться наша судьба. Более ужас- ную картину, чем та, которая ожидала нас здесь, быть может, никогда не видал глаз человеческий. Представьте себе город в ярком пламени и две армии, дерущиеся в нем. Тут горящий дом рушится с ужасным треском, там разда-

ются ружейные выстрелы и гром пушек, и среди этих звуков жалобные стоны раненых, и никакой надежды на спасение: впереди, позади, со всех сторон беспощадный враг! Всюду смерть угрожает открытой пастью. После того как мы с 12 часов утра до вечера дрались с мужеством отчаяния, нам удалось занять город, или, лучше сказать, русские дали нам занять его, чтобы на другом месте вернее напасть на нас.

*Вагевир*

\* \* \*

Мы расположились биваком около Березины; но эти биваки, неизбежно соприкасавшиеся с Великой Армией\*, были для нас слишком тяжелы.

Действительно, нам больно было видеть остатки этой могучей армии, которая возвращалась из Москвы разгромленной и, так сказать, уничтоженной битвами, лишениями и морозом.

Мы тоже страдали, без сомнения, но мы подошли к берегам Березины еще полными воодушевления и всегда готовыми сразиться; и в то время как мы были еще как следует организованы, наш лагерь окружили со всех сторон остатки всех полков Великой Армии, терзаемых голодом, опустошенных морозом и болезнями; они просят облегчить их страдания и находят у нас лишь столько пищи, чтобы не умереть с голоду. Отныне мы начали понимать, в какой пропасти бедствий могли мы очутиться. До тех пор мы ни в чем не нуждались. У нас была теплая хорошая одежда и новая обувь. Наша дивизия нашла значительный обоз с амуницией, предназначавшейся для одного польского корпуса, которого уже не существовало более.

Что касается, в частности, меня, то, когда я однажды находился в Полоцке, моя собака открыла вблизи старого барского дома обширный тайник, наполненный хорошим шерстяным платьем, съестными припасами и всевозможными крепкими напитками. Моя лягавая собака была драгоценное животное. Помню, хотя с тех пор прошло уже много времени, как она остановилась перед кучей сломанных прутьев; напрасно звал я ее, она не хотела уходить с

---

\* Автор принадлежал к корпусу Удино.



этого места. Наконец, по слову «ищи!» она начала рыть землю. Меня сопровождал денщик, и, порыв немного, мы открыли сундуки с великолепной зимней одеждой и провизией. Все это находилось недалеко от бивака. Мы закрыли вновь тайник, так как в этот момент мы, право, не знали, к чему могут послужить все эти богатства.

*Бего*

## *Переправа через Березину*

Борисовский мост был сожжен и не мог быть восстановлен. После того как Наполеон велел разрушить часть моста, мы получили приказ отступить и идти на Студянку. Маршал Удино продолжал командовать нами. Были почти закончены два моста через Березину. Работа понтонеров под начальством генерала Эбле была выполнена выше всякой похвалы, несмотря на куски льда, загромождавшие реку. Один из мостов должен был служить для пехоты, другой — для артиллерии и конницы. В тот день, когда мы должны были переправиться на правый берег, к нам явился император и, обратившись оживленно к полковнику, спросил его: «Как велик ваш полк?»

Полковник, захваченный врасплох столь неожиданным вопросом, не мог тотчас же ответить.

Я заметил в жесте императора нетерпение, а во взоре его раздражение. Быстро обернувшись ко мне, находившемуся в нескольких шагах от полковника, он задал мне тот же вопрос. Я ответил без всяких предисловий: «Ваше Величество, столько-то солдат, столько-то офицеров».

Он ничего не ответил и пошел дальше. Наполеон уже не был тем великим императором, которого я видел в Тюильри; у него был усталый и беспокойный вид. Я его вижу, как сейчас, в его знаменитом сером сюртуке. Он ускакал от нас и объехал весь 2-й корпус Удино. Следя за ним глазами, я увидел, как он остановился перед 1-м швейцарским полком, который находился в нашей бригаде. Мой друг, капитан Рей, имел возможность вдоволь налюбоваться им. Он был, как и я, поражен беспокойством в его взоре. Слезая с лошади, император опирался на балки и доски, которые должны были служить для постройки моста. Он скло-

нил голову, чтобы тотчас же поднять ее с озабоченным и нетерпеливым видом, и, обратившись к инженерному генералу Эбле, сказал ему: «Долго, генерал, очень долго!» — «Ваше Величество, изволите видеть, что мои люди стоят по горло в воде; их работе мешают льдины; у меня нет ни съестных припасов, ни водки, чтобы дать им согреться». — «Довольно, довольно!» — возразил император и снова устоялся в землю.

Спустя несколько мгновений он начал жаловаться вновь, словно забыв доводы генерала. Время от времени он брался за свою зрительную трубу. Зная о движении русской армии, шедшей форсированным маршем от берегов Днепра, он опасался быть отрезанным и попасть во власть неприятеля, который намеревался нас окружить сразу с трех сторон прежде, чем были закончены мосты. Не знаю, быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это мгновение было одним из самых ужасных в его жизни. Лицо его, однако, не обнаруживало волнения: на нем можно было заметить лишь нетерпение.

*Бего*

\* \* \*

Неманица, 26 ноября. Сегодня утром принц Евгений получил депешу от князя Невшательского и Ваграмского с пометкой: Старый-Борисов, 4 часа утра. Предписывается перекинуть мосты по реке Березине около Студянки и сделать немедленно попытку силой пробраться на другой берег ввиду неприятеля, стоявшего на противоположном берегу.

В 8 часов утра, когда были собраны все необходимые материалы для постройки мостов, эскадрон поляков (причем каждый кавалерист сажал с собой на лошадь по пехотинцу) перешел реку вброд и стал в боевую линию на правом берегу, чтобы таким образом удалить казаков и облегчить этим стройку мостов. Остальные части бригады двинулись вслед за ними. Император приказал Эбле выступить из Студянки с своими понтонерами. За ними ехала фура, наполненная собранными по дороге колесами, что значительно облегчило работы. Тридцать пушек были установлены на возвышенностях Студянки для обороны работающих.

Саперы спускаются к реке, становятся на лед и погружаются по плечи в воду; льдины, гонимые по течению ветром, осаждают саперов со всех сторон, и им приходится отчаянно с ними бороться. Куски льда наваливаются один на другой, образуя на поверхности воды очень острые края. Глубина достигала 96 футов, дно было тинистое и неровное; ширина была не в 40 саженей (туазов), как думали, а по крайней мере 54 (приблизительно 106 м 92 см, считая сажен в 6 фут., а фут 0 м 33 см).

Таким образом все затрудняло работы. Несмотря на сильную стужу, Наполеон сам присутствовал на работах, делая при этом ряд распоряжений. Нельзя умолчать и о благородном самопожертвовании и преданности самих понтонеров; память о них никогда не померкнет, и всегда будут их вспоминать при рассказах о переходе через Березину.

Все войска без различия, как французы, так и итальянцы и немцы, лишенные пищи и питья, обессиленные, измученные, забывали, однако, все свои беды и страдания и воодушевлялись, глядя на своего императора. Деятельность и рвение храбрых офицеров подбодряли их; и они работали без отдыха и с нечеловеческими усилиями одолевали все препятствия, самоотверженно жертвуя собой для спасения армии.

В 1 час пополудни уже окончен мост, предназначенный для пехоты. Войска маршала Удино с кавалерийской бригадой впереди тотчас же перешли через него, на глазах самого императора при тысячу раз повторяемых криках: «Да здравствует император!», несмотря на то, что мост не был достаточно прочен, чтобы безопасно выдержать тяжесть двух пушек со всеми боевыми запасами и нескольких ящиков с патронами для пехоты.

В 4 часа второй мост, на 100 саженей ниже от правого и предназначающийся для переправы обозов и артиллерии, был также готов.

Для настилок, вместо досок, употребили перекладыны в 15 футов длины и в 3—4 дюйма толщины и покрыли все соломой и навозом.

Толщина подставок под мостами была от 3—9 футов, на каждый мост их требовалось 23. Тройной ряд перекладин, снятых с крыш домов, и густая настилка из соломы составляли главную часть моста. Трудно себе представить,

сколько рвения, сообразительности, труда и расторопности должны были проявить падающие от изнеможения саперы и понтонеры, чтобы в одну ночь разрушить несколько домов и наготовить достаточное количество дерева для сооружения двух мостов.

*Ложье*

\* \* \*

Вы должны помнить, что баварский генерал граф Вреде ушел без разрешения от 2-го корпуса. Он увел с собой кавалерийскую бригаду Корбино, обманув этого генерала уверениями, что получил для этого приказ, чего на самом деле не было. Результатом этого обмана было спасение императора и остатков его Великой Армии!

Действительно, Корбино, увлеченный помимо своей воли в противоположную сторону от 2-го корпуса, часть которого он составлял, следовал за генералом Вреде до Глубокого. Но он объявил, что не пойдет далее до тех пор, пока баварский генерал не покажет ему по крайней мере приказа, бывшего, по его словам, у него и повелевавшего ему держать при себе бригаду Корбино. Так как граф Вреде не мог удовлетворить этого требования, то Корбино отделился от него и добрался до Докшиц у истоков Березины. Затем, идя по ее правому берегу, он надеялся достичь Борисова, перейти там реку по мосту и, взяв направление на Оршу, идти навстречу корпусу Удино, который, по его предположениям, был в окрестностях Бобра.

Императору ставили в упрек, что, имея на своей службе несколько тысяч поляков Варшавского герцогства, он не приставил с самого начала похода нескольких из них в качестве переводчиков к каждому генералу и даже к каждому полковнику, потому что при этой мудрой мере можно было бы избежать очень многих ошибок и сделать службу бесконечно более точной. Доказательством этому может служить тот опасный путь, который должна была проделать в течение нескольких дней бригада Корбино по новой для нее стране, языка которой не знал ни один француз. Поэтому было большим счастьем, что среди 3 полков, находившихся под командой этого генерала, был 8-й полк польских улан, офицеры которого добывали у жителей все

необходимые сведения. Это громадное преимущество сослужило прекрасную службу Корбино.

В самом деле, когда он был в полдневном переходе от Борисова, крестьяне сообщили польским уланам, что город этот занят русской армией Чичагова. Корбино уже потерял надежду перейти Березину, когда эти же самые крестьяне, предложив ему отступить назад, провели его колонну к Студянке, маленькой деревушке, расположенной недалеко от Веселова, на 16 верст выше Борисова; перед ней находился брод. Три кавалерийских полка Корбино перешли его без потерь и направились затем через поля, ловко избегнув приближения к Борисову, так же как и к войску Витгенштейна, расположенному в Рогатке, прошли между ними и соединились наконец с маршалом Удино 23-го вечером близ Начи.

Отважный переход, совершенный Корбино, прославил его и был как нельзя более счастлив для армии, потому что император, узнав о физической невозможности скоро восстановить Борисовский мост, решил после совещания с Корбино перейти Березину близ Студянки. Но так как Чичагов, извещенный о переправе в этом месте бригады Корбино, прислал к Студянке сильную дивизию и много артиллерии, то Наполеон, чтобы обмануть неприятеля, употребил военную хитрость, которая, несмотря на свою избитость, почти всегда удается. Он притворился, что не имеет видов на Студянку и собирается воспользоваться двумя другими бродами, существующими ниже Борисова, из которых менее неудобный находится при деревне Уколода. Для этого был открыто направлен к этому месту один из еще вооруженных батальонов; за ним вслед послали несколько тысяч отсталых солдат, которых неприятель должен был принять за сильную дивизию пехоты. За этой колонной следовали многочисленные фургоны, несколько пушек и дивизия кирасир. Подойдя к Уколоде, эти войска стреляли из пушек и сделали все для того, чтобы заставить думать, будто они строят мост.

Чичагов, предупрежденный об этих приготовлениях и не сомневаясь, что план Наполеона состоит в том, чтобы перейти реку в этом месте, для того чтобы выйти на Минскую дорогу, находящуюся по соседству, поспешил не только послать к Уколоде по правому берегу весь Борисовский

гарнизон, но, по невозможному заблуждению, русский генерал, имея достаточно сил для охраны одновременно и низа и верха реки, заставил спуститься к Уколоде все войска, помещенные им накануне выше Борисова, между Зембином и Березиной.

И вот как раз против Зембина лежит село Веселово, которому принадлежит деревушка Студянка. Неприятель же покинул этот пункт, где император хотел перебросить свой мост, и бесполезно кинулся на защиту брода, расположенного на 24 версты ниже того места, где мы собирались переправляться.

К ошибке, которую он сделал, собрав таким образом в кучу всю свою армию ниже города Борисова, Чичагов прибавил еще одну, какой не сделал бы даже сержант и которую его правительство никогда ему не простило. Зембин построен на обширном болоте, которое пересекает дорога из Вильно через Камень. На шоссе этой дороги находятся 22 деревянных моста, которые русский генерал, прежде чем уйти, мог в одну минуту превратить в пепел, потому что вокруг них было много стогов сена и сухого тростника. В том случае, если бы Чичагов принял эту разумную предосторожность, французской армии было бы отрезано возвращение и переход через реку не послужил бы ей ни к чему, потому что она была бы остановлена глубоким болотом, окружающим Зембин. Но, как я вам только что рассказал, русский генерал оставил нам в целостности мосты и нелепо спустился вниз по Березине со всеми своими людьми, оставив не более полусотни казаков для наблюдения у Веселова.

Пока русские, обманутые маневром императора, удалялись от настоящего места наступления, Наполеон отдавал свои приказания. Маршал Удино и его корпус должны отправиться ночью в Студянку и способствовать там построению двух мостов, перейти затем на правый берег и выстроиться между Зембином и рекой. Герцог Беллунский, выйдя из Начи, должен составлять арьергард, подгонять отсталых, постараться защищать Борисов в течение нескольких часов, затем отправиться к Студянке и перейти там мосты. Таковы были распоряжения императора, точному исполнению которых помешали события.

25-го вечером бригада Корбино, командир который так хорошо знал окрестности Студянки, направилась к этому месту, поднимаясь по левому берегу Березины. Бригада Кастекса и несколько легких батальонов следовали за нею. Затем шли главные силы 2-го корпуса. Мы с сожалением покинули Борисов, в котором мы так счастливо провели эти два дня. Должно быть, у нас было грустное предчувствие тех несчастий, которые были нам предназначены.

26 ноября на рассвете мы были в Студянке. На противоположном берегу не было заметно никаких приготовлений к обороне, так что, если бы император сохранил понтонный парк, который он сжег несколько дней тому назад в Орше, армия могла бы перейти Березину немедленно. Река эта, которую некоторые воображают гигантских размеров, на самом деле не шире улицы Рояль в Париже перед морским министерством. Что касается ее глубины, то достаточно сказать, что за 72 часа перед тем 3 кавалерийских полка бригады Корбино перешли ее вброд без всяких приключений и переправились через нее вновь в тот день, о котором идет речь. Их лошади шли все время по дну, а если плыли, то не более 2 или 3 саженьей. Переход в этот момент представлял только легкие неудобства для кавалерии, повозок и артиллерии. Первое состояло в том, что кавалеристам и ездовым вода доходила до колен, что тем не менее было переносимо, потому что, к несчастью, не было холодно даже настолько, чтобы река замерзла; по ней плавали только редкие льдины; для нас, конечно, было бы лучше, если бы она замерзла. Второе неудобство происходило опять от недостатка холода и состояло в том, что болотистый луг, окаймлявший противоположный берег, был до того вязок, что верховые лошади с трудом шли по нему, а повозки погружались до половины колес.

Воинское самолюбие, конечно, очень похвально, но надо уметь его умерять и даже забывать в затруднительных обстоятельствах. Этого не сумели сделать при Березине начальники артиллерии и саперов. Каждая из этих 2 частей заявила, что она одна будет строить мосты. Таким образом они пререкались, и ничего не двигалось до тех пор, пока император, прибывший к полудню 26-го, положил конец этому спору, приказав, чтобы один мост строился артиллеристами, а другой — саперами. В одну минуту разобрали

бревна и балки деревенских домишек, и саперы наравне с артиллеристами принялись за работу.

Эти отважные солдаты показали совершенно исключительную самоотверженность, которую не сумели в достаточной мере оценить. Они голые бросались в холодную воду Березины и работали в ней беспрерывно в течение 6—7 часов, причем не было ни капли водки, чтобы им дать, а вместо постели ночью им должно было служить поле, покрытое снегом. Поэтому с наступлением сильных холодов почти все они погибли.

Пока работали над сооружением мостов, мой полк, так же как и все другие части 2-го корпуса, дожидался на левом берегу приказа перейти реку; император, ступая большими шагами, переходил от одного полка к другому, разговаривая с солдатами и офицерами. Мюрат сопровождал его. Этот воин, такой храбрый, такой предприимчивый и совершивший так много боевых подвигов, когда победоносные французы шли на Москву, — гордый Мюрат как бы отошел в тень с тех пор, как ушли из этого города, и в продолжение всего отступления он ни разу не принял участия ни в одном бою. Молча следовал он за императором, точно был посторонним всему тому, что происходило в армии. Тем не менее он, казалось, вышел из своего оцепенения при виде Березины и тех единственных войск, которые, сохраняя порядок, являлись в этот момент последней надеждой на спасение.

Так как Мюрат очень любил кавалерию и так как из многочисленных эскадронов, перешедших Неман, остались только эскадроны корпуса Удино, то он направил императора в их сторону. Наполеон пришел в восторг от прекрасного состояния, в каком сохранилась вся эта часть и мой полк в частности, потому что он один был сильнее нескольких бригад. В самом деле, у меня было еще более 500 всадников, тогда как другие полковники армейского корпуса не насчитывали и 200. Таким образом, я получил от императора очень лестные поздравления, большая часть которых приходилась на долю моих офицеров и моих солдат.

Как раз в этот момент я был обрадован, увидев идущего ко мне Жана Дюпона, лакея моего брата, этого преданного слугу, усердие которого, храбрость и верность были доказаны на деле. Оставшись один после того, как его гос-



подин был взят в плен в самом начале кампании, Жан последовал за 16-м стрелковым полком в Москву, проделал все отступление, оберегая и кормя трех лошадей моего брата Адольфа и не соглашаясь продать ни одной из них, несмотря на самые соблазнительные предложения. Этот славный малый, дошедший до меня после пяти месяцев лишения и нищеты, принес мне все вещи моего брата, но, показывая мне их, он сказал со слезами на глазах, что, износив свою обувь и видя себя вынужденным идти босиком по льду, он позволил себе взять пару сапог своего господина. Я оставил у себя на службе этого достойного уважения человека, и он принес мне огромную пользу, потому что несколько времени спустя я был ранен вторично во время самых ужасных дней великого отступления.

Но возвратимся к переправе через Березину. Не только наши лошади легко перешли через нее, но и маркитанты наши переправились через нее со своими телегами. Это дало мне мысль, что было бы возможно распрячь многочисленные повозки, следовавшие за армией, поставить их в воду одну за другой и таким образом устроить несколько переходов для пехотинцев. Это бесконечно облегчило бы движение человеческих масс, которые завтра должны тесниться при входе на мост. Эта мысль показалась мне настолько счастливой, что, не обращая внимания на воду, доходившую до пояса, я переправился вброд для того, чтобы сообщить ее генералам императорского генерального штаба. Нашли, что мой проект хорош, но никто не пошевелился, чтобы пойти сказать о нем императору. Наконец генерал Лористон, один из его флигель-адъютантов, сказал мне: «Я уполномочиваю вас устроить пешеходный мост, полезность которого вы только что так хорошо объяснили». На это предложение я ответил, что, не имея в своем распоряжении ни саперов, ни пехоты, ни инструментов, ни свай, ни накатов и не имея притом же права оставлять свой полк, который, находясь на правом берегу, мог быть с минуты на минуту атакован, я ограничиваюсь тем, что сообщаю ему свой совет, который считаю удачным, и возвращаюсь к своему посту. Сказав это, я перешел воду и возвратился к 23-му полку.

Между тем саперы и артиллеристы, окончив наконец мосты на козлах, пропустили по ним пехоту и артиллерию

корпуса Удино, которые, перейдя на правый берег, разбились биваком в большом лесу, лежащем в полуверсте от деревушки Завнишки, где к ним по полученному приказанию должна была присоединиться кавалерия. Мы наблюдали таким образом за Стаховом и пунктом, где проходила Большая Минская дорога, по которой генерал Чичагов увел все свои войска к низовьям Березины и по которой он неизбежно должен был опять идти для того, чтобы вернуться к нам, узнав, что мы перешли реку возле Зембина.

27-го вечером император перешел мост со своей гвардией и прибыл, чтобы устроиться в Завнишках, где кавалерия получила приказ присоединиться к нему. Неприятель не появлялся.

Много было говорено о бедствиях, постигших нас на Березине, но вот чего никто еще не сказал: что большей части из них можно бы было избежать, если бы императорский генеральный штаб лучше знал свои обязанности и воспользовался бы ночью с 27-го на 28-е для того, чтобы перевести через мосты обоз и, главное, те тысячи отставших, которые на другой день так затруднили переправу.

После того как я устроил свой полк на биваке в Завнишках, я заметил отсутствие одной вьючной лошади, которую вследствие того, что на ней перевозились касса и счетоводные документы боевых эскадронов, нельзя было рисковать переводить вброд. Я подумал, что вожатый и кавалерист, сопровождающие ее, ждут, пока мосты будут готовы. Между тем прошло уже несколько часов, как мосты были готовы, однако эти люди не появлялись. Тогда, беспокоясь о них, а также о драгоценном имуществе, вверенном им, я еду для того, чтобы лично содействовать их переправе, потому что, как я думал, мосты должны быть очень загромождены. Я поскакал туда галопом, но каково же было мое изумление, когда я нашел их совершенно пустыми. Никто не переходил через них в ту минуту, между тем как в 100 шагах оттуда при ярком лунном свете я заметил более 50 000 солдат, отсталых или отделившихся от своих полков, так называемых жарильщиков. Люди эти, спокойно сидя перед огромными кострами, приготавливали жаркое из конины, нимало не беспокоясь тем, что находились перед рекой, переправа через которую на следующий день могла стоять жизни многим из них, между тем как

сейчас они в несколько минут могли бы без всяких препятствий перейти ее и на том берегу закончить приготовления к своему ужину.

Впрочем, не было там ни одного офицера императорского дома, ни одного флигель-адъютанта из генерального штаба армии, ни одного маршала для того, чтобы предупредить этих несчастных и толкнуть их в случае необходимости к мостам. Тут, в этом беспорядочном лагере, я впервые увидел воинство, возвращающееся из Москвы. Сердце мое облилось кровью. Все чины перемешались: ни оружия, ни военной выправки! Солдаты, офицеры, даже генералы, покрытые лохмотьями, вместо обуви имевшие обрывки кожи или сукна, еле привязанные при помощи тесемок! Огромная толпа, в которой перемешались тысячи людей различных национальностей, шумно говорящих на всех европейских языках и не имеющих возможности понимать друг друга!

Между тем, если бы из корпуса Удино или из гвардии взяли несколько батальонов, находившихся еще в порядке, они легко могли бы протолкнуть всю эту массу по ту сторону мостов, потому что я, возвращаясь в Завнишки и имея при себе только несколько ординарцев, отчасти убеждением, отчасти силой добился того, что перевел на правый берег 2 или 3 тысячи этих несчастных. Но другие обязанности призывали меня к моему полку, и я должен был к нему возвратиться.

Напрасно, проезжая мимо главного генерального штаба и мимо штаба маршала Удино, я обращал внимание на пустоту мостов и на легкость, с которой их можно было перейти людям без вооружения в настоящий момент, когда враг ничего не предпринимал. Мне отвечали только уклончивыми словами, причем каждый сваливал на другого заботу о выполнении этой операции.

Вернувшись к биваку своего полка, я был приятно изумлен, найдя там унтер-офицера и 8 стрелков, которые во время похода стерегли наше стадо. Эти славные люди были очень огорчены тем, что толпа жарильщиков, набросившись, изрубила и съела у них на глазах их быков и они никак не могли этому помешать. Полк, однако, утешился в этой потере, так как каждый кавалерист запаса в Борисове провиантом на 25 дней.

Усердие моего адъютанта Вердье заставило его возвратиться по ту сторону мостов для того, чтобы разыскать стрелков — хранителей наших документов. Этот храбрый воин, затерявшись в толпе, не мог добраться до реки, на следующий день во время суматохи был взят в плен, и я увиделся с ним только через 2 года.

И вот мы подошли к самому ужасному моменту роковой русской кампании — к переправе через Березину, происходившей главным образом 28 ноября.

На рассвете этого злосчастного дня положение воюющих армий было таково. На левом берегу маршал Виктор, выйдя ночью из Борисова, отправился с 9-м корпусом в Студянку, гоня перед собой толпу отставших. Этот маршал в качестве своего арьергарда оставил пехотную дивизию генерала Партуно, которая, получив приказание выступить из города через 2 часа после ухода корпуса, должна была вслед за ним послать несколько маленьких отрядов, соединенных с главной частью цепью разведчиков и указывающих таким образом направление. Кроме этого, генерал должен бы был послать вплоть до Студянки адъютанта, обязанного узнать дорогу и затем вернуться прежде выступления дивизии. Но Партуно, пренебрегая всеми этими предосторожностями, ограничился тем, что выступил в предписанный час. Ему встретилось место, где дорога разветвлялась на две и он не знал ни той, ни другой. Но он не мог не знать (потому что он шел из Борисова), что Березина у него слева; из этого он мог заключить, что, для того чтобы попасть в Студянку, лежащую на этой реке, нужно идти по левой дороге. Он сделал как раз наоборот и, машинально следуя за несколькими вольтижерами, шедшими впереди него, пустился по правой дороге и попал в середину многочисленного русского войска Витгенштейна. Скоро окруженная со всех сторон дивизия Партуно должна была сложить оружие. Партуно, впрочем, защищался геройски. От дивизии его оставалось всего несколько сот человек, когда она принуждена была сдаться.

Между тем простой батальонный командир, командовавший арьергардом дивизии, имел достаточно здравого смысла, чтобы пойти по левой дороге только потому, что она приближала к реке, и присоединился к маршалу Виктору близ Студянки.

Велико было изумление маршала, когда вместо дивизии Партуно он увидел только этот батальон, составлявший его арьергард. Но изумление маршала сменилось оцепенением, когда его атаквали русские Витгенштейна, которого, по его расчету, должна была задержать дивизия Партуно. После этого нельзя было более сомневаться, что этот последний со всеми своими полками взят в плен.

Но его ожидали еще новые несчастья, потому что фельд-маршал Кутузов, который от самого Борисова шел следом за Партуно с многочисленными войсками, узнав о его капитуляции, ускорил движение и присоединился к Витгенштейну для того, чтобы одолеть Виктора. Последний, корпус которого был доведен всего до 10 000 человек, оказал самое отчаянное сопротивление. Его войска (даже немцы, составлявшие часть их) бились с храбростью действительно геройской и тем более замечательной, что, атакованные двумя армиями сразу, притиснутые к Березине, они были, сверх того, стеснены в движениях огромным количеством повозок, без всякого порядка наставленных отдельными людьми, бестолково старавшимися добраться до реки. И, несмотря на все это, Виктор задерживал Кутузова и Витгенштейна в течение целого дня.

Пока в Студянке происходило это смятение и эта битва, неприятель, стремившийся завладеть обоими концами мостов, атаковал на правом берегу корпус Удино, стоявший перед Завнишками. С этой целью 30 000 русских Чичагова, выйдя из Стахова, бросились с громкими криками на 2-й корпус, который насчитывал в своих рядах не более 8000 человек. Но так как наши солдаты не входили ни в какие сношения с теми, которые возвращались из Москвы, не имели ни малейшего представления о беспорядке, царившем среди этих несчастных, то нравственный дух корпуса Удино стоял очень высоко, и потому Чичагов был победоносно отбит на глазах у императора, явившегося в этот момент с резервом в 3000 пехотинцев и 1000 кавалеристов старой и молодой гвардии. Русские возобновили атаку и рассеяли поляков Привислинского легиона. Маршал Удино был тяжело ранен, и Наполеон послал Нея, чтобы заместить его. Генерал Кондра, один из наших лучших пехотных офицеров, был убит; доблестный генерал Легран получил опасную рану.

Действие происходило в сосновом лесу. Неприятельская артиллерия не могла как следует рассмотреть наших, и, хотя она стреляла во всю силу орудий, все же ядра не достигали нас, но, пролетая над нашими головами, они ломали много ветвей толще человеческого туловища, и ветви эти, падая, убивали или ранили большое количество наших людей и лошадей. Благодаря тому что деревья были очень редки, кавалеристы, хотя и с трудом, все же могли двигаться между ними.

Между тем маршал Ней, видя приближение сильной русской колонны, выпустил на нее все, что оставалось от нашей кирасирской дивизии. Эта атака, совершенная при довольно необычайных условиях, была тем не менее одной из самых блестящих, которые мне приходилось видеть. Храбрый полковник Дюбуа, действуя во главе 7-го кирасирского полка, разрезал надвое неприятельскую колонну и 2000 человек из нее взял в плен. Русские были приведены таким образом в беспорядок, и вся легкая кавалерия преследовала их и оттеснила с ужасными для них потерями к самому Стахову.

Я выравнивал шеренги своего полка, принимавшего участие в этой стычке, когда увидел приближающегося ко мне Альфреда де Ноайля, моего друга. Он возвращался после того, как отвез приказ от князя Бертье, адъютантом которого он состоял. Но вместо того чтобы, исполнив поручение, вернуться к своему маршалу, он сказал мне, уезжая, что отправится до первых домов Стахова для того, чтобы видеть, что делает неприятель. Это любопытство погубило его, потому что, едва приблизившись к деревне, он был окружен группой казаков, которые, сбросив его с лошади, схватили за ворот и начали бить, волоча по земле. Я послал ему на помощь эскадрон, но эта попытка осталась бесплодной, потому что сильный ружейный залп не дал нашим кавалеристам возможности проникнуть в деревню; с тех пор никогда более не слышали о де Ноайле. Великолепные меха, бывшие на нем, и его покрытый золотом мундир, очевидно, соблазнили корыстолюбивых казаков, и, вероятно, он был зарезан этими варварами. Семья де Ноайля, уведомленная о том, что я был последним из французов, с которым он говорил, просила у меня сведений относительно его исчезновения. Я не мог дать никаких,

кроме вышеупомянутых. Альфред де Ноайль был превосходный офицер и хороший товарищ.

Но это отступление очень удалило меня от Чичагова, который после поражения, нанесенного ему маршалом Неем, не решался в течение целого дня ни вновь атаковать нас, ни выходить из Стахова.

После того как я в общих чертах описал вам положение войск на обоих берегах Березины, я должен рассказать в нескольких словах то, что происходило на реке во время сражения. Целые толпы людей, у которых было 2 дня и 2 ночи, чтобы перейти реку, и которые не воспользовались этим временем вследствие апатии и потому, что никто их к этому не принудил, теперь, после того как ядра Витгенштейна начали сыпаться на них, захотели переправиться все сразу. Это огромное количество людей, лошадей и повозок, сбившись в кучу и совершенно закупорив входы на мосты, лишило себя возможности добраться до них. Очень большое количество людей, не попав на мосты, было опрокинуто толпой в Березину, где почти все и потонули.

В довершение несчастья один из мостов рухнул под тяжестью орудий и тяжелых зарядных ящиков, переправлявшихся через него. Тогда все бросились ко второму мосту, где и без того давка была такая, что самые сильные люди не могли противиться натиску. Очень многие задохнулись. Видя невозможность перебраться через загроможденные мосты, многие вожатые гнали лошадей прямо в реку, но этот способ переправы, который был бы очень хорош, если бы его толково применили двумя днями раньше, сделался роковым почти для всех, кто им воспользовался, потому что беспорядочно продвигая повозки, они сталкивались и опрокидывали друг друга. Однако некоторые достигли противоположного берега, но так как для выхода на берег ничего не было приготовлено и крутые откосы берегов не были скрыты, как это обязан был сделать генеральный штаб, то очень немногие повозки смогли на них взобраться, и там погибло еще очень много народа!

Ночью с 28-го на 29-е ужасы эти еще увеличились благодаря русской артиллерии, громившей несчастных, пытавшихся переправиться через реку. Наконец в 9 часов вечера несчастье еще возросло, когда маршал Виктор начал

отступать и дивизии его в полном порядке появились перед мостом, попасть на который они не могли иначе, как силой оттолкнув все, что загоразживало дорогу. Но набросим покрывало на все эти ужасающие сцены!

29-го на рассвете подожгли все повозки, остававшиеся на левом берегу, а когда генерал Эбле увидел, что русские наконец приближаются к мосту, он сжег и его. Несколько тысяч несчастных, оставшихся перед Студянкой, попали в руки Витгенштейна. Таким образом закончился самый страшный эпизод русского похода. Все это могло бы быть гораздо менее губительно, если бы сумели и захотели воспользоваться тем временем, которое нам предоставили русские после нашего прибытия к Березине. Во время этой переправы армия потеряла от 20 до 25 тысяч человек.

После того как преодолели это огромное препятствие, толпа отдельных людей, спасшихся от такого ужасного несчастья, была еще несметна. Их отправили на Зембин. Император и гвардия следовали за ними. Затем шли остатки некоторых полков и наконец 2-й корпус, причем бригада Кастекса составляла крайний арьергард.

Я уже говорил, что дорога на Зембин, единственный путь, остававшийся нам, пересекает огромное болото при помощи очень большого числа мостов, которые Чичагов, занимавший эту позицию несколько дней назад, по небрежности не сжег. Мы не сделали той же ошибки, и после перехода армии, 24-го стрелкового и моего полка мы предали их огню, что легко было сделать при помощи кучами лежавшего там сухого тростника.

Приказав сжечь зембинские мосты, император надеялся надолго освободить себя от преследования русских. Но уж так было суждено, что все случайности были против нас. В самом деле, мороз, который в это время года должен был превратить воды Березины в удобную дорогу, почти не тронул их в то время, как мы должны были переходить через них; но, как только мы переправились, жестокий холод заморозил их до такой степени, что лед сделался достаточно прочен для того, чтобы выдержать на себе пушку. А так как то же самое произошло и с зембинскими болотами, то мы ничего и не выиграли от того, что мосты сгорели.



Три русские армии, оставленные нами позади, могли беспрепятственно пуститься в преследование нас. К большому счастью для нас, они не были особенно настойчивы. К тому же маршал Ней, командовавший французским аррьергардом, собрав все, что еще могло сражаться, совершал частые нападения на неприятелей, как только они осмеливались подходить слишком близко.

*Марбо*

\* \* \*

Мы пошли вверх по реке до Студянки, где происходили работы по сооружению моста. Мы расположились биваком против места постройки, с волнением наблюдали за работой, которая подвигалась медленно; слышались выстрелы, которых не прекращали стрелки, перешедшие на правый берег, имея в виду отодвинуть подальше русскую армию. Корпуса уже уменьшились очень заметно, и в полках оставалось очень мало людей. Солдаты работали всю ночь, и 27-го утром мост был готов; принялись за другой, которого не удалось окончить. На рассвете гвардия переправилась.

Император, маршалы и много генералов стояли у самого моста для поддержания порядка; но, несмотря на их присутствие и все их усилия, люди бросались с таким неистовством на мост, что он много раз ломался, что сильно замедляло переправу. Мы расположились биваками при входе в лес, на пригорке, среди болот; ночь была одна из самых скверных. 28-го утром началось Борисовское сражение, французская армия покрыла себя славой; кавалерийская атака расстроила ряды русского войска, которое поспешило удалиться за город. Мы захватили большое количество пленных. Почти в тот же момент был ранен маршал Удино. Вечером мы стали биваками на том же самом месте, где провели прошлую ночь; выпало огромное количество снега, а ветер был такой сильный, что он тушил огонь и разметывал дрова. Все, что только можно себе вообразить, мы перестрадали в эту тяжелую ночь. Переход через Березину является одним из самых необычайных событий, о которых сохраняется память в истории. Армия, утомленная продолжительностью похода, обессиленная от лишений и голода, измученная холодами, хотя и существовала еще физически, — морально была уже разбита. При всякой новой опас-

ности каждый заботился только о личном самосохранении; узы дисциплины ослабели окончательно; порядка больше не существовало: чтобы добраться до моста, сильный опрокидывал слабого и шагал через его труп. Гурьбой бросались к переправе; поэтому, прежде чем войти на мост, приходилось карабкаться через груды тел и обломков; многих раненых, больных солдат, женщин, сопровождавших армию, валили на землю и топтали ногами; сотни людей были задавлены пушками. Толпа спешивших переправиться огромной массой покрывала обширное пространство, напоминая своими движениями морские волны. При малейшем колебании люди, недостаточно сильные, чтобы сопротивляться толчкам, падали на землю и раздавливались толпой.

Когда приблизилась русская армия, несколько ядер и гранат упало в середину этой груды несчастных; ужас овладел всеми. Многие пытались переправиться вплавь на лошадях, — удалось это некоторым, большинство же утонуло: льдины их уносили или разрезали на части при столкновении. Можно было видеть, как, стиснутые льдинами, не будучи в состоянии освободиться, они гибли, взывая о помощи к товарищам. Польской дивизии, оставшейся на левом берегу Березины, оттиснутой русскими, было особенно трудно пробиться через массу обломков и карабкаться через груды трупов; когда же она достигла правого берега реки, непрерывно преследуемая русскими, то подожгла мост, оставив неприятелю более 20 000 солдат и прислуги, 200 пушек и 1000 повозок. Некоторые из этих несчастных попытались еще раз перейти мост, несмотря на огонь, но погибли все, либо сгорев, либо попадая под воду.

28-го ночью мы пришли, намереваясь занять тот бивак, на котором провели прошлую ночь. Наше пристанище послужило походным лазаретом, а потом было сожжено; мы не находили больше топлива. Казалось, вся природа была против нас. Шел сильный снег, и его, как пыль, переносил с места на место северо-западный ветер, который дул так сильно, что его завывания наводили ужас даже на самых храбрых. Дух захватывало; мороз все усиливался.

Невозможно себе представить ту ночь.

29-го утром я посетил то место, где был мост; река почти совсем замерзла, и могильная тишина сменила звуки

брани. Видно было несколько русских корпусов, занявших высоты Студянки, где мы стояли биваками 26-го. Остатки французской армии покрывали всю равнину и имели ужасный вид.

*Маренгоне*

\* \* \*

Я шел за толпой и вместе с ней остановился у холмика, где стояли жалкие деревянные домишки, часть которых пошла на постройку мостов и на подтопку бивачных костров. В этой скверной Студянке, название которой я узнал много позже, были император, его гвардия и остаток армии, за исключением 2-го и 9-го корпусов под начальством Удино и Виктора. Удино перешел на правый берег Березины, чтобы отеснить армию Чичагова и облегчить нашу переправу; Виктор же удерживал преследовавшего нас Витгенштейна. Вся наша надежда была на эти два корпуса; только от них одних зависело наше спасение; оставшись на берегах Двины, они избегли бедствий, которые преследовали нас с Москвы; их военный строй и дисциплина мало пострадали, что они и доказали своим прекрасным поведением в боях 27 и 28 ноября. Но эти блестящие дни были последними: утомленные этим усилием, они не выдержали, оказавшись менее выносливыми, чем мы. Через два дня после этих славных дел расстройство 2-го и 9-го корпусов было таким же полным, как и во всей армии.

Левый берег Березины и равнина, окружавшая Студянку, были покрыты массой людей, среди которых только силой пробивались еще вооруженные отряды кавалерии. Потoki этой толпы особенно теснились туда, откуда их прогоняли, и только с большим трудом и через много времени мне удалось добраться до Студянки и присоединиться к моим товарищам. Я нашел их в конце деревни расположившимися в овине, полном соломы, где мы нашли прекрасное убежище и вволю корма и подстилки нашим лошадям.

Очень близко впереди нас весь день грохотали пушки. Но мы мало тревожились; мы уже не могли взвесить опасность, и у нас даже не хватало энергии бояться. Итак, ничто в течение вечера не помешало нам радоваться, что у нас такой хороший бивак. С нами было несколько офицеров 4-го корпуса, и благодаря прибавке их провизии к

нашей за вечной кашницей последовала полная кастрюля чаю, показавшегося нам превосходным, хоть и пришлось сахар заменить медом.

После ужина мы узнали, что император уже на правом берегу и что Евгений перейдет через мосты вечером. Надо ли было в этот же вечер двинуться за принцем? Из предосторожности надо бы было, и долг требовал того же; но долг стал пустым словом; дезорганизация и бедствия разорвали все связи; победило желание провести хорошую ночь в овине, наполненном свежей соломой, и мы все единогласно решили лучше ждать рассвета в том удобном положении, в каком мы были, чем в темноте и в плохую погоду блуждать, может быть, целую ночь на правом берегу, не найдя ни убежища, чтобы преклонить голову, ни кусочка дерева, чтобы развести огонь. Мы предоставили принцу ехать. Забившись в солому, приятно согретые чаем, мы чудесно провели ночь и только на рассвете проснулись, чтобы пуститься в путь.

Это было 28 ноября, день ужасный по воспоминаниям. С того места, где мы были, открывался широкий кругозор, и мы увидели, что вся равнина покрыта огромной толпой, стоявшей биваком, как и мы, на левом берегу и направлявшейся теперь к мостам. Мы верхами спустились с холма и поехали к мостам, которых не было видно за густым туманом, но которые были приблизительно в полумиле от нас.

Погода хмурилась, был пронизывающий холод, и снег падал хлопьями. Мы спешили, насколько позволяло печальное состояние наших лошадей. Но наше движение замедлилось густевшей толпой. Считая сначала, что это загромождение произошло из-за какого-нибудь происшествия, мы остановились, ожидая его конца, но новые толпы разрозненных людей стекались со всех сторон и еще больше увеличивали тесноту. Движение прекратилось; все встали; препятствия росли с каждой минутой. Прождав три четверти часа, мы решили двинуться, и благодаря лошадям, расталкивающим и опрокидывающим бедных пешеходов, мы, хоть и медленно, продвинулись вперед. Я ехал на маленькой польской лошади, купленной мною еще по пути в Москву. У нее были такие хорошие мускулы, что я взял ее, несмотря на ее маленький рост и на то, что ей не было еще и трех лет; но она так ослабела от истощения при отступле-

нии, что еле несла меня. Поэтому мои товарищи скоро меня обогнали. Я продвигался на несколько шагов только тогда, когда мою лошадь толкали шедшие сзади. Тут я очень жалел, что попал в толпу, и мне очень хотелось из нее высвободиться. Но это было немыслимо: сзади меня было уже столько же людей, сколько и спереди, и с каждой минутой они прибывали.

До сих пор толпа была довольно спокойна; она не продвигалась, но и не волновалась еще от нетерпения и страха, и слабейшие только покрикивали на тех, которые силой прокладывали себе путь. Началом беспорядка было отступление нескольких кавалеристов 2-го и 9-го корпусов, которые пробивались, опрокидывая все встречавшееся на их пути. Это, несомненно, было следствием плохо понятого и слишком точно выполненного приказа, оно и было главной причиной несчастий этого дня.

Один мост был назначен для повозок и лошадей, а другой — для пешех. Эта предосторожность, очень хорошая для организованных войск, была неприменима к толпе без начальства и руководства. Повозки, лошади и пешие шли по одной дороге; когда они приближались к мосту, то повозкам и лошадям переход воспрещался: хотели даже принудить их отступить. Это было невозможно, и скоро дороги оказались загроможденными. К несчастью, еще туман мешал сначала разглядеть мосты, и толпа ошиблась направлением; принужденная вернуться, она образовала своего рода отлив, который только увеличивал неурядицу.

Крики несчастных, опрокинутых лошадьми, вызвали ужас. Он быстро распространился, достиг высшей точки, и с этой минуты замешательство стало ужасным. Каждый превеличивал опасность и старался спастись силой. Прибегали даже к оружию, чтобы пробиться через эту толпу, которая могла только кричать и которая защищалась одними проклятиями. В этой ужасной борьбе каждый неверный шаг был смертным приговором: упавший уже не вставал. Я еще вижу, как бились несчастные, опрокинутые возле меня, их головы мелькали по временам среди толпы; их криков не слушали, они исчезали, и почва становилась выше от их трупов. Один из возвращавшихся кавалеристов проезжал рядом со мной. Я предложил ему несколько золотых, если он согласится вывести мою лошадь за повод из давки. «Мне

достаточно спасти себя, а не браться за спасение других», — сказал он, даже не взглянув на меня, и продолжал путь, не обращая внимания на крики тех, кого давила его лошадь. Я понял тогда весь ужас своего положения, но не очень испугался, и хорошо, что я сохранил хладнокровие: я всецело положился на свою судьбу...

С утра слышались пушки впереди нас, на правом берегу; Удино отражал Чичагова, которого опрокинула блестящая атака кирасир генерала Думерка. Но позади нас Виктору пришлось отступить перед превосходящими силами Витгенштейна. К 10 часам утра неприятель появился на высотах, господствовавших над мостами, и бой возгорелся с новой силой. Никто из бывших еще на левом берегу не спасся бы, если бы Виктор был опрокинут; к счастью, ему удалось до вечера сохранить позицию. Но как только враг заметил места переправы, он начал осыпать их пулями и снарядами, которые еще усилили царившие там смятение и отчаяние. Трудно вообразить то зрелище, которое представляла эта масса, и те стоны, которые вырывались, когда снаряд разрывался среди нее...

Я убедился в невозможности пробиться и не пытался больше сделать это. Я ограничился тем, что старался охранить свою лошадь от слишком сильных толчков, которые могли бы ее повалить; я старался ободрить бедное животное ногами и голосом, когда чувствовал, что оно готово опуститься; если бы оно упало, нам обоим был бы конец... К несчастью, волею судьбы толчки постепенно повернули лошадь так, что она оказалась не головой, а крупом в направлении движения, и я очутился спиной к мостам. Более получаса был я в этом отчаянном положении, лишавшем меня всякой надежды; мне грозило быть раздавленным толпою, убитым пулей или попасть в руки русских и умереть от холода и лишений на снегу, как вдруг я увидел довольно далеко от меня старшего вахмистра моего полка, который старался пробиться при помощи своей силы и высокого роста. Это был Грассар... С большим трудом среди этой страшной суматохи докричался я до него, и он добрался до меня; у него не было больше ни лошади, ни вещей, и он был разлучен с товарищами; но силы у него были, и он предложил мне выбиратья общими усилиями. Не без труда повернув мою лошадь к мостам, взяв повод в одну руку и

саблю в другую, он начал проталкиваться вперед, отстраняя или опрокидывая все, что встречал. Я старался помогать ему, я еще вижу себя на своей бедной лошади, в руках у меня наполовину сломанная сабля, жалкое оружие, которое я с трудом держал.

Конечно, мы подвигались, но как медленно, и сколько раз, оттолкнутые толпой, теряли мы в один миг то, что приобрели с таким трудом! Препятствия и происходивший от них беспорядок все больше и больше увеличивались; на опрокинутых людей, лошадей и повозки падали другие; толпа была слишком плотна, чтобы можно было разглядеть что-нибудь под нами, и я только по более или менее уверенной поступи лошади определял, шла ли она по земле или по трупам. Мы еще очень мало продвинулись вперед, когда по неуверенной поступи лошади я догадался, что нам встретилось новое препятствие; она старалась высвободиться и упала на бок, сила падения отбросила меня на несколько шагов в сторону, на обломки опрокинутого на дороге фургона.

К моему счастью, благодаря этому фургону в этом месте не было такой давки; иначе я тотчас был бы раздавлен. Я почувствовал грозящую мне опасность, и усилием, на которое только инстинкт самосохранения сделал меня способным, быстро поднялся и благодаря действительно необыкновенной случайности очутился опять на лошади, без ран и ушибов.

Этот случай не задержал нас больше, чем я трачу времени на рассказ о нем, и мы продолжали подвигаться среди стонов и криков отчаяния. Мы были не больше как в ста саженях от моста. Однако больше часа мы добирались до него, а там явились новые препятствия: опрокинутые или оставленные повозки, лошади, поднимающие головы среди давящих их обломков, трупы — все это образовало преграду, которую, казалось, невозможно преодолеть.

Это преграждение было, как я сказал, несчастным результатом предосторожностей, предпринятых, чтобы его избежать. Строгий приказ, который дали, был слишком хорошо исполнен отрядом отборных жандармов, которые с саблями наголо безжалостно отталкивали экипажи и кавалеристов. Я был уже некоторое время в таком ужасном положении, когда меня заметили понтонеры, которые день и

ночь были заняты починкой постоянно портящихся мостов. Увидев артиллерийскую форму, эти храбрые люди помогли мне добраться до них, и наконец я мог перейти этот мост, который я видел уже в течение четырех часов, почти не надеясь достигнуть его.

Какая тяжесть свалилась с меня, когда я его переходил! Испытанное мною ощущение похоже на то, что должен испытывать несчастный, идущий на казнь и дорогой помилованный. Я был на мосту почти один, так затруднителен был доступ к нему. Он почти касался воды, так что трупы, несшиеся по течению, задерживались среди льдин, шедших по реке. Множество лошадей, хозяева которых потонули, положив голову на мост, держались, сколько им позволяли силы; с одной стороны они занимали мост почти всю длину.

Когда с помощью понтонеров я добрался до места, какая-то маркитантка с ребенком на руках схватилась за хвост моей лошади, чтобы воспользоваться моей удачей, и только при выходе с моста я заметил, что оказал ей, не зная того, огромную услугу, и я никогда не забуду, как, расставаясь со мной, она трогательно сказала, что обязана мне жизнью своей и ребенка, и как настойчиво хотела поделиться со мной оставшимся у нее куском сахара. Я упрекаю себя в том, что принял его; ей он, наверно, был нужнее, но мне казалось, что она так счастлива, предлагая его, и этот подарок был настолько драгоценен в тот момент, что вряд ли многие на моем месте устояли бы.

Мы со старшим вахмистром продолжали путь через болото, в котором очутились, по следам тех, кто шел впереди нас. Через два часа пути, уже темной ночью, он привел меня в маленькую деревню Зембин.

*Гриуа*

\* \* \*

Рано утром 27 ноября я прибыл в село Студянку, стоявшее в 8 верстах от Борисова. Здесь работали над постройкой двух мостов. Уже несколько отрядов перешли реку. Переход происходил очень медленно благодаря непрочности мостов, требовавших постоянных починок. В таких случаях понтонеры, не колеблясь, влезали в воду и работали там, несмотря на холод; поведение их было достойно удив-



ления. Вечером пришла моя очередь переправляться через реку; я расположился на правом берегу реки на болотистой, но подмерзшей земле. Дров не было; ночь была ясная и холодная. Рано утром 28-го я удалился отсюда; мне пришлось с трудом перейти неравномерно замерзшее обширное болото, и я достиг соседних возвышенностей, где нас расставили батареями при выходе из леса на дороге, ведущей из Борисова. С самого утра шло ожесточенное сражение по ту сторону леса и около Студянки, где Витгенштейн старался отбить мосты. Дело было плохо, и все склонялось к тому, что мне также придется принять участие в сражении. Я передал капитану Меллару две тысячи франков банковыми билетами, прося его передать их моей жене в случае какого-либо несчастья со мной, а сам приготовился к всевозможным событиям, причем всякого рода печальные мысли теснились в моей голове.

Почти весь день император находился около моей артиллерии; он казался подавленным. Тут перед его глазами произошел случай, который мог вызвать его недовольство мною, но он отнесся к этому спокойно. Вот в чем было дело: одно из моих орудий было заряжено, но мы об этом позабыли. Когда его прочищали банником, то подумали, что в канале пушки лежат камни; я отдал приказ, чтобы орудие прожгли, для чего надо было насыпать и поджечь порох, но последовавший за этим сильный выстрел и свист пролетевшего ядра показал нам, что мы ошиблись. Император ограничился тем, что ласково сказал мне: «Это очень неприятно, это может произвести тревогу между сражающимися впереди нас». Польский генерал Зайончек был ранен. Его принесли к нам, и хирург гвардии ампутировал ему ногу.

*Булар*

\* \* \*

25 ноября в жестокий мороз большая французская армия подошла к левому берегу Березины. За исключением гвардии, которая сохраняла порядок, остальное войско представляло из себя нестройную толпу. Я лично прибыл только 26-го вечером на то место Березины, где были перекинуты два моста. По ним с раннего утра началась переправа. Не чувствуя достаточных сил, чтобы идти дальше, я по-

просил приюта на эту ночь у людей из баварской легкой конницы, и они радушно предложили мне место около костра. Эти добрые люди только наполовину отвечали своему названию: если хотите, они еще были налегке, но у них давно уже не было коней, и все их вооружение заключалось в огромных дубинах. Достаточно было одну минуту послушать рассказы этих честных служак, чтобы понять, сколько горя стоила им потеря их лошадей.

Как я уже сказал, нечего было и думать перейти через реку в этот день. Я убедился совершенно в этом, увидев, что происходило при въезде на мост и на самом мосту. Это была сплошная масса несчастных, которые хотели достигнуть противоположного берега. Проклятья, ругательства, крики висели в воздухе. Те, у кого были палки, без жалости били ими передних, и все это только для того, чтобы продвинуться вперед на несколько дюймов.

Таково было ужасное зрелище, которое представилось моим глазам; но оно было еще ужаснее на другой день, когда я сам участвовал в этих сценах отчаяния.

На берегу Березины я провел одну из самых тяжелых ночей за всю мою жизнь. В такой ужасный холод нечего было и думать сомкнуть глаза. Прибавьте сюда мою ослабленность и беспокойство и, наконец, адский содом от криков, человеческих стонов и непрерывных ругательств. В этот же самый день Наполеон переходил злосчастную реку под охраной гвардии, в которой не было больше того порядка и спокойствия, какими она прежде так справедливо гордилась. Раньше чем переходить мост, император отдал приказ поджечь экипажи, особенно экипажи маршалов и генералов, фургоны, извозничьи повозки, привезенные из Москвы, — одним словом, все повозки, большей частью нагруженные найденными вещами, которые еще больше увеличивали загромождение. Языки пламени, поднявшиеся со всех сторон, столь неприятные для потерпевших, не замедлили доказать, что приказ императора был выполнен в точности.

Многие мои товарищи, более счастливые и более умные, чем я, воспользовались моментом, когда Наполеон, окруженный своей гвардией, переходил на другой берег, — они тоже перешли по жалким мостам, сооруженным из невозможного материала. Майор фон Грюнберг, из одного

из наших егерских батальонов, переходил рядом с императором. Он нес под своим плащом маленькую левретку, которая жалостно дрожала. Великий полководец, пославший столько людей на смерть, сжалился над бедным животным; он обратился к майору с вопросом, не хочет ли он продать ему собачку. Г-н фон Грюнберг ему ответил:

— Ваше Величество, это животное было мне спутником во всех моих несчастьях с начала кампании. Я хотел бы сохранить его в воспоминание того, что я видел и испытал. Но если Ваше Величество желает, я готов предоставить его в ваше распоряжение.

Заметно тронутый, император ответил ему:

— Я понимаю вашу привязанность к этому животному; это делает вам честь. Сохраните его себе, я не хочу вас лишать его.

Г-н фон Грюнберг мне передал этот разговор 2 или 3 дня спустя после того, как он имел место, и это был последний раз, что я его видел, так как вскоре он умер в плену, в виленском госпитале. Едва ли его собака пережила его.

27 ноября, очень рано утром, я отправился в компании маленького капитана с намерением перейти на левый берег. Но это было невозможно. Я надеялся, что стечение народа будет меньше, чем накануне, но скоро мне пришлось разубедиться в этом, так как и другие рассчитывали на то же, на что и я, и, увидев, что обманулись в расчетах, сгрудились на мосту и хотели его перейти все зараз.

Я приблизился к этому колоссальному человеческому муравейнику, но, увидев ужасы, какие там происходили, не решился замешаться в толпу. Если бы я попал в круговорот, я более не мог бы оттуда выйти; сотни и сотни людей, неизвестно откуда берущихся, шли друг за другом, толкали и расталкивали всех, кто находился впереди них.

Маленький капитан поступил иначе. Может быть, помимо его желания он исчез, увлеченный людским потоком, только вдруг я перестал его видеть. Мысленно я уже хоронил его, не сомневаясь ни на минуту в том, что этому крошечному человечку не удастся достигнуть противоположного берега. Между тем несколько времени спустя я его встретил в Вильно, и он мне рассказал о своих приключениях. Несчастный, как и много других моих товарищей, умер пленником в госпитале этого города.

Итак, я вернулся к биваку баварской кавалерии, но баварцев там уже не было; вместо них вокруг почти потухшего огня расположились другие человеческие тени, столь же жалкие, как и предыдущие. Это были совершенно оборванные французы-пехотинцы. Как и я, они дожидались благоприятного момента, чтобы перейти мост.

Наши взоры постоянно были устремлены на ближайший мост. Другой мост, хотя на вид не очень прочный, был все время занят всевозможными повозками, которые довольно удачно переправлялись. Было около полудня. Не зная, чего можно ожидать завтра, я решил во что бы то ни стало перейти в тот же день. Я с большим трудом мог двигаться и потому вполне основательно не хотел смешаться с толпой. Едва держась на ногах, я рисковал быть раздавленным и сброшенным в воду, чему подверглись сотни несчастных.

Сверх того, к несчастью, по беспечности или случайно у меня не было дубинки, какую имели все, от маршала до простого солдата, и эти дубинки во всех случаях оказывали им неоценимые услуги.

За неимением этого драгоценного оружия, которое могло бы внушить уважение, я оставался с французскими пехотинцами, столь же голодными, как и ободранными, и не спускал глаз с моста.

Вдруг мое внимание было привлечено пушечным выстрелом, раздавшимся на некотором расстоянии от нас. Кто это возвещал таким образом о своем приближении?

Как только раздался пушечный выстрел, тысячи людей бросились к мостам, толкаясь, давя друг друга, лишь бы перейти в этот вечер.

При виде всего этого я решился остаться всю эту ночь у моего костра с французами и вскоре увидел, что у нас было много подражателей. В самом деле, со всех сторон заветились костры. До некоторой степени это действовало успокоительно. Но еще успокоительнее было то, что пушечные выстрелы не приближались к нам, а ночью затихли совершенно.

Так как я больше не слышал пушек, я тверже, чем когда-либо, решил не переходить в этот вечер и дожидаться следующего дня. Поэтому я остался преспокойно сидеть у

костра в компании четырех французских пехотинцев. Несмотря на ужасный шум, который был у моста, холод и голод, природа взяла свое: я уснул крепким сном и вкусил несколько часов покоя.

28 ноября с самого рассвета начались те ужасы, на описание которых в продолжение полувека потрачено столько чернил и карандашей. Правда, что бывало много преувеличенного в описании этого перехода. Еще совсем недавно я прочел в одной книге, посвященной воспоминаниям о переходе через Березину, что сотни женщин погибли в этой реке, что десятки детей были раздавлены, затоптаны и т.п. Я был там, но, говоря откровенно, не видел ничего подобного. Мне кажется, что действительное зрелище было в достаточной степени ужасно само по себе, чтобы еще преувеличивать.

Прежде всего мы услышали в отдалении пушечную пальбу — это наш арьергард, под командой маршала Виктора и генерала Домбровского, давал русским одно из серьезнейших сражений. Раскаты пальбы заметно приближались к нам; это показывало, что наши защитники были отброшены неприятелем. Итак, наступил момент — надо было решаться на переход, чтобы избежать постыдного плена.

Неприятельская артиллерия все ускоряла пальбу, и ее снаряды начали падать вокруг нас. Я наскоро простился с моими французами, которые также отправились по направлению к мосту. Туда бежали со всех сторон обезумевшие безоружные солдаты.

Раньше чем приблизиться к этой толпе, которая теснилась у входа на мост, я был свидетелем одной поистине раздирающей сцены.

Экипаж, который при настоящих условиях можно было назвать элегантным, запряженный парой лошадей, въехал в середину обоза, чтобы переехать на ту сторону. В нем сидела дама с двумя детьми. Вдруг русский снаряд падает посередине упряжки и разрывает на части одну из лошадей. Мать выскакивает из экипажа с двумя малютками на руках. Она умоляет прохожих прийти к ней на помощь, она просит и плачет, но никто не обращает на нее внимания. Все бегут в паническом ужасе. Опередив ее на несколько шагов, я уже больше не слышал ее криков. Когда я обер-

нулся, ее уже не было видно — она исчезла вместе с детьми, или, вернее, была сбита с ног толпой, раздавлена и затерта ею.

Наконец мне удалось стать в колонну беглецов. Ряды их тянулись за мной так далеко, как хватал глаз, и увеличивались каждую минуту, пополняясь новыми беглецами. Вскоре я был окружен со всех сторон и сдавлен как бы в человеческих тисках. Минуты, которые я провел в этой давке, пока не ступил на правый берег, были самыми ужасными в моей жизни. Все вопили, ругались, плакали, наносили удары направо и налево. Невозможно описать терзаний, какие я там пережил.

Меня тащили, толкали, местами волочили — все это без преувеличивания. Несколько раз толпа отрывала меня от земли и мяла меня, как в тисках. Почва была покрыта людьми и животными, мертвыми и живыми. Их не были сотни, как утверждает книга, о которой я говорил выше, но их было все же немало. Ежеминутно мне приходилось спотыкаться о трупы. Правда, я не падал, но это зависело не от меня, а только от того, что меня со всех сторон сжимала и поддерживала вся толпа.

Что может быть ужаснее того, что испытываешь, когда идешь по живым существам, которые цепляются за ваши ноги, останавливают вас и пытаются подняться.

Я помню еще и теперь, что перечувствовал в этот день, наступив на женщину, которая была еще жива. Я чувствовал ее тело и в то же время слышал ее крики и хрипение: «Сжальтесь надо мной!» Она цеплялась за мои ноги, как вдруг новый напор толпы приподнял меня с земли, и я освободился от нее. С тех пор я не раз себя упрекал, что был причиной смерти одного из ближних.

По мере того как мы приближались к мосту, сзади напирала все сильнее и сильнее, так как каждый хотел скорее уйти от неприятельских пушек. А впереди, у входа на мост, стояли французские жандармы с саблями в руках и наносили удары беглецам, не разбирая, плашмя или острием, чтобы установить хотя какой-нибудь порядок во избежание загромождения моста. Мост был построен из ужасного материала и так трясся, что с минуты на минуту можно было ожидать, что он обрушится.

Признаюсь, в эти минуты я перенес такую пытку, что совершенно отчаялся в своем спасении.

Это был первый и единственный раз за всю кампанию, что я упал духом.

Подвинувшись еще на несколько шагов вперед, я вновь наступил на другое живое существо — лошадь. Несчастное животное, я и теперь вижу его! Это была темно-рыжая лошадь, она лежала на боку и двигалась подо мной. Она дышала и делала конвульсивные движения, отчего я легко мог потерять равновесие. Но мне недолго пришлось думать об этом.

Вдруг кто-то позади так сильно ударил меня, что я поскользнулся на обе ноги и чуть не упал навзничь и не разделил участи бедной лошади. Я уже мысленно прощался с радостями и горестями этой жизни и против воли, скорее инстинктивно, протянул руки и в отчаянии ухватился за ворот чьей-то голубой шинели

Носивший эту шинель кирасирский офицер громадного роста, с каской на голове, держал в руке громадную дубину и с полным успехом управлял ею, безжалостно колотя всех, кто приближался к нему. Я долго любовался ловкостью, с какою этот человек избавлялся от слишком теснивших его соседей. У меня была одна мысль: не следует выпускать его! И я действительно не оставлял его спасительного воротника и двигался за ним, как на буксире.

К несчастью, он скоро заметил, что я ухватился за его шинель. Чтобы избавиться от меня, он прибегнул к своей дубине и начал выделывать ею всевозможные выкрутасы, чтобы достать ею меня. Но его усилия были напрасны: предвидя удары, я отражал их как только мог, но не бросал воротника. Я так ловко это делал, что он меня не ударил ни одного раза. Видя, что ничего не может поделать, он перестал махать палкой и принял другую тактику в расчете на больший успех. Он начал ругаться самым ужасным образом. Ничего не действовало. Тогда он сказал мне: «Милостивый государь, заклинаю вас, оставьте меня, иначе мы погибнем вместе!»

Кончить жизнь в такой компании было, без сомнения, очень лестно, и я, нисколько не колеблясь, еще крепче прежнего ухватился за его воротник. Таким-то образом меня наполовину волокли, и я мало-помалу приближался к цели.

Но давка усиливалась с минуты на минуту в такой пропорции, что, несмотря на помощь моего могучего буксира, я отчаялся дойти невредимым до входа на мост. Движение толпы оттиснуло меня мало-помалу к реке.

В этот критический момент я увидел, что многие мои товарищи по несчастью проделывали маневры столь же неприятные, как и опасные, но которые, казалось, обеспечивали им спасение.

Загнанный к реке, я заметил, что некоторые из моих соседей, отчаявшись достичь моста по земле, попробовали дойти до него водой. Так как берег был совсем отлогий, они вошли в Березину; у берега воды было всего на 2 фута. Мой кирасир, движения которого становились все более связанными, ругался, рычал и яростно махал палкой в мою сторону. Поняв, что вдвоем мы не достигнем моста, я отпустил его голубую шинель. Потом я сделал отчаянный прыжок и очутился по колена в воде — и это в 20-градусный мороз.

Это была скорее холодная, чем теплая ванна. До сих пор, сидя у моей печки, я начинаю дрожать при одном воспоминании об этом.

И вот я шлепаю по воде вдоль берега в многочисленной компании, так как моему примеру тотчас последовали многие другие, и стараюсь достигнуть моста. Как я был счастлив, когда наконец достиг его! Я легко забрался на мост — он был всего на 2 фута выше уровня воды.

Каково было мое удивление, когда я увидел, что по мосту почти никто не шел! Это было, наверное, последствием ударов, которыми жандармы, стоявшие у входа, щедро награждали всех. Но что было всего удивительнее, это то, что я перешел мост преспокойным образом, без всякой спешки.

Итак, я избежал опасности утонуть в Березине и быть раздавленным в толпе. Нечего говорить, совсем особенное чувство испытываешь, когда видишь уже совсем раскрытую дверь на тот свет и вдруг эта дверь захлопывается, когда совсем уже в нееходишь!

Вода, стекавшая с моих панталон, скоро превратилась в ледяшки, которые раздирали мне кожу. Тем не менее я достиг благополучно другого берега. Я необычайно был рад моему спасению. Всегда человек более или менее эгоист. Я



тотчас же обернулся на злосчастную толпу, волновавшуюся на том берегу. Я услышал крики отчаяния несчастных, которых грозила раздавить русская артиллерия. Несколько ядер упало даже на правый берег в нескольких шагах от меня. Надо сказать, в это время года в Березине было мало воды: она не была шире Неккара в Каннштадте — и между тем она поглотила столько жертв в эти три дня.

Я был совершенно изнурен этой непрерывной борьбой со смертью. Я обратился к старому бородатому гренадеру, который был из отряда гвардии, поставленного на правом берегу, чтобы защищать переход через мост. Он опустил свою кружку в реку, где столько наших товарищей нашли свой конец, зачерпнул воды и передал ее мне. Я с жадностью выпил эту грязную воду, и, несмотря на все отвращение, которое она должна была внушать мне, вода эта показалась мне восхитительной.

Утолив жажду, я желал только как можно скорее добраться до одного из биваков. Судя по кострам, их было много. Я имел большую потребность в том, чтобы согреть мои замерзшие члены и в особенности высушить мою обувь, так как я ужасно страдал ногами.

Между тем, заметив моего кирасирского офицера, который оканчивал переход моста — он не покинул своей дубинки, — я хотел поздороваться с ним, после того как он уже пришел на берег, и поблагодарить его за то, что он способствовал, неохотно правда, моему спасению.

Как только он сошел с моста, я приблизился к нему и выразил ему всю мою благодарность. По моей манере говорить по-французски он узнал во мне немца и сказал мне на моем родном языке:

— Вы немец. Я вижу по вашему акценту. Мы компатриоты, так как я из Гамбурга. Моя фамилия Шмидт. Я капитан 3-го кирасирского полка. Я очень счастлив, что способствовал, сам того не зная, вашему спасению. До свидания.

Затем он ушел большими шагами, не выказывая ни малейшей усталости. Если он и дальше шел тою же походкой, он должен был скоро достичь границы.

Я недолго прощался с этой злосчастной рекой и быстро направился к отдаленной деревне, расположенной на дороге и, к счастью, несожженной. Я рассчитывал там найти убежище на ночь, которая обещала быть особенно холодной.

Я дошел до деревни, о которой говорил выше; на этот день мое путешествие окончилось. Я распрощался с моим товарищем, который отправился дальше, так как его лошадь совсем не устала. Пред одной крестьянской хижинкой я заметил вюртембергского кавалериста, который стоял на часах. Я спросил его, что он здесь делает. Он мне ответил, что охраняет квартиру принца, который в эту кампанию командовал дивизией вюртембергской кавалерии.

Я вошел в хижину, чтобы приветствовать начальника, который всегда был расположен ко мне в то время, когда мы оба служили в королевской гвардии. Как всегда, принц великолепно обошелся со мной и предложил мне кусок хлеба и стакан водки — прекрасная вещь, в которой я очень нуждался, чтобы подкрепиться после такой холодной ванны. Его щедрость не ограничилась одним этим. Он пригласил меня также разделить с ним его вязанку соломы.

Что особенно приятно было мне в этом гостеприимном доме, это ясное пламя огня, горевшего в громадной русской печке, — такие печки можно найти в каждой русской избе. Наконец я имел возможность хотя немного высушить мои лохмотья, которые были мокры до последней нитки.

Как только принц заснул, я развесил мои вещи подле печки; последняя распространяла так много тепла, что немного времени спустя все было сухо. Тогда я растянулся в свою очередь, чтобы вкушать несколько часов покоя, раньше чем отправиться в дальнейший путь.

*Фон Зукков*

\* \* \*

Когда мы подошли, к переправе не пускали, и все постарались, как могли, разместиться на биваках. Я бродил около костров, разведенных пришедшими раньше, надеясь найти себе местечко; увидев костер, около которого сидели только двое, я подошел и попросил позволения погреться; мне любезно разрешили сделать это. Через несколько минут принесли кастрюлю со снегом и поставили ее к огню. Из разговора я узнал, что мой хозяин был артиллерийским генералом. «Генерал, — сказал я ему, — что положите вы в эту кастрюлю?» — «Хочу сварить немного риса», — отвечал он. — «Вот случай, ей-богу, — сказал я, — у меня в сумке с самого Смоленска лежит курица, она замерзла и затвер-

дела как камень; я берег ее на крайний случай, но кто знает, что будет завтра. Хотите, сварим ее с вашим рисом и поедим вместе?» Он согласился; я вытащил из сумки курицу, которая быстро оттаяла; сварив ее, мы отлично поужинали и в заключение выпили по стаканчику водки.

Я улегся спать под повозкой и к колесу привязал лошадь; она поела немного скверной соломы с крыши соседнего дома, за обладание которой мне пришлось основательно сражаться. Рано разбуженный толпою, двигавшейся к мосту, я взнуздal лошадь, сел верхом и дожидался своей роты, когда увидел эскадронного командира 1-го стрелкового батальона Уаффье, который сказал мне, что офицеры эскадрона должны поодиночке перебраться через реку и собраться на другом берегу. Я поехал с ним. Приблизившись к переправе, мы увидели громадную, с каждой секундой увеличивающуюся толпу, которая в страшном беспорядке теснилась к мостам. Мой спутник Уаффье ехал на крупной и еще очень сильной лошади; сказав, чтобы я следовал за ним, он врезался в толпу, прочищая себе дорогу в ней. Я следовал за ним, стараясь держаться возможно ближе к нему и не дать отрезать себя от него. Поравнявшись с мостом, он круто повернул лошадь направо и продолжал подвигаться вперед; таким образом мы добрались до спасительного моста, медленно двигаясь среди воплей и проклятий, которыми нас осыпали; мост был почти пуст — до такой степени загроможден был вход на него; по обе стороны его много несчастных бились в воде, и невозможно было помочь им!

Никогда я не видел такого потрясающего зрелища!!! Перейдя мост, мы увидели офицера, поставленного для того, чтобы указывать идущим сборный пункт священного эскадрона: мы направились туда. Вскоре сделали перекличку по ротам, все были налицо. При этих критических обстоятельствах я, конечно, обязан спасением майору Уаффье; если бы мне пришлось одному пробиваться сквозь отчаявшуюся толпу, загромождавшую подходы к мосту, вряд ли бы я добрался до него на моей слабой строевой лошади. Встреча с ним была для меня поистине милостью Провидения! Построенные сжатой колонной по ротам, мы стояли перед кавалерией императорской гвардии; император находился между двумя корпусами; говорили, что в этом по-

рядке мы попытаемся прорваться через армию Чичагова. При нашей решимости успех был несомненен, но наши благие намерения оказались напрасными вследствие победы, одержанной над русскими храбрым маршалом Неем. Простояв целый день на позиции, мы выступили вечером по очищенной перед нами дороге на Вильно.

Какой ужасный вид представляли эти люди, изнуренные бедствиями, скученные в одно место; это ли та армия, которая два месяца тому назад с триумфом заняла половину самой обширной империи? Наши солдаты, бледные, разбитые, умирающие от холода и голода, прикрываясь от стужи какими-то лохмотьями от когда-то существовавших шуб или наполовину сожженными бараньими шкурами, жались, дрожа от холода, друг к другу по берегу реки. Немцы, поляки, итальянцы, испанцы, кроаты, швейцарцы, португальцы, далматы и французы, перемешавшись друг с другом, кричали, перекликались и ругались каждый на своем собственном языке. Офицеры и генералы, укутанные в грязные, испачканные шубы, смешались с солдатами, сердились на тех, кто толкал их или оказывал неуважение их власти, и устраивали такой беспорядок, который невозможно описать никакими красками. Те, кто благодаря слабости или не зная всей опасности не торопился переправиться через реку, те зажигали костры и отдыхали вокруг них. На этом биваке можно было наблюдать, до какой степени грубости могут довести нас несчастья.

Люди дрались за кусок хлеба. Если кто-нибудь, замерзая от холода, подходил к костру, то солдаты, зажегшие его, без всякой жалости прогоняли его прочь. Если кто-нибудь, изнемогая от жажды, просил солдата, несшего полное ведро воды, дать хоть несколько капель, то он резко отказывал. Часто можно было слышать, как люди, бывшие, несмотря на разницу положения, до сих пор друзьями, теперь ссорились из-за пучка соломы или из-за куска конины, который они вырезали для себя. Этот поход был тем более страшен, что совершенно исказил наши характеры и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными и великодушными, сделались теперь эгоистами, скупыми, ростовщиками и злыми.

Приготовления, делаемые нами в Борисове, имели вид, что мы хотим вновь построить мост, и этим маневром мы значительно уменьшили количество неприятельского войска, находящегося против Веселова, тем более что Кутузов, плохо осведомленный о месте, где мы должны были перейти Березину, донес Чичагову, что мы переправимся выше Борисова\*. Наполеон, воспользовавшись этим обстоятельством и подкрепленный прибывшим к Веселову герцогом Беллунским, 27 ноября, став во главе своей гвардии, в два часа дня проложил себе дорогу чрез огромную толпу, торопящуюся к реке. Армия прошла также, но очень медленно благодаря непрерывным починкам мостов. Вице-король, который все время был около императора, велел объявить главному штабу, что четвертый корпус перейдет мост в восемь часов вечера. Этот момент был самый удобный, чтобы совершить опасную переправу, но многие не хотели оторваться от костров, у которых они сидели, и говорили, что лучше расположиться биваком на этом берегу, чем на другом, где были одни болота, что переправа вся запружена народом и что лучше дожидаться следующего дня, когда толпа спадет и проход будет более удобен. Этого мнения держалось большинство, и, таким образом, только свита принца и офицеры главного штаба перешли реку в назначенный час. Надо было не знать всей угрожающей опасности, чтобы решиться не переправляться на другой берег. Вице-король и его свита, находясь на том берегу, расположились в болотистой местности и отыскивали себе обледенелые места, чтобы не попасть в топь. Темнота была страшная. Яростный ветер засыпал нам лицо обледенелым снегом. Большая часть офицеров, боясь замерзнуть и простудиться, не переставая бегали или ходили стуча ногой об ногу. Ко всем несчастьям, так трудно было найти дров, что едва могли зажечь костер вице-королю, и, чтобы достать горящую головню, пришлось напомнить баварским солдатам, что принц Евгений женат на сестре их короля.

28 ноября. Снег падал большими хлопьями; поля и леса были покрыты белой пеленой и терялись в тумане; ясно

---

\* Прошел слух, что Кутузов сделал это неправильное донесение, чтобы отомстить Чичагову, благодаря интригам которого от него отбрали командование армией на Дунае. Таким образом, у адмирала пропало дело, успех которого всецело пал бы на него. (Прим. авт.)

можно было только различить мрачную, наполовину замерзшую реку, которая извивалась по долине и мутные и темные воды которой пробивали себе путь между льдинами.

Несмотря на то, что было два моста — один для повозок, а другой для пехотинцев, — тем не менее толпа была так велика и спуск так опасен, что люди, дойдя до Березины и столпившись в кучу, не могли двигаться. Несмотря на все трудности, все пешие благодаря настойчивости спаслись, но к восьми часам утра мост, предназначенный для повозок и лошадей, рухнул, и потому артиллерия и повозки с багажом двинулись ко второму мосту и хотели силой захватить проход. Тогда началась страшная борьба между пехотинцами и кавалерией. Очень многие из них погибли, убив друг друга, другие же были задушены при самом входе на мост, и трупы людей и лошадей загромождали въезд. Чтобы подойти к реке, надо было пройти по раздавленным телам. Многие из них еще дышали и, борясь со смертью, приподнимались и хватались за проходивших через них. Эти же, чтобы отделаться от них, яростно отталкивали их и топтали ногами. Во время этой борьбы все новые толпы людей надвигались на них, как яростные волны, и человеческие жертвы все увеличивались.

Несмотря на храбрость наших солдат и усилия их командиров, соединенные отряды русской армии сильно теснили девятый корпус, составлявший их арьергард. Их перестрелка нам была уже слышна, и это леденило нашу кровь; она постепенно приближалась, и вскоре мы увидели на соседних возвышенностях огонь неприятельских батарей. Никто уже больше не сомневался, что место, где сейчас находились тысячи невооруженных людей, больных, раненых, женщин и детей, вскоре делается местом сражения...

С места сражения неприятеля с нашим арьергардом неприятельские ядра пролетали над головами этой несчастной толпы, которая вот уже три дня томилась около Березины. Несколько гранат разорвалось даже среди толпы. Тогда напали на всех ужас и отчаяние. Инстинкт самосохранения овладел всеми. Казалось, женщины и дети, избавившиеся от стольких опасений, остались живы только для того, чтобы испытать более ужасную смерть. Они выскакивали из своих экипажей, бросались на колени перед первыми попавшимися и плача умоляли перевести их на дру-

гой берег. Больные и раненые, сидя на пнях деревьев или опираясь на костыли, отыскивали безумными глазами друга, который мог бы их спасти, но голоса их никто не слышал — все были заняты своим собственным спасением. В нашем четвертом корпусе находился генерал, очень пожилой человек с чудным характером. Благодаря преклонному возрасту и слабости он давно уже не мог идти и, как и многие другие, лежал в санях. Заметив одного из своих друзей — офицера, он с большим трудом добрался до него и, кинувшись ему в объятия, умолял о помощи. Этот великодушный офицер хотя и был ранен, но не смог отказать старику в своей, хотя и ничтожной, помощи и пообещал ему не покидать его. Они обнялись и направились к мосту с тем спокойствием, которое обыкновенно испытывают два друга, зная, что у них остается утешение умереть вместе. Опираясь друг на друга, они затерялись в толпе, и я их больше не видел.

Здесь была еще одна женщина, которая шла вместе с армией, между тем как муж оставил ее пока, а сам пошел вперед, чтобы попытаться отыскать место, где можно было бы перейти. В это время граната разорвалась около этой несчастной; все, находившиеся рядом, бросились бежать, а она осталась одна, но так как неприятель приближался, то толпа кинулась к мосту, увлекая за собой эту женщину, желавшую остаться на том месте, где ее оставил муж. Смятая этой беспорядочной волной людей, она почувствовала себя погибшей. Издали было слышно, как она звала своего мужа, но ее трогательный голос смешивался с грохотом оружия и криком сражающихся. Тогда, побледнев, смятая толпой, она упала молча, без чувств, между солдатами, которые ее не слышали и не видали.

Наконец русские, все подкрепляемые свежими войсками, погнались впереди себя польскую дивизию генерала Жерара, которая до сих пор сдерживала их. При виде неприятеля все, кто не успел еще перейти реку, смешавшись с поляками, кинулись к мосту. Артиллерия, кавалерия, пехотинцы — все хотели перейти первыми. Более сильные сбрасывали в воду более слабых, мешавших им подвигаться вперед, шли по телам больных и раненых, попадавших на их пути. Сотни людей остались здесь, раздавленные колесами пушек, другие, надеясь спастись вплавь, замер-

зали на середине реки или погибали, взбираясь на льдины, которые шли вместе с ними ко дну. Несмотря на эти печальные примеры, тысячи людей бросались как попало в Березину, где почти все умерли в мучительных конвульсиях и с отчаянием в душе. Я видел мать, затертую льдинами: она не могла двинуться, но держала над водой свое дитя, крича раздирающим душу голосом о помощи. Дивизия генерала Жерара оружием проложила себе дорогу через толпу, затруднявшую ей путь, и, переходя через груды трупов, достигла другого берега, куда за ней, по всей вероятности, последовали бы русские, если бы мы не поторопились сжечь мост.

*Лабом*

\* \* \*

Наконец и 9-й корпус получил приказание трогаться. Дивизия Дендельса по обоим мостам перешла реку в невероятной давке. Польская дивизия генерала Жерара оставалась еще на левом берегу. Мы расположились на ночлег на болотистом месте, выбирая подмерзшие места, чтобы не потонуть в иле. Было страшно темно; резкий снежный ветер дул нам в лицо. В довершение бедствий и топлива оказалось так мало, что едва удалось развести несколько костров.

28 ноября, едва забрезжило утро, наша дивизия Дендельса переправилась обратно на левый берег и построилась вместе с дивизией Жерара на высотах Веселова, прикрывая переправу от корпуса Витгенштейна. Снег падал густыми хлопьями и одел поля и леса белым покровом; ничего нельзя было разглядеть вокруг, кроме печальной картины полузамерзшей реки, мутные, черноватые воды которой изгибами протекали по долине, прокладывая себе дорогу среди льдин.

Около 9 часов наш корпус был атакован графом Витгенштейном, а на правом берегу Чичагов в то же время напал на герцога Реджио (маршала Удино). Леденящий сердца грохот пушек становился все слышнее, и вскоре на ближайших холмах показались огни батарей Витгенштейна, шедшего на нас с сорокатысячным войском. Мы только что разложили огни и сложили оружие, теперь каждый спешил приготовиться к битве. Началось жаркое сражение. Русские теснили нас, несмотря на всю храбрость наших



солдат, на все усилия вождей: в нашем корпусе было всего 6000 человек. Русские скоро стали серьезно угрожать нам. Наше правое крыло опиралось, правда, на Березину, но левое не доходило до леса, который мог бы служить прикрытием. Чтобы соединить его с этим лесом, была двинута кавалерийская бригада генерала Фурнье, между тем как батарея гвардии поддерживала левое крыло. Бой велся с возобновляющейся энергией благодаря героизму солдат, проявлявших чудеса храбрости, и выдержке генералов Хохберга, Жерара, Дама и Фурнье, из которых некоторые были ранены и все же не покидали поля сражения, все время ободряя сражающихся. Кавалерия производила здергичные атаки в надежде прорвать неприятельскую цепь, и граф фон Хохберг с такой решительностью ударил со своей баденской бригадой на неприятеля, что тот отступил... Русские все время получали подкрепления и, подавляя нас численностью, оттесняли назад, так что наконец нам пришлось оставить позицию: в пылу сражения несколько ядер упало уже на мосты.

Польская дивизия генерала Жерара, до сих пор мужественно отражавшая врага, была отброшена к самой Березине. Теперь все устремились к мостам; всякий стремился переправиться, сильный сталкивал в воду слабого, мешавшего пройти, наступал на больного, лежавшего на его пути. Несколько сот человек были раздавлены колесами орудий, некоторые пробовали спастись вплавь, но замерзли в воде.

Наша дивизия до поздней ночи упорно сопротивлялась напору неприятеля; мы построились на снегу в каре, в котором в одну роту вошли солдаты разных частей. Так простояли мы несколько часов без еды и питья. Нельзя было развести огонь, он раскрыл бы неприятелю нашу позицию. В таком мучительном положении мы пробыли до полуночи, потом двинулись к мосту, имея в центре конную артиллерию и с оружием в руках прочищая себе дорогу через все препятствия. Мы шли через горы трупов, по упавшим на них живым, загораживавшим дорогу, и добрались наконец до моста, где все еще была большая давка. После того как мы пробились на другой берег, генерал Эбле велел на рассвете зажечь мост, чтобы русские не могли перейти.

Несчастные, оставшиеся на левом берегу, должны были неминуемо погибнуть; некоторые пытались еще перейти по

мостам, но им навстречу вздымалось пламя, и они, спасаясь от огня, бросались в воду.

Наполеон в 6 часов уехал в Зембин, оставляя позади, на том берегу Березины, невероятное смятение — мятущихся людей, живое изображение тех несчастных теней, которые, по представлению греков, в подземном мире движутся на берегах Стикса в ожидании лодки Харона.

Русские завладели местом сражения, переправа была окончена, и мертвая тишина сменила страшный шум.

*Штейнмюллер*

\* \* \*

По прибытии нашей дивизии в Борисов, когда мост был уже взорван русскими, мы внезапно среди ночи получили приказ выступать, с требованием вести наше войско в строгом порядке, полном безмолвии и тесно сомкнутыми рядами, не позволяя никому ни под каким предлогом удаляться в сторону.

Придя на рассвете в деревушку Студянку, мы расположились на небольшой возвышенности, господствовавшей на довольно близком расстоянии над Березиной. Артиллерия поместилась с нами там же, и был повторен приказ не допускать никого удаляться с места.

В деревне вокруг некоторых домов лежали кучи досок. Утром пронесся слух, что император был около реки, и, несмотря на настоятельное запрещение отлучаться от наших войск ввиду того, что с минуты на минуту мы могли получить приказание двигаться, я не мог устоять перед любопытством поглядеть вблизи на великого человека при тех условиях, в которых мы находились.

Пробираясь вдоль рядов, я достиг нижнего края позиции и, дойдя до берега реки, увидел его очень близко от себя. Прислонясь к мосткам, находившимся на берегу, скрепив под шинелью руки, он стоял в молчании, не обращая, по-видимому, внимания на то, что делалось вокруг него, и только по временам устремляя взгляд на понтонеров, которые были в реке в нескольких шагах перед ним, иногда по горло в воде и между льдинами, занятые установкой подмостков, которые им, по всей видимости, было очень трудно утвердить на дне, в то время как другие, по мере их укрепления, накладывали на них доски. Единствен-

ные слова, которые я услышал от императора за довольно большой промежуток времени, было замечание, сделанное с досадой и нетерпением командиру, руководящему работой. Он обращал его внимание на то, что дело подвигалось слишком медленно. Но тот отвечал ему очень живо и с уверенностью, указывая на положение этих людей, находящихся так долго в ледяной воде, не имея ничего для своего подкрепления; положение действительно ужасное. Император не возразил ничего. С озабоченным, задумчивым видом он снова принял прежнюю безмолвную позу.

Я вернулся к своему полку и еще некоторое время находился в прежнем положении; мы получили еще несколько приказаний держаться вместе и наготове к походу. Вдруг со стороны реки раздался шум, и я увидел отряд, вступивший на мост при криках: «Да здравствует император!»

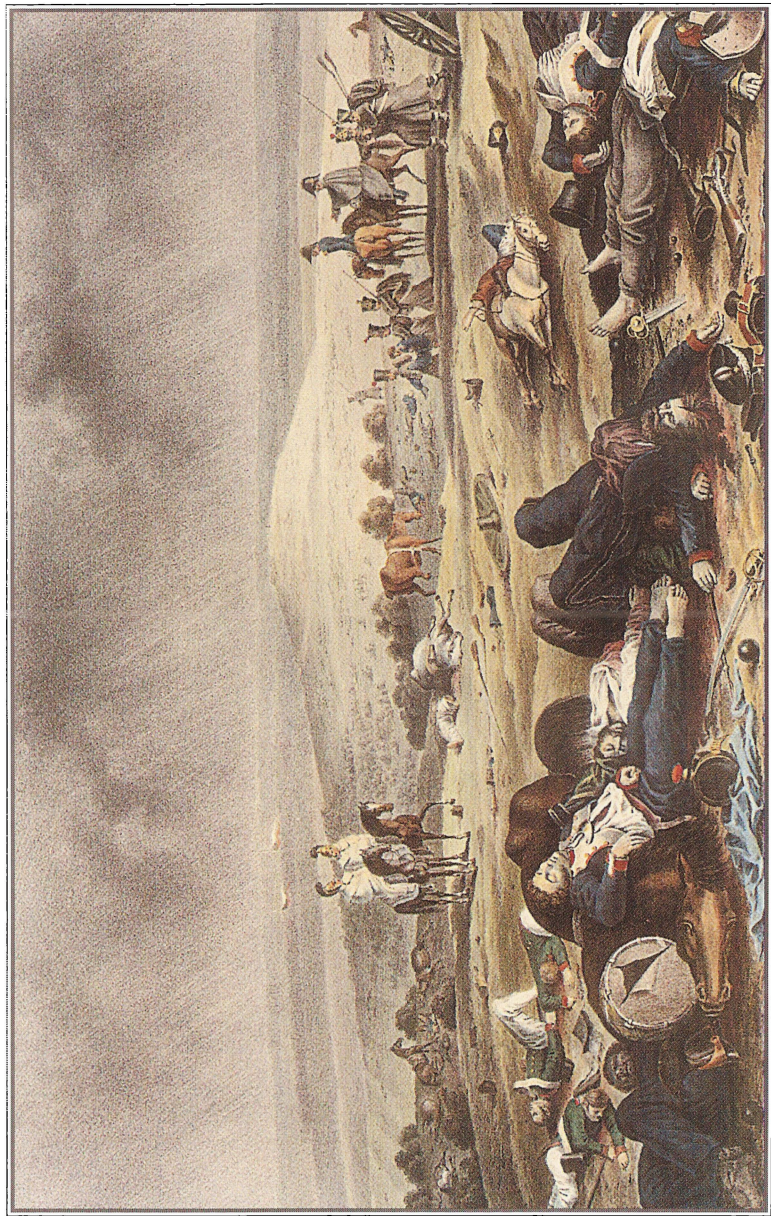
В ту же минуту, 26-го в час пополудни, мы получили приказ двинуться и сами также очутились у входа на мост, на этот хрупкий мост, где я опять увидел Наполеона все в той же позе, в какой я его оставил, таким же задумчивым и молчаливым, не обращавшим на нас никакого внимания, хотя мы все повторяли, подходя к нему, тот же возглас, которым он, по-видимому, нимало не интересовался.

Мы достигли противоположного берега, с которого неприятельские аванпосты были удалены несколькими ружейными выстрелами. Мы заняли позицию и расположились биваком на снегу до следующего дня.

Наутро мы получили приказ идти вперед по шоссе, которое вело к Борисову и в этом месте проходило через лес. Русские, имевшие с этого времени основание предполагать, что переход совершится на этом пункте, направили туда значительные силы из молдавской армии, и их артиллерия сметала все, что попадалось на дороге. Мы были вынуждены кинуться в сторону, в лес, в то время как наша артиллерия расположилась на дороге, чтобы противостоять неприятельской. Здесь завязался на целый день отчаянный бой. Мы развернули тогда нашу линию, несмотря на все затруднения, представляемые лесом, и, подвигаясь вперед, скоро повстречались с неприятелем.

Тут произошел довольно забавный случай.

Казаки, делая разведку, придвинулись к нам и очутились вдруг очень близко от одного из наших молодых под-



*Бородино, 17 сентября*





*Бродяжничьи вертепы, Москва, 2 октября*



*Москва, Кремль, 17 октября*



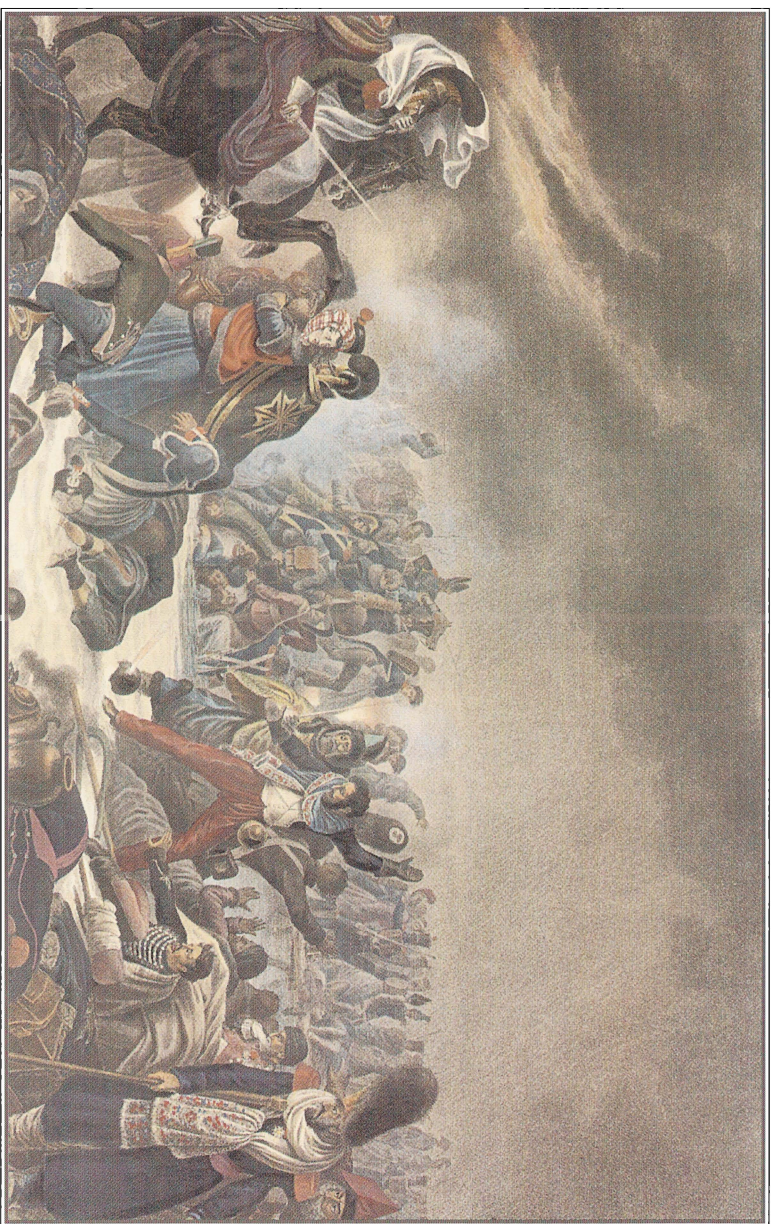


*Лагерь под Михайловкой, 7 ноября*



*Между Корытней и Красным, 15 ноября*





*Переправа через Березину, 28 ноября*





*В кафе Лихтенштейна, 7 декабря*



*Между Браунсбергом и Эльбингом, 21 декабря*



поручиков (фамилия ускользнула из моей памяти), назначенного в застрельщики. Один из казаков, прищпорив свою лошадь, кинулся на него. Прежде чем успели выстрелить, он уже взял его за воротник шинели, чтобы тащить за собой, когда в ту же минуту другой казак, желая иметь свою часть в поимке пленника, примчался стремглав и схватил подпоручика с другой стороны. Последний очутился почти на весу между двумя всадниками. Но благодаря широким рукавам он мог, отбиваясь, вытащить сперва одну руку, потом другую. Затем, пока его противники спорили из-за его шинели, он удрал от них и присоединился к нам, спешившим на его выручку. Он отделался потерей шинели, что, впрочем, было бы очень чувствительно при таком сильном холоде, если бы немного спустя поле битвы не предоставило много лишних шинелей.

Действительно, сражение разгоралось все с большей и большей силой. Это тогда наш бравый батальонный командир Блатман, надевший в первый раз на поле сражения командирские эполеты и орден Почетного легиона, полученный в Полоцке, упал рядом со мной, сраженный насмерть пуль в грудь. Русские употребили на этом пункте все свои усилия, чтобы отбросить нас назад и помешать переходу через мосты, совершавшемуся позади нас, в то время как мы не давали им ходу.

Так как наши ряды непрестанно редели, то было выдвинуто подкрепление.

Вот тут-то прибыл к нам Привислинский легион, прекрасный отряд, хорошо экипированный, с виду довольно сильный, хотя я и не мог достаточно оценить его силу. Это обстоятельство помогло нам твердо держаться на нашей позиции, но неприятель, по-видимому, убедившись, что атаки, производимые в других направлениях, были ложные, стал непрерывно направлять свои усилия на тот пункт, где мы находились, стараясь нас опрокинуть. Тогда против него послали эскадрон кирасир под начальством генерала Думерка. Этот эскадрон, хотя и довольно слабый, продефилировал на нашем левом фланге и углубился в лес, где произвел блестящую атаку, с которой скоро возвратился, гоня перед собой массу русских, число которых определяли тысячи в три; но когда они все продефилировали перед нами, то число это показалось мне несколько преувеличен-

ным. Как бы то ни было, я, как теперь, вижу перед собой этого бравого командира, когда он возвратился, торжествующий, во главе своего эскадрона и толпы пленников и, ударяя себя изо всей силы в грудь, восклицал с энергией: «Черт возьми, нельзя же посылать в атаку в лесу!»

Этой прекрасной и удачной атакой мы, казалось, сбили неприятеля с рук, и в самом деле огонь на несколько минут прекратился, но он скоро возобновился с новой силой, показывавшей, что наши противники получили подкрепление. Мы видимо ослабевали, однако не уступали позиции.

Полковой адъютант Гюбер подошел ко мне и сказал: «Слушайте, капитан, если мы сделаем энергичную атаку в штыки, то сможем их прогнать и потеряем меньше людей».

Эта мысль показалась мне справедливой, и я отвечал: «Ну хорошо, я прикажу выступать: позаботьтесь, чтобы везде подвигались равномерно, чтобы не прорвать нашей линии; иначе мы рискуем, что нас окружат».

Затем я стал впереди и произвел атаку с тем успехом, какого мы ожидали. При начале я был легко ранен, но позднее мне раздробило выстрелом правое плечо; я должен был выйти из строя и перестать лично бить атаку, что я делал для того, чтобы увлечь за собой команду и заменить убитых барабанщиков.

Помимо меня во время моего плена в России мои товарищи из чувства справедливости нашли нужным опубликовать этот эпизод в газетах. Они не знали, какое участие принимал в нем полковой адъютант Гюбер. Движимый таким же чувством, я считал себя обязанным восстановить этот факт и воздать должное тому, кому следовало.

С этой минуты я не знал, что потом происходило, кроме смерти нашего бригадного генерала Кодра, которого убили, должно быть, скоро после того как я был ранен. Позиция сохранялась таким образом весь день, так как я удалился только к вечеру. Я, значит, не могу ничего рассказать о переправе остатков армии, происходившей за нашей спиной, пока мы задерживали русских. Одно могу тебе сказать, что с этой минуты для меня началось самое плохое время из всей кампании.

Я провел в том состоянии, в котором находился, восемь дней, не имея возможности перевязать свои раны. Я шел

день и ночь, пока не попал в руки неприятеля, и, как ты поймешь, мое положение от этого не улучшилось.

*Россле*

\* \* \*

27 ноября после полудня маршал Виктор, герцог Беллунский, прибыл на высоты Веселова и занял там позицию, чтобы прикрывать отступление; но мы узнали от батальона крайнего арьергарда дивизии Партуно, пришедшего очень поздно, что этот генерал, сбившись с дороги, попал в плен с тремя тысячами пехоты и двумя полками кавалерии. Эта новость, взбудоражив все скопище, которое следовало за отступающей армией, произвела значительное загромождение вокруг мостов. Одни хотели перейти и пробивались силой, несмотря на все запреты; другие желали остаться, говоря, что их заберут в плен на другой стороне реки. Это колебание до такой степени разрушило порядок, что никто больше не хотел повиноваться.

Император хорошо сознавал, что нужно было помешать неприятелю следовать за нами и поэтому необходимо было проходить как можно скорее и сжечь мосты тотчас же после перехода. Так как масса повозок могла только задерживать и быть опасной для армии, то император дал формальный приказ жечь все повозки, которые окажутся ненужными. Чтобы отнять всякий повод к непослушанию и показать всю важность этой меры, он начал с того, что велел поджечь свои. До прихода батальона дивизии Партуно переход совершался достаточно правильно. Я получил от генерала Эбле приказ сломать и взорвать мост тотчас после того, как корпус герцога Беллунского и оставшиеся в целости повозки будут на другой стороне. Мне приказано было ускорять движение последних. Я вложил всю возможную расторопность и твердость в исполнение этого поручения, но, когда стало известно, что русские приближаются, мне уже сделалось невозможно втолковать что-нибудь проводникам багажа и маркитанток. Напрасно я говорил им, что при порядке все успеют спастись и что их спасение зависит от быстроты перехода, а спасение нашей армии — от уничтожения мостов, они проезжали маленькими партиями со своими легкими повозками, а большинство из них упорно оставалось на левом берегу вместе с герцогом Беллунским.

Положение мое было тяжелое. Неприятель появился снова, и опасность росла с каждой минутой. Герцог Беллунский, долго удерживавший левый берег против неприятеля, втрое сильнейшего, чем корпус, которым он командовал, был вынужден сделать распоряжение об отступлении. Только тогда проводники повозок, остававшихся на берегу, увидели всю опасность, но уже было поздно; корпус герцога Беллунского перешел в беспорядке. Военный обоз, артиллерийские фуры, повозки с ранеными — все сбилось в одну кучу при входе на мост, дорогу пробивали штыками, многие бросались вплавь в реку и погибали. Неприятель, приветствовавший нас пушечной пальбой и осыпавший нас ядрами, завершил этот беспорядок. Наконец часть войска прошла, но я видел еще сотни нагруженных повозок, оставшихся на том берегу. При таком загромождении всякая надежда на переправу была потеряна. Целую толпу женщин и мужчин пришлось бы принести в жертву, если бы я уничтожил возможность для них присоединиться к нам. Конечно, они сами были виноваты. Но, несмотря на это, я откладывал исполнение этой тяжелой обязанности так долго, как только было возможно, и уже только в последней крайности, т.е. когда русская артиллерия стала беспокоить меня со всех сторон, я решился с великим огорчением исполнить приказ генерала, бывший также приказом императора.

Я тотчас зажег мосты и был свидетелем самого печального зрелища, какое только можно было себе представить. Казаки накинулись на этих несчастных покинутых людей. Они разграбили все, что оставалось на противоположном берегу реки, где было много повозок, нагруженных огромными ценностями. Те, кто не был убит во время этой первой схватки, были взяты в плен, а имущество их сделалось добычей казаков.

*Серюрье*

\* \* \*

Пройдя серез Борисов, мы шли берегом вверх по течению Березины до одной деревни, где сделан был привал часа на четыре. На другом берегу мы видели огни русских биваков. Снег продолжал падать; его навалило уже более фута, когда мы снова тронулись в путь. К счастью, было

совершенно тихо. Наши начальники ничего не понимали в этом передвижении; они все еще думали, что Наполеон сделает попытку восстановить Борисовский мост.

Наконец, еще несколько раз прервав и возобновив наше движение — и все это при полнейшей тишине, — мы подошли с первыми проблесками утра к деревушке домов в двадцать, разбросанных на последних склонах целого амфитеатра холмов, господствующих над Березиной. Это и была с тех пор навеки знаменитая деревушка Студянка. Мы заметили также и два моста, переброшенных через страшную реку, и массу войск, из которых одни были по сю сторону мостов, а другие уже перебрались на другой берег. При виде этого мы, несмотря на наши страдания, испытали чувство глубокой радости и изумления...

Мы сделали привал в небольшом расстоянии от деревни. Несколько времени спустя я увидел, как из одного дома вышли император и большая часть маршалов и генералов. Он разговаривал с одним из них, стариком, который стоял перед ним со шляпой в руках; это был доблестный Эбле. Лицо Наполеона было так же бесстрастно, как в Кремле или в Тюильри; на императоре надет был серый меховой сюртук, расстегнутый, так что виден был обычный его походный мундир. Мюрат, которому никакие обстоятельства не мешали добиваться эффекта в своем костюме, был в этот день в меховой шапке с большим пером цапли. Он направился в нашу сторону и обменялся несколькими словами с полковником 2-го Вислинского полка.

Шрам от сабельного удара по лицу, полученного им в Абукире, обычно мало заметный, очень явственно вырисовывался в данный момент вследствие холода.

— Что вы думаете с вашими ранеными? — сказал он полковнику.

— Да что же, — ответил последний, — они последуют за нами, насколько смогут. Вот, — продолжал он, показывая на меня, — этот поручик, который так доблестно вел последнюю атаку в деле 4 октября; я сделаю все возможное, чтобы сохранить его при себе.

— Это было великолепное дело, — отвечал король, — геройская атака! При случае я ее припомню. А пока я жалею ему орден.



Ордена этого я, разумеется, так никогда и не получил. У доблестного и несчастного короля Неаполитанского с этой поры постоянно была масса других хлопот.

Бертье и вице-король надеты были в плащи на меху. На Нее, которого сразу можно было узнать по энергичному, оживленному, цветущему лицу и рыжеватым бакам, одето было что-то вроде сюртука темно-зеленого цвета. Узнал я также Мортье по его почти гигантской фигуре; Нарбонна, напудренного и причесанного в тот день с такою же тщательностью, как недавно в Версале; Дюрона, одного из честнейших и преданнейших слуг Наполеона, и многих других.

Тем временем снег падал, холод заметно уменьшался; день обещал быть ясным. Было, пожалуй, часов десять, когда наша дивизия сомкнутыми колоннами, в свою очередь переправлялась через Березину. Наш экипаж следовал прямо за нею, но был остановлен отборной жандармерией, которая охраняла доступ к мосту: «экипажи не пропускаются». Нам пришлось сойти, бросив повозку, которая служила нам со Смоленска и которой нам больше не суждено было видеть. А жандармы все-таки не пускали нас: «Пропускаются лишь боеспособные, идущие в строю», — заявили они нам. — «Но ведь это бессовестно, — закричал я, — смешивать раненых с отсталыми! Уж лучше прямо пристрелить нас!» Все мое красноречие, наверное, пропало бы даром, если бы один старший офицер не взял на себя пропустить нас, «как принадлежащих к полку, который как раз проходил». Известно, что все экипажи, оставленные на левом берегу, были перехвачены, — утрата непоправимая, смертельная для большинства раненых.

*Брандт*

\* \* \*

Пройдя вверх по течению около 2 часов, мы достигли небольшой деревни, имени которой не помню. Много генералов, инженерных команд и артиллерии прибыло сюда раньше нас. Работали без отдыха над постройкою понтонных. Время было дорого; положение становилось критическим, потому что в то время, как неприятель сильно теснил наш арьергард, другой русский корпус ожидал нас на правом берегу Березины. Хотя я, как женщина, знала мало толку в

стратегических действиях, но неминуемая гибель была столь очевидна, что на сей раз не могла ускользнуть от меня. Впрочем, еще накануне слова самого генерала Раппа дали мне понять опасность нашего положения. 27 ноября после полудня генерал, прискакав на лошади, приказал своим людям как можно скорее освободиться от лишних фургонов, нагрузить один припасами, а остальные сжечь со всем, находящимся в них. Так как слуги казались не очень расположенными жертвовать своим имуществом, или, лучше сказать, своею добычею, то генерал повелительно повторил свое приказание.

— Вы знаете волю императора, — сказал он. — Надо уничтожить все, что не является крайне необходимым. Кто знает, может быть, сегодня же мы принуждены будем сжечь все!..

Таковы были слова генерала, который удалился только тогда, когда все было истреблено на его глазах.

Если что поразило меня и заслуживает жить в памяти столько же, сколько и самая березинская переправа, — то это самоотверженность понтонеров. Представьте себе людей, истомленных лишениями, которые они переносили вместе со всею армией; эти люди в сильнейший холод идут по реке, по которой несутся громадные льдины, и остаются по грудь в воде для того, чтобы кончить постройку моста. Разумеется, они погибли почти все жертвою своего самоотвержения, но они спасли армию: их цель была достигнута...

27 ноября, в первом часу пополудни, Наполеон, сев на коня, переехал через Березину по одному из мостов, которые были наведены. Мы следовали за ним в нескольких шагах. Французские войска, которые шли впереди императора, заняли позицию на другом берегу реки и отбивали атаки русских...

*Домерг*

\* \* \*

Когда мы к 9 часам вечера пришли в Студянку, император перевез уже на маленьких паромках на правый берег (Березины) несколько сотен стрелков, которые должны были прикрывать постройку мостов; войска Нея, Удино, четыреста или пятьсот кирасиров и гвардия переправлялись через реку и ночью заняли позиции за Студянкой в лесистой местности. Ночь ушла на восстановление порядка, при

котором снарядные ящики могли бы пройти вперед, и на починку мостов, ломавшихся под тяжестью артиллерии. Ночь была темная, в деревне офицеры и солдаты — голландцы, французы, испанцы, саксонцы — на каждом шагу попадали в ямы. Они отчаянно призывали на помощь, но ни веревок, ни лестниц не было.

До рассвета переправа шла по двум мостам без особого беспорядка; мне удалось даже несколько раз перейти по ним взад и вперед, чтобы в безопасности расположить на правом берегу то, что всего важнее было для армии; но около 8 часов утра, когда при дневном свете для всех стало очевидно, какая масса еще не переправилась, каждый устремился к мостам и начался великий беспорядок. Он усилился еще час спустя, когда русские напали с двух сторон и мы очутились между двух огней, что довело до крайности опасность нашего положения.

*Лежен*

\* \* \*

Было туманное пасмурное утро. Силы мои восстановились, так как я поела как следует. Я села в карету, впереди которой шел отряд гвардейцев.

Император стоял при входе на мост и торопил переправу. Я могла вдоволь на него насмотреться, так как мы ехали очень медленно. Он показался мне очень спокойным, точно он находился на смотре в Тюильри. Мост был настолько узок, что наша карета почти касалась императора. «Проезжайте, проезжайте, не бойтесь», — сказал Наполеон. Эти слова, относящиеся лично ко мне, так как, кроме меня, здесь женщин больше не было, заставили меня подумать о том, что, очевидно, опасность существовала.

Неаполитанский король вел одной рукой лошадь под уздцы, а другой опирался на дверку моей кареты. Он сказал мне комплимент. Его костюм совсем не подходил к настоящему моменту и к морозу в двадцать градусов

С открытым воротом, с бархатным плащом, накинутым на одно плечо, с вьющимися волосами и в черной бархатной шляпе с белым пером, он больше походил на героя из мелодрамы! Я никогда еще не видела его так близко и не могла заставить себя не смотреть на него; когда он немного

отстал от кареты, я повернулась, чтобы увидеть его в профиль. Он это заметил и сделал мне грациозный жест рукой. Он был очень кокетлив и любил, чтобы женщины обращали на него внимание. Офицеры также вели своих лошадей под уздцы, так как верхом было опасно ехать; мост был настолько непрочен, что трясся под колесами моей кареты. Погода стала теплее, и лед на реке немного растаял, отчего опасность еще увеличилась.

Когда наконец мы достигли села, то остановились, как приказал император, а все офицеры вернулись к Березине. Я взяла под руку генерала Лефевра (сына маршала), и мы пошли посмотреть, что там происходит. Когда мост сломался, мы услышали невероятный крик, вырвавшийся из уст огромной толпы. Этот крик так и раздается у меня в ушах всякий раз, как я только о нем вспомню. Все несчастные, остававшиеся еще на том берегу реки, погибли под картечью русской армии.

Тут только мы могли понять весь ужас этого бедствия! Лед не был достаточно крепок, ломался, и река поглощала мужчин, женщин, лошадей и повозки. Военные убивали всех, кто мешал их спасению. Огромная опасность не знает законов человечности, обыкновенно сокрушают все, чтобы сохранить только себя.

Мы увидели красивую женщину с ребенком на руках: она попала между двумя льдинами, как в тиски. Ей протянули ружейный приклад и эфес шпаги, чтобы она схватилась за него, но она погрузилась в воду, погубив себя движением, которое она сделала, чтобы схватиться за ружье.

Я, рыдая, отошла от этого ужасного зрелища. Генерал Лефевр, не будучи очень чувствительным, был бледен как смерть и все время повторял: «Ах, какое ужасное несчастье! Ужасно положение тех, на том берегу, под огнем неприятеля!»

Однако некоторым из этих несчастных удалось по льду перейти реку. Они нагнали нас в Вильно и описывали такие сцены, которые заставляли нас содрогаться.

Странная и необъяснимая вещь судьба! Если бы я не потеряла сознания тогда на снегу, я не была бы подобрана маршалом Лефевром и неминуемо погибла бы в Березине, как это случилось с большинством беглецов из Москвы.

После моего возвращения во Францию, представляя меня какому-нибудь влиятельному лицу, употребляли следующее выражение: «Она перешла Березину!»

Я продолжала свое путешествие в карете маршала до Вильно. Здесь я уже была вне опасности!

*Фюзи*

\* \* \*

В ожидании постройки мостов гвардию и главную квартиру поместили на ночь с 24 на 25 ноября в замке князя Радзивилла, расположенном на расстоянии одного лье от моста, где предполагалось совершить переход. Этот замок со всеми службами занимал восточную сторону холма на левом берегу реки.

В хуторах этого замка были огромные запасы сена и много скота, что являлось огромной помощью как для кавалерии, так и для гвардии. Нашлась также мука и сухие коренья.

Из боязни, что нас сожгут в амбарах, я остался вместе с гренадерами на биваке...

Между тем оба строящиеся моста были закончены, а неприятель о том не узнал.

Первыми перешли 1-й и 4-й корпуса, а затем и гвардия без препятствий безопасно достигла противоположного берега, но когда стали переправлять тяжелые орудия, то один из мостов рухнул и дальнейшее движение остальной артиллерии, всех возов, телег и походного госпиталя приостановилось. Это привело в неописуемый ужас всех оставшихся на левом берегу.

Как раз во время этого замедления отряд Витгенштейна, преследовавший нас на близком расстоянии, напал на наш арьергард; тот защищался по мере сил, но, выбитый из позиции, решил отступить и этим облегчил врагу наступление.

К довершению несчастья, наскоро починенные мосты не выдержали и снова рухнули. Всякая надежда на спасение в эту минуту пропала. Потеряв голову, под влиянием отчаяния большинство кинулось вниз на лед, рассчитывая перебраться по льду на другой берег, но благодаря сильному течению река у самого берега не замерзла. Несчастные бросились вплавь, некоторым удалось переплыть это простран-

ство, а другие тонули или гибли, затертые льдинами. Самые благоразумные и смелые бегут назад и сами отдаются в руки врагам, спасаясь от тех ужасов, свидетелями которых они только что были.

Переход через Березину стоил жизни многим людям всех состояний. Матери бросались сами в реку за своими упавшими туда детьми и тонули вместе с ними, крепко их обнимая. Много еще других трогательных проявлений самопожертвования было во время этой катастрофы.

Несмотря на почти непреодолимые препятствия, я несколько раз прошел по одному из мостов незадолго до его крушения, рассчитывая перенести на правый берег несколько ящиков с хирургическими инструментами, самыми необходимыми для раненых. За эти путешествия я едва не поплатился жизнью. Меня затерла толпа, но, к счастью, меня узнали и всякий старался прийти мне на помощь. Солдаты буквально вынесли меня на руках, передавая друг другу, пока не поставили на мост.

Это доказательство их любви заставило меня забыть все грозившие опасности и все мои потери.

Те корпуса, которые первыми перешли реку, встретились с неприятелем.

Русские упорно обороняли проход и готовы были скорей покинуть город, чем уступить дорогу.

Наше положение было чрезвычайно тяжелое благодаря нашим огромным потерям. Несмотря на это, в первое же сражение мы забрали у русских 3000 пленных; много было у них и убитых. У нас также было 600 раненых, которых я на излечение поместил в соседнюю деревню.

Между тяжело ранеными в этом сражении ко мне в амбулаторию принесли с поля битвы генерала Зайончека, одного из самых старейших польских генералов, находящихся на службе у Франции. Он участвовал в войне с Италией, был в Египте и воевал также во всех северных странах Европы. Этому храброму генералу раздробило пулей правое колено. Когда он стоял во главе своей дивизии, в него выстрелили в упор. Благодаря этой ране явилась необходимость немедленно сделать ампутацию ноги, и я тут же, под неприятельскими выстрелами, на снегу, при жестоком морозе, произвел эту операцию. Несмотря на самые исключительные условия, эта замечательная операция увенчалась

неожиданным успехом, и Польша могла похвастать, что была спасена жизнь ее знаменитого воина, которому было уже восемьдесят лет.

За исключением нескольких смертельно раненых, оставленных мною в деревне на попечении санитарных врачей, я отправил в Вильно всех остальных, раненых в последних двух битвах; переправил я их в санях, которые доставили у крестьян.

*Ларрей*

\* \* \*

26 ноября. Император на лошади с пяти часов утра. Его Величество отправляется в Студянку, селение в двух милях направо, около берегов Березины. Продолжают наводить два моста, начатые накануне. Неприятель только мешает переходу, посылая казаков. Бригада легкой кавалерии переходит вброд, имея полсотни стрелков за спинами кавалеристов. Наша артиллерия, построившись в батарею перед помещением императора, довольно удачно стреляет по казачьим эскадронам; неприятель не отвечает на пушечную пальбу; мы ясно разглядели у него одну пушку. В три часа мост для пехоты, построенный на сваях, как и мост для артиллерии, готов. Проходит превосходный 2-й корпус, силою приблизительно в восемь тысяч человек, оглашая воздух кликами: «Да здравствует император!»

Нам доставляет большое удовольствие видеть войска в порядке, настоящих солдат. По мосту для инфантерии провозят два пушечных орудия. К пяти часам мост для артиллерии закончен. Маршал Удино преследует неприятеля на расстоянии 8 верст по направлению к Борису. Вечером мост для артиллерии ломается; всю ночь работают над его восстановлением. Нельзя воздать достаточно похвал дивизионному генералу Эбле; этот генерал вынес невероятный труд.

Понтонеры несли бревна в Березину, находясь по пояс в воде. Конечно, она не была теплой; мороз, однако, не из сильных. Берега Березины болотисты; это делает трудным приближение к ним. На другом берегу большой лес.

За 12 франков я покупаю фунт сахара; это находка.

Помещение, занимаемое императором, даже если бы это была лачуга, сейчас же получает название дворца; нельзя удержаться от смеха над торжественностью, с которой мы

говорим, отправляясь в скверную крестьянскую избенку, жилище Его Величества: «Я иду во дворец».

27 ноября. Артиллерия, император и гвардия переходят мост. Его Величество направляется к корпусу Удино, стоящему на расстоянии четырех верст влево. Обе армии друг перед другом, на расстоянии пушечного выстрела, орудия заряжены, канониры при орудиях. На закате Его Величество прибывает в деревню Заливки, в 2 верстах от Березины. Я дежурный.

Наши солдаты воруют ужасающим образом. На нашем биваке у Шабо украли шляпу — она была у него под головой. У меня похищают меховую попону для лошади. Не один офицер, думающий, что его лошадь идет за ним, приходил только с поводками, обмотанными вокруг руки. Если он возвращался, он находил свою лошадь убитой, разрубленной на части и разделенной.

У нас плохой обед, но мы его находим великолепным. Во время похода повара имеют большое значение. Посылаемый с поручениями к различным частям, я не имел ни минуты отдыха. Весь день армия довольно мирно переходит по мостам; однако было некоторое замешательство.

28 ноября. Герцог Беллунский в одиннадцать часов был атакован на другом берегу Березины. Завязалась довольно живая канонада; он сохранил свои позиции. В три часа несколько ядер долетели до моста, это был момент большого беспорядка. Отсталые солдаты толпами бросились на мост и воспользовались суматохой для грабежа повозок. В конце концов все они были сожжены.

Многие офицеры, посланные в это время к герцогу Беллунскому, не могли протиснуться даже пешком; меня на мосту затолкали, когда я пытался перейти. Когда я приближался к другому берегу, несчастная маркитантка, по пояс в воде, хотела вскарабкаться на мост, но солдаты ее отталкивали; с отчаянием на лице она протянула мне своего ребенка; в тот момент, когда я хотел взять его, волна солдат оттеснила меня назад шагов на двадцать, причем я не мог коснуться земли.

Весь этот день я разъезжаю с поручениями. Так как это сражения не предвидели, то многие офицеры главного штаба были впереди. Большое число лошадей было украдено. Граф Лобау потерял шесть лошадей и свой фургон. Две-



сти пятьдесят лошадей были убиты, сотня людей, пытавшихся взобраться на мост, раздавлена. Огонь прекратился в пять часов вечера; во всех трех корпусах было убито и ранено тринадцать генералов.

Солдаты 1-го корпуса, находившиеся в деревне по ту сторону реки, бросились грабить тех, которые только что перешли через мост. Я силою заставил двоих из них возвратить похищенное: они отняли чемодан у одного отсталого. Последний перечислил мне его содержимое; я заставил открыть его и наградил ударами сабли плашмя воров, уверявших, что чемодан их собственность.

Сильная снежная вьюга; ночи, длящиеся от пятнадцати до шестнадцати часов, невыносимы.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Густые массы людей, расположившихся на берегах реки и далеко раскинувшихся по равнине, предупреждали нас о встреченных на переправе затруднениях. Хотя мы представляли стройную походную колонну, мы не могли протиснуться сквозь толпу, густую и стесненную до такой степени, что несколько человек было задушено. Мы стали в затылок частям, ранее нас прибывшим, но вскоре были стиснуты следовавшими позади нас. С трудом продвинулись мы на один шаг за четверть часа времени, не постигая причины столь медленного движения вперед; причиной этого было скопление войсковых масс при условиях следования по единственному мосту, да еще незначительной ширины.

В том же составе, не разъединяясь и пробираясь вперед через стоявшие впереди массы, провели мы время до самой ночи, с наступлением которой мы должны были отказаться от всякой надежды достичь в этот день моста.

Пришлось вернуться обратно, и так как вся местность кругом представляла сплошной людской муравейник и не было ни единого клочка земли, где бы мы могли расположиться на ночь все вместе, то нам пришлось разойтись и в одиночку каждому искать себе приюта на ночь. Так рассеялась наша колонна, чтобы уже никогда более не соединяться; отныне наши люди или исчезли совсем, или же следовали в одиночку. Особенно тягостно вспоминаю то обстоя-

тельство, что вся эта масса людей, не успевшая переправиться за день, также отхлынула назад, а между тем мост оставался свободным до самого рассвета.

Но лишь только рассвело, как вся эта 100-тысячная масса людей, скученная на одном месте, ринулась одновременно к берегу. Произошла давка, подобной которой, надеюсь, я никогда более не увижу, да и не желаю никому видеть: страшное и безобразное зрелище!.. Те самые солдаты, которые ранее бросились бы на выручку товарищей, думали теперь только о сохранении своей собственной жизни, хотя бы ценой жизни своих окружающих товарищей. Если кто ослабевал и падал, то толпа наступала на него и давила его насмерть. Валились и стиснутые с боков лошади и так же, как и люди, уже более не вставали; иногда падавшая таким образом лошадь, желая встать на ноги, отчаянно билась и сбивала ближайших к ней людей, уже не имевших возможности посторониться, почему валились вместе с лошадью и они и уже вместе с лошадью более не вставали.

Так как только первые ряды могли видеть эти два моста через Березину, то вся остальная масса сзади, не видя мостов, оттесняла к реке все то, что было впереди, сталкивая в реку первые ряды, не находившиеся в направлении моста.

К моему счастью, я находился в направлении правого моста и перешел его, но перешел с величайшим трудом и в полном изнеможении, и вот почему. Еще не добравшись до моста, я вел под руку и поддерживал товарища, раненного ночью саблей в бедро, полагаю — в сочленение. Он так страдал от раны, что одно время не был в состоянии двигаться даже при моей поддержке, и я, желая спасти его во что бы то ни стало, охватил его руками и, почти неся, толкал вперед; таким образом пустились мы по мосту. Но на мосту была такая давка, что люди, шедшие по настилке, ближайшей к воде, должны были всеми силами упираться в противоположную сторону, чтобы не быть сброшенными в воду. С моей ношей в руках я счел необходимым идти по краю моста, но быть лицом к воде; в этом положении я мог удобнее сопротивляться давлению и избегнуть падения в реку.

Таким образом добрался я до противоположного берега, но в страшном утомлении; положив моего раненого на снег,

я повалился рядом с ним, чтобы перевести дух, в чем сильно нуждался...

*Тирион*

\* \* \*

Когда я подошел к мосту, там уже царила сумятица. Люди, не захотевшие воспользоваться ночью и частью утра для переправы, теперь, услышав пушки, нахлынули толпой к берегу Березины, чтобы переправиться по мосту.

Ко мне подошел капрал роты, по прозвищу Толстый Жан, семью которого я знал, и со слезами спросил меня, не видел ли я его брата. Я отвечал отрицательно. Тогда он рассказал мне, что со времени битвы под Красным он не расставался с братом, который болен лихорадкой, но что утром, перед тем как перейти через реку, в силу какого-то необъяснимого рока они разлучились.

Думая, что брат впереди, он всюду искал его и спрашивал о нем у товарищей. Не найдя его на позиции, где стоит полк, он теперь намерен вернуться через мост назад — ему необходимо найти брата хотя бы ценою собственной гибели...

Желая отвлечь его от рокового решения, я убеждал его остаться со мной у мостового укрепления, где мы, вероятно, увидим его брата, когда он явится. Но добрый малый сбросил с себя ружье и ранец, говоря, что дарит его мне, так как мой утерян, а что касается ружья, то в них нет недостатка на той стороне. Потом он бросается к мосту; я стараюсь задержать его, показываю ему мертвых и умирающих, которыми уже завален мост; мы видим, как упавшие мешают другим переправляться, ловят их за ноги, вместе с ними катятся в Березину, чтобы вынырнуть между льдин, затем исчезнуть совсем и очистить место другим. Но Толстый Жан не слушается меня. Устремив глаза на эту картину ужасов, он воображает, что видит на мосту своего брата, пробирающегося сквозь толпу. Тогда, ничего не зная, кроме своего отчаяния, он бросается на груды трупов людей и лошадей, заграждавших вход на мост, и лезет дальше. Первые отталкивают его, видя в нем новое препятствие к переходу. Но он не унывает. Толстый Жан силен и крепок; его оттирают до трех раз. Наконец он пробирается к тому несчастному, которого принимал за своего брата, но

оказывается, что это не он. Я наблюдал за всеми его движениями. Тогда, заметив свою ошибку, он тем не менее горит желанием достигнуть другого берега, но его опрокидывают на спину на самом краю моста, и он близок к тому, чтобы свалиться в воду. Его топчут ногами, шагают по его животу, по голове, — ничто не может сокрушить его. Он находит в себе новый запас сил, поднимается, ухватившись за ногу одного кирасира, а тот в свою очередь, чтобы устоять, хватается за руку другого солдата. Но кирасир, у которого накинута на плечи плащ, запутывается в нем, спотыкается, падает и сваливается в Березину, увлекая за собой Толстого Жана и другого солдата, уцепившегося ему за руку. Они умножают собою число трупов, сгущенных под мостом и по обоим концам его.

Кирасир с другим солдатом исчезли под льдинами, но Толстому Жану посчастливилось ухватиться за козлы, подпиравшие мост, за них он цеплялся, встав на колени на лошадь, лежавшую поперек. Он молил о помощи, но его не слушали. Наконец саперы и понтонеры бросили ему конец веревки, он с ловкостью подхватил ее и завязал себе вокруг туловища. Наконец, переходя от одних козлов к другим, пробираясь по трупам и по льдинам, он достиг другого берега, и там его вытащили. Но я уже больше не видел его; на другой день я узнал, что он таки отыскал своего брата в полуверсте оттуда, но застал его умирающим и что сам он в безнадежном состоянии...

Во время этой бедственной переправы гренадеры гвардии бегали от одного бивака к другому. Их сопровождал офицер; они просили сухого топлива, чтобы развести огонь для императора. Каждый спешил отдать все, что у него было лучшего; даже умирающие и те приподнимались, говоря: «Вот, берите, — ведь это для императора!»

Было часов десять; второй мост, предназначенный для кавалерии и артиллерии, рухнул под тяжестью пушек в ту минуту, когда на нем находилось много людей, — большая часть их погибла. Тогда беспорядок еще усилился, все бросилось к первому мосту, не было возможности проложить себе путь. Люди, лошади, повозки, маркитанты с женами и детьми — все смешалось в общую кашу и давилось по пути; несмотря на крики маршала Лефевра, стоявшего у входа на мост, ему не удавалось водворить мало-мальский

порядок, и он не мог более оставаться на мосту. Он был унесен людским потоком со своей свитой и, чтобы не быть раздавленным, принужден был перейти через мост.

Ночь провели мы прескверно. Много людей императорской гвардии погибло. Наконец настало утро 17(29) ноября. Я отправился опять к мосту посмотреть, не найду ли еще кого из солдат полка. Несчастные, не захотевшие воспользоваться ночью для того, чтобы спастись, когда рассвело, кинулись толпами на мост. Уже заготавливалось все нужное, чтобы сжечь его. Многие бросались прямо в реку, надеясь, что им удастся переправиться как-нибудь вплавь по льдинам, но никому не удалось пристать к другому берегу. Я сам видел людей, погруженных по плечи в воду, с поблуждавшими лицами, и все погибали самым жалким образом. На мосту я увидел одного маркитанта, несшего ребенка на голове. Жена его шла впереди, испуская вопли отчаяния. Смотреть на все это было свыше сил моих, я не мог выдержать более. В тот момент, когда я отходил, повозка, в которой находился раненый офицер, свалилась с моста вместе с лошадью и несколькими сопровождавшими ее людьми. Так погиб Легран, брат доктора Леграна из Валансьена. Он был ранен при Красном и добрался до Березины. Когда русские стали обстреливать мост, говорят, он вторично был ранен, прежде чем упасть в воду вместе с повозкой.

Наконец я удалился. Мост загли; вот тут-то, говорят, разыгрались сцены, не поддающиеся описанию. Переданные мною подробности представляют лишь бледный набросок страшной картины.

*Бургон*

\* \* \*

Я был один из тех, которые благодаря беспечности слишком долго замешкались на левом берегу Березины, что могло иметь дурные последствия, если бы меня не спасла граната, брошенная одним из неприятелей перед тем, как был зажжен мост; толпа бросилась от этой гранаты в сторону, освободился проход, я этим воспользовался, добрался до моста и таким образом спасся. Перейдя на правый берег, я некоторое время следил за пожаром моста, слышал страшные крики и стоны, несшиеся с другого берега, в то время как направо и налево от меня разрывались пушечные ядра.

Затем я приготовил себе на маленьком брошенном костре уже наполовину сваренное мясо, которое я незадолго до этого купил у солдата вместе с небольшим количеством плохого хлеба; когда все это было уничтожено, я направился к лесу, который виднелся на пригорке и через который шла дорога...

Когда я вошел в длинный темный еловый лес, то уже издали увидел посреди дороги большой костер (теснота на дороге прекратилась, потому что, благодаря пожару, на мосту закончился поход; те же, которым удалось перебраться, поспешили как можно скорее уйти вперед); около этого огня я нашел много вюртембергских товарищей; как следует отогревшись, двинулись мы все вместе дальше. Подвигаться приходилось очень медленно, страшно мешал снег, который валил до сих пор хлопьями, и толпы беглецов, которых мы снова нагнали. Около трех часов сделалось совершенно темно, и мы решили в этом лесу высмотреть себе место для лагеря, чтобы немного отдохнуть. Скоро мы нашли кучу елового хворосту, из которого сделали прекрасный костер. У меня было немного хлеба, другие тоже имели кое-что из провизии, — здесь мы как следует подкрепились и поднялись только около 2-х часов ночи.

К утру мы подошли к барскому дому, где встретили множество знакомых офицеров. Майор Штарклов (Starkloff) подкрепил меня глотком спирта, я же дал ему потихоньку от других кусочек хлеба; помогая друг другу, мы увидели, что каждый из нас имел небольшой запас, и дали обещание не расставаться, что выполнить оказалось невозможно при ужасной тесноте на дороге. 30 ноября двинулись мы дальше и, несмотря на страшную сутолоку, мой друг капитан фон Бутш, которому я был обязан своим спасением, не покидал меня больше до самой Вильно.

*Иелин*

\* \* \*

В течение более чем шести часов я, несмотря на свой костыль, руку на перевязи, разорванный бок и содранную руку, отыскивал способ пробраться на мост. Раз по крайней мере пятьдесят меня поглощают впадины, образуемые кучами людей и лошадей.

Настойчивость, однако, не покидает меня, и, пробиваясь между мертвыми и ранеными, я достигаю моста. Я перехожу через него сам не знаю каким-то чудом и присоединяюсь к частям дивизии, столь же счастливым, как и я. Но я смят, расшиблен, мои раны раскрылись и покрывают меня кровью.

Товарищи встречают меня с такой радостью, которую я не могу себе объяснить: потеряв меня в толпе, они считали меня в числе погибших. Они делятся со мной своей черной кашицей, которая несколько подбодряет меня, и в первый раз после моего отъезда из Москвы раны мои перевязаны нашим главным полковым врачом, который решительно не может себе представить, как мог я в подобном состоянии переносить столько лишений и такое утомление. На это я не могу ничего ответить, так как и сам этого не знаю.

Березина так переполнена трупами, лошадьми и повозками, что вышла из берегов шагов на 50—60.

Наши потери (убитыми русскими или раздавленными на мосту) должны быть от 30 до 40 тысяч. Русские отобрали все драгоценности, увезенные нами из Москвы. Одним словом, Березина стала могилой этой армии, столь блестящей восемь месяцев тому назад.

Ночью мой солдат, которого я не видел тридцать шесть часов, приходит на бивак. Он не может удержаться от слез, обнимая меня: он увидел меня еще живым! «Ну, ну, мой молодец, — говорю я ему, — теперь я уж не умру». Я спрашиваю его, куда девалась моя лошадь; он не мог ее спасти, что меня нисколько не удивляет, но в моем чемодане были некоторые вещи, взятые в Москве и представляющие значительную ценность! Ба! К чему горевать! В ту же ночь мы опять выступаем в глубоком молчании. На другой день в одиннадцать часов мы приходим в Зембин; там мы находим кое-какие зерновые припасы, картофель и овощи.

Какой-то солдат приводит мою лошадь, но на ней уже нет моего чемодана.

*Франсуа*

\* \* \*

Берега Березины болотисты — подобная почва редко промерзает, — и это обстоятельство сослужило мне службу. Весь день 28 ноября я находился в арьергарде. У меня под

командой было около 500 лошадей, впереди же меня, — может быть, тысяч десять, но благодаря свойству почвы русские не могли развернуть своей линии и оказались в неприятной необходимости держаться небольшими отрядами на мощеной дороге, рискуя иначе погибнуть в болотной топи: я разумею под словом «мощеной» дорогу, покрытую деревьями, положенными одно возле другого в виде плах. Таким образом вымощены почти все дороги в России. Те русские, что находились передо мной, меня не тревожили, так как с отрядом в 12—16 человек вряд ли я мог задержать их и преградить им дорогу. До сих пор они не имели с собой пушек, и я не боялся их залпов, но только до тех пор, пока мне не нужно было отступать; с той же минуты, как мне пришлось идти назад, теряя таким образом свою позицию, мои потери сделались очень чувствительны. Обыкновенно русские бывают ужасны с момента, когда начинается отступление; они обрушиваются на вас как бешеные. Когда я уверился, что мой полк перешел Березину и что наши шесть пушек были спасены, я стал уговаривать храброго полковника Любенского уйти с тем небольшим количеством людей, которые были с ним для моей поддержки. Он хотел ждать меня, но я уговорил его: это не повело бы ни к чему хорошему, тем более что при нем находился знаменщик с полковым орлом. Он ушел и перебрался через реку вброд, открытый нашими уланами, пробившими лед толстыми концами своих пик.

Теперь, когда уже ничто не мешало моему отступательному движению, я хотел как можно поспешнее совершить его; я даже был к этому вынужден, так как вновь прибывшие русские егеря вознамерились перебраться через болото, чтобы зайти мне в тыл. У меня было еще около 300 лошадей, и я сделал несколько атак, чтобы прикрыть свое отступление, но при каждой атаке я терял много людей; мои лошади были дурно или вовсе не подкованы, и много всадников попадало с них и поднималось только для того, чтобы быть убитыми. Наконец совсем близко от деревни Веселово, за которой находился брод, поручик Стемпковский упал под ударами неприятеля. Это был храбрый молодой человек, к которому я был очень привязан; поэтому я не колеблясь поспешил к нему на помощь, но он не мог



уже встать: он получил по крайней мере ударов тридцать саблями и пиками. Я должен был его покинуть, большинство моих солдат постигла та же участь.

Я вернулся на дорогу в деревню, тут моя лошадь была насквозь пронизана пулей; она упала, но тотчас же опять поднялась на ноги. В это время между нами и неприятелем происходила свалка, и мы находились на таком близком расстоянии друг от друга, что не могли взаимно очень сильно вредить друг другу, что, однако, не помешало следовавшему за мной улану нанести мне удар пикой в верхнюю часть руки. В полной сумятице мы дошли до конца деревни, но там, когда мне оставался лишь один шаг, чтобы добраться до реки, я с отчаянием увидел, что проход был закрыт барьером. Кто его сделал: наши ли, русские ли или, может быть, местные жители — мне неизвестно; средство было хорошее, но, к несчастью, я стал его жертвой, так как моя лошадь была не в силах перескочить барьер: она зацепилась за него передними ногами и повисла. В эту минуту удар пикой в поясницу показал мне, что пора было подумать о защите. Я оторвал свою лошадь от проклятого барьера, обернулся и изо всей силы ударил саблей по лицу неприятельского кавалериста, намеревавшегося схватить меня; взамен я получил сквозной удар пикой повыше сердца, она прошла у меня между плеч. Этого удара с меня было достаточно, я упал и потерял сознание. 20—30 уланов, остававшихся еще со мной, разделили мою несчастную судьбу: одни были убиты, другие захвачены вместе со мной в плен. На этом пункте Березины перешли все французские полки; к несчастью, это произошло не везде.

*Вашо*

\* \* \*

Мы переправились на правый берег Березины. Мост показался мне не особенно надежным. Мы шли по нему вместе с доблестными кирасирами Думерка и швейцарцами трех других полков, в общей сложности восемь тысяч отборных молодых.

Это было вечером 27 ноября. Выходя на правый берег, мы встретили несколько стрелков русского авангарда, которые исчезли в темноте.

В ночь с 27-го на 28-е мы расположились в лесу, на расстоянии пушечного выстрела от моста, через который только что переходили.

Дул сильный леденящий ветер; наши люди прижимались друг к другу, чтобы согреться. Самые большие сосны задерживали снег, и под такого рода сенью мы страдали меньше. Наши караулы были на своем посту, а офицеры, большей частью прислонившиеся к деревьям, за всю ночь не сомкнули глаз, опасаясь какой-либо неожиданности. Наши размышления были далеко не радужными. Голод и жажда мучили нас; мы чувствовали, что на следующий день придется упорно сражаться. Но не это беспокоило нас; наши, наоборот, только и ждали часа, чтобы схватиться врукопашную.

Ночь провели довольно-таки грустно, среди сильного мороза, а едва лишь занялась заря, как мы заметили сквозь лесные прогалины многочисленные колонны русских, которые уже накануне получили, без сомнения, приказ атаковать нас и сбросить в Березину. Мы не заставили себя долго ждать, и день 28 ноября будет навсегда памятным для славы швейцарцев.

После первой, весьма счастливой атаки командир наш, фон дер Вейд из Зеedorфа, энергично продолжал нападение. Когда я приказал своему адъютанту, унтер-офицеру Барбею, идти за патронами, тот повиновался, как вдруг был сражен смертоносным ударом. Я повторил то же приказание некоему Шерценеккеру, который также получил удар в правую руку. Я хотел было послать третьего унтер-офицера, как вдруг заметил, что русские подходят все ближе под защиту своих многочисленных стрелков.

В полку нашем едва можно было насчитать восемьсот человек, но они были хорошо обмундированы и сознавали важность доверенной нам позиции. Мы слышали грозный шум артиллерии и крики «ура!». Это была русская армия, которая, узнав о переходе нашего армейского корпуса, приближалась к нам все в большем количестве, чтобы оспаривать у нас этот переход.

С позиции, которую мы занимали на лесной поляне, на расстоянии пушечного выстрела от моста, нам было видно не очень далеко. Справа от нас, почти против самого моста, должны были находиться 1-й и 4-й швейцарские полки.

Впрочем, нам было трудно определить совокупность движений армии. В подобные моменты каждый чувствует необходимость остаться на своем посту, и так как дело шло о том, чтобы не позволить русским приблизиться, для этого требовалась ни более ни менее как героическая оборона...

28-го мы ни на момент не оставались в бездействии. Сонмы русских палили в нас таким сильным огнем, что после часовой битвы нам пришлось значительно двинуться назад. Я сделался правой рукой полковника, не успевшего справиться со всем своим делом. Когда я увидел, что полк наш под ружейным огнем медленно подается назад, я поступил так же, как под Полоцком, согласно данному мне приказу: я велел бить к атаке на русских в штыки. Эта вторичная атака заставила русских отступить на несколько шагов. Мы их принудили покинуть лес и вновь перейти через большую дорогу; но так как они были значительно многочисленнее нас, то возобновили перестрелку.

Мы обменялись несколькими ружейными залпами, но через двадцать минут они вновь начали одерживать верх и пытались сбросить нас в Березину. Тогда я опять велел бить к атаке, и штыки наши оттеснили их далеко назад.

Семь раз подряд покрывали мы почву их убитыми и ранеными. Несмотря на этот частичный успех, я очень беспокоился о судьбе нашего знамени: офицеры, несшие его, дважды выбывали из строя: тогда я поручил его одному офицеру, чтобы оно было в безопасности в главной квартире.

Несмотря на то, что наши изнемогали от усталости и за весь день ничего не ели, никто из них не жаловался и они с прежней энергией атаковали в штыки.

Помню, что во время этих битв мы так близко подходили друг к другу, что какой-то русский солдат занес было штык над моей грудью; я отразил удар и хватил его саблей, но, ввиду того что острие моей сабли было сломано еще до прибытия на Березину, мне пришлось очень близко подойти к своему противнику, чтобы ударом свалить его на землю.

Мы собирались предпринять восьмое нападение. Русские становились все многочисленнее. Вдруг я имел несчастье быть раненым в руку. Я продолжал сражаться, несмотря на

боль, которую испытывал; но, когда русские подошли еще ближе, меня задела вторая пуля, раздробившая ногу выше колена.

Лошади у меня не было: ее убили под Полоцком... Полковник фон дер Вейд, заметив, что я выбыл из строя, приблизился ко мне. Я, как сейчас вижу, как он в знак отчаяния закрыл глаза руками.

«Мой храбрый Бего, — воскликнул он, — возьмите моего коня!»

Я никогда не забуду этого доказательства преданности и привязанности со стороны доблестного полковника... Бог знает, что ожидало его впоследствии. Не один только наш полк сражался так мужественно. Находившийся недалеко от нас 1-й швейцарский полк обнаружил подобную же неустрашимость. Капитан Рей, мой превосходный и достойный уважения друг, видя, что русские напирают, велел бить к атаке в штыки. Все его барабанщики выбыли из строя; тогда, схватив барабан, он начал бить к атаке один, изо всех сил. Вот благородный пример мужества, который я с радостью привожу в этих строках!

Раненный, я ехал в сопровождении своего верного денщика Дюпюи, теряя много крови из последней раны; но, прежде чем быть в безопасности от неприятельских снарядов, мне пришлось пережить еще несколько скверных моментов. Покидая лес, я бросил последний взгляд на своих доблестных товарищей. Некоторые из них, подобно мне, были родом из кантона Ваадт. Я видел, что их пало под русскими пулями такое множество, что я задавал себе вопрос: увижу ль их еще?

Я достиг беспрепятственно большой дороги, но, прибыв туда, подумал, что настал мой последний час. Дорога была изрыта русскими ядрами: они сыпались со всех сторон и катились во всех направлениях...

Бомбардировка не прекращалась. В лесу с шумом падали громадные деревья. Прибавьте к этому крики раненых и ужас тех, которые уцелели, при виде того, как падают, сраженные ядрами, их соседи; а потом падают и они сами, в тот момент, когда считают себя уже вне опасности. Нужно самому видеть это ужасное зрелище для того, чтобы представить себе его!

Так добрался я до походного госпиталя, где мне сделал перевязку наш главный хирург Давид. Ободрив меня, он мне сказал смеясь: «Ну вот и готово! Тебе еще суждено отправиться в деревню — сажать овощи!»

Его предсказание исполнилось.

После перевязки я вновь сел на лошадь в сопровождении своего храброго Дюпюи. Снабженный кое-какими съестными припасами, я имел возможность в тот же вечер добраться до главной квартиры, расположенной на расстоянии 15 верст от того места, где я был ранен.

*Луи Бего*

\* \* \*

При наступлении темной ночи мы молча покинули биваки, поднялись вновь на левый берег и на рассвете прибыли в деревню Студянку. Уже три дня, как стало несколько теплее, но за эту последнюю ночь мороз начал вновь усиливаться.

Прибыв в Студянку, мы стучали зубами от ледящего холода, но нам было запрещено зажигать огни. Утром явились пехота и артиллерия. Тотчас же приступили к разрушению наиболее сохранившихся домов, чтобы добыть материал, необходимый для постройки моста.

Гвардейские моряки и понтонеры принялись за дело. Тогда нам позволили развести огонь. Когда совсем рассвело, мы заметили на противоположном берегу русские колонны, идущие на Борисов.

Адмирал, обманутый накануне диверсией, сосредоточил свои войска ниже этого города, чем и объяснялось счастливое очищение территории, против которой наши понтонеры работали совсем беспрепятственно.

Мы столпились между берегом реки и деревней на виду у неприятеля, который тем не менее продолжал путь. Сила дисциплины такова, что ни один начальник не смел ослушаться — счастье для нас — приказа адмирала. Мы говорили друг другу: думается, что эти глупцы нисколько не интересуются выгодами своей позиции.

Император проехал недалеко от нас, чтобы направиться на небольшой холм, который возвышался по эту сторону реки. Все наши взгляды направились на него. Даже и при столь критических обстоятельствах мы не переставали ве-

рить в его гений: ни вздоха, ни ропота не слышно было в наших рядах. Закончив свою рекогносцировку, Наполеон вновь проехал мимо нас. Он показался нам более удовлетворенным и, оживленно жестикулируя, разговаривал со своими генералами. Мы не могли расслышать, что он говорил, но понимали, что он поздравлял себя с тем, что ввел адмирала в заблуждение.

Немного спустя на холмике, только что покинутом императором, подвигнута была двойная батарея. Нам было разрешено расположиться там, чтобы видеть дефилирующего неприятеля, арьергард которого часто оборачивался с целью наблюдать наши действия. Московская дисциплина послужила, однако, на пользу императору.

Когда мост был закончен, после полудня 26 ноября (если я не ошибся на день), мы получили приказ — совершить переправу. Трудно представить себе энтузиазм, одушевлявший нас. Все мы сознавали важность доверенной нам миссии. Дело касалось спасения армии, при которой находился сам император! Разве не приходилось спасать и его? История скажет, что 2-й корпус оказался вполне достойным Франции за эти три достопамятных дня.

9-й корпус, оставшийся на левом берегу для защиты мостов, заслужил своей самоотверженной преданностью мученический венец. Мир праху доблестных воинов, погибших там, и слава храбрецам, которым удалось избежать величайших из несчастий этой ужасной кампании!..

Остатки 7-го польского уланского полка, который лучше нас знаком был с местностью, переправились первыми; и так как император желал, чтобы к нему привели пленных для того, чтобы расспросить их, наши храбрые союзники бросились по следам казаков и, захватив двоих из них, привели их в главную квартиру. За польской конницей последовали мы. Затем переправился 23-й полк. Мост не особенно был надежен; приходилось переходить через него пешком и из предосторожности переводить лошадь от лошади на известном расстоянии, что задерживало переправу бригады. Очутившись на правом берегу, мы могли смело сесть на коней, и, когда собрались все вместе, каждый эскадрон двинулся вперед по дороге из Борисова в Вильно, которая проходила недалеко. Ночью к нам присоединились первая бригада и кирасирская дивизия. При на-

ступлении ночи мы расставили караулы и расположились биваком в большом лесу.

Остатки 2-го корпуса, который заключал в себе тогда лишь 12 000 человек, расположились на равнине вблизи холма. Солома с крыш служила пищей для наших бедных лошадей.

Накормив, насколько это было возможно, своих лошадей, пехотные стрелки развели большой огонь, вокруг которого мы грелись. Каждый кавалерист отдал в общее пользование часть съестных припасов, отнятых третьего дня у неприятеля, и повара занялись варкой супа. Один несчастный раненый робко приблизился к нашему кругу, но кто-то из стрелков грубо сказал ему: «Товарищ, если вы хотите греться, то принесите дров». Возмущенный этим, я встал и усадил раненого на свое место, сказав стрелку:

«Нынче вечером вы были подло грубы, хотя обыкновенно бываете храбрым и добрым».

Устыдившись своего поведения, он покидает круг со слезами на глазах. Я его не позвал обратно. Однако стрелок Морэн был, в сущности, добрым товарищем, но при столь исключительных обстоятельствах, находясь под влиянием ужасных бедствий, он на мгновение поддался легко эгоистическому побуждению. Кроме того, бедняк Морэн потерял своего брата, офицера 7-й роты, который погиб во время атаки перед Борисовом, и, быть может, это и ожесточило его.

Я возвращаюсь к нашему несчастному гостю, который, как я уже говорил об этом, был ранен в голову. Усевшись на своем месте, он вынул из маленького кожаного мешка кусок конины, который он стал жарить на огне, держа его на шпаге. Он делал это, не произнеся ни слова и отворачиваясь от очага. Внимательно наблюдая за ним, я заметил крупные кисти на темляке шпаги, заменявшей вертел. Это обстоятельство заставило меня признать штаб-офицера в этом несчастном, закутанном в короткий крестьянский полушубок, часть которого обгорела от бивачных огней.

Из его мундира виднелся лишь грязный загнутый воротник сомнительного цвета. На голове его была шапка из серой мерлушки, вокруг которой был повязан когда-то белый платок.

— Вы ранены, командир? — спросил я его, не колеблясь.

— Да, товарищ, — ответил он мне с итальянским акцентом, бросая на меня беспокойные взгляды.

— Не будет ли нескромным спросить: а какому корпусу принадлежите вы, командир?

— Я полковник одного из полков итальянской королевской гвардии.

— Полковник! Итальянец! — воскликнул я, приблизившись к нему. — Вы видите перед собою пьемонтца, который очень счастлив служить вам по мере своих слабых сил, и, созвав своего стрелка, я приказал дать ему сухарей, рома и несколько кусков сахара — добычу, захваченную из генеральского экипажа. Этот храбрый вояка, пораженный яствами, которые мы ему предлагали среди всеобщей нужды, принял все со слезами на глазах.

Когда был готов скверный суп с салом, также отнятым у русских, стрелки наши налили тарелку и подали ему вместе с куском сала и несколькими обломками сухарей. Все хлопотали около него и наполнили немногим, что у них было, кожаную сумку почтенного раненого, который не знал, как и благодарить эти добрые сердца. После ужина он тут же заснул. Я подложил несколько соломинок под его голову, а еловые ветви, которые натыкали над ним стрелки, служили ему убежищем, так как шел сильный снег.

На рассвете мы сели на коней и покинули нашего гостя спящим; гостеприимство наше не могло идти далее... Что-то случилось с несчастным полковником? Не сделалась ли та скудная пища, которую мы положили в его сумку, добычей какого-либо проголодавшегося? Во всяком случае, весьма сомнительно, чтобы он был в состоянии перенести те неимоверные бедствия, которые терпела армия до самого Вильно.

В последствии я очень сожалел, что не осмелился у него спросить его имя, чтобы привести его здесь.

Мы шли навстречу неприятелю, который, одумавшись, возвращался вчерашним путем. Делиб, полковой адъютант, приблизился ко мне и конфиденциально сказал:

«Вчера вечером император удовлетворил часть прошений, составленных мною по поручению полковника и касающихся замещения мест офицеров, убитых или взятых в плен. Вы приставлены к чину подпоручика и к награде



знаком отличия; но пока что вам еще не везет. Нынче ночью полковник мне сказал:

«Калоссо еще ничего не получит. Другим кандидатам, которые старше его по возрасту и по службе, оказано предпочтение».

Я поблагодарил своего друга Делиба за оказанное доверие и радовался, что полковник не забыл меня. В то же время я находил справедливым, что, так как император не был в состоянии удовлетворить всех прошений, то при одинаковых заслугах предпочтение должно быть оказано старшим по возрасту и по службе.

Этот момент был, ничего сказать, весьма подходящим для честолюбивых видов! Делиб был убит в тот же день.

Около девяти часов огонь на наших аванпостах предвещал нам новые сражения. При криках: «Да здравствует император!» — мы заняли наши позиции и, несмотря на численное превосходство неприятеля, рассчитывали на победу. От нее зависела участь армии. Мы знали, что за ночь наш мост сломался; но он был тотчас же исправлен. Мы знали также, что для переправы артиллерии и обозов строится другой мост, более надежный. Отступление было обеспечено, если бы нам удалось в продолжение двух дней устоять против войск адмирала Чичагова. Таким образом мы сдерживали натиск неприятеля, вдвое сильнеешего, чем мы, наступающего на нас на весьма ограниченном поле битвы. За эти два дня мы захватили около двух тысяч пленников, которые почти все погибли от голода в следующие дни по дороге в Вильну.

У нас осталось лишь четыре офицера, несших строевую службу в полку, который сократился до размеров слабого эскадрона.

Мы, оставшиеся в живых, говорили друг другу: «Император должен быть доволен нами».

*«Мемуары старого солдата»*

\* \* \*

На рассвете 28 ноября русские атаковали нас на правом берегу Березины. Французы могли выставить всего только 9500 человек против 32 000 русских. Удино был ранен, и маршал Ней принял команду. Произведенная вечером генералом Думерком блестящая атака, во время которой было

захвачено 1500 человек русских, закончила это славное для французов сражение и освободила дорогу на Зембин.

В это же время на левом берегу реки шло также ожесточенное сражение, и там численность неприятеля еще более превышала силы французов. Рано утром я получил приказ от маршала Виктора вернуться на левый берег, но если мне было трудно перейти мост, то теперь вернуться по нему стало прямо невозможно. Не стоит описывать давки этой беспорядочной волны людей всех наций, притекавшей к мосту в ужасной неурядице.

Масса больных и раненых были сброшены прямо в реку, покрытую льдом. В это время не переставая падал густой снег. В конце концов мост провалился под тяжестью, и прошло много времени, прежде чем усталым и голодным саперам удалось его поправить. Но эти храбрые люди, стоя по грудь в воде, работали с большим усердием и самоотвержением: они обрекали себя на верную смерть, чтобы спасти армию. Несколько кавалеристов попробовали переехать реку вплавь, но их затерло льдом. Короче говоря, куда ни взглянешь, видны были только сцены бедствий и лишений. Наконец я достиг со своей пехотой левого берега, где я поставил свою бригаду перед селом Студянка. Мои орудия остались на правом берегу, так как толпа помешала переправить их через мост. После гибели бергской артиллерии два оставшиеся орудия были отданы капитану баденской артиллерии Хеймесу, и его артиллерия, находясь под началом капитана Фишера, была в великолепном состоянии. Его орудия были всегда запряжены четырьмя лошадьми, а муниционны́е повозки и другие экипажи — тремя. Правда, его лошади, за исключением тех, которые привезли под охраной квартирмейстера Гама съестные припасы, были изнурены из-за неисправности запряжек, но, кроме сожженных мною муниционны́х повозок, у нас не было других потерь...

В начале похода 9-й корпус насчитывал 12 500 человек, но еще до Борисовского сражения в нем осталось всего только 3500 человек, включая кавалерийскую бригаду Делетра. У герцога Беллунского было всего 5000 человек, которые едва могли держаться против армии Витгенштейна, имевшего по крайней мере 20 000 человек. Вскоре прибыл из рекогносцировки лейтенант Аммеронген и привез изве-

стие, что приближаются сильные неприятельские колонны. Надо было принять меры для упорной защиты, но метель была так сильна, что, когда я хотел сесть на лошадь, на моем седле лежал уже слой снега в полфута. Я ехал в этот день на рыжей лошади, на которой участвовал в сражении при Эсслинге и Ваграме. Мой дивизионный генерал Дендельс мало показывался в этот день. Он объяснял это тем, что у него не было лошади, и я приказал своему стрелку Шютцу отдать ему свою, но, сев на нее, генерал сказал мне: «Если меня не будет, то примите командование». Почти сейчас же после этого я узнал, что он упал в воду. Его заменил начальник главного штаба, но и ему пришлось выйти из рядов после полученной раны в руку... Во время перехода через Березину я занял только временную позицию и теперь продвинул свою бригаду и поставил ее развернутым фронтом в котловину, что принесло нам много пользы, так как масса ядер пролетала благодаря этому через нас. Грунт также мало способствовал защите. Справа от села Студянка, центрального пункта позиции, тянется до самых берегов Березины небольшая открытая равнина, граничащая с лесистыми возвышенностями Старого Борисова. В этом месте грунт был хороший, и ничто не мешало неприятелю подвигаться вперед; вся эта часть поля и оба моста, находящиеся позади, подвергались обстрелу неприятельской артиллерии. На верховье реки, слева от Студянки, возвышенность, где расположена часть селения, находящегося слева, представляла удобную площадку, где войска могли бы выстроиться в линию, но из-за недостатка людей пришлось занять только часть холма. Маленькая долина, шириной приблизительно 250—300 саженей, отделявшая площадку от холма, занятого неприятелем, переходила около села Студянка в равнину, о которой я уже говорил, и ее легко было перейти. Маршал расположил свои войска на этом месте следующим образом: баденская бригада с батальоном 55-го полка, предводимая батальонным командиром Жуаие, и четыре двенадцатилинейных французских орудия примыкали правой стороной к Березине, а левой — к крайним домам Студянки и заняли часть площадки, где расположена была бергская бригада.

Дивизия Жерара, составлявшая наше левое крыло, не имела никакого прикрытия, так как не могла растянуться

до соседнего леса, и потому ее позиция была очень опасной; для того чтобы в случае чего поддержать ее сзади, поставили кавалерию, состоявшую теперь только из полка баденских гусар и гессенской легкой кавалерии. Оставшиеся 14 орудий нашей артиллерии расставили на самых удобных местах площадки и до подножия холма растянули линию стрелков. Воспользовавшись этим временем, неприятель вкатил свои многочисленные орудия на противоположные нам холмы и открыл по нам орудийный огонь, который был сейчас же подхвачен всею линией стрелков. В это же время двинулась пехота его левого фланга; прикрываясь соседним лесом, находящимся перед фронтом баденской бригады, и воспользовавшись тем, что мы не могли занять его, они спустились на равнину Студянки и старались пройти к берегу реки. После жестокого боя им удалось смять крайние батальоны нашего правого крыла, воспользовавшись тем, что у батальона легкой пехоты и французского батальона, находящегося под командой генерала Линга, не хватило зарядов. Генерал Линг был ранен в руку. Я кинулся к этому опасному месту, приказав майору Корнели следовать за мной со вторым батальоном моего полка. Я продолжал сражение и продержался здесь до тех пор, пока не подошло подкрепление, и тогда отдал приказ прекратить выстрелы и наступательным движением атаковать неприятеля со штыками в руках. Не сделав ни одного выстрела, мы отбросили русских к лесу и сами заняли его. Пока все это происходило на правом фланге, орудийные выстрелы произвели большие опустошения в левом. По мере того как растягивалась неприятельская линия, их батареи окружили часть позиции и со все увеличивающимся успехом посылали выстрелы на наши отряды, стоявшие против них. Чтобы отодвинуть неприятельскую артиллерию и помешать русским растянуться до Березины, чтобы атаковать и выбить оттуда наше левое крыло, стоявшее под их прицелом, маршал Виктор отдал приказ генералу Дамасу атаковать с бергской бригадой возвышенности, находившиеся перед ним.

Встав в две колонны, величиной приблизительно в батальон каждая, бригада спустилась с площадки; для поддержки за ними шел следом полк баденских гусар. Дойдя до равнины, одна из колонн остановилась за оврагом, высокие берега которого прикрывали ее от артиллерийского

огня, между тем как другая двинулась дальше через небольшой лес. Линия неприятельских стрелков немедленно удалилась, но зато за несколько сот шагов до выхода из леса наши колонны натолкнулись на русскую пехоту, которая встретила ее сильнейшим залпом. Два раза пытались французы отбросить неприятеля и взойти на возвышенность, но оба раза без всякого успеха и с большим уроном для себя. Генерал Дамас получил царапину в грудь, а генералу Гейтеру оторвало руку. Придя в беспорядок от этой неудачной атаки и теснимые неприятелем, бергские отряды отступили через лес; то же случилось и с колонной, служившей им поддержкой, — она также обратилась в бегство, покинув позицию, которую занимала.

В это время моя бригада попала в самую сильную перестрелку. Перестрелка в конце моего правого фланга все продолжалась, и мне приходилось посылать помощь всякий раз этому батальону, когда он оставался без патронов. Капитан Вольдек, командовавший передней ротой моего полка, получил приказ запастись свежими патронами. Он подошел для этого к муниционной повозке, стоявшей позади моей бригады, как вдруг ядро оторвало ему голову, и мы лишились очень храброго офицера. Немного спустя я видел, как одна граната убила лейтенанта Эля и, разрываясь, ранила семь солдат, а другая оторвала ногу капитану Малеру — он прожил только до вечера. Около мостов происходили ужасные сцены. Ядра русских убивали одиноких отдыхающих солдат. Наблюдая за отступлением бергской бригады, я вдруг увидел приближающуюся к нам колонну. Было пасмурно, и я не мог разглядеть, какой это был отряд, но, видя их белые кивера, я принял их за поляков. Вдруг я заметил, что они стреляют в нас; чтобы не допустить ошибки, я двинулся к ним, крича, чтобы они перестали стрелять, и тут только увидел, что это русские. Как можно скорее я бросился к своей бригаде, чтобы встретить неприятеля ружейным залпом, но в этот самый момент маршал приказал начать атаку и двинул вперед наших гусар и гессенскую легкую кавалерию, состоявшую всего только из 350 лошадей. Генерал Фурнье был ранен, и полковник Ларош, приняв командование, бросился на русскую пехоту. После короткого сражения неприятельская колонна была частью разбита, частью захвачена. 500 человек стрелков 34-го полка

были взяты в плен. В это время появились русские кирасиры. Полковник Ларош бросился им навстречу и мужественно сразился с ними. Удар саблей рассек ему правую щеку и пуля пробила кивер, он был серьезно ранен и схвачен. Фельдфебелю Шпрингеру удалось вытащить его из самой середины битвы и освободить. Почти весь баденский гусарский полк погиб в этом столь славном для него сражении, и со мной перешли Березину не более пятидесяти лошадей. Храбрая гессенская легкая кавалерия разделила с ними их участь.

Маршал Виктор был очень озабочен опасным положением, так как достаточно было бы быстрого натиска русских, чтобы сбросить нас в Березину. Он отыскал меня и благодарил за поведение моих отрядов, прибавив, что только на них одних он может всецело понадеяться; он хотел доложить об этом императору, который, без сомнения, наградит нас особенными знаками отличия и вполне заслуженным нами французским орденом. Однако в знаменитом 29-м бюллетене не было ни слова благодарности баденским отрядам; помечен был один лишь генерал Фурнье, покинувший благодаря ране с самого начала поле сражения.

Потери наши были велики... В баденской бригаде насчитывалось двадцать восемь офицеров убитых и раненых... Убитых унтер-офицеров и солдат было более 1100 человек. Лейтенант Гелер, проверяя наличных вооруженных солдат, насчитал их всего только 900 человек. Во всей армии не было генерала, способного нести службу, и мне пришлось вечером принять команду над всеми сохранившимися еще отрядами. Полковник Жентиль из бергской бригады доложил мне, что у него осталось лишь 60 человек, в дивизии Жерара было только 200 или 300 поляков, от двух саксонских полков оставались жалкие остатки, готовые растаять. Все корпуса армии сражались усердно и самоотверженно, и французская артиллерия достойно поддержала честь своего оружия, выступив против превышающего ее силой неприятеля.

Я сел за ужин, приготовленный моим поваром Вернлейном и егерем Гидеманом, и запивал его родным вином, доставленным мне обозом лейтенанта Гама. Ужин мой состоял из зайца, которого затравили во время сражения мои борзые собаки, которых я привез из Смоленска. Чтобы отыскать съестные припасы, солдаты разграбили покинутые око-

ло мостов фургоны; они нашли в них только предметы роскоши, что объясняется тем, что вместе с армией Москву покинули все французские торговцы и артисты. Рядом со мной стоял фургон императорского главного штаба. Его разграбили и нашли там великолепные географические карты. Солдаты нанесли мне всякого рода погон. Но что заинтересовало меня более всего — это была целая коллекция атрибутов масонов, которые, как известно, пользовались во французской армии большим уважением...

В полночь первый адъютант маршала полковник Шато привез мне приказ занять с ротой гренадер самый большой мост и освободить проход. Я выбрал гренадерскую роту первого полка, находившуюся под командой капитана Цеха. Предводимая полковником Кароном артиллерия должна была пройти первая, но ей для этого потребовалось времени гораздо больше, чем рассчитывали, так как на каждом шагу им приходилось останавливаться, натываясь на фургоны и лошадей, сновавших между ними. Капитан Цех употребил невероятные усилия, чтобы удержать проход свободным. Случалось, проходило целых четверть часа, пока несколько экипажей проезжали по мосту. В эти четверть часа никто не смел войти на него. Со всех сторон, особенно поляки, умоляли меня пропустить пехоту и не давать предпочтения артиллерии. Я отказал им, тем более что со мной еще не было 2-го батальона первого полка, занимавшего до сих пор отнятый у русских лес. Несколько вестовых, посланных мною туда, вернулись с донесением, что невозможно передать капитану де Поли приказ об отступлении, так как русские расположились между ними и нами. Но я твердо заявил, что не тронусь отсюда до его прибытия и в случае надобности пойду сам выручать батальон, и я отправил гуда унтер-офицера, пообещав ему орден, если он приведет мне батальон. Несколько времени спустя я с радостью увидел остатки собравшейся вокруг меня моей бригады...

Только в час ночи я мог двинуться вперед, но когда мы дошли до маленького моста, он был уже испорчен и по нему нельзя было перейти. Нам пришлось вернуться к большому мосту, что было в высшей степени трудно. Пришлось прокладывать себе путь через огромное количество разбитых экипажей, мертвых и раненых людей и лошадей, лежавших в куче, и в темноте нам приходилось проходить

между ними по одному. В одном месте я был так прижат к лошади, прижатой в свою очередь к экипажам, что мне пришлось прокладывать себе дорогу, убив несчастное животное выстрелом из ружья, взятого мною у идущего позади меня солдата; когда я перебирался через нее, она ударила меня копытом в последних конвульсиях агонии; этот удар принес мне большой вред. В этом хаосе людей и лошадей я увидел в тридцати шагах от себя полковника де Лароша, лицо которого было освещено пламенем горевшего фургона. Я закричал ему, чтобы он шел за мной, но все усилия, которые он для этого употребил, не привели ни к чему, и потому я отдал приказ идущей за мной роте выручить чего бы это ни стоило полковника из этой толкотни, и вскоре он стоял рядом со мной. Рассеченное от уха до рта лицо его не затянулось еще. Наконец с остатками своего корпуса я добрался до моста, и мы тотчас же с большим трудом перешли на другой берег. Наступил день, но солдаты с усердием работали над разрушением мостов. Ужасное зрелище представляли многочисленные больные и раненые, оставшиеся на противоположном берегу, которые теперь должны были достаться неприятелю. Ни одно перо не может описать нашей скорби, когда мы увидели, что русские завладели левым берегом. Скажу не преувеличивая, что более 10 000 солдат было забрано в плен. Сорок орудий, большая часть генеральских экипажей и часть кассы остались на том берегу — добыча неприятеля была велика.

Вместо раненого маршала Удино команду над вторым корпусом принял маршал Ней; он прежде всего поспешил организовать арьергард, в состав которого вошли остатки третьего и пятого корпусов. В этих отрядах, где насчитывалось до сражения при Березине около 9500 человек, из которых 1500 было кавалеристов, было теперь всего только 1800 человек пехотинцев и 500 кавалеристов...

*Хохберг*

\* \* \*

После некоторого промедления было решено, какая бы участь нас ни ожидала, вернуться в ту кутерьму у деревни, которая грозила нам несчастьем, смертью и пленом. Достигнув опушки леса, мы столкнулись с пестрой кучей себе подобных, за которыми гнался отряд казаков; я было уже



повернул налево, чтобы снова скрыться в лес, как вдруг казак схватил меня за воротник шинели, а его пика очутилась у моих ног. «Ты офицер?» — «Да», — был мой короткий, робкий ответ. Как я ни испугался, однако в этот момент я уже овладел собой и доволен был хотя бы тем, что холодное железо его пики еще не вонзилось в меня; и хотя я думал, что смогу хладнокровно и мужественно перенести всякого рода несчастье, к которому наши глаза давно уже привыкли относиться с известным равнодушием, однако теперь получилось нечто иное: я был смирен обычным смирением пленных.

У казака, безбородого молодого человека лет двадцати четырех, лицо было изрыто оспой, но нельзя сказать, чтобы оно было уродливое или злое. Он отвел меня в сторону, показывая мне знаками, чтобы я вывернул карманы и показал, что у меня есть. Потребовалось время, чтобы добраться под плащом и шинелью до кармана, откуда я вынул бумажку с 14 золотыми, которые и подал ему. Он приветливо посмотрел на них, сунул их в карман, воткнул свою пику в землю и, приложив кулаки к правому уху, прищелкивая языком, как бы спрашивал, есть ли у меня часы. Я не то помотал головой, не то сказал «нет». Без всякого выражения гнева он снял висевшее у него за спиной ружье, взвел курок, приложился и стал прицеливаться. Тут меня покинуло мужество и хладнокровие, я повалился на колени и с дрожью, как бы инстинктивно, произнес слово «пардон». Понял ли он его, этого я в ту пору не знал, — во всяком случае, он не нажал курка, отнял ружье от плеча, слез, а я встал на ноги. Тогда он сам стал обшаривать то место, откуда я вынул золотые, отыскал мои лейпцигские часы, немедленно приставил их к уху, но при всей своей радости по поводу находки все-таки не преминул грозно посмотреть на меня.

Не удовлетворившись золотыми и часами, он еще тщательнее обыскал то место, откуда они были взяты, и нашел теперь также мой орден, завернутый вместе с бантом в бумажку. Я сам еще не надевал его, потому что у нас носили ордена только на мундире, а не на верхней одежде. При виде его он очень обрадовался, и его отношение ко мне, казалось, сделалось более мягким; однако поиски на этом еще не кончились. Из офицерской патронной сумки он

вынул мои альбертсталеры, которые были у меня со времени Бородинской битвы вместе с серебряными рублями, полученными от поляка при Лесне, а из кожаной сумки взял мой карманный хирургический прибор. Я самым настойчивым образом просил вернуть мне последний, но тщетно. У меня не осталось ничего, кроме трубки, ножниц, некоторых перевязочных средств и кофе.

*Роос*

\* \* \*

В темную и ненастную ночь ничего нельзя было делать, и нас не беспокоили; но мы были, сами того не зная, окружены со всех сторон русскими. Как стояло каре, так каждый и лег на землю. Мы легли как можно теснее друг к другу, чтобы согреться. Я лежал в середине каре, подле барабанщиков и саперов, на снегу. Когда я захотел встать, то мой плащ оказался примерзшим к земле так крепко, что мне стоило немалого труда отделить его не разорвав. Самые печальные мысли о будущей моей судьбе наполняли мне душу, и не раз, когда я глядел на замерзший труп, являлась у меня грешная мысль: «Ах, если б и мне так же!» Каждую минуту думал я, что лишусь сил от перенесенных трудов, страданий, голода и холода.

Лишь только наступил день, со всех сторон раздалось «ура». Казаки и башкиры как бешеные носились кругом; они хотели показать нам этим, что они были победители. Так как мы знали, что мы военнопленные, то положили оружие и стояли в тоскливом ожидании, что с нами будет. Время от времени подъезжали к нам неприятельские офицеры, которые очень хорошо говорили по-французски и по-немецки. Они были большею частью очень дружелюбно настроены и утешали нас, говоря, что таков жребий войны, и советовали не терять бодрости. Но все эти прекрасные слова мало нам помогали. Нам слишком скоро дали почувствовать, что мы в плену и отданы на произвол врага. Я попался нескольким грубым русским, которые меня обыскали, отняли у меня часы и кошелек и, обругавши, бросили меня. Я должен был терпеливо переносить это, потому что оказывать сопротивление было невозможно: я видел, как одного полковника 44-го полка закололи за то, что он сопротивлялся. Мою бедную лошадь отняли у меня. На моих

глазах один русский взял ее и торжественно увел за собою. Немного времени спустя другая толпа окружила меня, сняла с меня эполеты и нагрудный офицерский знак, разорвала мне сюртук, и это я перенес с терпением и рад был, что отделался от этой строгой инспекции несколькими ударами и толчками. Но мне суждено было подвергнуться еще унижению, которое меня глубоко оскорбило. Ко мне подошел русский гренадер с заряженным ружьем в руке, остановился передо мною и, опустив свое ружье на землю, сорвал у меня с шеи платок, видя, что с меня нечего больше взять, плюнул мне в лицо и назвал меня французской собакой. После этого он приказал мне стоять и направился к другой добыче. Теперь, будучи лишен всего, я уже не боялся более никакого осмотра, и меня оставили после этого в покое.

Но и в этих обстоятельствах сказался дух французской армии: чтобы наше знамя не досталось в руки врагов и не было ими взято в качестве победного трофея, некоторые из нашего полка сняли орел и знамя с древка и спрятали у себя так тщательно, что оно не могло быть открыто русскими.

*Вагевир*

\* \* \*

«Я хочу рассказать Вам (Роосу) одну сцену из перехода через Березину, которая заслуживает того, чтобы ее увековечила кисть Рафаэля. И до сих пор еще я содрогаюсь, рассказывая о ней. Красивая дама лет двадцати пяти, вдова одного французского полковника, убитого за несколько дней пред тем в каком-то сражении, находилась близ меня, недалеко от моста, предназначенного для нашей переправы. Безразлично относясь ко всему тому, что происходило вокруг, она, казалось, все свое внимание сосредоточила на своей дочери, хорошеньком четырехлетнем ребенке, которого держала перед собой, сидя верхом на лошади. Несколько раз она тщетно пыталась достичь моста: всякий раз ее оттесняли назад. Мрачное отчаяние, казалось, овладело ею; она не плакала; она то поднимала взоры свои к небу, то обращала их на свою дочь, и один миг я слышал, как она сказала: «Боже, как я несчастна, что не могу даже молиться». Почти в тот же момент лошадь ее была поражена пу-

лей, а другая пуля раздробила ей левую ногу выше колена. Со спокойствием молчаливого отчаяния она взяла плакавшее дитя, несколько раз поцеловала его, потом своей окровавленной подвязкой, которую она сняла с раздробленной ноги, задушила бедненькую крошку и, сжав ее в своих объятиях, крепко прижимая к себе, села рядом со своей упавшей лошастью. Она ожидала таким образом своего конца, не произнеся ни одного слова, и скоро была раздавлена лошадьми тех, которые теснились к мосту...»

*Губер*

## *После Березины*

С тех пор как Удино и Легран были ранены, генерал Мазон командовал 2-м корпусом, на котором в силу того, что, несмотря на свои большие потери, он все же оставался самым многочисленным в армии, лежала обыкновенно обязанность оттеснять русских. Мы удерживали их на большом расстоянии в течение 30 ноября и 1 декабря; но 2 декабря они с превосходными силами стеснили нас до такой степени, что в результате произошла очень серьезная битва, в которой я получил рану, особенно опасную вследствие стоявшего в этот день мороза в 25 градусов.

Может быть, мне следовало бы остановиться и сообщить вам, что я был ранен ударом пики, и не входить ни в какие подробности, потому что они так ужасны, что я содрогаюсь до сих пор, когда о них думаю! Но ведь я же обещал вам (своим детям) рассказать свою жизнь всю целиком! Вот что произошло со мной во время сражения при Плещеницах.

Для того чтобы вы лучше могли понять мой рассказ и чувства, волновавшие меня во время боя, я должен сперва сообщить вам, что один голландский банкир, по имени Ван Берхем, мой близкий друг по Сересскому колледжу, прислал мне в самом начале похода своего единственного сына, который, сделавшись французом вследствие присоединения своей страны к империи, вступил в 23-й полк, несмотря на то, что ему едва исполнилось 16 лет!.. Этот молодой человек, наделенный прекрасными качествами, был очень умен. Я взял его в качестве секретаря, и он всегда шел в 15 шагах позади меня с моими ординарцами. Так же

помещался он и в тот день, о котором идет речь, когда, переходя пустынную равнину, 2-й корпус, крайний арьергард которого составлял мой полк, увидел приближающуюся к нему огромную массу русской кавалерии, которая в один момент охватила его с флангов и атаковала со всех сторон. Генерал Мазон так удачно распорядился, что наши пехотные каре отбили все атаки регулярной неприятельской кавалерии.

Когда эта последняя призвала к участию в битве тучу казаков, которые только что нагло кололи французских офицеров перед их войском, маршал Ней приказал генералу Мазону прогнать их, выпустив на них все, что оставалось от кирасирской дивизии, а также от бригад Корбино и Кастекса. Мой полк, еще многочисленный, оказался перед черноморскими казаками в барашковых шапках. Одежда их и лошади были гораздо лучше, чем это бывало обыкновенно у казаков. Мы обрушились на них, а они, по привычке, свойственной этим людям, которые никогда не сражаются в стройном порядке (в линию), сделали пол-оборота и понеслись от нас галопом. Но, незнакомые с местностью, они наткнулись на препятствие, очень редкое в этих пустынных равнинах. Огромный и глубокий овраг, который благодаря совершенно ровной почве нельзя было видеть издали, сразу остановил их. Видя, что лошади их не смогут перескочить, и принужденные повернуться лицом к моему полку, настигающему их, казаки, прижавшись друг к другу, храбро выставляют нам навстречу свои пики.

Благодаря гололедице было ужасно скользко и наши усталые лошади не могли скакать в галоп, не падая. Вследствие этого резкого столкновения быть не могло, и моя линия подъехала только рысью к неприятельской массе, стоявшей неподвижно. Наши сабли дотрагивались до их пик, но так как эти последние были от 13-ти до 14-ти футов длины, то мы не имели возможности достать наших противников, которые не решались ни попятиться назад из страха свалиться в овраг, ни выступить вперед, чтобы встретить наши сабли. Пока мы взаимно наблюдали друг за другом в более короткое время, чем то, которое нужно, чтобы это рассказать, произошла следующая сцена. Торопясь закончить с врагами, я крикнул моим кавалеристам, что

надо схватить пики левой рукой, отвести их, броситься вперед и проникнуть в середину этой человеческой толпы, где наше короткое оружие дало бы нам огромное преимущество перед их баграми. Для того чтобы лучше заставить себе повиноваться, я решил подать пример, отстранил несколько пик, и мне действительно удалось проникнуть в первые ряды неприятеля!.. Мои адъютанты и мои ординарцы последовали за мной, затем то же сделал и весь полк. В результате получилась общая рукопашная схватка.

Но в тот момент, когда она завязалась, старый седобородый казак, находившийся в задних рядах и отделенный от меня другими сражающимися, нагибается и, ловко направив свою пику между лошадьми товарищей, ударяет меня своим остроконечным железом, которое пронзает насквозь мое колено! Почувствовав себя раненым, я ринулся к этому человеку, чтобы отомстить ему за ужаснейшую боль, которую я испытал, но тут я увидел перед собой двух красивых молодых людей 18—20 лет, одетых в роскошные, богато расшитые костюмы: это были сыновья командира полка. Пожилой человек, что-то вроде наставника, сопровождал их, но в руке у него не было сабли. Меньшой из его воспитанников не пользовался своим оружием, но за то старший смело бросился на меня и яростно меня атаковал. Он показался мне таким несформировавшимся, таким слабым, что я ограничился тем, что обезоружил его и, взяв за руку, отвернул за себя и велел Ван Берхему стеречь его. Но только что я исполнил этот акт великодушия, как почувствовал какое-то твердое тело, прикасающееся к моей левой щеке, в ушах у меня раздался двойной треск и воротник моего плаща пронизывает пуля. Я быстро обертываюсь и что же я вижу? Молодой казачий офицер держит в руках пару дуствольных пистолетов, из которых он только что стрелял, один выстрел он предательски сзади направил на меня, другим прострелил голову несчастному Ван Берхему!

Вне себя от гнева я бросаюсь тогда на этого безумца, который уже прицелился в меня вторым пистолетом! Но взгляд его встретился с моим, который был, должно быть, ужасен, потому что он точно оцепенел и воскликнул на очень хорошем французском языке: «О! Великий Боже!

Я вижу смерть в ваших глазах! Я вижу смерть в ваших глазах!» — «Да, злодей, ты видишь правильно!» И действительно, он упал!..

Кровь призывает крови! Вид молодого Ван Берхема, распростертого у моих ног, то, что я только что сделал, возбуждение битвы, а, может быть, и ужасная боль, которую мне причинила моя рана, все это вместе привело меня в лихорадочно-раздраженное состояние, я несусь к меньшому казачьему офицеру, хватаю его за горло и уже заношу над ним свою саблю, когда старый гувернер, стараясь загородить своего воспитанника — пригибается верхней частью туловища к шее моей лошади таким образом, чтобы помешать мне двигать рукой и восклицает умоляющим голосом: «Во имя вашей матери пощады, пощады для этого, он ничего не сделал!»

При упоминании обожаемого имени мой ум, возбужденный всем окружающим, был поражен галлюцинацией до такой степени, что мне показалось, будто я вижу, как белая, так хорошо знакомая мне рука, легла на грудь молодого человека, пронзить которого я намеревался, и мне послушался голос моей матери, повторяющий слова: «Пощады! Пощады!» Сабля моя опустилась! Я велел отвести молодого человека и его гувернера в тыл.

Я был до такой степени взволнован всем происшедшим, что если бы сражение продолжалось еще некоторое время, я не смог бы отдать полку ни одной команды, но оно скоро прекратилось. Очень много казаков было убито, другие же, побросав своих лошадей, соскользнули в глубину оврага, где большинство из них погибло в огромных кучах снега, нанесенных туда ветрами. Также был отбит неприятель и на всех других пунктах. В моем послужном списке сказано, что я был ранен 4 декабря; на самом же деле это было 2-го, в день битвы при Плещеницах.

Вечером после этого дела я расспросил своего пленника и его гувернера. Я узнал, что двое молодых людей были сыновьями важного начальника, который, лишившись ноги в битве при Аустерлице, воспыал такой жгучей ненавистью к французам, что, не имея более возможности сражаться с ними сам, послал на войну двух своих сыновей. Я предвидел, что мороз и тоска скоро погубят того единственного из них, который у него остался. Мне стало жаль

и я возвратил свободу и ему, и его почтенному наставнику. Этот последний, прощаясь со мной, сказал мне следующие, полные значения слова: «Думая о своем старшем сыне, мать моих воспитанников будет вас проклинать, но, увидав своего меньшого, она благословит вас так же, как ваша мать, во имя которой вы пощадили единственное, оставшееся у нее дитя!»

Между тем энергия, с которой в последнем деле были отбиты русские войска, охладила их пыл, и в течение 2 дней они не показывались, что и обеспечило наше отступление вплоть до Молодечной. Но, если неприятель дал нам минуту покоя, то мороз объявил нам самую жестокую войну, потому что термометр спустился до 20 градусов. Люди и лошади падали на каждом шугу, и многие больше уже не поднимались. У меня оставались только осколки моего полка, посреди которого я располагался на снегу каждую ночь. Куда же было мне деваться, чтобы было хоть немного лучше? Мои храбрые офицеры и солдаты, видя в своем полковнике как бы живое знамя, старались беречь меня и окружали всеми заботами, которые только были возможны при нашем ужасном положении. Рана, полученная мною в колено, мешала мне сидеть верхом и я должен был класть ногу на шею лошади и сохранять неподвижность, из-за которой я цепенел от холода. Страдания мои были невыносимы, но что же делать?

Дорога была усеяна мертвыми и умирающими. Двигались все медленно и молчаливо. Все, что оставалось от пехоты и от гвардии, образовало маленькое каре с каретой императора посреди. Рядом с ним — король Мюрат.

5 декабря, продиктовав свой 29-й бюллетень, глубоко поразивший всю Францию, Наполеон в Смаргони покинул армию, чтобы вернуться в Париж.

*Марбо*

\* \* \*

Вице-король был в авангарде и очищал дорогу. Герцог д'Абрантес шел за ним; 800 человек составляли остаток его корпуса. Добравшись до шоссе, которое пересекало гать, шедшую на протяжении шести или семи миль по непроходимому болоту, он отправляет по нему своих людей, а гать приказывает сжечь. Граф Груши спешит к нему, чтобы вос-



препятствовать этому, напоминает ему, что сзади идут император и вся армия. Герцог д'Арантес отвечает холодно, что, сжегши гать, сам он будет в безопасности, а остальное для него безразлично.

Груши настаивает, и в это время наконец подходят первые ряды боевого корпуса. При приближении императора бузмый герцог уступает.

Нельзя без содрогания думать, что могло случиться! Будь это сделано, никому из нас не пришлось бы вновь увидеть Францию...

*Пасторе*

\* \* \*

29 ноября. Император отправляется в семь утра. В десять мы уже завтракаем в Зембине. Проходим через лес, овраги, потом через длинные мосты на болотах; странно, что казаки их не разрушили.

В полдень мы покидаем Зембин, а в пять часов мы уже в Камени, сделав за день 28 верст. Император останавливается в поместье одного барона. Мы находим там картошку — целое событие! Мы жарим ее на кончиках наших шпаг.

Я сплю в какой-то комнате на хорошей соломе — это настолько лучше, чем ночевать под открытым небом! Ночью сильно морозит...

21 декабря. Император отправляется в семь утра и почти все время идет пешком рядом со своим экипажем. Пятнадцать казаков на-ура прорываются сквозь колонну; неприятель очень докучает нашему арьергарду.

2-е. Император проходит через Илию, ночует в скверном домишке в Седлеце.

3-е декабря. Меня оставляют в Седлеце дежурным ожидать арьергарда, и я располагаюсь под деревом у бивуачного огня на перекрестке. Весь день передо мной зрелище отставших солдат всех наций, всех родов войск. Большинство побросало свои ружья, исключение — только солдаты старой гвардии.

В семь вечера я прибыл в Молодечно, где в доме, похожем на замок, устроена штаб-квартира императора.

Молодечно, как и все польские города, выстроено из дерева; большая часть города сожжена благодаря похвальной привычке наших солдат; каждый вечер они что-нибудь

поджигают: то желая натопить печи, то разводя бивачные огни слишком близко от строений.

4-го. Мы выходим в девять часов и в половине четвертого останавливаемся в Виннице — маленьком городке. Мы размещаемся в очень красивом барском доме, хорошо меблированном, есть там бильярд, и мы на нем играем. Казаки захватили троих из моих лошадей и мои вещи. Из меховых у меня остается женская лисья шуба, служащая мне одеялом.

Идет снег; холод слишком силен для верховой езды. Целый день я шел пешком в моих продырявленных сапогах. Солдаты больше не едят лошадей. Скот имеется в достаточном количестве, начинают выдавать провиант. В амбарах поместий мы находим овес, муку, горох, картофель, крупу; все это выдают гвардии и нашим людям.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Я не могу прийти в себя до сих пор от удивления, когда вспоминаю длину громадных мостов по пути из Зембина в Молодечно. Русские их не сожгли!

Если бы их уничтожили, то вся французская армия с ее главой попалась бы как в мышеловку.

Утром казаки явились в Зембин, но русским генералам и в голову не пришло, какой путь выберет Наполеон, что не делало особой чести их прозорливости. Они могли бы рассудить, что мы постараемся избежать Минска, где они уже были хозяевами. Я выехал на заре с одним из своих адъютантов и во своим лакеем, с которым никогда не расставался, и в Плещеницах был довольно рано. Я поселился в маленьком «шато», где при помощи денег и милых слов я добился ужина. Мои лошади не в состоянии были двигаться дальше, и управляющий «шато» дал в мое распоряжение двое саней. В полночь он пришел предупредить меня, что пора ехать, так как, по данным ему сведениям, казаки вернулись по минской дороге через Гайну в Плещеницу. Он уверял меня, что нельзя терять ни минуты. Я предупредил об этом князя Понятовского, приехавшего со своими офицерами несколькими часами позже меня, но, кроме самого князя никто не обратил внимание на мое предупреждение. Князь поблагодарил меня и поехал следом за мной. Те же,

которые нас не послушались, были застигнуты казаками, которым остались и мои лошади. В Илии мне посоветовали ехать на Вилейку, куда я попал к девяти часам вечера, счастливо избежав опасности быть взятым казаками, бродившими уже по лесу.

*Дедем*

\* \* \*

На другой день после моего возвращения в штаб императора, я был послан к маршалу Нею, который еще бился с русскими. Дорогою я встретил фургон, в котором находился очень тяжело раненный маршал Удино; Жакмино, его адъютант, шел за фургоном, обливаясь слезами. Я нашел Нея верхом на маленькой белой лошадке, окруженно-го всем штабом. Он был там, под самым ожесточенным огнем, так же спокоен, как в Тюильри. Помню, что у него была странная привычка: каждый раз, как пули или ядро со свистом пронеслись мимо его ушей, он восклицал: «Прочь, мерзавки!»

Снег шел густой пеленой так, что нельзя было ничего разглядеть в нескольких шагах. Провидение соизволило, чтобы одна-единственная дорога, по которой могла спастись армия, не была разрушена русскими. Эта дорога через болото была построена на сваях, которые обложили камнями и обломками; легко было бы ее поджечь или испортить каким-либо иным образом. Все, что осталось от нашей армии, прошло по этой дороге, беспрестанно преследуемое русскими. Расскажу здесь маленький забавный факт.

Я только что встретил маршала Лефевра. Как и мы все, он шел пешком, с длинной палкой в руках, и мы шли рядышком. Подойдя к одному мосту, загроможденному багажом и войсками, которые почти совсем загродили проход, маршал увидел впереди себя субъекта, ростом футов в шесть, в кирасирской шинели. Ударив его палкой три или четыре раза по спине, он ему закричал со своим эльзасским акцентом: «Итите же, итите же, шорт возьми, фы мне мешаете бройти». Тот живо обернулся: это был герцог Тревисский. «Ах, товарищ, — сказал ему смутившись Лефевр, — если бы я знал, што это фы, я пы не утарял так сильно».

*Бонневаль*

\* \* \*

В три часа утра 4 декабря мы двинулись к Молодечно, куда прибыли к полудню, и неприятель нас не тревожил...

Маршал пригласил меня завтракать и сказал, что император поручил ему выразить глубокую мне благодарность за поведение моих отрядов, и тут же он пообещал мне скорую раздачу съестных припасов.

В два часа после полудня неприятель атаковал дивизию Жирара, и я тем более почувствовал себя обязанным поддержать ее, что мне было поручено командовать ею, когда генерал Девильер был ранен. Батальоны легкой пехоты и несколько рот стрелков приняли участие в бою. Неприятель направил свои пушки на зажженные нами костры, и я велел их потушить. Тогда произошла комичная сцена. Подполковник де Брандт только что снял с горячих угольев кастрюльку с жареными почками, как вдруг ядро разбило ее, и в тот же момент пуля пролетела между мною и генералом Дамасом и задела его длинную прическу; он быстро схватился за нее и, казалось, был очень доволен, убедившись, что она цела.

До самого вечера мы находились под сильной канонадой и едва могли сами отвечать редкими выстрелами, так как у нас не хватало зарядов. Вдруг мы услышали звуки русских рожков. Очевидно, неприятель хотел окружить наш правый фланг. Тотчас же показались несколько колонн со стрелками во главе, которым удалось перейти замерзший ров. Это движение русских произошло так быстро, в наступающей темноте, что я едва успел двинуть к оврагу мою бригаду со штыками наперевес. Смущенный неожиданным появлением наших отрядов, которых скрывали деревья, неприятель поспешил удалиться, не зная наших сил. Мы преследовали его выстрелами, нанеся ему легкий урон. Припоминаю случившееся здесь обстоятельство, очень тронувшее меня. Один русский егерь, необычайно высокого роста, отошел очень далеко от своих и все время стрелял, метясь исключительно в офицеров. Как раз в это время я находился около роты 1-го полка капитана де Рюда и с удовольствием смотрел на правильные и храбрые действия нашей пехоты. В то время как я старался насколько возможно поддерживать порядок среди солдат, этот русский, ока-

завшийся, как я узнал впоследствии, унтер-офицером егерского полка, подошел очень близко ко мне и разрядил ружье. Я услышал, как пуля просвистела над моим ухом. Капитан де Рюд приказал унтер-офицеру своей роты Штрюбе прицелиться в русского, и в тот же момент тот упал мертвым. Продвинувшись вперед, я увидел на груди убитого медаль; унтер-офицер Штрюбе отвязал ее и отдал мне, не требуя благодарности.

Последние 900 или 1000 солдат 9-го корпуса, державшиеся еще только благодаря порядку и дисциплине, должны были того и гляди, погибнуть от усталости и полного отсутствия провианта, и действительно они погибли все в очень непродолжительном времени. Я считал своим долгом донести маршалу о том ужасном положении, в котором мы находились, и я объявил ему, что, не имея ни провианта, ни зарядов, мы не сможем выдержать больше сражения; я нашел его в доме князя Огинского, в той самой комнате, где император составил 29-й бюллетень. Мне стоило больших трудов уговорить его послать своего адъютанта полковника Шато к принцу Невшательскому. На другой день Шато вернулся с донесением, что не могло быть и речи сменить мой арьергард, но что скоро нам привезут припасы. В это же время император приказал передать мне свое удовольствие. Единственно, что сделали, это прислали для нашего подкрепления остатки пехоты 2-го корпуса под началом генерала Мезона.

В то время как я был у маршала, к нему явился генерал Думерк. Он уверял, что его дивизия кирасиров, хотя и не участвовавшая ни в одном сражении, так пострадала от голодовки и холода, что от нее нельзя было требовать никакого активного участия. Значительно убавившееся число солдат моей бригады заставило меня сформировать из каждого пока по батальону. Таким образом, у меня было два батальона, каждый из 180 или 200 человек. Три польских полка уменьшились до 150 человек...

Чтобы не вступить в бой, маршал велел нам выступить в полночь 5 декабря. Мы шли по большой дороге из Минска на Сморгони. Ночью мы нагнали главный штаб итальянского вице-короля, который еще не выступил дальше, и нам пришлось ждать на морозе, пока он не очистит квартиры. Затем нам сказали, что еще не продвинулись фуругоны с

трофеями, взятыми из Москвы, как, например, крест Ивана Великого и другие вещи из Кремля. И мы все должны были ждать. Обиднее всего, что часть этих вещей опять равно погибла в непродолжительном времени в пути, а их остатки — около Вильно. По присланному мне распоряжению я послал несколько человек в село, лежавшее в нескольких верстах от дороги, где солдаты 1-го батальона 2-го баденского полка, находящиеся при генеральном штабе, нашли водку. У отсталых, а главным образом у отсталых гвардии, я отнял, несмотря на их протестующие крики, скот, говоря, что есть должен тот, кто сражается. Дивизионный генерал и флигель-адъютант императора Мутон граф де Лобау явился в арьергард и стал упрекать меня в том, что 9-й корпус так расстроен. Я ему ответил, что я в это не виноват. «Мы старались всеми силами, — прибавил я, — мужественно исполнять свой долг и жертвовать своей жизнью; я удивляюсь, что вы выражаете порицание там, где можно только расточать похвалы. Если у вас нет личного приказа императора, то, попрошу вас, проходите своей дорогой, у меня есть гораздо важнее дела, чем спорить с вами». Мы остановились около Крапивны, так как я хотел дать роздых своим усталым солдатам, в котором они очень нуждались. Кроме того, мне надо было дать время генералу Мезону расставить на биваки своих оставшихся солдат 2-го корпуса. Как только я заметил, что его солдаты разбрелись в разные стороны, — я сейчас двинулся в путь, предвидя, что ему не удастся их больше собрать. Я прошел мимо бивака 2-го корпуса и расставил сзади него, как второй эшелон, свою бригаду около села, таким образом ночью мне не надо было ставить аванпостов.

Генерал Мезон, отказавшийся перед этим нести аванпостную службу, страшно рассердился на меня, но он не мог собрать своих солдат, и потому ему пришлось уступить. Моей первой заботой было тогда занять какой-нибудь дом, но его пришлось очистить от офицеров и солдат, и мне это стоило больших трудов, так как они оказали большое сопротивление. Измученный, я улегся на пол, как вдруг услышал женский голос, жалобно умолявший меня не выгонять ее. Случайно это оказалась та жена войскового интенданта, карету которой я несколько дней тому назад пропустил, когда нас теснили русские около ущелья в лесу; она

рассказала мне, что ее муж умер от холода, что она потеряла свой экипаж, лишена всякой помощи и предоставлена самой себе. Понятно, что я не выгнал ее ночью на улицу; несколько дней спустя я увидел ее уже мертвой на снегу.

К счастью, я встретил свою собственную повозку, где было еще немного провизии, но никогда радость не приходит без горя, ночью я был разбужен криками «Пожар!». Все бросились к узкой двери дома. Крикс-комиссар армии Зартелон, стоявший рядом со мной, хотел спастись через единственное окно комнаты, но он застрял в нем и не мог двинуться ни назад, ни вперед. Шапка упала у него с головы, и ее подобрал солдат, стоявший перед домом. Убедившись, что это ложная тревога, я вернулся в мое убежище, вытащив за ноги с большим усилием Зартелона. Привезли водку, за которой я послал, и я ее роздал. Но вместо того, чтобы подкрепить солдат, она только опьянила их. Многих из них, не получавших давно пищи, этот напиток ошеломил, и они остались на месте. Ко всему этому прибавьте все увеличивающийся холод, дошедший уже до 20 градусов...

*Хохберг*

\* \* \*

После перехода через Березину мы еще до рассвета двинулись по правому берегу ее к Зембину. Холод был ужасный, ветер неприятно свистел в ушах, и только огни неприятеля, занявшего холмы, оствещали мрак. Там, где были наши, не было ни огня, ни крова, только вздохи обозначали места, в которых собралось такое множество несчастных жертв войны. Когда настал день, мы добрались до возвышенности, на которой накануне во время битвы был Наполеон; он мог отсюда ясно видеть все, что происходило на Березине.

Оба наши корпуса 2-й и 9-й, которыми командовал теперь маршал Ней, были сейчас в таком же состоянии, как те, которые пришли из Москвы.

Моя рота одна потеряла почти 50 человек убитыми, ранеными и пленными...

1 декабря мы пришли в Плещеницы. Мы еще в темноте оставили бивак и пошли к большому лесу. Но едва пришли сюда, как за нами оказалась погоня: 2000 казаков с конной артиллерией гнались за нами со страшным шумом. Ког-

да они начали палить из пушек, весь арьергард расстроился и бросился бежать с дороги в лес. Крики обозных, стремящихся обогнать друг друга и только загородивших дорогу, усиленных эхом, слились в один протяжный рев.

Когда войска вышли из чащи, маршал собрал их и выстроил против приближающихся русских. Канонада продолжалась до вечера...

Придя в Молодечно, мы расположились лагерем в здешнем роскошном дворцовом парке.

Наполеон остановился 3 декабря во дворце, хорошо сохранившемся, как и все дома местечка, и написал здесь злосчастный 29-й бюллетень. Около 4 часов пополудни показались полчища казаков. Мы только что расположились варить себе над кострами еду, потому что уже несколько дней не ели ничего, кроме замерзших сухарей (их жевали только для того, чтобы обмануть голод), когда подошел русский авангард и обложил городок. Мы схватились за оружие и поспешили дать врагу отпор, но он оттеснил нас, пользуясь численным превосходством, внутрь сада, а здесь был встречен картечью половины нашей батареи, выстроенной за оградой, и скоро отступил. Мы преследовали его, поддерживая непрерывный ружейный огонь; у нас было мало зарядов, они скоро вышли, и мы не нанесли неприятелю большого урона. Тем чувствительнее были наши потери: неприятельская батарея усиленно обстреливала нас с соседнего холма, и мы потеряли много людей. Сражение продолжалось до 9 часов. Наступившая темнота была для нас спасением, потому что на каждый неприятельский батальон у нас приходилось всего по 100 солдат. Войска так растаяли, что у нас оставалось едва ли 3000 человек, из-за чего приходилось сильно растягивать боевую линию. К 10 часам мы отошли в сад; здесь было много фруктовых и других деревьев, и мы зажгли множество костров с целью показать врагам, что здесь стоит большая армия...

7 декабря мы двинулись в путь рано утром и к 11 были в Ошмянах. Был сильный мороз, и солдаты зажигали целые дома, чтобы согреться. Со всех сторон видно было зарево пожаров. Мы сжигали все поселки, через которые проходили. По пути нам на каждом шагу попадались замерзшие: храбрые солдаты и отважные офицеры; некоторые из них стояли, опираясь на стволы сосен; у них обледенели



волосы и бороды. У многих несчастных лица были черны от дыма и крови лошадей, мясом которых они питались, — они двигались, как призраки, вокруг горящих строений, упорно смотрели на трупы товарищей, падали и умирали.

Каждый бивак на следующий день представлял картину поля сражения — такое количество людей погибало. Как только солдат, не вынесший мучений, падал на землю, сосед спешил его раздеть и закутаться в его тряпки, не дожидаясь, чтобы он испустил дух. Мы ежедневно были свидетелями самых печальных сцен; по дороге шли люди, утратившие человеческий образ. Некоторые оглохли, другие не могли говорить, многие были в состоянии ненормального отупления, доходившего до того, что они жарили и ели трупы. И верно то, что они грызли собственные руки, как ни ужасно это!

Некоторые садились на трупы братьев и застывшим взглядом уставлялись в горящие угли; когда они гасли, люди падали и больше не вставали...

Мы устраивались в сараях или вокруг костров, но надо заметить, что тот, кто с вечера считал себя защищенным от ветра и холода, утром оказывался под открытым небом: за ночь шедшие позади успевали дотла разнести постройку, как будто ее и не было никогда.

До сих пор 9-й корпус держался еще вместе, хоть и был очень ослаблен; дивизии насчитывали вместе еще 200 человек; теперь он совсем распался. Знамена сняли с древков и обернули вокруг пояса самых сильных унтер-офицеров...

На рассвете 8 декабря я взял под руку последнего, уцелевшего от нашего батальона капитана фон Хеддерсдорфа, у которого были на теле сильные отеки, и пошел с ним в Вильно, надеясь на Божию милость; нам оставалось идти до города 8 часов, и к нему были устремлены наши самые горячие надежды.

*Штейнмюллер*

\* \* \*

С Березины мы не видали ни одного казака, но 1 декабря около Хотович нас атаковал русский генерал Чичагов. Наши потери незначительны, и мы идем на бивак на дорогу в Молодечно, куда мы прибываем 2-го, не будучи тре-

вожимы. Проводим там 3-е, 4-го направляемся в Сморгони, приходим туда 5-го.

Холод еще усиливается; говорят, что было 31 градус ниже нуля. Русские пленники не могут его переносить, так же как и французские солдаты. Значительное число этих несчастных, хотя и привыкших к морозу, делается его жертвами. Наш бивак еще больше чем когда-нибудь имеет вид поля сражения.

Молодечно, 3 декабря. Выполняя полученный приказ, вице-король отправил по направлению к Вильно всю кассу, все экипажи, больных и раненых.

Приблизительно в расстоянии одной мили от Беницы на этот обоз бандой казаков Ланского, состоявшей человек из 600, было сделано нападение. Охрана обоза была слишком ничтожна; ее едва хватало на то, чтобы прикрыть только одну часть всей вереницы.

Казаки ворвались туда, где не было вооруженных солдат, но скоро были обращены в бегство и в этот день уже не появлялись.

Однако карета, что везла двух раненых генералов Пино и Фонтана, возбудила алчность казаков. Быть может, они надеялись взять в плен выдающихся офицеров; быть может, просто думали захватить богатую добычу — но только несколько казаков под предводительством своих офицеров бросились на карету.

То, о чем я хочу рассказать, может показаться неправдоподобным, но все войска, там находившиеся, видели это собственными глазами. Три стрелка из тех десяти, которые так отличались в Плещенице при стычке с отрядами Ланского, бросились на защиту своих командиров. Они защищали их с поразительной отвагой и энергией, наносили удары с таким остервенением, что заставили нападающих отступить. Об этом подвиге мне рассказывал сам генерал Пино.

Во время однодневного отдыха в Молодечно мы озабочены были тем, как бы достать себе хоть немного припасов. Некоторые отставшие от своих отрядов вновь присоединились к нам, и в полках, по-видимому, стал водворяться некоторый порядок, хотя по дорогам еще лежало множество умирающих солдат. Отчаянное положение было и в квартирах у офицеров: один изнемогал от усталости, у дру-

того оказывались отмороженными ноги, и он заранее оплакивал судьбу свою, которая таким образом кидала его в руки русских. С чинами больше не считались, большинство штаб-офицеров не имело уже своих лошадей, и малейшее недомогание или нездоровье было смертным приговором.

*Ложье*

\* \* \*

Со следующей ночи мороз усилился, он становился все больше и больше и достиг такой силы, что однажды, идя с майором Лакруа, мы насчитали до ста девяти солдат, упавших мертвыми на дороге в короткое время. Почти все они были баварцы и вюртембергцы. Можно отметить за это пагубное отступление, что северные жители хуже нас выносили ужасную суровость этого времени года в здешнем климате и различные лишения, которые нам пришлось претерпеть; это, без сомнения, происходит оттого, что германские народности не наделены в той мере, как мы, живостью характера и энергией, столь необходимыми для преодоления стольких бедствий! Несчастный замерзший, охваченный непреодолимой сонливостью, сидел на дороге; горькая улыбка искажала его лицо, из рта и носа брызгала кровь, и бездыханное тело падало: все кончалось в минуту. Его товарищи снимали с него одежду, покрывались ею, а через несколько минут их постигала та же участь! В моей сумке было несколько сухарей, мы хотели их съесть, но нам пришлось от этого отказаться, так как они так замерзли, что мы не смогли отломить от них ни крошки.

Через несколько минут после этой бесплодной попытки Лакруа, взглянув на меня, воскликнул: «Скорей три нос снегом, он отмерз». Я сейчас же сделал это и почувствовал острую боль, которой не было до этой операции, замерзшее место сначала было нечувствительно. Первые дни после этого только с предосторожностями и спиной подходил я к огню: я часто терся снегом. Скоро образовалась корка, сошедшая, как фальшивый картонный нос, и сильная краснота осталась и прошла только долгое время спустя.

Мое счастье, что меня вовремя предупредили, потому что иначе у первого же огня, к которому бы я подошел, при сморкании нос остался бы у меня в руке.

*Дююю*

\* \* \*

Случайно мы напали на проселочную дорогу, по которой должны были прийти в город раньше русских. По этому проселку прежде всего повезли раненых, а что касается экипажей, то все они остались у мостов при Березине.

Отбив войска русского генерала, которые старались нас заманить на большую дорогу, мы поспешно скрылись по указанной нам тропинке. Эта тропа шла по огромным лесам и болотам, часто прорезанным ручьями и речками с такими плохими мостами, что один отряд казаков, вооруженный только пушкой, легко мог преградить нам путь.

Мы прошли без особых затруднений и препятствий по этому пути и вышли на большую дорогу в Сморгони за два дня до прибытия русских.

Хотя после перехода нашего через Березину холод все время и увеличивался, но ниже 10 и 12 градусов ртуть ни разу не понижалась. В тот день, когда мы пришли в Сморгони, снег начал падать кристаллами в виде звездочек. Это явление было предвестником сильного мороза, и действительно ночью, когда мы стояли на биваках, ртуть понизилась до 18 градусов и быстро стала снижаться до 19, 20 и 21 градус Реомюра.

На следующий день, 6 декабря, мы опять выступили в поход, очень рано поутру, чтобы скорей добраться до Ошмян, довольно большого города, где мы купили у евреев скверной водки и хлеба.

Мороз все крепчал. Еще до нашего прихода в Сморгони реки уже замерзли, а когда мы вошли в Ошмяны, то мой термометр показывал 25 градусов, ночью он понизился до 26, и на биваках было ужасно.

На рассвете мы поднялись в поход. Термометр стоял на 27 градусах мороза. Едва можно было стоять на ногах и еле двигаться. Кто терял равновесие и падал, тот немедленно впадал в оцепенение и замерзал. По дороге нам попадалось много трупов, все принадлежали к 12-й дивизии, пришедшей нам навстречу в Ошмяны\*.

---

\* Число этой дивизии, под предводительством генерала Луазона, доходило до 12 000 людей по выступлении их из Вильно, а во Францию вернулось только 360, по докладу, сделанному многими офицерами.

В этом городе я оставил всех раненых, кто только пожелал остаться. Мне было бы слишком тяжело видеть, как они погибают в дороге, и чувствовать, что я не в состоянии им ничем помочь.

Исключая нескольких отрядов легкой кавалерии и гвардии, вся остальная армия находилась в ужасно бедственном положении, без оружия и без всяких признаков, по которым можно было догадаться, что это войско. Перепутанные окончательно, они шли огромной беспорядочной толпой. Холод и слабость принуждали их жаться и опираться друг на друга. Одежда на них была странная и жалкая. Они были прикрыты обрывками меха, остатками солдатских шинелей и кусками разноцветных тканей. Все плащи и шинели малопомалу истребило пламя бивачных костров, а возобновить их не было никакой возможности... Все эти обстоятельства объясняют, при каких условиях остатки Великой Армии дошли до того бедственного положения, в котором они явились в старую Пруссию.

При переходе в Медневицу мороз достиг необычайной силы.

Избы большею частью были сожжены или разорены, так что всей армией без исключения пришлось расположиться биваком. Горе тому, кто поддавался сну! Достаточно бывало нескольких минут, чтобы он замерз и успокоился навеки на том месте, где уснул.

Термометр мой, который я ночью повесил на несколько минут в петлицу своего платья, показывал 28 градусов. Между температурой дневной и ночной не было почти никакой разницы. Солнечные лучи не могли согреть сильно сгущенную атмосферу. Нас окутывал какой-то странный туман, который покрывал кристаллами всю нашу одежду и все волосы на лице. Эти кристаллы висели в виде сталактитов на бровях и ресницах, заслоняли свет и мешали идти, когда это и без того было чрезвычайно трудно, так как холод стоял все такой же до самого Вильно, Ковно и дальше. Края дороги были усеяны трупами солдат, погибших в походе в ночь с 8-го на 9 декабря. Все они были большею частью из 12-й дивизии, которая состояла вся из молодых людей. Мы были все в таком изнурении и так оцепенели, что едва узнавали друг друга. Шли в мрачном молчании. Зрительные органы и физические силы были так слабы,

что трудно было сохранить равновесие и идти прямо. Когда кто-нибудь валился с ног, то никто из товарищей уже не обращал на это никакого внимания. Я сам едва добрался до Вильно, хотя был одним из самых сильных в армии. Подходя к этому городу, я совершенно обессилел и едва тоже не упал, чтобы больше не встать и погибнуть, как гибли другие товарищи на моих глазах.

*Лаппей*

\* \* \*

Переход через Березину значительно облегчил дальнейшее отступление армии. Не говоря уже о большом количестве артиллерийских повозок, но фургоны и повозки генералов — все было покинуто. Утром 28-го числа явились казаки и завладели всем, что не было перевезено на другой берег. Они переоделись в найденные в багаже расшитые одежды и шляпы и преследовали нас в этом странном наряде. Некоторые из наших товарищей, между прочим и Беранже, спаслись от них вплавь.

4 декабря в Виннице Друо выказал геройский поступок. Был Варварин день, он выкатил из своей повозки бочку с вином и еще несколько бутылок и все это разделил между всеми. Порция, доставшаяся каждому из нас, могла поддержать нас дня четыре, но если бы эта щедрость проявилась немного раньше, она оказала бы нам более существенную пользу.

5-го в Сморгони. Мы перестали останавливаться на ночлег под открытым небом. Да и пора было! Я не могу себе представить, каким образом мы могли бы переночевать в такой холод. Ни продолжительность передвижения, ни даже сильный холод, ничто так не утомляло, как воздух и ослепительный снег. В общем, я чувствовал себя прекрасно, если бы только сапоги не так жали мне ноги. Меня очень поддерживал сахар, которого я съедал более фунта в день, хотя все мое небо было исцарапано. В Сморгони я лишился вина и ликеров, так как один из канониров украл мой погребец. Застигнутый во время кражи моим денщиком, он со злобы разбил все бутылки о колеса фургона, и я никогда не смог его разыскать, несмотря на данные мне его приметы. Это новое лишение мне было очень тяжело. Поскорее бы добраться до Вильно!

После перехода через Березину количество наших орудий и фургонов с каждым днем все уменьшалось.

*Пьон де Лош*

\* \* \*

Немного дней спустя после битвы при Березине на герцога Реджио, перенесенного раненым вперед армии, было сделано нападение отрядом неприятельской кавалерии.

Маршал с окружающими его лицами перешли часть дороги, которую должна была перейти отступающая армия; таким образом он прибыл в маленькое местечко Плещеницы. Он нашел там только партии раненых, обозы, идущие вперед нашей отступающей армии, и несколько отдельных солдат, принадлежащих к различным корпусам; он остановился в одном из деревянных домов, окаймлявших дорогу. Солдаты, состоявшие с начала кампании при его штабе, и конвой, состоящий из шести конных егерей 24-го полка, составляли вместе с полутора десятком офицеров общую численность в тридцать человек.

Неожиданно сообщили о появлении отряда казаков, имевших с собой два артиллерийских орудия; в эту минуту послышалось несколько выстрелов. Это была атака неприятеля. Конвой маршала держался твердо и смело выдерживал первый натиск. Однако с этой же минуты стало видно, что эта изба, помещавшаяся на краю местечка, прислоненная к еловому лесу и не имевшая ни двора, ни изгороди, не могла быть защищаема против превосходящей силы. Силу неприятеля оценивали в двести или триста кавалеристов. Тем не менее продолжали стрелять в разведчиков, появлявшихся по временам.

Герцог Реджио, не могший покинуть своего одра болезни, велел положить рядом с собой пистолеты и надел на себя ленту полкового легиона; он говорил, что не хочет попасть живым в руки неприятеля.

Несколько атак следовали одна за другой; защитники маршала, принужденные беречь выстрелы, стреляли только наверняка в очень близком расстоянии; адъютанты и присоединившиеся к ним офицеры вооружились саблями, чтобы отразить самых смелых из нападавших; таким образом обменивались ударами пик, сабель и штыков. Это сопротивление, которое чувствовалось при самом входе в го-

род, заставило предположить, что они заняты силой, достаточной для того, чтобы защищаться долго. Это убеждение заставило неприятельских начальников удалиться для того, чтобы запастись подкреплениями. Верная охрана знаменитого раненого воспользовалась этим моментом, чтобы перенести его в более обширный дом, окруженный заборами, который был намечен и прежде как пригодный для того, чтобы организовать в нем сильную защиту.

Маршала посадили на его лошадь; двое из его адъютантов, Жакмино и Летелье, тоже верхом, находились возле него и поддерживали его во время этого трудного переезда. Таким образом они переехали через квадратную площадь Плещениц; но только успели поместиться в новом убежище, в котором наспех были сделаны бойницы и баррикады, последние посредством опрокинутых телег, как неприятельская кавалерия явилась через ту улицу, которая только что была оставлена. Битва сделалась тогда серьезнее и ожесточеннее. Сначала защищали ту улицу, которую неприятельская кавалерия хотела занять; но скоро эта горсть людей, атакованная армией пик, была оттеснена до того дома, на котором должны были сосредоточиться все усилия. Недостаток боевых снарядов был самой печальной стороной этой геройской защиты, патроны нашлись лишь в довольно ограниченном количестве в патронташах шести егерей охраны и пехотинцев, собранных случайно; эти драгоценные средства защиты были распределены; заряженные ружья розданы были только лучшим стрелкам, необходимо было, чтобы каждый выстрел попадал в цель; спасение отряда, столь слабого по количеству, было возможно лишь при этом условии; сам маршал с пистолетом в руке дотасился до слухового окна, выходившего на театр битвы, и в этот момент был ранен обломком дерева, оторванным от сломанного бревна неприятельским снарядом, направленным на дом. Другое ядро убило обеих лошадей его повозки. Действительно, казаки образовали батарею из их двух пушек и стреляли что есть мочи по этой слабой крепости.

Упорная защита продолжалась, вдруг показалось, что в движениях неприятеля наметилась нерешительность: пушечная пальба замолкает. В тот же момент, направив свой взгляд на высоты, господствующие над местечком, мы за-



мечаем многочисленное войско. По темному цвету их одежды предполагают, что это русские. Ашилле де Ламарр решается посмотреть вблизи на эту неизвестную массу. Он верхом направляется к ней и счастливо констатирует, что это помощь, явившаяся в самый критический момент. Это был вестфальский отряд, которым командовал герцог д'Абрантес. Через несколько минут казаки удалились, и наши союзники вошли в город с криками: «Да здравствует император!»

Я принужден был, как и большинство, пройти дорогу пешком. Трудность кормления лошадей увеличивалась ежедневно. Наши верховые и упряжные лошади падали от истощения на почве, на целый фут покрывшей снегом и сухую траву, которую они могли бы еще щипать.

5 декабря около полудня я имел утешительную и неожиданную встречу. Среди этой толпы, идущей, подобно мне, в тишине, опустив голову к земле, я увидел офицера верхом на лошади очень хорошего вида и за которым следовал всадник, ведущий другую лошадь в поводу. На эту группу, идущую в обратном направлении с нашей отступающей колонной, глядели с удивлением. Взглянувши на нее, я был обрадован, узнав под высоким гусарским кивером, служившим ему головным убором, моего брата.

Мы горячо обнялись; я спросил у него, каким образом произошло, что он возвращался назад.

Тогда он рассказал мне, что со времени раскассирования 4-го полка конных егерей, в котором он находился с Москвы, он двигался отдельно, что накануне он участвовал в сражении, происходившем в Плещеницах, для защиты дома герцога Реджио; что вследствие этой битвы он слышал от раненого адъютанта, прибывшего из арьергарда, которым командовал князь Московский, что этот маршал не имел больше никого из своей свиты, так как все его адъютанты лишились своих лошадей или были ранены.

«Этот рассказ, — добавил он, — тотчас навел меня на мысль отправиться предложить ему свои услуги. Я купил у моего друга храброго полковника Жакмино этих трех лошадей, еще крепких, потому что они не сделали вместе с нами тяжелую кампанию от Москвы; я нашел с некоторым трудом ординарца-охотника и рассчитываю идти до тех пор, пока дойду до моего старинного командира».

Я поздравил его с такой энергией среди такого общего упадка духа.

— Благодарю тебя, — сказал он, — за это братское одобрение, но всего полчаса тому назад я получил поздравления еще более драгоценные. Я встретил на дороге нашего императора, верхом, окруженного королем Неаполитанским, князем Невшательским, генералами Себастьяни, Груши и многими другими. Встреча с моей кавалькадой обратила на себя внимание Его Величества, который подозревал меня и сказал: «Куда это ты отправляешься?» Я ответил ему то же, что сейчас сказал тебе. Император долго меня расспрашивал о состоянии раны герцога Реджио, и когда я в рассказе дошел до того, как маршал хотел пистолетными выстрелами участвовать в битве, данной его защитниками, Его Величество воскликнул с волнением: «Храбрый Удино, храбрый Удино! Все тот же!»

Тогда наш император простился со мной и сказал мне: «Продолжай свой путь, это хорошо, очень хорошо; по крайней мере, ты не теряешь бодрости».

Я снова обнял брата, расставаясь с ним, я оставил его продолжающим свой благородный обратный путь и могу признаться, что с глубоким волнением следил за ним взглядом, когда он удалялся и затем исчез в смутной толпе нашей отступающей колонны.

*Бургон*

\* \* \*

14 декабря мороз усилился еще больше; в этот день он достигал 21 градуса; небо было чисто и безоблачно, но стужа была так сильна, что солнце казалось бледно-желтого цвета. Люди до такой степени извелись от холода и голода, что потеряли всякое подобие человеческого: они становились похожи на призраки, создаваемые ночью испуганным воображением. Их можно было видеть бегущими там и сям, молча, подобно исступленным сумасшедшим, смотрящими в одну точку с сосульками в волосах и бороде, которые висели на них подобно подвескам на люстре, с лицами, почерневшими от дыма и крови лошадей, которыми они питались, почти все были без сапог и шапок, едва прикрыты лохмотьями с головой, закутанной еще окро-

вавленными шкурами. Едва только они замечали огонь, как бросались к нему, чтобы согреть ноги; они падали в него, окружающие же не давали себе труда их вытаскивать, они погибали таким образом среди пламени, которому служили пищей. Оставляемый нами бивак походил на поле сражения; он бывал покрыт трупами так же, как и дороги, по которым мы проходили. Иногда, когда костер потухал, люди, не будучи в силах нарубить дров, садились вокруг него, огонь становился все слабее, и они умирали тут же; подходили другие, садились на трупы своих товарищей и тоже погибали.

*Маренгоне*

\* \* \*

Снова наступили страшные холода, а с ними и наши страдания. Немногие отряды, которые до сих пор еще сохраняли военную твердость, побросали теперь свое оружие и разбредались; какое-нибудь сопротивление теперь казалось невозможным и уже при одном крике «Казачи!» все на дороге приходило в беспокойное движение, и каждый спешил спастись, как мог.

В подобных случаях можно было видеть бегущими наполовину голых людей, которые потом падали и умирали. По улицам люди лежали, вытянувшись один около другого; многие еще были живые, они катались по земле и страшно стонали. Лишь только кто-нибудь падал от истощения или холода, на него сейчас же нападали, не обращая внимания, умер он или нет, раздевали его совершенно, надевая на себя его лохмотья. В немом оцепенении, совершенно черные от дыма и грязи, двигались все, один за другим, с закутанными лицами, в лохмотьях, старых шляпах, с обмотанными больными гангреной ногами. Все были оборванные, голодные и большею частью без оружия.

Вблизи от дороги в домах еще уцелевших деревень искали защиты от холодного ветра, который дул не переставая; в короткое время дома эти так набивались людьми, что не представлялось никакой возможности в них проникнуть. Большие печки сильно накалялись, отчего часто происходили несчастия. Те, которые не могли уже войти в дом, располагались за загородкой, чтоб защититься от ветра; раз-

водили огонь и ставили кругом солому, которую опять теперь можно было находить.

Дрова и солома растаскивались с ближайших домов и крыш, таким образом разрушались дома, в которых находили себе приют другие. При этом произносились ужасные проклятия и ругательства, и в конце концов происходили драки, во время которых вновь пришедшие часто растаскивали весь дом. Некоторые, которые не могли найти для себя жилища, зажигали дом и таким путем прогоняли тех, которые в нем устраивались. Огонь распространялся со страшной быстротой, так как все здания были деревянные, и из всей деревни часто удавалось спасти только несколько домов. Как только загорался дом, все сбегались туда погреться; многие же, окруженные быстро распространившимся огнем, делались жертвами пламени. Как тени, бродили люди по обгорелым развалинам и кругом бивака, ища мертвых, но часто сами здесь кончали свое существование. На рассвете без всякого сигнала поднимались все с бивака, чтоб продолжать свое несчастное путешествие.

Холод делался невыносимым. Обессилившие люди, которые до сих пор с трудом тащились, теперь качались, как привидения; с громадным напряжением передвигали они ноги; глубокие стоны надрывали их грудь; голова наливалась кровью, глаза сузились, колени подгибались: они собирали свои последние силы, но их было так мало, что через некоторое время они падали как опьяненные, чтобы уже никогда больше не подняться. Чувства были притуплены — мы проходили без всякого ощущения мимо этих несчастных.

Иногда на дороге встречались пленные русские, которых теперь никто не задерживал, и они могли идти куда хотели. Они собирались в деревнях и, стараясь заполучить лошадей, нападали на нас, как казаки. Вообще все мы были так напуганы, не имея возможности сопротивляться, что, завидя вдаль крестьянина на лошади, были уверены, что казаки недалеко, и пускались всей толпой бежать.

Ужасное зрелище представляли горевшие со всех сторон деревни. Небо становилось совершенно багровым, а на дорогах и в окрестностях делалось светло, как днем, только освещение это было красное.

Слабость доходила до такой степени, что люди не были в состоянии искать топлива, они садились на трупы своих товарищей, чтобы погреться около оставшегося от них едва теплящегося огня, и замерзали, как только он потухал; некоторые же бессмысленно ложились в огонь и в страшных мучениях умирали.

Многие сходили с ума и глотали сырое мясо павших лошадей, некоторые теряли голос, иные же слепли и ошупью двигались в толпе, до тех пор пока не отбивались и не погибали.

Так называемый священный эскадрон, образовавшийся в Орше из офицеров и состоявший при императоре, рассеялся, и вообще теперь храбрость везде уступила место малодушию.

Последняя гвардия, которая еще до сих пор имела оружие, теперь бросила его. Все приходило в упадок, нужда делала всех грабителями и поджигателями, сильные отнимали у слабых их имущество, причем никто не чувствовал стыда за свои ужасные проступки. В Сморгони встретили мы часть Луазоновской дивизии из Данцига и множество запасных войск с родины, которые были нам высланы навстречу из Вильно; они еще были в полном порядке и для нас, пропитанных дымом и грязью, было необычно видеть снова чисто одетых солдат и слышать звук их барабанов.

*Иелин*

\* \* \*

Вот приблизительно как я проводил каждый из этих трудных дней. После сна, часто прерывавшегося приступами кашля, я просыпался задолго до рассвета от движения и шума на соседних биваках; это бывал момент, когда многие пускались в путь, чтобы прийти первыми и найти пристанище на следующую ночь. Наши сборы бывали непродолжительны: нам не нужно было одеваться и собираться, каждый из нас по желанию уходил до рассвета или оставался, присев у остатков костра. Обыкновенно, когда появлялась заря, — что в это время года бывало не раньше 8 часов, — я с сожалением покидал бивак и не бывал уверен, что найду другой, как бы плох ни был оставляемый. Обычно шли по двое, по трое и почти всегда расстава-

лись дорогой; но каждый вечер мы старались встретиться там, где останавливалась главная часть армии. Это было в интересах всех; порознь каждый из нас не дотянул бы и до следующего дня; нас спасало единение, царившее в нашей маленькой компании. Припасы у нас были в складчину, мы помогали и взаимно поддерживали друг друга, и всякий нес свою долю в работе и заботах по нашему устройству каждый вечер. То же самое устраивалось и среди разрозненных людей, полки которых больше не существовали или которые их покинули. Они собирались по несколько вместе, и каждый вечер при приходе на бивак слышно было со всех сторон, как заблудившиеся во всю глотку звали своих товарищей. Мы решили, что первые пришедшие, найдя удобное место, обозначат его, написав мелом или углем на первой стене или сарае направо от дороги, чтобы избежать повторявшихся каждый вечер поисков среди толпы при полной вероятности так и не встретиться; а если с наступлением ночи кто-нибудь не являлся, один из нас заменял надпись и оставался на дороге полчаса или час. Если и после этого кого-нибудь не хватало, как случалось несколько раз, то это значило, что несчастный упал на дороге, изнемогая от усталости и лишений и холода. О нем сожалели в нашем грустном ночном собрании, но недолго; наши страдания не оставляли места жалости!

Хорошо согревшись перед выступлением, я начинал путь верхом, но редко оставался в седле больше получаса; я принужден был спешиваться, чтобы не отморозить конечностей. Тогда, взяв лошадь под уздцы, скрестив руки, согнувшись и опустив голову, я шел вперед настолько быстро, насколько мне позволяли моя слабость и трудность для лошади двигаться по обледенелой земле. Дорога была покрыта людьми. Люди толкались, но никогда они словом не обменивались с соседом или с встреченным товарищем. Над этой движущейся толпой царило мертвое молчание, нарушаемое только проклятиями падавших и криками раненых, которых безжалостно толкали. За день обыкновенно проходили четыре, пять, а иногда и шесть миль в один переход; всякий отдых был смертелен. Но если случайно уцелевший дом встречался близ дороги, все бросались туда, поджигали его и теснились кругом: если я в это время

проходил мимо, то не мог устоять против потребности немного согреться и, стоя в тающем от пожара снегу с обожженным лицом и испорченными дымом глазами, я оставался в этом неприятном положении до наступления темноты, а смеркалось уже около двух часов, и я тогда принужден был идти дальше.

Приходя вечером, мы распределяли между собой работу. Артиллеристы и прислуга, еще остававшиеся с нами, отправлялись на поиски за необходимым для лошадей фуражом: они были счастливы, если им удавалось принести несколько фунтов полусгнившей соломы. Что касается нас, то мы собирали дрова, разводили огонь, растаивали снег, готовили похлебку и старались как можно лучше защитить свой бивак — эти заботы мы распределяли между собой, и каждый участвовал в них по мере сил. Пока готовилась наша безвкусная похлебка, мы пользовались первыми минутами отдыха, чтобы истреблять паразитов, которыми мы были покрыты. Это страдание надо испытать, чтобы понять его; оно стало истинной пыткой, которая еще увеличивалась от отвращения, внушаемого ею. Несмотря на доступное в походе соблюдение чистоты, совсем избавиться от этих гостей почти невозможно, оставаясь в одной и той же одежде несколько дней, а иногда и несколько недель. Итак, со времени нашего входа в Россию немногие из нас избегали этой неприятности. Но со времени отступления она обратилась в бедствие; да и как могло быть иначе, когда мы, во избежание убийственного ночного холода, принуждены были не только никогда не раздеваться, но и покрываться всеми лохмотьями, которые нам попадались, и занимать малейшее свободное местечко на биваках, с которых ушли другие, или в жалких лачугах, куда нам удавалось проникнуть? Таким образом, эти паразиты страшно размножались. Рубашки, жилеты, платье были ими заражены. Страшный зуд не давал нам спать часть ночи. Он стал до того нестерпимым, что я чесанием сорвал кожу в части спины, и жжение в этой отвратительной и страшной ране казалось мне приятным по сравнению с зудом. Все мои товарищи были в том же положении: мы не стеснялись в наших грязных поисках и, не краснея, могли производить их друг перед другом.

Когда наступало время еды, все вооружившись своими ложками, окружали котел с похлебкой. Эта похлебка, сделанная без сала и соли, была настоящим клеем, и только при нашем голоде мы могли ее глотать. Несмотря на то, что она была очень безвкусна, я предпочитал ее жареной конине, приторный тошнотворный запах которой преследовал меня повсюду. Поев, мы подкладывали дров в огонь, если нам везло и у нас они были. Потом все устраивались, как кому было удобнее, вокруг огня и, поговорив немного, старались отдохнуть несколько часов, до следующего дня, несущего те же бедствия.

Я выше говорил о подожженных домах, вокруг которых собирались окоченевшие путники. Около этих громадных костров устраивался род ярмарки, где каждый становился и торговцем и покупателем. Редко торговля шла на деньги; большею частью она была меновая. «Кто хочет соли за сало, муки за сахар, глоток водки на горсть чая?» — а под глотком подразумевалось то, сколько можно было выпить из кружки, не передохнув — таковы были предложения, слышавшиеся со всех сторон. И как завидовали производившим мену те, гораздо более многочисленные, которым нечего было предлагать и, следовательно, не на что надеяться!

Я опишу здесь одежду, в которой сделал все отступление. Ее составные части были еще в хорошем виде, когда я покидал Москву; но они недолго противостояли различного рода порче, которой подвергались, и задолго до окончания отступления они обратились в лохмотья. К счастью, приблизительно за два месяца, я привык носить на теле фланелевый жилет. Я бросил его только в Кенигсберге, и одному Богу известно, в каком виде. Красный казинетовский жилет с галунами, фрак из легкого сукна, сверху одноцветный сюртук, суконные панталоны с застежкой по бокам, надетые прямо на тело, очень узкие суворовские сапоги и нитяные носки — таково было мое обычное платье. Этот легкий костюм, пригодный самое большее для нашей осени, был совершенно недостаточен при испытанных нами морозах. Однако же сменить его было невозможно, а раздобытая мною медвежья шкура не могла заменить пальто, которое у меня украли при переходе через Березину. Этот мех был очень хорош ночью на биваках, но в



дороге он был слишком тяжел. Я смастерил себе из нескольких отрезанных от него полос нечто вроде футляра в семь-восемь дюймов длины, концы его были привязаны к веревочке, которую я надевал на шею. Идя пешком, я прятал туда руки за недостатком перчаток, обращая его в муфту. Назначение его менялось, когда я был верхом; я всовывал его в стремяна, и тогда он служил ногам, более чувствительным, чем руки. Из другой полосы я сделал шарф, закрывавший низ лица и завязанный на затылке. В этом странном наряде, с головой, едва прикрытой продранной шляпой, с кожей, потрескавшейся от холода и почерневшей от дыма, с волосами, покрытыми инеем и обледеневшими усами, прошел я тысячу верст от Москвы до Кенигсберга, но среди покрывавшей дорогу толпы мой костюм еще сохранял какие-то формы; большинство же наших несчастных товарищей казались фантастичными призраками.

Если что и оставалось от формы, то этого не было видно, так как она скрывалась под более теплой одеждой, которой каждый постарался запастись. Некоторые счастливицы, сохранившие свои шинели, сделали из них что-то вроде накидок с капюшонами, которые они обвязывали вокруг тела веревкой; другие для того же пользовались шерстяным одеялом или юбкой; некоторые были одеты в женские шубы, подбитые дорогими мехами, — московские реликвии, предназначавшиеся сначала сестрам или любовникам. Часто встречались солдаты с черным отвратительным лицом, одетые в розовое или голубое атласное мантио, отороченное лебяжьим пухом или голубым песком, опаленное бивачными огнями и покрытое жирными пятнами. У большинства головы под остатками фуражек были обвязаны грязными платками, а изношенную обувь заменяли лохмотья белья, одеял или меха. И не только простых солдат судьба заставляла так перерядиться. У большинства офицеров, полковников и генералов одежда была не менее жалка... Мы не замечали всей дикости этих нарядов: на них обращали внимание только, чтобы воспользоваться изобретениями, которые, казалось, лучше всего могут предохранить от холода.

*Гриуа*

\* \* \*

Выйдя из Зембина, мы попали на длинную дорогу, перерезанную мостиками, которые неприятель не удосужился разрушить, и мы оценили здесь, до какой степени еще хранил нас Господь, допустивший нас переходить по ним. Мы вели 2—3 тысячи пленных, которые очень нас стесняли; у нас не было для них ни грамма пищи, и я смотрел сквозь пальцы, если, проходя по лесам, пленные пользовались случаем и бежали: у меня не хватало жестокости велеть их бить, чтобы не отставали. Каждую минуту наша собственная участь могла сделаться страшнее участи этих людей.

Воскресенье 29-го прошло в невеселом движении на Камень, куда мы пришли около полуночи. Наши люди, уставшие не меньше нас, прежде чем лечь спать вынули несколько кусков говядины, которые лежали вперемешку с табаком, в повозке, еще шедшей с нами, и в темноте положили это мясо в горшок, не заметив, что оно облеплено табаком. В четыре часа утра, перед отходом, нам подали суп отвратительного табачного вкуса; никто не ел его; но мой голод был так силен, что я пренебрег всякой осторожностью, не поступил как другие и, уничтожив всю свою порцию, пустился в путь. Скоро у меня началась сильная головная боль, тошнота и рвота; я лишился чувств; было ясно, что я отравился. Слух об этом, распространившись, дошел до императора, и очередной курьер отвез в Париж известие; вследствие которого там подумали, что я умер. На привалах генерал Аксо и другие великодушные люди спасли меня, отпаивая чаем. Маршал Даву все еще вез меня на своем ящике, и к вечеру мы прибыли в Котовичи в дом священника. Достойный старик, которому нечем было помочь нам, знал французский язык и не захотел убежать, как остальные жители, желая дать нам в наших бедах духовное утешение. Его ласковые заботы окончательно восстановили мои силы, и мы пустились в путь на следующее утро в 4 часа, простившись с ним с чувством искренней признательности.

Весь день 1 декабря мы шли через громадный лес, где на каждом шагу попадались овраги, через которые трудно было переправиться. В этом лесу почти все наши пленные отстали.

2 декабря мы до рассвета переправились через Илию. Громадные леса, занесенные снегом, почти без дорог, затрудняли движение, и мы очень поздно прибыли в Молодечно... В этот день в Молодечно прибыл император и вместо того, чтобы праздновать годовщину прекраснейшего дня своей жизни, он был принужден редактировать несчастный 29-й бюллетень, в котором кратко описывались бедствия армии, хотя и умалчивалось обо всей значительности их.

3-го в 4 часа утра мы пошли дальше, не решаясь подсчитывать остающихся. Дорога была усеяна трупами. Колеса телег, ворочаясь с трудом, цеплялись за обледеневшие трупы и тащили их за собою.

Мы с Аксо шли держась под руку из-за гололедицы; рядом шли солдат и офицер. Солдат вытащил из кармана кусок русского черного хлеба с кулак и стал с жадностью есть. Офицер с удивлением увидел хлеб и предложил за него гренадеру пятифранковую монету. «Нет», — ответил солдат, вонзая зубы в жесткий хлеб, с такою яростью, как лев в добычу. «Умоляю, продай мне твой хлеб, вот 10 франков». — «Нет, нет, нет!» — и хлеб уменьшился вдвое. «Я умираю, спаси мне жизнь, вот 20 франков». Тогда гренадер с диким видом откусил еще кусок; он взял двадцать франков и отдал остаток хлеба, считая торг невыгодным.

Мы были покрыты ледяной корой; дыхание выходило изо рта густым паром и образовывало сосульки на волосах, на бровях, на усах и бороде. Они были настолько велики, что мешали видеть и дышать. Аксо отломил те, которые беспокоили меня, и заметил при этом, что нос и все лицо у меня побледнели и стали как восковые; он сказал мне, что они отморожены. И, действительно, чувствительности не было. Надо было скорее тереть эти места снегом; минута или две такого трения, восстановили обращение крови: но смена холода теплом на руке, которой я терся, причинила мне такую страшную, невыносимую боль, что понадобилась вся сила воли, чтобы победить ее. Инженерный полковник Эми через несколько минут испытал то же самое от той же причины. Он бросился в отчаянии на землю; мы не хотели бросить его, но чтобы заставить подняться, пришлось бить его... У нас свирепствовала также дизентерия, жертвы которой казались скелетами, обтянутыми сухой,

синеватой кожей. Другие, в том числе почти все кавалеристы, растеряли или сожгли обувь и теперь шли с голыми ногами. Замороженная кожа и мускулы отслаивались, как слои у восковых статуй, оголяя кости, и внезапная нечувствительность давала людям ложную надежду вернуться домой...

В Марково, маленькую деревню, в которую мы вошли, удалось добраться нескольким повозкам обоза, присланного из Германии. Они привезли множество свежих разнообразных припасов, и нашим храбрым солдатам удалось, наконец, поесть хлеба, масло, сыра и выпить стакан вина. Какой стол после сорокадневного поста! Мы тоже воспользовались счастливой встречей...

Первым пришел генерал Гильемино со своей дивизией и принял меры, чтобы содержимое повозок не было разграблено. Он встал у окна помещичьего дома и, когда мы проходили мимо, пригласил нас зайти. Растерев свои обледелые лица — предосторожность совершенно необходимая, чтобы они не испортились, — мы вошли в теплые комнаты, где увидели самую неожиданную картину. На красивых столах из красного дерева стоял огромный самовар, целый фарфоровый чайный сервиз, лежали кучи белых хлебцев и несколько корзин с бретонским маслом. При таком зрелище, непривычном для людей, более двух месяцев проводивших среди страшных лишений, наши глаза, наши ноздри расширились, как ноздри арабской лошади при звуке трубы, и мы весело приняли приглашение заняться завтраком. Все мы не могли наесться досыта, каждый ел не за четверых, а за десятерых, никогда, наверно, гости не делали большей чести хорошему хлебу, хорошему караванному чаю и толстым тартинкам, которые готовил для нас хозяин. Трудно было после уйти из этого удобного приюта, где были и тепло и провизия, и располагаться на биваке у Сморгони под открытым небом при 25-градусном морозе...

*Лежен*

\* \* \*

5 декабря. Выходим в девять часов; в два часа приходим в Сморгони (22 километра); мороз по крайней мере 20 градусов.

На этот раз весь путь я совершаю пешком. Моя конюшня состоит теперь из трех кляч. Они мне не очень нужны; я предпочитаю идти. Я очень рад, что помещаюсь в скверной крестьянской избе, где есть печь вместо камина; мы разделяем ее с нашими людьми.

Император помещается в барском доме. В десять часов вечера, когда этого меньше всего ожидали, Его Величество уезжает в почтовой карете, в одном экипаже со шталмейстером: министр двора и граф Лобау следуют за ними в другом. Последний не имел времени проститься даже со своим племянником; экипаж был уже подан, когда его попросили садиться.

Перед отъездом Его Величество каждому из своих адъютантов дал по 30 000 франков наградных и по 6 000 каждому из офицеров-ординарцев. Адъютанты адъютантов были забыты, хотя они работали столько же, сколько и ординарцы, и это — нераспорядительность.

Генерал Нарбонн послал за мной в мое помещение, чтобы объявить мне о своей миссии в Берлине. Велико было мое изумление, когда в дежурной комнате я узнал об отъезде императора. Часть ночи я провел в переписывании 29-го бюллетеня, в подлиннике, поправленном рукою Его Величества. Любезный и остроумный секретарь кабинета Мунье мне передал его. Слова «и очень сильно морозит» написаны рукою Его Величества.

Я окрылен надеждой увидеть Францию, хотя, прежде чем достигнуть до нее, придется преодолеть еще много опасностей.

В дневном приказе помещено назначение короля Неаполитанского наместником Его Величества, главнокомандующим армии. Принц Невшательский остается начальником штаба (*major general*), это его приводит в отчаяние. В момент отъезда императора он рыдал в его комнате, заявляя, что он никогда с ним не расставался, умоляя позволить уехать и ему. Император ответил: «Это невозможно, вам необходимо остаться с Неаполитанским королем. Я-то отлично знаю, что вы никуда не годитесь, но другие этого не знают, и ваше имя в армии довольно популярно». Этот разговор слышал дворцовый комендант Дариюль (*Dariule*) сквозь полуоткрытую дверь. Приказано говорить, что, ожи-

дая армию, государь остановится на отдых в Вильно. Я-то знаю, что он уехал немного дальше\*.

*Кастеллан*

## ***В Вильно до прихода армии***

Наше положение в Вильно стало тяжелым и беспокойным... Там были магазины с съестными и боевыми припасами, единственной помощью, необходимой для огромной отступающей армии. Это и могло побудить неприятеля сделать внезапное нападение на этот город, который, как я уже говорил, был плохо укреплен благодаря своему положению; он лежал в долине, окруженной командующими возвышенностями со всех сторон. Я все же велел устроить палисады в тех местах, где не было стен, и в выходах улиц, чтобы по крайней мере помешать казакам проникнуть в город ночью. Подкрепления для армии все время прибывали: после 9-го корпуса, который пришел в сентябре, пришли еще полубригады и пехота, сформированная из солдат, выписавшихся из госпиталей или поставленных гарнизонами вдоль пути между Францией и армией. Согласно приказанию императора я стремился направлять все к армии до тех пор, пока не были прерваны сношения и когда не оставалось больше уверенности, что мелкие отряды могут идти далее. Таким образом, в моих руках были: дивизия генерала Луазона, пришедшая в последних числах ноября, один полк польских уланов и два неаполитанских полка, собранных из великолепно обученных волонтеров; одним из них командовал герцог Рокка Романа, главный конюший Неаполитанского короля, а другим — еще один неаполитанский князь. Я сделал смотр им обоим, но уже на снегу.

---

\* Во Франции мне рассказывали, будто отъезд императора вызвал среди войск страшное отчаяние; на месте я не заметил ничего подобного. Наше положение было ужасно; армия, дезорганизованная, пожираемая самыми жестокими страданиями всякого рода, надеялась только на императора: преданность ему, вера в него, несмотря на все поражения, были непоколебимы. Боялись только, как бы дорогой не попался он в плен. Нашим самым горячим желанием было бы узнать о прибытии его во Францию здоровым и невредимым, так как мы хорошо понимали, что только его возвращение могло помешать восстанию в Германии, что оно было необходимо для организации новой армии, которая пришла бы к нам на помощь и спасла бы остатки той, чьей частью являлись мы.

Первые известия об армии мы получили от одного польского пана, который рискнул собою, чтобы отвезти депеши императору. Он пошел, переодевшись в крестьянское платье, несколько раз попадался казакам, которые дурно с ним обращались, но не узнали его, и встретил Наполеона при переходе через Березину. Он принес герцогу Бассано и мне ответы на наши письма и известие об этом знаменитом переходе и о победе над русскими, которые хотели отрезать нас от переправы. Я тотчас же сделал все приготовления, необходимые для приема Великой Армии или, вернее, ее остатков.

Как только я прибыл в Вильно, я расположил к северу от города небольшой отряд из трех-четырёх тысяч человек, под командой бригадного генерала барона Кутара, превосходного офицера, чтобы прикрыть Вильно с этой стороны и защитить от нападения; его аванпосты доходили до Двины, так что, если бы русские вздумали подойти с этой стороны к Вильно, я был бы вовремя уведомлен. Командование дивизией генерала Луазона, который еще не прибыл, я отдал временно дивизионному генералу Грасьену, который, будучи тяжело ранен в армии, в Вильно лечился и в то время чувствовал себя достаточно хорошо. Я приказал ему занять пост в Ошмянах по дороге к Минску, чтобы ждать там Великую Армию и помочь ей в отступлении. Я поместил также небольшой отряд, сформированный из пехоты, под началом генерала д'Альбиака, по правую сторону, лицом к югу, чтобы прикрыть эту сторону от набегов казаков, которые начинали показываться со всех сторон. Полк польских уланов и два полка неаполитанской кавалерии были расположенные в промежутках между ними, где еще оставались не уничтожены огнем деревни; они должны были служить аванпостами и помогать отступлению отрядов маршалов Удино и Виктора. Еще другой небольшой отряд, составленный из пехоты, под командой бригадного генерала Франчески я поставил слева от дороги в Минск. Силы, расположенные таким путем перед Вильно, составляли с севера через восток на юг полукруг, внутри которого армия или, вернее, отступающие беглецы были защищены от нападений и беспокойств со стороны казаков; и даже на открытых местах они получили раздачу съестных припасов

и всевозможного рода помощь, которую я позаботился послать им навстречу.

Польский генерал Конопка, которому было поручено набрать в Варшаве полк уланов для императорской гвардии из своих соотечественников, как это сделал генерал граф Красинский, набрал его из отборных молодых волонтеров, почти исключительно дворян с прекрасными лошадьми, обмундированных роскошно и элегантно. Он пришел с этим полком в Слоним, к югу от Вильно, где жили его родители. Он остановился со своим полком там на несколько дней и, в конце концов, хотя и был предупрежден, все же дал себя захватить врасплох русским, едва имел время сесть на лошадь и не мог собрать своих людей. Он был взят с большей частью своих; а его жена, молодая и очаровательная итальянка, бывшая вместе с ним, спаслась с невероятным трудом, сопровождаемая сотнею людей и бежала с ними в Вильно.

Принц Шварценберг, который командовал вспомогательным австрийским отрядом, вступил на Волынь и начал довольно мирно воевать с русскими; когда же эти последние заключили мир с Турцией, и русский генерал Тормасов, свободный с этой стороны, повернул против австрийцев, то Шварценберг отступил к Польше, за Буг, который он перешел; это вызвало большую тревогу у жителей Варшавы, в особенности, у господина Прадта, малинского архиепископа, который занимал там пост французского посланника и который был человеком не очень воинственным. Беспокойство распространялось и на Вильно; русский отряд, под начальством адмирала Чичагова, направился к северу по дороге к Минску, чтобы отрезать отступление Великой Армии и преградить переход через Березину, мост которой был сожжен в Борисове; так что император был вынужден подняться на несколько верст по реке и там перекинуть два понтонных моста. Но все эти подробности уже известны, так же как и битва, которая была после перехода и которая заставила русских дать возможность Наполеону продолжать свое отступление на Вильно, беспокоя его лишь казацкими наскоками, которые, впрочем, принесли вред только отсталым да обозу.

В тылу у нас была Польша, спокойная и преданная целиком интересам Франции: она не доставляла нам никако-



го беспокойства; Пруссия, с виду тихая, казалось, действовала чистосердечно. В Германии брожение еще не началось. Но операционная линия от Майнца до Москвы была необычно длинна.

Слева от нас маршал Макдональд осаждал Ригу, но безуспешно. В его распоряжении был Прусский отряд под начальством генерала Иорка и одна дивизия, сформированная из французов и поляков. Его армия была собрана из отборных войск; но тяжелая осадная артиллерия к нему пришла слишком поздно. У него было несколько стычек с русскими, в которых прусские отряды бились прекрасно. Его корпус пострадал немного и до последней минуты находился в сравнительно хорошем состоянии.

Когда князь Шварценберг получил сведения о движении адмирала Чичагова, который прошел перед ним, то он снова переправился через Буг и начал преследовать русский корпус, с которым он имел несколько аванпостных дел, малозначительных, но о которых много кричали. Но он не слишком подвинулся по дороге к Минску и, узнав о разгроме Великой Армии, снова начал свое отступление к Польше.

Таково было приблизительно положение вещей в момент перехода через Березину.

2 декабря, в годовщину коронации императора и битвы при Аустерлице, герцог Бассано давал парадный обед, а я — большой бал, на котором присутствовали иностранные уполномоченные, польские магнаты и дамы; было оживленно и весело; и только герцог Бассано и я знали настоящее положение вещей, но ничего не проскользнуло ни в наших речах, ни в нашем поведении.

*Гогендорп*

\* \* \*

Был конец ноября. Управление Вильно сделалось невыносимым бременем. В больницах не было самых главных принадлежностей; люди умирали там во множестве, так же как и в различных других помещениях, безо всякой помощи; злоупотребления умножались во всех отделах администрации, со всех сторон город наполнялся народом. Вильно сделался, наконец, настоящим лабиринтом, в котором не-

возможно было ориентироваться. Я (автор был комендантом Вильно), однако, не отчаивался и, хотя заболел в первых числах декабря, все же старался сидеть на лошади и видел все своими глазами. Подробности всякого рода были тогда так сложны, что я принужден был держать постоянно в сборе свою канцелярию для выполнения дел. Так как доставки провианта почти прекратились, то мне удалось с помощью польских отрядов, которые я разослал по Виленской провинции, ускорить доставку зерна и устроить магазины для продовольствия армии в 120 000 человек в течение тридцати шести дней. Эта временная доставка продовольствия была бы очень важна, если бы обстоятельства позволяли потом армии ограничить свое отступление Вильно. Но оказалось совсем другое.

4-го и 5 декабря наше положение сделалось все более критическим; тревога распространилась повсюду при известиях об отступлении армии и о сопровождавших ее несчастьях. Всякий в этот момент предвидел ужасные его результаты; не оставалось более надежды удержать прочное положение, все иллюзии исчезли.

5-го я был уведомлен герцогом Бассано, что толпа в 20 000 беглецов, замерзших и голодных, должна явиться в Вильно и предполагала разграбить город и магазины. Всюду при их приходе, начиная от Смоленска, они жгли и грабили деревни и города и угрожали Вильно такой же участью. Ввиду такого обстоятельства необходимо было принять самые скорые меры, чтобы не только не предоставить задуманный грабеж, но, сколько возможно, и всякого рода беспорядки. Я сообщил мэру и полицейскому комиссару о всей опасности, которая угрожала бы городу, если бы жители не согласились на некоторого рода жертвы. Мы сговорились вместе, что все горожане будут печь хлеб и раздавать его всем солдатам, которые будут в нем нуждаться, и что многие из этих горожан вместе с несколькими офицерами будут посланы на Минскую дорогу, навстречу этим солдатам, чтобы склонить их спокойно войти в Вильно, где они найдут съестные припасы и одежду. Эта мера имела хороший результат.

*Барон Годар*

\* \* \*

Я должен объясниться по поводу дезертирования баварцев, о котором я рассказывал. Храбрый генерал Деруа, бывший во главе этого корпуса, под начальством маршала Гувьона Сен-Сира, умер от ран, полученных им в первой же битве при Полоцке; его заменил генерал Вреде, который командовал кавалерией; с этого момента и началось их дезертирование. Баварские солдаты сотнями стали покидать свои знамена, приходили в Вильно и просились в госпитали под тем предлогом, будто они больны. Когда я узнал об этом, я приказал собрать их всех на военном плацу, чтобы их освидетельствовать. Их было более 1100 человек; по донесению французских фельдшеров, на которых я возложил их осмотр, среди них не оказалось и сотни действительно больных. Возмущенный этим обманом, я велел им тотчас же выйти из города и вернуться к Полоцку к своим отрядам, под надзором единственного бывшего с ними офицера их нации. Но вместо того, чтобы вернуться к своим знаменам, они разбежались по окрестностям, начали грабить, разорять и поджигать деревни. Почти все баварские солдаты дезертировали таким путем, покинув офицеров. Те, в свою очередь, оставшись в конце концов без людей, начали сами отступать. Они явились в Вильно, чтобы стать там на квартирах; но я запретил им входить в город, не желая вновь видеть ряды офицеров без войска. Некоторые дезертиры были взяты во время грабежа одной деревни, которую они перед тем подожгли; я их предал военному суду, который приговорил нескольких к смерти.

Генерал Вреде написал тогда мне, требуя их к себе, и утверждая, что он один имеет судебную власть над войсками своей нации. Я ему ответил на это, что в моем губернаторстве я признаю только одну власть, мою собственную. Он жаловался также, что я отказался принять баварских офицеров, но получил тот же ответ. Я подчеркиваю все эти обстоятельства, потому что тогда же мне показалось ясным, что дезертирство не могло иметь места без его одобрения и даже, может быть, его подстрекательства.

Вреде своим быстрым повышением и своей удачей был обязан протекции императора, который дал ему даже значительную дотацию в области Зальцбурга. И несмотря на

это, он одним из первых изменил ему и был одним из самых ярых его врагов. Это и подтверждает мою мысль, что его интриги начались еще с тех пор, что он тогда уже старался всеми способами, которые были в его власти, ослабить французскую армию.

*Гогендорп*

\* \* \*

29-го я добрался до Ошмян, но, если бы не помощь одного польского полковника, имени которого я так и не узнал, я бы умер от холода и дизентерии. По его настоянию я выпил бутылку хорошего теплого вина с мускатным орехом, а затем он уговорил почтмейстера повести меня в санях до Вильно. Там я остановился у генерал-губернатора графа Гогендорпа; он ничему не поверил из того, что я рассказал ему о положении армии, и стал меня уверять, что в Вильно мы можем держаться; он заверял меня, что у него хватит продовольствия на сто тысяч, а магазины полны всякой одеждой. Герцог де Бассано был сговорчивей, он выслушал меня и поспешил послать курьера к императрице, с известием о том, что император спасен.

Два месяца спустя я со смехом читал в Имперском журнале (*journal de L'Empire*) тот великолепный рапорт, который будто бы я сделал. Я привез первые новости. Шестнадцать дней не имели никаких сведений от государя и ничего положительного не знали об армии.

Легко представить себе общее любопытство, особенно в дипломатических сферах, где я лично знал всех. Герцог де Бассано твердил мне только одно: «Не говорите им ничего». Он не составлял себе больше никаких иллюзий, но система мистификации была так привычна, а дипломатизм влияния на общественное мнение столь силен, что министры Наполеона во что бы то ни стало требовали, чтобы верили тому, что они говорят, и даже проще — не верили ничему другому. Необходимо было «*jurare in verba magistri*», иначе вас могли обвинить в англоманстве и назвали бы врагом Франции.

Я был глубоко возмущен фарсом, который они разыгрывали в Вильно. Первого декабря был устроен концерт у герцога де Бассано в честь кануна коронации. На следующий день генерал Гогендорп пригласил на бал к себе. Я

слышал, как польские дамы, указывая на меня, говорили: «Что это за странствующий скелет?» Когда они узнали, что я первый пришелец нашей злосчастной армии, они подошли ко мне и забросали меня расспросами о своих мужьях и родственниках. Невзирая на запрещение герцога де Бассано, я посоветовал некоторым из них просто укладываться и ехать в Варшаву. Тот же совет я дал и генералу Фриану, и он воспользовался им, уехал одним из первых, что послужило ему, конечно, только на пользу. В то время как у губернатора танцевали, к городу понемногу стали подходить наши несчастные сотоварищи. 6 декабря въехал и сам Наполеон. Он пробыл в Вильно только несколько часов. Скоро всем стало известно, что командование армией он поручает королю Неаполитанскому, а сам уезжает в Париж. Это вызвало общий крик негодования. Люди самого спокойного характера были вне себя, и если бы у кого-нибудь хватило смелости потребовать его смещения, то это было бы единогласно принято.

Но на самом-то деле, по всей справедливости, присутствие императора в армии тогда было бесполезно, а в Париже было необходимо и выгодно и для него и для империи, а главное для всего, что касалось революции. Если бы в то время в Париже появился бы герцог Орлеанский, то его легко могли бы провозгласить королем, хотя это значило бы объявить гражданскую войну. Конечно, роялисты были бы за законную наследственность, но их было мало и денег у них не было, да они и слишком отстали от века и достигнутый ими результат не шел бы дальше мятежа. Высшие чины армии разделились бы на партии, но главари и армия не согласились бы на Бурбонов ни под каким видом. И отделаться от Наполеона могли бы только одним способом, не прибегая к оружию, а именно — провозгласить императором его сына под регентством матери, и при посредничестве Австрии и Пруссии заключить мир. Кто знает, не мечтали ли об этом действительно некоторые из сильных мира сего! Уезжая, Наполеон отнял у них всякую возможность на это, и я сам, сознаюсь, если бы Наполеон у меня спросил в Вильно или даже раньше совета, я бы ему посоветовал ехать и сделать именно то, что он сделал.

*Дедем*

## *Отъезд императора*

На другой день я получил в Вильно приказ императора выехать к нему навстречу. Я тотчас же выехал, направляясь через Ошмяны и Сморгони, в 27-градусный мороз. Моя карета в дороге опрокинулась. Эскорт егерей, меня сопровождавших, жестоко страдал; половина людей осталась на дороге; лошади, которые были плохо подкованы, спотыкались каждую минуту на обледенелой земле.

Проехав Сморгони, я начал встречать вереницу людей, которые возвращались на Вильно; это была неопределенная смесь всяких оружий, всяких чинов без всякого порядка и различия. Они шли печальные, молчаливые, и слышно было только, как они тяжело вздыхали; часто они толкались один о другого. Я видел, как многие внезапно падали навзничь; некоторые после тяжелых усилий поднимались на ноги, но большинство оставались на месте и умирали в конвульсиях. Почти все бросили свое оружие и были одеты кое-как, в особенности изнашивались сапоги — лишение, которое было для них самым невыносимым. Можно было видеть людей, покрытых странными одеждами, в женских шубах, в тысяче разных лохмотьев. Генерал был не лучше солдата или барабанщика, его тоже толкали, но он ничего не смел сказать, потому что не было больше ни субординации, ни дисциплины. Все были охвачены одной-единственной целью, единственным желанием, как можно скорее добраться до Вильно, на который смотрели как на обетованную землю, где никто больше ни в чем не будет нуждаться.

Чем ближе подъезжал я к Бинишкам, где, как я узнал, находился император с главной императорской квартирой и старой гвардией, которая до тех пор сохранила полный порядок, тем медленнее мог я продвигаться вперед, чтобы не повалить живых, не растоптать мертвых и находившихся в агонии. Наконец к вечеру добрался я до усадьбы Бинишки, пройдя две сожженные деревни, которые еще догорали и где толпа несчастных тщетно искала гостеприимной крыши, чтобы спастись от мороза, еще более усилившегося ночью.

Меня проводили сейчас же к Наполеону. Я застал его при свете двух огарков, при хорошем огне и одетым как

всегда. Он спросил меня, в каком теперь положении дела в Вильно, и задавал мне бесконечные вопросы, на которые я, по своей привычке, отвечал по совести и согласно истине. В Вильно было на три месяца съестных припасов, достаточных для ста тысяч человек, и в магазинах огромное количество одежды, предназначенной для разных корпусов, и главным образом для первого корпуса маршала Даву. Он слушал эти подробности с большим вниманием. Затем я ему доложил о тех своих военных распоряжениях, которые я сделал, чтобы прикрыть отступление армии и предохранить Вильно от неожиданных нападений казаков. Он одобрил все и очень хвалил меня за то, что я подвинул дивизию Луазона до Ошмян. Когда все вопросы были исчерпаны, а все мои ответы прослушаны в глубокой тишине, он с тем же спокойствием сказал: «Тут все погибло: нужно придумать другие меры. Идите обедать к Дюроку, а затем я сообщу вам о моих намерениях».

Благодаря полякам стол Дюрока был достаточно хорошо обставлен; как только были восстановлены сообщения, я позаботился о том, чтобы местные власти раздавали возможно большее количество съестных припасов по всему пути армии; и поляки, в глубине души преданные нам, с честью выполнили это. Вскоре герцог Виченцкий позвал меня к императору и сам остался со мною у него. Наполеон сказал, что решил оставить армию и отправиться в Париж, и спросил меня, могу ли я обеспечить ему лошадей и эскорт, необходимые до Ковно. Я попросил его дать мне несколько минут на размышление и справиться с картой, которая лежала на столе; я спросил, какое количество почтовых лошадей ему нужно, вычислил все и ответил, что берусь поставить лошадей для карет, а также эскорт, но я должен выехать моментально, чтобы приготовить все по дороге. Я только пошел повидать князя Невшательского и сообщить ему, какие распоряжения я сделал в Вильно, чтобы дать войску квартиры и пищу; он одобрил все, хотя и чувствовал себя уставшим, больным и был в очень дурном расположении духа.

Побыв еще несколько минут с герцогом Виченцким, я уже собирался уезжать, когда ко мне приблизился польский генерал Сокольниковский, бывший в то время при главной военной квартире и заведовавший секретными корреспон-

денциями, шпионами и переводчиками. Он спросил меня, куда я собирался. «В Вильно», — ответил я. — «В таком случае вы будете взяты в плен: казаки завтра войдут в Ошмяны». — «Я знаю, но они будут встречены ружейными и пушечными выстрелами». Однако я не был вполне спокоен. Казаки умели всюду проникать.

Сначала я проехал в деревни, где были размещены полк польских улан и два полка неаполитанской кавалерии, чтобы обеспечить императору эскорт. Потом я пустился в обратный путь по большой дороге в Сморгони, чтобы заказать на всех почтовых станциях переменных лошадей, и для большей уверенности у каждой почтовой станции я поставил отряд, чтобы никто не мог увести лошадей. Когда я прибыл в Ошмяны, то не нашел еще там дивизии Луазона, которая должна была прибыть в этот именно день. С большим нетерпением я ожидал ее, желая дать несколько новых инструкций по поводу путешествия императора генералу Грасьену, который ею командовал. В четыре часа дня дивизия пришла; поговорив с генералом Грасьеном, я продолжал мой путь. Не проехав и версты, я услышал позади себя ружейные и пушечные залпы: это казаки атаковали Ошмяны; но они были очень удивлены, найдя там силы, способные им сопротивляться; они потерпели значительный урон и отступили в полном беспорядке.

*Гогендорп*

\* \* \*

Сморгони — маленький литовский городок Виленского воеводства, сделавшийся известным, потому что здесь император Наполеон оставил армию, чтобы отправиться в Париж, где его присутствие сделалось необходимым. Политические соображения одержали верх в этом случае над теми соображениями, которые могли бы заставить его остаться во главе своих войск. Всего важнее было, даже в интересах нашей армии, показаться живым и еще грозным, несмотря на неудачу.

Надо было явиться перед Германией, уже колебавшейся в своих намерениях и отчасти утомленной своим союзом с императором; надо было немедленно и снова дать ей почувствовать могущество своего присутствия. Надо было дать знать обеспокоенной и глухо волновавшейся Франции,



сомнительным друзьям и тайным врагам, что Наполеон не погиб в ужасном бедствии, постигшем его легионы.

Рассредоточенность наших полков в первых числах декабря была полной: часть нашего отборного войска располагалась еще лагерем по вечерам в виде частей, взводов или батальонов, постепенно уменьшавшихся, но днем большая часть из этой толпы солдат, французов или союзников продвигалась без всякого порядка и дисциплины. Однако мы шли уже несколько дней по Литве, где бедность была несколько менее ужасна, чем в местностях, по которым мы проходили, покинув Москву. 5 декабря после утомительного перехода мы пришли на городскую площадь, где находился дом, сделавшийся главной императорской квартирой.

В этот вечер генерал Делаборд вошел к императору с герцогом Тревизским. Оба немного спустя вышли оттуда. Они, конечно, слышали об отъезде или по крайней мере предвидели его, но на лицах их не было видно и тени беспокойства. Эти люди, перед памятью которых я благоговейно преклоняюсь, были из тех, которых не может сломить никакая неудача, никакое страдание, которых не устрашает никакое предвидение.

Выйдя из занимаемого императором дома, вокруг которого замечалось усиленное движение, эти два военачальника посоветовались некоторое время, прежде чем расстаться; маршал объявил о важном приказании, которое будет отдано вечером главным начальникам армии. Я услышал также, как генерал произнес: «Произойдет нечто неожиданное, но, по-моему, необходимое; покоримся и не будем падать духом».

В это время мимо нас прошло несколько маленьких польских лошадок, которых вели крестьяне; вероятно, их купили для экипажей императора. Эти лошади, найденные в этой местности, были в гораздо лучшем виде, чем те, которые выдержали вместе с нами усталость и лишения отступления.

Вот каким образом мне пришлось быть свидетелем отъезда императора. Было решено, что он произойдет ночью, и о нем были осведомлены только те, кому было необходимо это знать. Переправиться через эту страну, по которой уже рыскали русские пикеты, казалось самым смелым людям

предприятием, полным опасностей, которое из осторожности следовало держать в тайне.

Я присутствовал при том, как уезжали экипажи, увозившие императора, еще так недавно шедшего во главе бесчисленного войска. Это было событие важное для всех нас, но, как это часто случается, свидетели последнего действия этой мрачной драмы не были так поражены им, как те, кто слышал вдали об испытываемых нами страданиях. Что касается нас, то этот отъезд не возбудил в нас ни удивления, ни беспокойства, и у меня осталось о нем воспоминание лишь как о любопытном зрелище великого исторического события.

Мы только что вошли в избу, или маленький деревянный домик, где должны были провести эту ночь, чтобы снова двинуться при наступлении дня. Войдя в это скромное помещение, генерал Делаборд обратился ко мне со словами, в которых совершенно не чувствовалась печальная важность событий:

— Меня известили, что император пошлет дивизионным генералам важный и спешный приказ. Не знаю, как я прочитаю его, — запас свечей для моего экипажа истощен, и я нигде не вижу бивачного огня, который мог бы заменить их. Поэтому следите за тем, чтобы не погасло единственное освещение, которым мы располагаем здесь.

Говоря это, он показывал мне первобытный материал, которым литовское население освещает внутренность своих хижин, т.е. длинные и тонкие еловые щепки, покрытые смолой, называемые по-польски лучина. Их втыкают обыкновенно в прямом или наклонном положении в деревянный чурбан, служащий подсвечником.

— Поручаю вам, — продолжал генерал, — не давать погаснуть вашему огню. Бодрствуйте, пока я буду спать. Вы видите, друг мой, что я возлагаю на вас обязанность весталки, помните, что вы будете поддерживать священный огонь для того, чтобы можно было прочитать приказ императора. Есть предположение, что он хочет говорить сегодня вечером с некоторыми из своих генералов; ходит слух, что он собирается ехать во Францию. Надо, чтобы я сейчас мог прочесть его приказ; я не хочу промедлить ни на мгновение в таких обстоятельствах.

Я тотчас же поспешил исполнить приказание. Я старательно поддерживал огонь. Каждая из длинных еловых щепок горела в течение пяти минут; как только она подходила к концу, я заменял ее другой.

Я несколько раз проделал это, и генерал уже крепко спал, когда мой взгляд обратился к окну, выходившему на улицу; наша изба, стоявшая направо от дороги, по которой проходила армия, была одна из последних в городе. Мое внимание было привлечено двумя конными егерями старой гвардии, этого знаменитого войска, образовавшегося в эпоху Египетского похода и вначале называвшегося полком колонновожатых. Они выделялись в ночном тумане своими темно-зелеными шинелями, вырисовывавшимися на снежном фоне, и огромными черными мохнатыми медвежьими шапками, которые их теперешние преемники сохранили как почетное воспоминание. Эти два всадника, этот авангард, разведчики рискованного пути, смело погоняли своих измученных лошадей. Они спешили, насколько позволяли снег и гололедица. Один из них поскользнулся как раз около окна, откуда я наблюдал за ними с таким сочувствием; он чуть не свалился с лошади на моих глазах. Я тотчас же понял, что означало появление этих двух всадников. «Они едут впереди императора!» — воскликнул я. Несколько минут спустя мимо меня проехали сначала сани, затем три экипажа различного вида, среди которых я узнал столь хорошо нам знакомое купе императора; два последних экипажа были запряжены, по обычаю этой местности, большими и маленькими лошадьми. Позади следовал взвод солдат. Как только я заметил первых всадников этого конвоя, я поспешно разбудил генерала, спавшего в соседней комнате, но экипажи проследовали так скоро, что он не успел вовремя, чтобы увидеть их. По сделанному мной описанию он, как и я, решил, что это император приводил в исполнение объявленное им решение.

Генерал Делаборд сказал мне тогда со своим обычным здравым смыслом:

— Он прав, ему нечего больше здесь делать, его долг призывает его немедленно во Францию; как император он имеет в Париже в десять раз больше значения, чем среди нас, при армии, идущей в беспорядке.

Действительно, мы уже получили известие о заговоре Мале, который в ночь со 2 на 3 октября имел в Париже шансы на успех; кроме того, мы понимали, какое впечатление должен был произвести во Франции и во всей Европе рассказ о бедствии, которого мы были свидетелями.

Император, решившись пройти по неприятельской земле расстояние, отделявшее его от Немана, должен был подумать о том, чтобы окружить себя избранными людьми, мужественными и готовыми пожертвовать своей жизнью.

Равнины Литвы, которые предстояло пройти, населены частью, особенно в северной области, племенем, говорящим на особенном наречии. Тем не менее польский язык общеупотребителен в городах и на почтовых станциях; в большинстве деревень его так же хорошо понимают, как и литовский; переводчик был необходим. Император назначил на эту должность молодого поляка графа Дунина-Вонсовича, своего ординарца. Этот офицер, столь же мужественный, как разумный и преданный, написал под названием «*Pamiętniki*» («Воспоминания») неизданное изложение, послужившее мне главным элементом последующего рассказа.

Император прибыл в Сморгонь 5 декабря в два часа пополудни. Накануне он ночевал в замке Белицы, принадлежащем графу Зацалю. Под вечер он велел позвать своего ординарца и прежде всего, не входя ни в какие подробности, спросил его, достаточно ли он защищен против холода. Когда он отвечал, что не принял никакой предосторожности этого рода, император сказал ему:

— Я велю дать вам пару меховых сапог и медвежью шубу; затем вы отправитесь сейчас же в Вильно с Коленкуром. Но поспешите и не говорите никому об этом предложении.

Отъезд произошел в восемь часов вечера. Поезд состоял из трех повозок и одних саней. В первой повозке — дорожном купе — помещался император и генерал Коленкур, герцог Виченцкий; мамелюк Рустан сидел на козлах. Во второй поместились маршал Дюрок и граф Лобау; в третьей — генерал-лейтенант граф Лефевр-Денуэтт, полковник гвардейских егерей, камердинер и два денщика. В сани, наконец, император велел сесть графу Вонсовичу и рейткнехту по имени Ашодрю. Последний с самого начала пере-

езда сообщил польскому офицеру, что их назначением был не Вильно, а Париж. Взвод из тридцати гвардейских конных егерей, избранных генералом Лефевром-Денуэттом из наиболее здоровых и наилучших ездоков из этого полка, служил в качестве конвоя.

Во главе поезда помещены были сани, и так как они двигались лучше, чем повозки, то и прибыли часом раньше на первую станцию, называющуюся Ошмяны. Начиная с этой минуты стало понятным, насколько опасным было намерение опередить армию. Прибыв в Ошмяны в середине ночи, граф Вонсович был удивлен, найдя коменданта этого местечка во главе войска гарнизона. Этот комендант был вюртембергский генерал; он имел под своей командой гарнизон, состоявший из войск французских, польских и немецких; один батальон был под ружьем — ожидали неприятельской атаки. Сверх того, возле пехоты видны были три эскадрона улан. Такое положение, занимаемое гарнизоном маленького городка, находившегося в восьми лье впереди авангарда нашей отступающей колонны, объяснялось движениями неприятеля.

Отряды русской армии, которые непосредственно следовали за нами, не могли, конечно, делать этого иначе, как с чрезвычайной трудностью: они двигались по дороге, совершенно опустошенной. Иначе было с отрядами легкой кавалерии, которые, отказавшись следовать за нами, направлялись параллельно флангам нашей колонны: они двигались в местностях, ресурсы которых еще не были уничтожены войной. Местные жители доставляли им сведения, необходимые для облегчения их движения вперед; поэтому отряды эти пересекали иногда дорогу, вдоль которой они следовали обыкновенно. Экипажи, в которых ехал император, на каждом шагу подвергались опасности встретиться с одним из таких неприятельских отрядов.

В этот день два отряда нашей польской кавалерии — один — легкой конницы (гвардейские уланы), другой — 7-го полка привислинских улан — прибыли в числе подкреплений, присланных нашей армии. Все это войско было выстроено в боевом порядке на площади маленького городка Ошмяны. Ординарец императора был поражен хорошей выправкой и здоровым видом этих солдат, которые, не терпя до сих пор недостатка в провизии и сохранивши

свою правильную организацию, представляли огромный контраст с нашими пехотинцами и кавалеристами, истощенными усталостью и долгими лишениями.

Вюртембергский генерал был очень удивлен, узнав, что император имел намерение проследовать дальше. Он сказал, что число неприятелей, опережающих нашу армию, ежедневно увеличивается.

Эти новости возбудили некоторое беспокойство, и императора ждали с нетерпением; предполагали, что он остановится на один день в Ошмянах, но, с другой стороны, рассчитывали, что, если он захочет на другой день продолжать свой путь, он встретит впереди себя русские отряды, может быть, уже осведомленные об его проезде. Такой секрет действительно не мог быть долго сохранен.

В то время как таким образом рассуждали об опасности этого предприятия, прибыл император; он крепко спал в своей повозке. Граф Вонсович разбудил его и сообщил ему то, что он только что узнал. Император мало смутился этим: он заранее предвидел все эти опасности и по своей воле подвергался им. Прежде всего он спросил, будет ли он иметь кавалерийский конвой; ему объявили, что он найдет двести шестьдесят уланов.

«Очень хорошо», — сказал он; потом он вышел из повозки, чтобы переговорить с генералом, командующим данным пунктом.

Наполеон спросил свою карту Литвы и рассмотрел ее очень внимательно. Все его генералы советовали ему не подвергаться столь очевидной опасности; некоторые из них умоляли его подождать по крайней мере утра. Он отверг этот совет. Пускаться в путь днем казалось ему самым опасным из всех решений, которые могли быть выбраны. Вообще он не обратил никакого внимания на сделанные ему замечания. Подумав несколько минут, он сказал своему ординарцу:

— Готовы ли польские уланы?

— Да, Ваше Величество, они все уже были здесь раньше нашего приезда.

— Пусть они садятся на лошадей. Надо расположить конвой вокруг экипажей. Мы отправимся сейчас; ночь достаточно темна для того, чтобы русские нас не увидели. При-

том всегда надо рассчитывать на удачу, на счастье: без этого никогда ничего не достигнешь.

Затем, пока запрягали лошадей, он спросил, сколько улан из его польской гвардии пойдут с ним.

— Нас сотня, — ответил командовавший ими офицер, и присутствие этого избранного войска вполне успокоило императора.

— Ну так, — сказал он, — если мы будем атакованы, то поляки храбры, и мы сумеем защитить себя. — Потом он решительно сел в повозку.

Однако, прежде чем подать сигнал к отъезду, он подождал еще раз офицера-ординарца, взял в экипаж пару пистолетов и передал их ему, предложив ему сесть на козлы с генералом Лефевром-Денуэттом, храбрость которого была для него засвидетельствована многочисленными военными подвигами; мамелюк Рустан сел в сани, которые следовали непосредственно за экипажем императора, а полковник Стойковский, командовавший охраной, получил приказ держаться возле дверцы.

После всех этих приготовлений вот с какими навсегда памятными словами император обратился к окружавшим его:

— Я рассчитываю на всех вас, отправимся! Наблюдайте направо и налево от дороги. — Потом, обращаясь к преданным и бесстрашным людям, которым он передал свои пистолеты, он добавил:

— В случае неминуемой опасности убейте меня скорее, чем отдать неприятелю.

Граф Вонсович, глубоко потрясенный приказом, который мог быть исполнен только в века варварского язычества, сказал тогда:

— Ваше Величество, позволяете ли, чтобы я передал нашим полякам то, что я сейчас слышал?

— Да, передайте им то, что я сказал.

Эти слова были повторены по-польски, и уланы закричали все в один голос: «Мы скорее позволим изрубить нас, чем допустим, чтобы к вам приблизились!»

Посреди этих криков энтузиазма и преданности поезд тронулся в путь.

6 декабря в два часа утра, когда в это время ночи под этой широтой продолжаются семнадцать часов, Наполеон хотел подвергнуться таким опасностям. Туман, на который

рассчитывали, не был одинаково густ по всем направлениям. Только что выехав из Ошмян, можно было убедиться видом многочисленных огней, неправильно окаймлявших горизонт, что придется переправляться через неприятельский бивак. Русские войска, атаковавшие этот город, отошли на небольшое расстояние; их главные массы остановились влево от дороги, в направлении Новосада. Окружающие императора советовали ему отправиться в путь лишь по наступлении дня, но решение, с виду самое дерзкое, отправиться тотчас же было в действительности самым благоразумным.

Рассвет на войне есть обыкновенно момент усиления бдительности: часовые удваивают внимание, передовые ведетты прислушиваются к малейшему шуму. Наиболее деятельные начальники встают, выходят в направлении, откуда может явиться неприятель, — они используют первые лучи утра.

Напротив, в продолжение жестоких и бесконечных ночей этих холодных стран монотонная бдительность истощает самые мужественные усилия. Самое постоянное внимание, самая энергическая бодрость наконец утомляется.

Стало быть, император имел основание отправиться тотчас же, вопреки мнению своего штаба, и выбрать ночь для отъезда из Ошмян. Начиная с утра второго дня путешествия ход событий подтвердил правильность этого видимого избытка смелости: согласно предположениям вюртембергского генерала город был снова атакован на рассвете.

Когда император покинул Ошмяны, пробыв там около часу, небо было облачно, но белый саван, покрывавший равнину, давал достаточно свету, чтобы экипажи и следующие за ним двести шестьдесят шесть всадников не терялись из виду. Этому конвою удалось таким образом следовать непрерывной линией и в одном направлении. Этот молчаливый кортеж мог слышать голоса неприятельских часовых, замечать его бивачные огни, блестевшие вдали, но все это можно было наблюдать только ночью на очень больших расстояниях, часто за несколько миль, тогда как черная линиядвигающегося войска не рисовалась достаточно ясно для того, чтобы казаки, занимающие сторожевые посты или бродящие в качестве дозора, ясно поняли, что они видят, если вообще они видели что-нибудь.



Если бы небо было светло, звездно, как в предыдущие ночи, несомненно, что отряд этот был бы атакован. Если же, наоборот, русское небо ниспослало бы в этот момент одну из страшных метелей, столь обыкновенных в это время года, повозки и их конвой неизбежно рассеялись бы и заблудились. Следовательно, все случайности соединились, чтобы покровительствовать переезду императора.

Что же касается холода, сделавшегося столь сильным в несколько последних дней, то его суровость была менее невыгодна для путешественников, чем для их неприятелей. Правда, что польские уланы не могли все последовать за тем, кому они отдали свою жизнь; для большого числа их — увы! — эта благородная жертва была пагубна. За несколько миль от Ошмян число их дошло до пятидесяти, не более. Зато этот убийственный холод, который сваливал с ног лошадей и заставлял падать всадников без всякой возможности помощи, удерживал наших врагов возле их огней и под прикрытием лесов, которые окаймляли равнину.

Нужна большая решимость, чтобы оторваться от этих восстанавливающих силы очагов, редкая смелость, чтобы идти атаковать на снегу ночью поезд, сопровождаемый прикрытием, сила которого неизвестна.

В том положении, в котором взаимно находились обе армии, мужество нападения леденело в сердцах много раньше, чем чувство защиты. Двое энергических людей, которых их государь посадил на козлы своего экипажа, наблюдали с пистолетом в руках в самых опасных проездах, тогда как казаки в близком расстоянии, столь же истощенные, как и их противники, спали в своей меховой одежде или оставались нерешительными среди ночного тумана и мглы.

В ту ночь 6 декабря многие из всадников, входивших в состав следовавших от одной станции до другой конвоев, погибли жертвою своей преданности. На рассвете, когда достигли станции Ровное, поляков оставалось всего тридцать шесть!

В отряде неаполитанской конной гвардии, который заменил их на следующей станции, герцог Рокка-Романа, командовавший ими, отморозил себе руки. Термометр опустился до 28° Реомюра!

Такова была, на основании достоверного рассказа, эта первая, страшная ночь путешествия, о котором столь различно судили, но обстоятельные подробности которого до сих пор не были известны и не были рассказаны ни одним историком — ни русским, ни французским.

Но опасность, угрожавшая великой судьбе, уменьшалась на каждом шагу. Быстро переехали реки, замерзшие болота и обширные пустыни, прерываемые на больших расстояниях мрачными лесами. В каждой деревне получались сведения о движении неприятельских партизан. В некоторых пунктах дороги они нападали на колонны, шедшие впереди армии; здесь казаки появлялись накануне, дальше узнавали их свежие, отпечатавшиеся на снегу следы, но нигде их случайное появление не остановило экипаж Наполеона, который иногда, отделившись от своих спутников и нередко потеряв всякую охрану, становился лишь незаметной точкой, одинокой и потерянной в бесконечном пространстве.

*Бургон*

\* \* \*

Маршал Бессьер часто рассказывал в своей семье и между своими друзьями, что едва он успел приехать в Сморгони, как Неаполитанский король и принц Евгений стали настаивать, чтобы он вместе с ними сказал императору, что они считают крайне необходимым, чтобы он возвращался в Париж. Герцог Истрийский самоотверженно решился первый заговорить об этом. Он сделал это в их присутствии и откровенно поставил вопрос об отъезде Наполеону. Тот при первых же словах, произнесенных маршалом, предался сильной вспышке гнева и сказал, что только самый смертный его враг мог предложить ему покинуть армию в том положении, в каком она находилась. Он пошел еще дальше, так как сделал движение, чтобы броситься с обнаженной шпагой на маршала. «Если даже вы меня убьете, — сказал ему хладнокровно герцог Истрийский, — тем не менее будет верно, что у вас нет армии и что вы не можете оставаться здесь, так как мы не в силах охранять вас».

Мюрат и Евгений утащили маршала из комнаты, а император послал за ним вечером и сказал: «Если вы все этого хотите, мне надо уехать».

Все заставляет думать, что поведение императора было несколько искусственно, так как есть доказательство, что для него вопрос об отъезде был уже решен, когда разыгрывалась эта сцена.

*Бодюс*

\* \* \*

В Сморгони император, прежде чем покинуть армию, простился с генералами, которых мог собрать вокруг себя. В 7 часов вечера он уехал в сопровождении Дюрока, Мутона и Коленкура. Мы остались под начальством Неаполитанского короля, достаточно этим обескураженные, так как это был первый солдат по умению нанести сабельный удар или по бравированию опасностями, но можно смело упрекнуть его, что он был палачом нашей кавалерии. Все отряды должны были на пути взнуздывать лошадей, но ведь вся наша кавалерия умирала от усталости, и по вечерам эти несчастные не могли уже пользоваться лошадьми, чтобы добывать фураж. Сам Неаполитанский король имел в запасе от 20 до 30 лошадей и каждое утро выезжал на свежей лошади. Конечно, это был лучший кавалерист Европы, но совершенно непредусмотрительный человек. Мало быть неустрашимым солдатом, надо еще уметь беречь свои ресурсы. И это по его вине у нас погибло 40 000 лошадей. Нечего напрасно порицать своих начальников, но все же император мог бы сделать лучший выбор. Тем более, что во главе армии стояли два отличных солдата: маршал Ней и принц Богарнэ; они своим хладнокровием и своей отвагой спасли нас от величайших опасностей.

*Куанье*

## *По дороге в Вильно*

6-го в Супранах. Здесь было несколько риг, в которых мы набились один на другого как попало: люди, лошади, трупы — все вместе... Мы встретили здесь остатки неаполитанского корпуса и дивизии Луазона, насчитывавшие по приходе в Вильно до двенадцати тысяч человек, из которых осталось теперь 5—6 сотен. Тотчас же, как стало известно об отъезде императора, большинство командиров при-

нялись мечтать о том же. Полковники скручивали полковые знамена и прятали орлов так, чтобы русские не могли их найти. Голод и нужда достигли высшей степени. Можно было видеть, как толпы людей, которых называли дурнями и которые в действительности были сумасшедшими, распарывали животы живым лошадям и, вытащив оттуда почки, печень и сердце, съедали с невероятным обжорством рядом с еще трепещущим животным. Другие, которые не имели уже больше ни сабель, ни ножей, разрывали зубами мясо и высасывали кровь из упавших на землю, но еще живых лошадей; наконец, я собственными глазами видел, как обезумевшие люди раздирали свои члены и сосали собственную кровь; до такой степени голод и нужда помрачили их ум и низвели разумных людей до состояния самых мерзких животных.

7 декабря мы расположились биваком в Ровно-Полеском. Утром было 24° мороза, ночью же он увеличился так, что градусник показывал  $29\frac{1}{2}^{\circ}$ , а 8-го утром ртуть вся собралась в тюбике. Я сберег хорошенький термометр, который я разбил в присутствии нескольких офицеров, показывая им ртуть, сделавшуюся похожей на маленькую пулю. Вся дорога покрылась сплошным льдом, как хрусталем, отчего люди, ослабленные усталостью и отсутствием пищи, падали тысячами; не будучи в состоянии подняться, они умирали через несколько минут. Тщетно звали они друзей на помощь, прося, чтобы им подали руку. Ни у кого не пробуждалось жалости; в этом поголовном несчастье самый чуткий человек мог думать только о личной безопасности. Вся дорога была покрыта мертвыми и умирающими; каждую минуту можно было видеть солдат, которые, не будучи больше в состоянии выносить страданий, садились на землю, чтобы умереть: действительно, достаточно было посидеть минут пять, чтобы очутиться мертвым. Друзья вели между собою разговор — один из них, чувствуя сильную слабость, сказал: «Прощай, товарищ, я остаюсь здесь». Он лег на землю, и через минуту его не стало.

8-го мы стали биваком в Руконах. За все время длинного отступления это был самый тяжелый день: погибло то небольшое количество лошадей, которое у нас оставалось, они покрыли собой весь путь. Нельзя было больше сжигать

повозки, которые мы бросали: казаки не переставали нас тревожить; едва только мы приходили на бивак, как они появлялись с несколькими пушками, которые они везли на санях, и осыпали нас картечью. Почти все наши солдаты побросали свои ружья, те же, которые их сберегли, были так слабы, что не могли ими пользоваться. Начиная с 7-го числа настал такой необычайный холод, что даже самые крепкие люди отмораживали себе тело до такой степени, что, как только они приближались к огню, оно начинало мокнуть, распадаться, и они умирали. Можно было видеть необычайное количество солдат, у которых вместо кистей рук и пальцев оставались только кости: все мясо отпало, у многих отваливались нос и уши; огромное количество сошло с ума; их называли, как я уже говорил, дурнями; это была последняя степень болезни; по прошествии нескольких часов они гибли. Можно было их принять за пьяных или за людей «под хмельком»: они шли, пошатываясь и говоря несуразнейшие вещи, которые могли бы даже показаться забавными, если бы не было известно, что это состояние было предвестником смерти.

Действие самого сильного мороза похоже на действие самого сильного огня: руки и тело покрываются волдырями, наполненными красноватой жидкостью; эти волдыри лопаются, и мясо почти тотчас же отпадает. Это разрушение можно себе представить, положив к огню сильно замерзшую картошку; по мере того как она начинает оттаивать, она покрывается влагой; то же происходит и с нашим телом, и все те, которые оттаивали таким образом, представляли собой высохшие скелеты, кости которых еле держались. Несмотря на явную опасность от приближения к огню, немногие из солдат имели достаточно силы, чтобы удержаться от этого соблазна. Видели даже, как они поджигали сараи и дома, чтобы согреться, и едва только оттаивали, как падали замертво. Подходили другие бедняки, садились на трупы своих товарищей и гибли минуту спустя. Пример товарищей не мог заставить их избежать опасности. Я видел около одного дома более 800 человек, погибших таким образом. В других случаях они сгорали, лежа слишком близко к огню и не будучи в силах отодвинуться от приближающегося пламени; видны были наполовину обго-

ревшие трупы; другие, загоревшиеся ночью, походили на факелы, расставленные там и сям, чтобы освещать картину наших бедствий.

*Маренгоне*

\* \* \*

8-го мороз все увеличивается. Я остановился на ночлег в церкви и лег на скамью, около сильного огня, благодаря которому у меня появились сильнейшие боли в ногах. Вся середина церкви была наполнена народом, многие из них умирали. Ночью меня разбудили испуганные крики: «Бегите, бегите, здесь все умирают!» Я чувствую сильный припадок слабости.

9-го мороз был в 28 градусов. Я так страдал от боли в ногах, что проехал всю дорогу в этот день в повозке маркизанта моей артиллерии. Несмотря на то, что я зарылся в солому, я испытывал жестокий холод. Я ночевал в 8 верстах от Вильно в маленькой грязной кузнице без окон и дверей, подвергавшейся ветру со всех сторон. Мы собрались в числе 7 или 8 человек около небольшого огня и сидели, согнувшись и прижавшись друг к другу; наши ноги почти упирались в самую середину огня. Находиться 14 часов в таком положении, не имея даже ничего поесть! Была неимоверная потребность лечь и полная невозможность это исполнить! Мой товарищ Лефрансе в данном случае оказывал мне большую услугу: он любезно позволил мне изредка класть мою голову к нему на колени. На рассвете 10-го числа я тронулся в путь по направлению к Вильно вместе с оставшимися у меня тремя орудиями. С нами же находился генерал Даву, шедший пешком и составлявший в единственном числе арьергард. Он тщетно старался собрать хотя несколько вооруженных людей. По пути к Вильно я встретил несколько французских отрядов (дивизию Геделе), только что прибывших из Пруссии. Отряды эти были свежи и великолепны, но — увы! — чересчур легко одеты, и достаточно было нескольких дней, чтобы расстроить их.

*Булар*

\* \* \*

В этом жалком состоянии подошли мы к деревне Руконы, где в это время только и было что несколько скверных

хлебных сараев, полных трупов. Приближаясь к Вильно, многие ускорили шаг, чтобы поспеть первыми в этот город, где не только надеялись найти съестные припасы, но и думали остановиться на несколько дней и вкусить наконец сладость отдыха, в котором все так нуждались. Тем не менее корпус, который не насчитывал и ста пятидесяти человек, способных носить оружие, остановился в этой гадкой деревушке. На рассвете (9 декабря) мы поспешили покинуть Руконы, где холод и дым не дали нам возможности сомкнуть глаза ни на минуту. Когда мы выступали, к нам присоединились бывшие в арьергарде баварцы под предводительством генерала Вреде; они шли из Вилейки и громко кричали, что неприятель их преследует. Накануне много говорили о том успехе, который они имели. Беспорядок, в котором они пришли, ясно опровергал известие. Несмотря на это, надо сознаться, к их чести, что они еще сохранили несколько пушек, но лошади были так слабы, что везти их они больше не могли.

Каждый новый день похода представлял повторение тех тяжелых сцен, о которых я дал лишь поверхностную характеристику. Сердца наши зачерствели от этих ужасных картин до такой степени, что мы уже не чувствовали больше ничего; эгоизм был единственным инстинктом, который остался в нас в том оцепенелом состоянии, в которое нас привела судьба. Только и думали что о Вильно, и мысль, что возможно будет побыть там некоторое время, так радовала тех, которые могли туда прийти, что они смотрели равнодушно на несчастных, которые боролись со смертью. Между тем Вильно, предмет наших самых дорогих надежд, куда мы стремились с такой поспешностью, должен был оказаться для нас вторым Смоленском.

*Лабом*

\* \* \*

Все, кто вернулся из этой кампании, были согласны со мной, что переход от Березины до Вильно был тяжелее всего остального похода. В продолжение всего перехода мы страдали от голода, усталости, холода, который сделался нестерпимым. Случаи замерзания были теперь необыкновенно часты.

При выходе из Москвы мы запаслись всеми припасами, какие только можно было найти и унести. В Смоленске так или иначе мы пополнили свои припасы из запасных магазинов. От Вильно до Немана разные магазины, устроенные по дороге, доставляли нам продовольствие. Но от Березины и до Вильно у нас не было ровно ничего.

Я слышал, что часто говорят: несчастье способствует сближению людей. Но ничто в этой кампании не доказало мне справедливости этих слов. Я никогда не видел более жестокого эгоизма и большего равнодушия к товарищам и даже к друзьям. Каждый думал только о своем драгоценном «я» и заботился лишь о том, чтобы скорее спастись.

В мирное время всякий лейтенант, на долю которого выпадет честь сопровождать своего генерала или полковника на парад, поспешит помочь своему начальнику подняться, если последнему случится оступиться или упасть. Я не видел ничего подобного во время отступления из России. Между тем люди падали и скользили очень часто, так как всю дорогу до Вильно была страшная гололедица. Сколько генералов и других офицеров падало на моих глазах, и никогда никто из проходивших не думал подать им руку, чтобы помочь подняться! Каждому предоставлялось подниматься самому.

Я помню очень хорошо, что случилось со штаб-офицером, которого очень уважали в нашей дивизии.

Вследствие своей полноты он сделался настоящим виртуозом в падении. Ежеминутно он растягивался по земле, каждый раз отчаянно ругаясь при этом, причем каждое его падение вызывало веселый смех со стороны насмешников, безжалостных к своему начальнику.

Сердечно признаюсь, я был в то время таким же эгоистом, как и другие. Я и теперь еще с сожалением вспоминаю один подобный случай, когда провинился в том же и я.

Один раз мне посчастливилось Бог знает как раздобыть несколько картошек, наполовину мерзлых. Прибыв к биваку, я поспешил испечь их в горячей золе. Один из моих товарищей сел около меня в расчете разделить со мной мой богатый завтрак.

Мы были очень хорошо знакомы в Штутгарте, где вместе служили в гарнизоне. Несмотря на это, я имел жестокость наотрез отказать ему. Он поднялся и ушел, сказав печально:



— Я вам никогда не прощу этого!

Только тогда лед в моем сердце растаял. Я вернул его и поспешил поделиться с ним.

Во время этого «погребального шествия» в Вильно — так следовало бы назвать этот переход — я был свидетелем многих ужасных сцен, в особенности по ночам, по причине ужасной стужи и недостатка дров. Большая часть деревень по нашему пути была старательно выжжена нашими солдатами, гревшимися у этих чудовищных костров. Сколько раз мне случалось видеть сотни теней вокруг пылающих лагун; эти тени болтали и хохотали, пока все не превращалось в пепел. Многие из них сделались совершенными идиотами, и про них говорили, что они отморозили себе мозг. Эти несчастные, на которых никто не обращал внимания, большей частью погибали самым ужасным образом. Они умирали от голода и холода или падали в огонь и заживо сгорали...

Я шел уже несколько часов и начал чувствовать усталость и холод, который пронизывал меня. Вдруг я заметил большие костры, разложенные с одной стороны дороги недалеко от группы домиков. Прельщенный этим видом, я подумал, что смогу, может быть, найти себе место около одного из этих костров и продолжить нарушенный сон. Я приблизился к одной из групп и был очень радушно принят. Тут были польские уланы и французские конные егеря (конечно, без лошадей). Между ними не было ни одного немца. Эти молодцы прекрасно воспользовались тем, что у них было: они развели огонь в углу между двух кирпичных стен; это сооружение, оставшееся, вероятно, от прежнего завода, уцелело только благодаря тому, что было из кирпича.

Я вступил в разговор с французами. Что касается поляков, то я не разговаривал с ними, и это не без причины. Несмотря на мой костюм, более чем изорванный, по которому едва ли во мне можно было признать офицера, егеря были очень любезны и предупредительны со мной. Очевидно, это были люди из хороших семей. Во время нашего разговора один из них, мой сосед справа, спросил меня: оборачивался ли я и видел ли, что находится в углу между строениями?.. Это меня заинтересовало, и я бросил взгляд по указанному направлению, но увидел только громадную пирамиду, верхушка которой достигала второго этажа по-

строек. При мерцающем свете нашего костра я не мог разобрать, из чего состояла эта груда, покрытая густым слоем снега. Француз, которого я спросил об этом, сказал мне:

— Это трупы.

Приблизившись, я убедился, что это была правда. Вся пирамида состояла из сотни тел, смерзшихся в одну кучу и покрытых снегом.

Возможно, что на этом месте был госпиталь и сюда выбрасывали из окна тела умерших, не давая себе труда отнести их на некоторое расстояние в поле. В это время нечего было думать о погребении умерших, приходилось наудачу выбрасывать их из окон.

Как бы нас возмутили подобные вещи в обыкновенное время! Тогда же это не возбудило в нас ни малейшего негодования. Надо сказать, что при каждой остановке, на каждом шагу мы имели возможности отвыкнуть от подобной чувствительности. Мертвых не только оставляли покоиться в мире — на них вовсе не обращали внимания, что было гораздо проще. Вот почему я вполне хорошо себя чувствовал и мог даже на несколько часов заснуть в двух шагах от этого импровизированного кладбища.

Первые дни похода по направлению к Вильно были ужасны; я никогда еще не страдал от голода так, как в эти дни. Холод был ужасный, а у нас не было совсем дров.

Несмотря на то, что у меня сохранилось очень яркое воспоминание обо всей этой кампании, я бы не мог сказать, чем я питался первые 2 или 3 дня после моей встречи с конными егерями. Я, кажется, совсем ничего не ел. После перехода через Березину лошади стали очень редки, не один раз мне случалось видеть толпы голодных, которые дрались до крови из-за жалкого куска мяса какой-нибудь издохшей лошади. Не имея ни малейшей склонности к подобной пище, я должен был свести свое меню к нулю.

Между тем накануне моего прибытия в Вильно мне удалось найти кое-какой пищи у мелочных торговцев, которые Бог знает как спасли свои повозки и лошадей. К великому счастью, у меня были еще деньги. Эти почтенные торговцы, конечно, евреи, пускались по обыкновению на всякий риск, чтобы получить какой-нибудь барыш. Они раньше нас пробрались в Вильно, добыли там хлеба и вод-

ки, потом вышли нам навстречу и продавали свои товары по баснословным ценам. Нечего и говорить, что дела их шли блестяще: съестные припасы разбирались нарасхват, несмотря ни на какие цены, и с жадностью поглощались, каковы бы они ни были. Голод — лучший из поваров.

Вот я и у ворот Вильно! Я спешил изо всех сил, чтобы войти в город вместе со всеми и не дать им опередить себя. Я был уже близок к цели, как вдруг передо мной встало новое препятствие, которое нужно было преодолеть и которое отняло у меня целый час времени. Это был, в сущности, пустяк, но вещь огромной важности для меня, так как беглецы массою стекались со всех сторон.

От большой ходьбы износилось все мое платье, и карман, в котором я носил деньги, прохудился. Сумма была невелика — немного мелочи и несколько серебряных рублей; тем не менее эта потеря была настоящим разорением для меня.

Правда, я знал, что вюртембергский военный комиссар ждал нас в Вильно, чтобы выдать нам аванс в счет нашего жалованья. Но его еще надо было разыскать, а потом всегда неприятно посеять свои деньги на большой дороге. Вследствие этого я решился вернуться назад по своим следам. К довершению этого несчастья, две громадные медные монеты проскользнули в мои башмаки и скоро дали мне о себе знать. Пока я шел, уткнув нос в землю, я имел счастье встретить вюртембергцев, которые пошли искать деньги вместе со мной. Кто нашел копейку, кто полтину, кто рубль, и так я вернул себе все, что потерял. Такая любезность делала честь моим компатриотам, — я был так плохо одет, что они не могли признать во мне офицера. А один барабанщик из отряда Вильгельма, подойдя ко мне, спросил дружески и в то же время фамильярно:

— Ну что, товарищ, все нашел?

Этот добрый малый оказал мне затем еще одну услугу. Он помог мне разуться и вытащить из башмаков две медные монеты, которые причиняли мне такую боль. В то время как я предавался не без труда этой операции, так как моя обувь была совершенно замерзшая, у меня был, наверно, плачевный вид. По крайней мере, мой товарищ фон Кеннериц, как раз проходивший мимо меня, послал мне

рукой приветствие, которое можно было принять за прощальное. Как после он мне рассказывал, он считал меня тогда погибшим.

*Фон Зукков*

\* \* \*

7 декабря. Я шел между генералом Раппом и офицером ординарцем Гальцем (Galz); когда мы приближались к плохому селению Медники (Mèideniki), последний предупредил меня, что у меня отморожена правая сторона лица; чтобы потерять лицо снегом, я снял мои огромные лисьи перчатки.

Я следовал за Неаполитанским королем к домишке, окруженному большими каменными стенами и носящему пышное название замка. Я не надевал моих перчаток, поздравляя себя с тем, что мои пальцы перестали мерзнуть. Вместе с другими я вошел в скверную комнату. Офицер-ординарец Аремберг, поместившийся возле жалкой печурки, очень жаловался на боль в обеих руках; их ему только что оттерли. Это заставило меня обратить мое внимание на собственные руки, которыми я не мог пошевелить. Один поляк, два дня тому назад прикомандированный к нашему главному штабу, сказал мне: «Вы отморозили себе руки; нельзя терять ни мгновения, надо тереть их снегом». Мы вышли вместе; признаюсь, я был немного испуган, увидев обе руки, особенно правую, сморщившимися и как бы омертвевшими. Холод был чрезвычайный; они замерзали вновь по мере того, как он их оттирал. Этот поляк прибавил в мое утешение: «Еще десять минут — и вам пришлось бы отрезать обе кисти. Прикажете принести снегу туда, где ваши товарищи; нет средств спасти вашу правую руку».

Молодой паж Неаполитанского короля набрал его в свою шляпу, левой руке возвратилась чувствительность как следует, правой — немного. Неаполитанский король удалил нас из нашей комнаты, считая для себя недостаточным иметь одну комнату с принцем Невшательским. Тогда нас поместили в отвратительный амбар, где было почти так же скверно, как снаружи. Однако, кое-как развели огонек в чем-то вроде печки. Хирурги императорского двора уверяли меня, что, хотя я буду сильно страдать, по крайней мере, в течение шести недель, но руки я не потеряю. Хирург

гвардии Ларрей (Larrey), приютившийся вместе с нами, страшно раздражал меня, повторяя беспрестанно, что я должен закутать правую руку в мех, которого у меня не было. Он все время возился со своей ногой, слегка отмороженной. Я сильно страдал всю ночь; рука вздулась, на ней появились огромные пузыри. Мои люди догнали меня: видеть их собравшимися около бивачного огня, всех с чем-нибудь отмороженным, — являлось действительно печальным зрелищем; в довершении всего у них почти не было пищи. Благодаря их прибытию у меня оказалась женская лисья накидка, крытая лиловым шелком, — моя единственная меховая вещь, благодаря французским собратьям по оружию и казакам. Думая, что и в будущем мне не придется увидеть ни моих людей, ни лошадей, я не расставался больше с этой драгоценной накидкой; во время переходов она предохраняла мою отмороженную руку от повторения несчастья, ночью же мешала мне умереть от холода. Спать не раздеваясь для меня ничего не значит, к этому я привык. Но признаюсь, что я не нечувствителен к мягкой соломе.

В эти дни я обязан большою признательностью офицеру-ординарцу д'Опу (d'Hautpous), превосходному товарищу. Так как с поврежденной рукой я не мог бы с достаточным проворством отвоевывать себе пищу за ужином, он брал мою тарелку и заставлял метрдотеля оделять и меня. Я спал рядом с ним; в этом сарае были скучены душ тридцать офицеров в генеральских чинах, адъютантов императора.

8 декабря. На рассвете, т.е. к восьми часам утра, пробили сбор во дворе короля. Принц Невшательский, который потерял голову, вошел в комнату, где мы завтракали, с криком, что мы бесчестим себя, потому что еще не закончили есть. Он предупредил, что уже пробили сбор; но мы не обратили на это большого внимания. Не удалось целиком собрать батальон старой гвардии под ружье, на его биваке остались мертвые, а часовой замерз стоя. Мороз не позволял солдатам держать ружье.

Я чуть было не бросил мой последний чемодан, так как из-за отмороженных рук не мог привязать его сам; мои же служители, которым было холодно, замерзшие и деморализованные, говорили мне, что это невозможно. Стремян-

ный генерал Нарбонна, единственный сохранивший остатки мужества, оказал мне эту услугу. Причиной сбора было прибытие герцога Беллунского, покинувшего свои два армейские корпуса. У него под ружьем оставалось не больше пятидесяти человек, почему он самовольно возвратился в главный штаб. Король Неаполитанский и принц Невшательский отнеслись к нему как к трусу; вместо каких бы то ни было оправданий он отвечал им: «Не нападайте на меня, я без того очень несчастен».

Мы пустились в путь пешком; король Неаполитанский с принцем Невшательским в своем экипаже, потом они пересели на лошадь. Мороз уменьшился на два градуса, тем не менее большое число трупов солдат усеивало путь.

Фляго предоставил мне место рядом с ним на задке кареты принца Невшательского; мы по очереди то шли пешком, то присаживались. Таким образом я проехал мило, затем я пошел пешком вперед. Ничто не показывает лучше степени наших бедствий, как вид офицеров в высших чинах, которые счастливы тем, что могут найти место позади кареты. Впрочем, самые важные лица считали это большой удачей; шталмейстер, генерал Нарбонн, другие адъютанты императора поочередно усаживались на задке кареты Его Величества.

Генерал Нарбонн, пятидесяти шести лет, привык пользоваться всеми благами жизни; посреди всех наших бедствий его мужество и веселость были изумительны. Он был причесан по последней моде и каждое утро на биваке при самой отчаянной погоде, часто сидя на бревне, приказывал напудрить его, словно он был в прелестнейшем будуаре.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Сморгони, 5 декабря. Термометр показывал 20 градусов ниже нуля; несколько птиц попадало замерзая, а почва представляла собой гладкую, как стекло, поверхность, по которой нельзя было пройти. Даже те, у которых были еще лошади, не могли ими пользоваться. Чтобы не погибнуть от холода приходилось слезать и, скользя и падая, тащить за собой лошадь на уздечке.

В воздухе была необычайная тишина, не чувствовалось ни малейшего дуновения, казалось, что все, что живет и

движется, не исключая даже ветра, — все окоченело, замерзло, все умерло.

Те из наших солдат, которые до сих пор мужественно боролись с бедствиями и проявляли необыкновенную выносливость, теперь потеряли все силы.

Ошмяны, 6 декабря. Термометр показывал уже 24 градуса. Как только уехал император, императорская гвардия совершенно небрежно стала относиться к своим обязанностям и совсем перестала заботиться о безопасности тех, кто не был самим императором. С отъездом императора исчезло все их мужество и терпение — сила, облегчавшая им дни великих испытаний.

Генералы, полковники, штаб и обер-офицеры относились или без всякого доверия к новому главнокомандующему, или же просто они совсем растерялись от стольких бедствий. Все шло наудачу, руководствуясь своими соображениями. Инстинкт самосохранения брал верх и каждый искал спасения только в самом себе и полагался только на свои силы. Вильно! Вот теперь цель наших стремлений, все мысли прикованы сюда. Одно это название, уверенность, что мы приближаемся к этому городу, вселяет в нас бодрость. Ночи проходят еще длиннее и ужаснее. Вице-король устраивает в Ошмянах свою главную квартиру в одной из церквей. Из его блестящего корпуса осталось каких-нибудь 500 или 600 человек.

*Ложье*

\* \* \*

6 декабря мы вновь выступили на рассвете. Много ослепших и обмороженных солдат осталось на биваках. Произведена были раздача небольшого количества сухарей, но так спешили, что большая часть людей ничего не получила. Чувствуя, что мы неспособны вступить в бой, мы торопились уходить. Накануне единственная батарея 12-го корпуса была покинута, а сегодня баденская артиллерия употребила невероятные усилия, чтобы увезти свои орудия, так как обледенная дорога была страшно трудна лошадям, у которых были сбиты подковы. Генерал Кастекс, командовавший небольшим количеством оставшихся людей дивизии Думерка, послал просить меня подождать его вместе с моей пехотой, чтобы прикрыть его слабую кавалерию, но я не

мог согласиться; холод все увеличивался, и при каждой остановке офицеры и солдаты падали и замерзали.

Нам обещали раздать хлеб в Сморгони, но наши надежды не сбылись, и мы покинули это место, причем нас сопровождали массы отсталых, замедливших наше движение. Как только человек падал, что случалось очень часто, все остальные безжалостно проходили по нему. Маршал весь день находился рядом с нами и шел пешком впереди нас. В этот день я был на волосок от смерти. К вечеру меня вдруг охватила такая слабость, что ноги отказывались служить. Гренадеры 1-го полка вели меня под руки некоторое время, но вскоре это стало невозможно, так как я поминутно терял сознание. Маршал велел полжить меня в единственный оставшийся у него экипаж, и таким образом я доехал до бивака, где, как я помню, я пришел в себя перед горящим домом в то время, как генерал Гейтер подавал мне чашку кофе. Я пережил ужасный момент, когда почувствовал, что силы оставляют меня; я знал, что в случае падения я немедленно замерзну. Я благодарил Бога, спасшего меня...

7 декабря было самым ужасным днем моей жизни. Мороз дошел до двадцати градусов. В 3 часа утра маршал отдал приказ о выступлении. Но когда надо было дать сигнал, то заметили, что последний барабан испортился от мороза. Я отправился к солдатам. С каждым из них я поговорил, стараясь их подбодрить и убеждая их встать и собраться. Но все мои труды были напрасны; я мог собрать всего только 50 человек, остальные же, которых было около 200 или 300, лежали распростертыми на земле мертвые и холодные. Здесь же умер друг моей юности капитан Андре де Штеттен, прекрасный во всех отношениях офицер. В разрушенной хижине я нашел лежащего на земле больного полковника Франкена; он не мог уже говорить, и на нем лежал какой-то умирающий вюртембержец. Лейтенантов Гофмана и Лассолойля, младшего Гамерера, хирургов Клоца и Вальдмана постигла та же участь. Такая же судьба постигла и остатки дивизии Жирара. В несколько часов холод достиг ужасных размеров и уничтожил остатки соединенных и державшихся ее в порядке баденских и польских бригад; таким образом погиб девятый корпус, единственный, который до сих пор, несмотря на непрерывные лишения и утомление, стойко держался против неприятеля, далеко превос-



ходившего его своей силой. Рота гренадеров 1-го полка, находящаяся под командой капитана Цеха, спаслась совершенно случайно: они стояли на часах при маршале: поблизости загорелся дом и согревал их, таким образом они избежали смерти.

Я встретил маршала в Ошмянах и донес ему, что вся последняя пехота погибла. Такое же донесение сделал генерал Мезон о 2-м корпусе, а генерал Дукмер о кавалерии. Еще 5 и 6 декабря эта кавалерия состояла в арьергарде и проявила большое самопожертвование, а в эту несчастную ночь с 6-го на 7-е она также погибла.

7 декабря в 4 часа утра баденская артиллерия покинула бивак со своими 8 орудиями, но несколько часов спустя ей пришлось бросить первую пушку у подножия большой горы, постепенно покидала она и остальные, и последнее орудие осталось на другой день около Вильно, застряв в огромной толпе людей и экипажей, столпившихся около ворот города. В Сморгони император покинул армию и Неаполитанский король принял командование. Полк Неаполитанской кавалерии, эскортирующий его до Вильно, целиком погиб в одну ночь. Встретившаяся нам здесь дивизия Луазона, в которой по выходе из Вильно было 10 000 человек, потеряла благодаря морозу 7 000 человек. Мне нечем уже было командовать, и я шел не останавливаясь со слабыми существующими остатками и несколькими офицерами, в числе которых находились генерал Дамас и кригс-комиссар Зартелон. Мы шли 15 часов и к вечеру дошли до села, где остановились на ночлег остатки 1-го корпуса. Здесь я велел сжечь дровки и отрезать от них знамена, которые многие унтер-офицеры навязали прямо на тело и благополучно донесли их таким образом до родины. Фельдфебели Жансон и Филиппи донесли знамена 1-го полка. Солнце ярко блестело и освещало своими лучами такую картину бедствий, которую едва ли кто видел в мире. Мороз был ужасный...

Я выступил 8 декабря в 4 часа утра. Так как вот уже два дня как не существовало арьергарда и казаки могли без всякого препятствия грабить отсталых, то я бежал насколько хватало сил, чтобы дойти скорее до Вильно в надежде, что оттуда я смогу послать герцогу отношение. К счастью, я вдруг увидел среди толпы мою вычную лошадь, украденную у меня несколько дней тому назад, и я сейчас же

вновь завладел ею. Моего व्यюка с провизией уже не было. Потом я увидел на дороге мою повозку. Кучер так замерз, что не мог уже править. Я запряг в нее несколько верховых лошадей и прибыл к вечеру к воротам Вильно. Тут пришлось силой пробивать себе дорогу к городу в толпе людей и экипажей. Палка, данная мне фельдфебелем батальона легкой пехоты, сослужила мне в данном случае большую службу и с ее помощью я добрался к давно желанной цели — к столице Литвы. Я поместился в первом попавшемся доме и встретил там моего старого приятеля, участвовавшего со мной еще в австрийской кампании, генерала Клапареда. Не найдя дров, чтобы истопить печку, я и бывшие со мной офицеры сожгли все стулья, находившиеся в комнате...

*Хохберг*

\* \* \*

7 декабря термометр упал до 28 градусов ниже нуля по Реомюру (35 градусов мороза по Цельсию). Более сильные и выносливые из солдат шли теперь вперед группами, так как окончательно исчез всякий след военной дисциплины.

Мороз поражал прежде всего конечности тела; внутренняя теплота, сохраняемая самой природой с удивительной предусмотрительностью, порождала обманчивое самочувствие, благодаря которому солдаты продолжали шагать в оцепенении, хотя за последним почти тотчас же наступала и смерть.

Более молодые из солдат умирали тысячами; но даже многие из тех, кто успел закалиться в течение этих суровых переходов и мог бы еще долго бороться с усталостью и лишениями, даже они предпочитали смерть жизни, ложились прямо на снег и отказывались подниматься снова на ноги. Костры биваков, к которым эти несчастные приближались без всяких предосторожностей, способствовали лишь развитию гангрены в отмороженных ими членах тела; влияние сильного жара по своим результатам оказывалось не менее губительным, чем действие самого жестокого мороза. Остатки пищи, несколько капель водки считались в то время редкой драгоценностью; но суровый закон самосохранения давно уже заставил умолкнуть пред собой все остальные человеческие чувства: друг убегал от друга, чтобы одному

воспользоваться жалкими крохами пищи, которую ему доставил какой-нибудь счастливый случай. Страшная угроза голодной смерти побуждала кое-кого не брезговать даже человеческим мясом. Но все же, несмотря на всю дезорганизацию, один вид неприятеля продолжал собирать под знамена эти жалкие остатки Великой Армии. Мюрат, любивший пожинать славу на большом театре военных действий, в этой печальной обстановке терял свою обычную энергию. Ней, всегда остававшийся одним и тем же, продолжал оставаться таким же, как и на поле битвы: он был, так сказать Провидением арьергарда.

*Руа*

\* \* \*

7 декабря. Когда совсем начало смеркаться, мы увидели по сторонам дороги домики, которые все уже были заняты нашим братом; мы устроились под навесом, развели небольшой огонь, на котором что-то состряпали (муку с солью и водой), и заснули довольно крепко на несколько часов. Для меня, который с самой Москвы не ночевал ни разу под крышей, такой отдых был особенно ценен. Было около двух часов утра, когда поднялся страшный шум и крики: «Казаки! Казаки!», после чего все выбежали на улицу. Даже мой друг покинул меня при первом испуге. Теперь я оставался совершенно один под навесом и думал, что меня сейчас или поймают, или убьют. Вдруг мне в голову пришла мысль, которую я, собрав свои последние силы, поспешил выполнить. Я взобрался по столбу на поперечную балку и, сев на нее, оказался крепко прижатым к крыше навеса. Едва прошло несколько минут, как я услышал приближение казаков и крики бегущих по улице. Огни, на мое счастье, были почти потушены, благодаря чему под навесом, исключая места, где еще тлели уголья, было совершенно темно. Наконец въехали казаки, размахивая по сторонам своими копьями; я надеялся, что они, не найдя никого, отправятся дальше, но некоторые из них сошли со своих кляч и развели громадный костер. Я затаил дыхание и смертельно боялся, что меня увидят. Обыскав все лохмотья, которые здесь лежали и многие из них забрав с собой, они сели снова на своих лошадей и оставили навес. Вероят-

но, резкий переход от темноты к свету ослепил их, что меня и спасло\*.

Я просидел еще немного и только, когда все стихло, спустился вниз с окоченевшими членами; погрелся немного у костра, потом высунул голову из-под навеса и, убедившись, что ничего страшного больше нет, пустился бежать по дороге. Пройдя около часа, я снова нашел своего друга капитана фон Бутца, сидевшего на дороге возле огня. Мы были страшно рады, что опять отыскиали друг друга, скоро поднялись и отправились дальше в путь... Наконец добрались мы 9 декабря до Вильно.

*Иелин*

\* \* \*

Наш путь до Вильно представлял повторение тех бедствий, о которых я так много говорила, с тою разницею, что потери и страдания увеличивались пропорционально скорости похода и силе холода, который достиг крайнего предела. Смерть похищала уже не единичные жертвы, но целые тысячи.

Усталость или какое-нибудь препятствие вроде лежащей на дороге повозки нередко делали перерыв в длинной веренице беглецов. Тогда образовывался большой промежуток, в который казаки, постоянно рыскавшие около нас, осмеливались иногда врываться, хватая на лету добычу. Один поляк, артист, которого я знала в Москве, очутился со своим семейством в таком пустом месте. Во время одного нападения он был схвачен и убит на глазах своей семьи. Несчастной супруге удалось убежать, но она сошла с ума от этой ужасной сцены, а их ребенок умер от голода и холода. Потеря рассудка дала ей новые силы: она шла за армией, и все видели, как несчастная безумная мать несла то на груди, то на руках охладевший труп своего ребенка.

*Домерг*

---

\* Удивительным образом спасся вюртембергский обер-аудитор Гмелин, друг автора. Истощенный, упал он в яму и заснул; когда же проснулся, то нашел себя всего покрытого пиявками, которые к нему крепко присосались. После этого Гмелин почувствовал такую бодрость, что мог двигаться дальше и благополучно прибыть на родину. (Прим. авт.)

\* \* \*

Накануне нашего прихода в Вильно мы расположились в небольшой деревушке, где нашли некоторое убежище. Чтобы хоть немного устроиться в одном из брошенных жителями домов, пришлось убрать оттуда трупы, которыми он был полон. Этот грустный ночлег делил я с умирающим генералом Эбле, который и скончался два дня спустя. Вокруг этой деревни многие расположились под открытым небом на льду и на снегу и зажгли костры, а когда мы уходили, то почти треть солдат, лежавших около этих костров, были мертвы.

*Дюма*

\* \* \*

Мы приближались к Вильно; этот город был для нас обещанной землей; говорили, что здесь были громадные магазины провианта и армия должна была там отдохнуть; каждый спешил прибыть туда. 9 декабря в полночь я был уже только в двух лье от города. Мой фургон, запряженный семью лошадьми, подвигался довольно хорошо. Я встретил одного из моих товарищей из Байонны, который был остановлен в дороге. Он мне сказал, что его фургон (№ 48), нагруженный двумя миллионами золота, завяз в снегу по ступицу, что в течение ночи, не получая ниоткуда помощи, он не имел возможности выбраться из этого затруднительного положения; он очень просил меня остаться с ним. Я имел в перспективе Вильно, хороший обед и теплую комнату; мне оставалось всего три часа до достижения цели. Выбор был труден, и я готов был, думаю, продолжать свой путь, когда главный казначей, вмешавшись очень кстати и сознавая всю важность того, чтобы не бросать два миллиона золота, стал меня просить и умолять составить надежную компанию моему товарищу. Эта просьба равнялась приказанию, и я остался.

Между тем, как я узнал это позже, мороз в ту ночь был от 27 до 28°. Глазам нашим представилось маленькое строение, поставленное на четырех столбах и открытое для всех ветров; оно послужило нам убежищем. Пока мой товарищ кормил лошадей, я поместился посреди дороги. Я увидел человека, который с важностью ехал на лошади и вез

перед собой большой мешок; это был повар главного казначея. Он сказал мне, что экипаж его господина взят казаками и что, не имея лучшего плана, он отправился в Вильно. Большой мешок остановил на себе мое внимание. Между разговором я положил на него руку и любовно ошупывал его. «Что это ты увозишь?» — «Ничего, почти ничего, кое-какую провизию». Во время этого разговора мой товарищ подошел ко мне. Большой мешок произвел впечатление и на него. Он положил на него руку, и общее наше пожатие оказалось так сильно, что мешок потерял равновесие и упал. Повар сделал нам, правда, некоторое замечание, но он имел достаточно здравого смысла, чтобы увидеть, что всякое сопротивление будет бесполезно и что по теперешним временам на потерю одного человека не будет обращено особенного внимания: он убежал, а мы весело возвратились к нашему биваку.

Старый сапер сидел у нашего очага, его длинная рыжая борода была пересыпана льдинками, блестящими, как алмазы. Медвежья шкура, прикрепленная веревкой к правому плечу, закрывала часть его туловища. На голове у него была надета набекрень форменная меховая шапка, но обтертая с одной стороны трением о землю — наше обычное изголовье — и сохранившая с другой стороны несколько коротких желтых прядей. Сапер был бледен и истощен; глубокий кровавый рубец бороздил его лоб, его серые мутные глаза уныло смотрели кругом него «Здравствуй, товарищ, — сказал я ему, входя. — Поверь, черт не всегда будет преследовать нас по пятам; вот у нас есть еда». Вид провизии оживил всех, и каждый постарался найти дров, чтобы поддержать огонь.

В мешке были рис, мука, сало и широкая кастрюлька. Как при тяготевшем над нами ужасном холоде я нашел воду, право, не знаю. Как бы то ни было, ближайший источник доставил нам ее. Скоро вода стала закипать, и рис закружился в ней. Наконец комфортабельно приготовленное кушанье было поставлено посредине, и каждый из нас, вооружившись деревянной ложкой, собирался приняться за него. Но печальная судьба! Рис был смешан с песком. Неудачный повар, я неосторожно зачерпнул кастрюлькой слишком глубоко в ключ, и в нее попал песок. Страшные гримасы доказывали общие обманутые ожида-

ния. Сапер некоторое время оставался с открытым ртом и протянутой вперед рукой; он, может быть, старался убедить себя, что можно продолжать неудобоваримую трапезу. Но, слава Богу, наше несчастье было исправлено: пола моей шубы послужила мне цедилкой и вода получилась чистая и светлая; превосходный мучной суп заставил нас забыть песочный суп.

Я и товарищ легли на мешки с провизией ногами к огню, который начинал угасать; таким образом мы могли заснуть.

С наступлением утра представилось нам печальное зрелище. Наши люди, так же как и старый сапер, исчезли; из тринадцати наших лошадей семь умерли; несколько трупов указывали на то, что эта ночь была смертельна для многих несчастных; один из них испустил дух так близко от нас, что его тело послужило нам точкой опоры.

Утром люди и лошади были присланы нам из Вильно; фургон, в котором хранились два миллиона, был вытаскен из снега и поставлен на дорогу. Он дошел до места назначения. Это был, я думаю, единственный фургон, вошедший в Данциг. Мой фургон остался на месте. Он был ограблен по очереди французами и казаками. Один из наших товарищей, выехавший нам навстречу, дал мне белого хлеба и сырых сосисок; я долго не мог понять, что можно насытиться белым хлебом и сырыми сосисками.

Я прибыл в Вильно вечером 10-го числа.

*Дюверже*

## *Вильно*

В Вильно я занялся сначала приготовлениями для проезда императора оттуда до Ковно и приемом жалких остатков армии. Я велел расклеить плакаты, на которых огромными буквами было обозначено, в какой монастырь должны были направляться солдаты каждого корпуса, где они должны были найти готовый суп, мясо, хлеб и натопленное помещение. В Вильно было множество больших монастырей, принадлежащих различным монашеским орденам. Я уговорил монахов всем вместе удалиться в какой-нибудь один монастырь, чтобы избежать возможной опасности от армии,

которая придет в беспорядке. Благодаря этому в моем распоряжении оказались обширные здания, в которых я приготовил заранее горячую пищу.

Вскоре появился император, это было, кажется, 5 декабря. Впрочем, у меня нет никаких точных заметок об этих грустных днях. Герцог Виченцкий пришел ко мне просить почтовых лошадей, ибо император не заезжал в город, а устроился в одном из домов предместья по дороге в Ковно. Приготовив эскорт и переменных лошадей, я думал пойти к нему. Но он так спешил, что его уже не было.

Проезд императора, который вскоре стал известным в Вильно, сделался сигналом почти всеобщего отъезда. Герцог Бассано со своей канцелярией, все иностранные уполномоченные, члены комиссий временного правительства, все провинциальные власти, мэр, большинство членов городского управления — все исчезли в мгновение ока, как бы по волшебству, и я даже не могу понять, каким образом они могли достать себе лошадей и средства, чтобы пуститься в путь. Это было всеобщее «спасайся, кто может». Я не видел никогда такого панического ужаса, который сразу охватил тогда всех.

Король Неаполитанский, очутившийся во главе армии, двинулся к Вильно. Гвардия, под начальством старого маршала герцога Данцигского, и даже часть молодой гвардии, под командой маршала герцога Тревизского, держались еще под знаменами в сравнительном порядке и продержались, насколько это было возможно, в дисциплине и субординации перед глазами императора, который шел с ними и влияние которого заставляло их крепиться. Но как только уехал император, и в этих отрядах начался беспорядок. Они пришли, однако, в Вильно в строю.

В Ошмянах король приказал дивизии Луазона, которую я там поставил, покинуть свою позицию и дать место главной военной квартире и гвардии, а самой идти и расположиться в окрестных деревнях. Но эти деревни существовали теперь лишь на картах: все они были сожжены и разграблены. Это было как бы приказом к дезорганизации для этой несчастной дивизии: она состояла главным образом из итальянцев и немцев; люди принуждены были бродить по снегу, не находя приюта; более трех четвертей погибло от голода и холода — их было десять тысяч, а вернулось едва две.



Передняя часть несчастной колонны, те, которые сохранили достаточно сил, чтобы опередить других, уже начала вступать в Вильно. Напрасны были усилия заставить их быть внимательными к плакатам, указывавшим им местоположение монастырей, предназначенных различным корпусам. Все, и генералы, и солдаты, силою входили в первый же дом, который им казался подходящим, искали в нем хорошо натопленную квартиру, ложились и заставляли приносить себе пищу. Более сильные прогоняли более слабых; генералы и офицеры, если они могли еще пользоваться хоть остатками своего авторитета, заставляли солдат уступить себе место, будь то комната или только постель. Город непременно был бы сожжен, если бы дома не были каменными. Он, наверное, был бы разграблен, если бы у людей было немного больше сил, но все были истощены от усталости и бедствий. Вдобавок, съестных припасов было в изобилии, и они раздавались без всякой формальности каждому, кто приходил.

Я пошел навстречу королю и князю Невшательскому, которые приближались к городу. Они шли пешком, потому что было страшно холодно. Мюрат был закутан в большую великолепную шубу; большая меховая шапка, очень высокая, еще более увеличивала его высокий рост и делала его похожим на движущийся колосс; резким контрастом рядом с ним был Бертье, в широких одеждах на маленьком теле. Король Неаполитанский сказал мне, что он дал приказ, во избежание слишком большой давки в Вильно, чтобы кавалерия, лишенная лошадей, направилась левой стороной на Мерец и Олиту, где ее снабдят свежими лошадьми, которых поручено было купить генералу графу Брусье. Но они уже миновали проселки, которые вели к этим городам; пешие кавалеристы незаметно смешались с другими; жажда войти в Вильно так охватила всех, что ворота оказались загромождены, и они шли по телам, один по другому, лишь бы открыть себе проход. Не было никакой возможности навести какой-либо порядок, несмотря на то, что я велел одному батальону взяться за оружие. Дойдя наконец до внутренней части города, король Неаполитанский и князь Невшательский советовались со мной, каким способом прекратить хотя бы немного этот ужасный хаос. Они хотели, чтобы я созвал маршалов и генералов к князю, чтобы при-

сутствовать на совете. Но где было искать их? Они приютились, куда забросил их случай и где они расположились волей-неволей. Все же был издан циркулярный приказ, который я должен был напечатать, разослать во все дома, расклеить по всем углам улиц, с приглашением маршалов и генералов на другой день утром собраться у начальника генерального штаба. В то время в Вильно было по крайней мере сто генералов; но упадок сил и, если можно так сказать, деморализация умов были доведены до такой степени, что на приглашение явилось едва человек десять. Даже приказания ничего для них не значили; офицеры, генералы отказывались слушать ординарцев и адъютантов, которых посылал к ним начальник генерального штаба.

Многие из моих знакомых генералов и офицеров, не найдя помещения, пришли ко мне в здание русского гражданского управления, которое было очень обширным. Генерал граф Дюронель, которого я очень любил, был перенесен ко мне в самом плачевном состоянии. Отборные жандармы, которые были под его начальством, спасли его на маленьких санях с громадным трудом. Он был без сознания. Я уступил ему свою кровать. Мало-помалу он пришел в себя, и при эвакуации из Вильно он был еще раз обязан своим спасением тем же храбрецам, которые его туда доставили.

Все помещения моего дома хорошо отапливались, и я велел постлать соломы, потому что в этой части Польши кровати очень редки. У меня была постоянно для всех горячая пища; я имел большой запас вина, и те, которые приходили ко мне, сравнительно в короткое время восстанавливали силы, которые им были необходимы, чтобы перенести трудности отступления. Мой дом походил на госпиталь. Я имею право сказать, что ни один товарищ по оружию не пожалуется, что не получил у меня гостеприимства, что ему не было оказано должное в несчастии внимание, что кто-нибудь из моих соотечественников был забыт в это время. Припасы моего стола до самого конца отвечали моему желанию быть полезным всем; добро, которое я делал, без сомнения, красило мои последние минуты, проведенные в Вильно. Но теперь я должен признаться самому себе, что огромные расходы, которые я сделал, очень способствовали моему разорению.

Король Неаполитанский все время говорил о том, чтобы укрепиться в Вильно и реорганизовать войско, чтобы быть готовыми к бою в случае атаки. Но он не сумел принять мер, необходимых для успеха плана, правда, довольно трудно осуществимого.

Видя его нерешительность и сомневаясь, что он будет держаться в городе, я просил его только об одном: предупредить меня, как только он примет какое-либо решение, чтобы я имел время спасти казну и оставшуюся конную артиллерию, вместе с тем уничтожить все, что нельзя было взять с собою, сжечь арсенал и магазины.

Он мне обещал это еще 9 декабря в четыре часа дня, когда я был у него. Затем он прибавил: «Но я не думаю эвакуироваться: если на меня нападут, я буду биться. У нас много людей» и т.д. Выходя из дворца русского военного губернатора, в котором он жил, я встретил генерала Вреде в большом смятении. «Все погибло, — кричал он, — надо спасаться; русские у самого города, я только что бился с ними». Я доказывал ему, что ни к чему было поднимать такую тревогу, что, быть может, перед городом были казаки, что регулярные русские войска еще не могли быть там. Но он ничего не хотел слушать и утверждал, что он ясно видел драгун и русскую пехоту. Он вернулся по дороге из Вилейки с последними остатками своего баварского корпуса, сократившегося до нескольких сот кавалеристов. Герцог Беллунский подошел также с жалкими остатками своего корпуса и корпуса герцога Реджио, которые в общем не составляли и нескольких сот человек. Переполох, поднятый генералом Вреде, быстро распространялся по городу. Я встретил на улице герцога Данцигского, который спросил у меня, что делать дальше. Я ответил ему, что за приказаниями надо обращаться не ко мне, а к королю Неаполитанскому или князю Невшательскому. Я вернулся к себе, чтобы принять некоторые меры предосторожности, а во дворце оставил одного из моих адъютантов наблюдать за тем, что там происходило, и уведомлять меня. Вскоре он вернулся и сказал мне, что после небольшого совещания с генералом Вреде король сел на лошадь и в сопровождении князя Невшательского выехал за город через небольшие боковые ворота, на некотором расстоянии от Ковенских ворот. Тогда мои сомнения рассеялись, и я начал пригото-

лять все, чтобы на следующий день утром эвакуация совершилась с наибольшим порядком и спокойствием. Была ночь. Мое главное попечение было о казне, которая пока была еще очень значительна.

Приехавший в то время маршал князь Экмюльский просил меня зайти к нему на минуту. Я не знал, о чем он хочет со мной говорить. Я застал его с его адъютантами, наскоро обедающего, без посуды, — он тоже все потерял. Он спросил у меня, не я ли дал приказ новым литовским отрядам отступить за Неман и хорошо ли я обдумал это. Он ничего общего не имел с этим корпусом, а я никоим образом не находился под его начальством. Но подобная тактика подходила к его характеру, постоянно беспокойному, деятельному и тяжелому; он думал, что никто, кроме него, не знает своих обязанностей и даже не может их выполнить. Я ответил ему, что вот уже несколько дней, как я отдал необходимые приказания спасти все, что возможно из этих отрядов и что я знаю, что действительно, по крайней мере большая часть их уже находится на пути к Неману.

К двенадцати часам ночи я получил письмо от князя Невшательского, который извещал меня об отъезде короля с главной военной квартирой и давал мне положительный приказ об эвакуации. Я пошел сначала к маршалу Нею, который должен был командовать арьергардом и прикрывать отступление, чтобы посоветоваться с ним. Маршал Удино и генерал граф Фриан уже выехали и находились в безопасности. Храбрый польский генерал Зайончек, потерявший одну ногу, ночью написал мне письмо с просьбой в случае, если бы я вздумал капитулировать с неприятелем, позаботиться включить его в эту капитуляцию. Я не имел ни случая, ни возможности заключить капитуляции. Но генерал не мог иметь лучшей охраны, чем великодушное сердце императора Александра, благородство которого распространилось на всех поляков, даже тех, которые с наибольшей энергией шли против него, — генерал Зайончек сам является этому наилучшим примером.

В продолжение всей ночи, что я делал приготовления к эвакуации, казаки не переставали рыскать вокруг города. Они забирались в предместья и даже в военный госпиталь, где они бесчеловечно грабили больных. К 8 часам утра, когда начинало светать, меня уведомили, что казаки про-

ники в город и что с их стороны ожидали генеральной атаки. В то же время слышно было их «ура» на большой площади. Нельзя было терять времени. Я сел на лошадь и отдал уже приказ генералу Эбле взорвать арсенал, но так как я не слышал звука взрыва, которого ожидали с минуты на минуту, то я рискнул пойти туда сам. Я нашел там лишь один отряд артиллерии, офицер которого сказал мне, что стоял здесь всю ночь и с минуты на минуту надеялся увидеть генерала Эбле, но он до сих пор не явился. К несчастью, было уже поздно сжигать арсенал. Едва-едва могло хватить времени для бегства. Все устремились к Ковенским воротам, которые загромождались все больше и больше, — проход через них сделался невозможным.

*Гогендорп*

\* \* \*

При входе в Вильно скопление экипажей было так велико, что я принужден был тут оставить все то, что я еще вез из остатков артиллерии. Вступив в город, моей первой заботой было подкрепиться. Недостаток в съестных припасах совершенно истощил мои силы, и я думал только о том, чтобы поесть. Мне и моему товарищу Коттену посчастливилось в этом отношении, несмотря на то, что толпа голодных сильно мешала нам. Отяжелев от еды, я почувствовал такое непреодолимое желание спать, что забыл даже собрать моих слуг и лошадей и стремился только поскорее отправиться в отведенное нам помещение и лечь спать. Только что я лег, испытывая блаженство отдохнуть в хорошей постели, как пришли меня предупредить, что войска покидают Вильно и надо отправляться дальше. Не могу передать словами, до какой степени мне было это неприятно. Мне было здесь так хорошо! Очень долго я колебался, не остаться ли здесь до следующего утра и почти уже решил поддаться этому желанию, но в конце концов, преодолев его силой воли, в полночь я был уже у генерала Сорбие и сел в коляску полковника Лалеменда рядом с капитаном Эвеном, обожженным в Красном взрывом порохового ящика, и уже несколько дней ехавшим в этой коляске.

*Булар*

\* \* \*

Наконец, мы вступили в этот желанный город. Но какою горечью было отравлено это счастье, когда мы увидели, что его обширное предместье во всю свою длину было загромождено каретами, людьми, лошадьми. Этот беспорядок напоминал мне Березину. Внутри нас все так онемело, что каждый, привыкший идти в строю, почувствовал бы себя погибшим, удалившись на несколько шагов; между тем в то время, как толпа, толкая друг друга, не знала, как проникнуть через одни и те же ворота, она могла бы свободно войти и выйти, так как и направо и налево были другие выходы. Придя в этот город, мы нашли его в крайнем беспорядке; солдаты врассыпную бегали во все стороны, чтобы найти квартиры, предназначенные для их корпусов. Солдаты 4-го корпуса, идя в ратушу, увидели надпись крупными буквами, что они должны были идти в монастырь св. Рафаэля, расположенный на другой стороне Вилии. Но прежде чем расположиться, все бегали, голодные, из дома в дом, прося хлеба. Лавки, трактиры, кафе не могли удовлетворить громадного спроса покупателей, и все они мгновенно были закрыты. Побуждаемые голодом, мы выбивали двери; другие, с деньгами в руках, гонялись за евреями, которые, несмотря на нашу щедрость, не могли удовлетворить наших требований.

К трем часам дня, когда хвост нашей колонны едва входил в предместье, распространился слух, что казаки овладели командными возвышенностями над городом. Действительно, скоро послышалась пальба из орудий. Услышав звук пушек, прибывшие в Вильно свежие войска забили в барабан, заиграли в трубы: через минуту площадь представляла из себя военный плац. По одной из странных случайностей, которые Провидение как будто родит для того, чтобы пристыдить гордость и наказать надменность, колоссальное могущество Наполеона в этом суровом климате опиралось только на остатки неаполитанской дивизии, сформированные из гарнизонов Тарента и Капуи! И так как эти отряды очень быстро рассеялись, страх овладел городом: и при одном слове «казаки» большинство солдат, подавленное бедствиями, покинуло свои жилища и обратилось в бегство. В это же время Неаполитанский король, забыв свое

достоинство, внезапно покинул дворец и вышел из Вильно пешком в сопровождении своих офицеров, расталкивая толпу, чтобы устроиться вне города, по дороге в Ковно.

В то время как некоторые военные хватались за оружие, другие при приближении ночи пользовались тем, что магазины были брошены, и таскали оттуда одежды, валявшиеся там в куче, но больше всего было тех, которые искали чего бы поесть, и потому стучали в каждую дверь, и их учащенные удары казались грозными предвестниками грабежа. Жители, дрожа от страха в своих домах, со всех сторон слышали гром пушек.

Тогда мы убедились, что надеяться на отдых нельзя и что наши слабые остатки не могут больше выдерживать напора неприятеля; надо было пользоваться темнотою ночи, чтобы покинуть такую опасную позицию; было решено, что к одиннадцати часам ночи мы выведем войска за собой из города. В назначенный час мы молча выступили, оставляя за собой улицы, полные умирающих, пьяных или заснувших. Дворы, галереи, лестницы зданий были ими полны, и ни один из них не хотел уходить и даже подняться на ноги, чтобы повиноваться приказаниям начальника, их призывавшего. Выйдя из Вильно с таким же трудом, с каким они вошли в него, принц Евгений и его штаб направились к Неаполитанскому королю, где все офицеры, скучившись, оставались до часу ночи.

*Лабом*

\* \* \*

С каждым днем беспорядок в Вильно увеличивался. Отдельные власти требовали почтовых лошадей, чтобы покинуть город. Начиная с 6 декабря казалось, что никто уже не интересовался ничем и должен был думать только о себе. В этот день в семь часов утра император прибыл под именем обер-шталмейстера Коленкура. У меня потребовали поставить 27 почтовых лошадей, которых, к счастью, я нашёл. Но только с большим трудом мне удалось из толпы кавалеристов, бывших на месте, набрать десятков шесть верховых для сопровождения экипажей; настолько беспорядок становился велик! Посланники разных держав отправились в этот же день. Почтовых лошадей уже не хватало: большая часть была истощена от усталости.

Начиная с 7-го числа холод достиг от 27 до 30 градусов. 8-го части войск стали являться в виде разрозненных стай, без оружия, одетые в лохмотья, с головой, обвязанной тряпками, чтобы защититься от холода. Офицеры и генералы всякого ранга, большею частью ограбленные и оборванные казаками, шли пешком, завернутые в свои шубы и наполовину замерзшие; все изнемогали от голода и старались забраться в дома, чтобы подкрепиться там и укрыться от суровости погоды. Я был очень счастлив, имея возможность приютить множество этих господ и разделить с ними все, что я имел, в течение трех дней, которые мы оставались здесь. Мои комнаты были наполнены ими и мой дом сделался настоящей казармой.

Много народу безостановочно проходило по дороге к Ковно, останавливаясь в Вильно только для того, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Все польские семьи покидали Вильно, чтобы отправиться в Варшаву или в Кенигсберг. Городской мэр, полицейский комиссар покидали свои должности и оставляли страну.

9 декабря от 9 до 10 часов утра и в течение остального дня шли все остатки армии; город был совершенно загроможден людьми, лошадьми и экипажами. Дома были переполнены; многие несчастные, которым удалось дотащиться до них в надежде найти там облегчение, падали от утомления и слабости на улицах и площадях и вскоре умирали от холода. Все городские ворота были до такой степени загромождены, что через них нельзя уже было пройти. Наконец, это был совершенный разгром, потому что казаки уже успели захватить некоторые предместья и отчасти перемешаться с нашими солдатами.

34-я дивизия, о которой я говорил раньше, к счастью, была еще не тронута. Многие отряды были командированы для исполнения полицейских обязанностей и в особенности для того, чтобы помешать и другим военным, вооруженным или способным стрелять, выйти из Вильно без распоряжения; но эта мера оказалась, можно сказать, недейственной. Скопление для того, чтобы выйти из Ковно по дороге, ведущей во Францию, было таким же, как и для того, чтобы выйти через Минск и Ошмяны из России, и было невозможно помешать отдельным лицам двигаться.



Начиная с 7-го числа это была настоящая процессия на дороге во Францию.

Король Неаполитанский, вице-король Итальянский, начальник генерального штаба, маршалы и проч. и проч. прибыли в Вильно 9-го утром.

К вечеру мои обязанности были окончены, генерал-губернатор, к которому я послал своего адъютанта, чтобы получить его разрешение, велел мне ответить, что по распоряжению Неаполитанского короля армия очищает город завтра, 10-го числа, в три часа утра, и что во внимание к тому состоянию, в котором я нахожусь, он предлагает мне уезжать, когда я хочу.

Я тотчас же предупредил об этих распоряжениях всех моих товарищей, бывших у меня, чтобы они приготовились к отъезду; многие из них были ранены или больны.

В час утра 10 декабря я отправился вместе с офицерами моего генерального штаба.

*Барон Годар*

\* \* \*

Наконец, после неслыханных страданий, мы подошли к воротам Вильно: они были закрыты; никто, говорили, не должен входить; это был самый холодный в этом году день (27 градусов ниже нуля); я был с моим храбрым другом Рамбуром, капитаном 1-го стрелкового, заменявшим меня при генерале Жакино, и с несколькими офицерами 7-го гусарского; мы ждали открытия ворот, как вдруг меня обуяла сонливая усталость, мне грозила смерть. Мои товарищи помешали мне, взяли меня под руки и принудили идти; скоро кровообращение восстановилось, и мне стало лучше.

Проезжал Неаполитанский король; я стал на его пути во главе сопровождавших меня офицеров; поклонился ему, он узнал меня и сделал мне знак следовать за ним; городские ворота открылись перед ним; мы вошли следом. Недалеко от ворот был винный магазин; там оставалось только несколько полулитровых бутылок по фридрихсдору каждая (21 фр. 50 с.); мы искали в кошельках и поясах; собрав нужную сумму, мы все взяли по одной и, чокнувшись за лучшее будущее, легко осушили их, причем пили прямо из бутылок. Это был пепермент, настолько слабый, что он не ударил нам в голову, но все же настолько подкрепил нас,

что с этих пор я не испытывал нездоровья. Выйдя от вино-торговца, я встретил нескольких полковых офицеров, с которыми устроился в скверном трактире у одного еврея...

На другой день, обходя город, в котором мы испытали приблизительно те же разочарования, как и в Смоленске, я встретил генерала Жакино и старшего адъютанта Тавернье, которые увели меня к себе; они предупредили меня, что все, составляющие священный эскадрон, должны были явиться верхом в полночь на двор дома, занимаемого генералом Себастьяни, начальником 2-й роты. Я известил об этом офицеров 7-го полка, указав им квартиру генерала. В назначенный час мы все собрались; нам предложили спешиться и взойти в помещение генерала, который объявил нам об отъезде императора во Францию, убеждал нас не разъединяться и сообщил нам, что через несколько минут мы выступаем по направлению в Ковно... Заканчивая эту главу, я должен признаться в маленьком проступке, который, может быть, извиняется обстоятельствами. Подойдя к камину в гостиной генерала Себастьяни, я увидел в углу каминного колпака бутылку, наполовину заткнутую пробкой; я поднял ее, она была полна. Быстро спрятав ее под пальто, я вышел, сделав знак одному из товарищей следовать за мной. Очутившись в передней, я тотчас попробовал содержимое бутылки; это было прекрасное вино. Мы быстро осушили ее. Я вернулся в гостиную, поставил бутылку на место и вышел, смеясь над разочарованием ее хозяина, который найдет ее пустой.

*Дюпюи*

\* \* \*

8-го штаб-квартира короля была перенесена в Вильно (4 мили). В два часа дня я прибыл одним из первых в этот город. В воротах было большое скопление, а позднее проход сделался опасным. Мне указали помещение генерала Нарбонна в доме губернатора. Аудитор Моссион, с которым я пошел повидаться, с трудом узнал меня, — с бородой, две недели небритой, в разорванных панталонах и сюртуке, в женской накидке. Мы представляли собой чисто карнавальные фигуры в противоположность свежим мундирам отрядов, увиденных в Вильно, которые только присоединялись к армии.

9-го слышалась канонада; в пять часов вечера пробили сбор. Батальонный командир Дариул предупредил короля Неаполитанского, что офицер сторожевого поста у ворот города возвестил о приближении казаков. Его Величество Иоахим, проявивший в эту кампанию невероятную храбрость, на этот раз потерял голову, подобно принцу Невшательскому. Король Мюрат спасся бегством, сам таща за повод свою лошадь; я встретил его и принца Невшательского, когда они пешком приводили свой план в исполнение. Полковник Бонгар, адъютант начальника штаба, хороший товарищ, на мой вопрос, куда они так быстро идут, прокричал нам: «На лошадей! Больше мне нечего сказать!» Будучи мало расположен так скоро ехать верхом, я пустился на разведки; я узнал, что это внезапное отступление было вызвано приближением нескольких казаков с пушкой. Сперва король Неаполитанский приказал было дворцовому адъютанту устроить ему помещение сейчас же за Вильно; потом он нашел это слишком близким, и его строили в полумиле от города по Ковенской дороге.

Генерал Нарбонн согласился отправиться вместе с генералом Себастьяни; эскорт последнего состоял из всех конных офицеров кавалерии.

В Вильно я нашел два ящика, присланные из Парижа; в одном из них было шесть бутылок вина Бордо. Вечером генералы Нарбонн, Шабо и я выпили две из них, столько же мы дали нашим служителям, остальные положили в сани. В одиннадцать часов вечера генерал Себастьяни уведомил нас, что он отправляется; не знаю, как это вышло, но мы не могли к нему присоединиться. Генерал Нарбонн и я шли пешком, за нами следовали наши лошади. При выходе из города была большая сумятица, мы остановились в штаб-квартире короля Неаполитанского.

В Вильно осталось большое число больных солдат; оно доходило до двадцати тысяч человек.

Вильно, который мы с начала нашего обратного похода считали местом наслаждений и окончанием наших бедствий, оказался для нас местом отчаяния; никто из наших людей не мог идти туда, где распределялся провиант, так как у них были отморожены ноги и руки.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Неаполитанский король двинулся к Вильно; он прибыл туда 8-го, а мы вместе с гвардией 10 декабря. Мы пришли вечером к городским воротам, которые оказались забаррикадированными толстыми бревнами; понадобились громадные усилия, чтобы проникнуть внутрь. Я вместе с своим товарищем поселился в хорошо натопленной школе. Пошел к генералу за приказаниями. «Будьте готовы, — сказал он мне, — к тому, чтобы в 4 часа утра выйти из города. Не-приятель вступает на высоты, и днем нас ждет бомбардировка. Не теряйте же времени». Вернувшись назад, я стал готовиться к отъезду; бужу товарища, который еще ничего не знал. Он только что отогрелся и теперь предпочитал лучше остаться во власти неприятеля, чем двигаться далее. В три часа я ему говорю: «Идем». — «Нет, — говорит, — я остаюсь». — «Ну, хорошо, если ты не пойдешь, я тебя убью». — «Ну что же, убивай!» Я выхватил саблю, наношу ему несколько сильных ударов и заставляю следовать за собой. Я любил brave товарища и не хотел оставлять его в руках врага.

Мы были уже готовы к походу, как русские вломились в Витебские ворота; мы едва успели уйти. Русские натворили много зверств в городе; те несчастные, которые успокоились было в своих помещениях, были умерщвлены. Улицы загромождались трупами наших, здесь евреи оказались палачами французов. К счастью еще, Нею удалось прекратить панику.

*Куанье*

\* \* \*

Пробродив здесь долгое время, я, наконец, встретил канонира из нашего отряда, который отвел меня в занятое нами помещение. С каким удовольствием я вошел сюда, и как мы радовались всему. В нашем распоряжении находился бельэтаж, правда очень небольшого домика, но все-таки у нас были две комнаты — одна для нас, другая для наших солдат и слуг. Здесь были печки и дрова и даже небольшой узенький дворик для наших лошадей. Прибывшие сюда первыми постарались уже достать при помощи денег: хлеба,

масла, картофеля, говядины и даже испанского вина. Мне отдали бутылку, и я тотчас же отпил из нее более трех четвертей с таким наслаждением, которое невозможно описать; я чувствовал, как понемногу восстанавливались мои силы. Надо мной, конечно, засмеются с презрением, когда я скажу, что среди бедствий и лишений, которые пережиты были мною до сих пор и которые мне пришлось в будущем еще пережить, — этот момент был одним из лучших в моей жизни, и я испытывал тогда самое настоящее и полное счастье. Для того чтобы понять это, надо было испытать все то, что пережил я со своими товарищами, когда после семи недель невероятных мучений, после стольких ночей, проведенных на биваках прямо на снегу при 25-градусном морозе, мы вдруг очутились в теплой комнате около печки, где варилась пища, которой мы были лишены столько времени, сидя со стаканом вина в руке, вкус которого мы почти уже позабыли; и ко всему этому надежда, которую мы лелеяли, что среди всего этого изобилия мы отдохнем несколько дней, а может быть, даже и несколько месяцев.

С этой приятной уверенностью моей первой заботой было умыться, избавиться от бороды, которой я не стриг вот уже целый месяц, достать и переменить последнюю рубашку, лежащую в моем чемодане. Надетая на мне была полна насекомых, и я бросил ее в огонь, несмотря на просьбы присутствовавшей при моем туалете прислуги, желавшей ее получить. Я снял сапоги, которых не снимал вот уже шесть недель. Мои носки были в лохмотьях. Отмороженные ноги имели ужасный вид — несколько ногтей отвалились. Растянувшись со своими товарищами на матрасе, я испытывал то приятное ощущение, которое должен испытывать несчастный заключенный, с ног которого сняли кандалы, сковывавшие его очень долго.

Однако какое-то необычное движение происходило на улицах. Перестрелка и пушечные выстрелы продолжались, барабан бил сбор. Но мы всецело отдались тому блаженному состоянию, в котором находились, и все эти боевые сигналы мало беспокоили нас. Мы были в полной уверенности, что все это касалось только гарнизона Вильно, обязанного отогнать неприятеля от города. Я также не обратил никако-

го внимания на маршала Нея, собиравшего, как я видел на площади, в отряды солдат, имеющих оружие, которых ему с большим трудом удалось созвать. И так мы спокойно ели и уже собирались расположиться на ночь вокруг печки, как вдруг явился ординарец, посланный мною к вице-королю. Я никогда не забуду того чувства, которое мы испытали, узнав, что вице-король готовится выступить в путь вместе с армией и что в ночь все войска должны покинуть Вильно.

Невозможно передать впечатление, которое произвела на нас эта неожиданная новость. Я прямо был подавлен и полное отчаяние овладело мною. Одна мысль покинуть в эту минуту комнату, где я рассчитывал провести в тепле хоть одну ночь, была для меня невыносима, и я лучше предпочел бы смерть, чем снова испытывать мучения. Я от всей души хотел, чтобы на меня напал пароксизм лихорадки. Это было бы достаточным мотивом для моих товарищей, чтобы они ушли одни, и было бы оправданием в моих собственных глазах того, что я остался в Вильно. Но мои желания были напрасны и лихорадка не приходила, но зато явилось другое непредвиденное затруднение. Мои ноги, освобожденные от узкой обуви, до того теперь опухли, что нечего даже было пытаться надеть сапоги. Итак, я принужден был остаться в Вильно или же идти по морозу с голыми ногами, одетыми лишь в какие-то старые туфли, найденные мною, и то с большим трудом, в доме. Я выбирал между этими двумя перспективами, из которых каждая предвещала мне гибель и давала очень мало шансов на спасение, и уже решался остаться в городе, как вдруг мне донесли о прибытии Гюйо — лейтенанта моего полка.

Выехав из Вероны с отрядом рекрутов и ремонтных лошадей, он был задержан в Вильно губернатором, и, живя целый месяц в хорошем помещении, питаясь хорошей пищей, его люди и лошади были в великолепном состоянии. Теперь Гюйо был со мной и с усердием и рвением, за которые я ему вечно буду благодарен, постарался найти сани, запрячь в них лучших лошадей и час спустя обещал явиться, чтобы захватить меня с собой. Он предложил мне также пару своих сапог. Они были мне достаточно широки, несмотря на опухоль ног. У меня не было больше основания

оставаться, и я почувствовал, как во мне воскресают мужество и смелость, которые, признаюсь, окончательно покинули меня в этот вечер. Я спал крепким сном, когда в два часа ночи Гюйо явился с саними за мной...

*Гриуа*

\* \* \*

Я вернулся к своим двум лестницам, чтобы идти на встречу маршалу Даву, д'Аксо и генералу Жерарду, и провёл их в город этим удобным путем, которого они, может быть, и не нашли бы. Идя к ним, я нашел в предместье на том месте, где я его оставил час тому назад, молодого, красивого, артиллерийского офицера, которому недавно отняли руку. Я предложил ему идти за мной, чтобы помочь ему пройти через запруженные улицы. Он поблагодарил меня, сказав, что обещал прислуживавшему ему солдату подождать его у входа в предместье. Я не настаивал, но, когда спустя несколько часов я опять нашел его на прежнем месте, я начал его расспрашивать, обращая его внимание на то, как неблагоприятно стоять на месте в такой убийственный холод. «Я согласен с этим, — ответил он, — но Жорж, мой солдат, верный мой слуга, он мой молочный брат. С тех пор как я в армии и ранен, он мне тысячу раз доказал свою преданность. Родная мать не могла бы быть внимательнее его. Сегодня ему нездоровилось, и я обещал подождать его; я готов лучше умереть, чем изменить данному ему слову».

Глубоко тронутый подобной братской преданностью в такое время, когда у большинства людей едва сохранилось даже инстинктивное чувство самосохранения, я не решился сообщить ему свои опасения насчет его несчастного молочного брата, который мог замерзнуть или попасть в плен. Я ограничился тем, что спросил его фамилию, место рождения и возраст. «Я из Байонны, меня зовут Артур де Бира-сайе и мне двадцать два года».

Я больше не видал этого офицера и, проезжая через Байонну несколько лет тому назад, я узнал, что он туда больше не возвращался.

*Лежен*

\* \* \*

9 декабря мы пришли в Вильно, куда нам стоило большого труда войти, т.к. улицы были запружены пушками, муниционными повозками, трупами лошадей и опрокинутым обозом, брошенным в момент появления казаков; тотчас же вслед за нашим приходом показалась группа казаков с двумя пушками и принялась осыпать картечью занятые нами дома; пришлось выйти вон, чтобы их отразить. Гренадерский полк, расположившийся на горе, потерял 300 человек, которые умерли в течение ночи. Огромные магазины Вильно были разграблены; вместо правильного раздела добычи двери магазинов открыли, и, таким образом, одни получили все, другие — ничего. Мне посчастливилось достать дюжину бутылок вина, хлеба и мяса, но желудок у меня так стянуло и он так ослабел, что я был в состоянии съесть только немного супа. Вино мне оказало большую поддержку в течение остального пути. Я его пил ложками по часам, как принимают лекарство.

10 декабря мы сделали отдых; он послужил нам к тому, чтобы вымыться, остричь бороды, которые выросли, покрылись пеплом и черной грязью, отчего мы стали похожи на мулатов. Распространился слух, что пришли свежие войска и что мы займем позицию в Вильно. Надежда уже проникла в наши сердца, как вдруг, около полуночи, мы получили приказ выступать. Огромное количество солдат осталось в домах и на улицах, предпочитая попасть в руки неприятелю и даже быть убитыми, нежели подвергаться холоду, который все еще был невыносимый. Мы прошли через город, после чего нам приказано было войти куда-то вроде амбара, в котором мы пробыли до 7 часов утра. Оттуда мы двинулись по Ковенской дороге. Едва мы сделали несколько шагов, как на нас набросилась шайка казаков и взяла в плен довольно большое число администраторов и солдат, сопровождавших экипажи. Однако, так как мы шли в порядке, они ни разу не осмелились приблизиться к нам, они шли по обеим сторонам нашей колонны на почтительном расстоянии; ни с той, ни с другой стороны не было сделано ни одного выстрела.

*Маренгоне*



\* \* \*

Мы подошли к воротам Вильно 9 декабря. Все хотели хлеба, мяса, вина и пристанища: город был razорен и магазины разграблены.

Не было ни одного корпуса, от которого сохранились бы какие-нибудь остатки; не было больше ни дивизий, ни бригад, ни полков, ни батальонов, ни хотя бы одной роты. Нас было еще около тридцати человек из всего полка, без начальников. Никто не командовал, всякий действовал сам за себя. Мы были еще хорошо вооружены, и я могу утверждать, что нам неудобно было бы сопротивляться.

Мы разграбили провиантский магазин главного штаба и императора. Мы нашли в нем прекрасную муку, свинину, отличное масло, рис и хорошее вино, даже шампанское и превосходный коньяк. Мы стряпали целую ночь, напекли хлеба и лепешек, испекли окорок в печи. На другой день мы достаточно подкрепились, чтобы продолжать путь.

В Вильно я видел, как один солдат был убит таким способом, каким, я думаю, никто никогда не отправился на тот свет. Наш поручик Серарис выходил из двора, в котором мы водворились, держа по окороку в каждой руке. Вдруг один солдат загородил ему дорогу, требуя себе один из окороков. Вместо ответа он в ту же минуту получил удар окороком по голове с такой силой, что этот человек был сшиблен с ног, правду сказать, ввиду его слабости и не требовалось больших усилий, чтобы его убить.

Мы взяли четырех маленьких польских лошадок, которых мы нагрузили нашим провиантом: мукой, рисом, свиным салом.

*Бельгийский солдат*

\* \* \*

Что касается меня, то я, отдохнув несколько часов, обещал больницы, чтобы установить службы по моей части. Всех больных хирургов и всех раненых знатных офицеров я собрал в больнице христианской помощи и поручил их особенным попечениям добрых сестер милосердия.

Кроме больных, врачей, я еще оставил во всех госпиталях порядочное количество хирургов всех чинов, чтобы лечить всех раненых, собранных в этом городе.

Я дал всем рекомендательные письма к главным врачам русской армии и сам собрался нагнать гвардию и главную квартиру. Я отправился в дорогу в ночь с 10-го на 11-е. На следующее утро казаки вошли в Вильно и привели в панический ужас всех французов, оставшихся в Вильно в большом количестве.

Евреи так небрежно лечили наших раненых, что вызвали эпидемические болезни, которые по очереди поражали тех, кто спаслись от гибели и от тяжелых последствий холода и голода.

*Ларрей*

\* \* \*

Наконец все устремились в Вильно, где каждый надеялся найти помощь и некоторый отдых; беспорядок был ужасный; я устроил свою квартиру в доме, который я нанял, и пошел, или, вернее, велел себя нести, на главную квартиру Неаполитанского короля, который взял на себя командование армией. Начальник штаба Бертье сказал мне, что держаться в Вильно, где мы были окружены со всех сторон, более невозможно, и потому армия выступит ночью или, самое позднее, на другой день вечером. Я отыскал графа Дарю, который пытался ввести некоторый порядок, распределяя съестные припасы и найденные в магазинах одежды. Я видел также герцога Бассано, который выехал в ту же ночь, чтобы догнать первые ряды. Я бы сделал то же самое, ибо мое присутствие было бесполезно, если бы только мои оставшиеся лошади и мои люди не были так измучены усталостью. Я потерял уже многих моих товарищей и помощников и вокруг меня были умирающие.

Ночью была тревога, вызванная казаками. Ударили сбор, и они не осмелились подойти ближе к городу. На другой день в 12 часов меня уведомили, что король и вся главная квартира выступили, что войска выведены из города и нельзя терять ни одной минуты; но я никак не мог добиться, чтобы были запряжены мои кареты; я сократил мой багаж, насколько это было возможно; я сжег мундиры, раздал белье; я оставил денежную помощь и запас провизии для несчастных, которые уже не могли более следовать за мной, в особенности, военному комиссару Пари, заведующему у меня отделением бумаг; он был еще жив, так же как и его

два сына, но умер два дня спустя; один из его сыновей также умер, а другой остался в плену.

*Дюма*

\* \* \*

Когда мы подошли к так называемым Высоким Воротам, то застали здесь почти такую же тесноту, как и при Березине. Люди, лошади и всевозможные экипажи теснили друг друга, каждый хотел скорее пройти вперед, а потому все подвигались к цели очень медленно. Немногие подумали о том, что город должен иметь еще несколько ворот и что через другие ворота, находившиеся в 400 шагах от этих, можно было бы пройти вполне удобно. С большими усилиями, получая со всех сторон толчки, пробрались мы, наконец, через эту толщу, но вместо порядка и в этом городе, как и во всех других, через которые мы отступали, царили страх и смятение.

Войдя в город, мы встретили одного вюртембергского солдата, которого спросили, где можно получить хлеба и других припасов. Он показал нам дом еврея Лихтенштейна, в котором мы встретили много офицеров и товарищей. Мой первый вопрос был о хлебе, но его уже не оказалось. Я же испытывал такой голод, что подбирал на столе и лавках маленькие крошки и с жадностью проглатывал их. С бутылкой красного вина, которое купил у еврея, я уселся, за неимением другого места, на полу около печки и спокойно выпил его с хлебом, который мне потом все-таки удалось достать.

Офицеры приходили и уходили. Вдруг кто-то вошел и спросил бутылку вина — лицо этого человека мне показалось знакомым.

Наконец, после долгого размышления, я узнал моего батальонного командира обер-лейтенанта фон Баура (Baur). Я встал, с радостью протянул ему руку, но так как я был покрыт лохмотьями, голова была обвязана грязным шелковым платком, руки и лицо были черны от грязи, то он совершенно не узнал меня. Когда я назвал свое имя, он обнял меня и сказал, что я могу быть уверен, что он не останется в долгу передо мной за то, что я спас ему жизнь при Смоленске, и советовал употребить все силы, чтоб вернуться на родину, где он, в свою очередь, обо мне

позаботится. Он очень сердечно простился со мной, но никогда уже больше я его не видал.

Тут я услышал, что дивизионный командир, генерал-лейтенант граф фон Шеелер, велел достать сани, чтоб отправить на них офицеров, и что при отправке им будут раздавать обувь. Это побудило меня вечером, около 7 часов, пойти к графу. Он узнал меня сейчас же, очень сердечно принял, как было свойственно его благородной натуре, но выразил сожаление, что я на четверть часа опоздал, и теперь уже невозможно получить место в санях; увы, и здесь слишком поздно, подумал я, ни в чем нет мне удачи, и горячие слезы потекли из моих глаз. Растроганный граф фон Шееллер старался утешить меня. Когда я попросил у него пару сапог, то он повел меня в соседнюю комнату, где лежала целая куча обуви, из которой я мог выбирать, что мне было угодно; я взял самую большую пару и простился с графом. Вернувшись в дом еврея Лихтенштейна, я хотел было надеть сапоги, но заметил, что ноги мои так ужасно распухли, что не представлялось никакой возможности на них что-нибудь натянуть, и я принужден был снова остаться без обуви. Скоро я заснул около теплой печки, хоть и с некоторым опасением быть взятым в плен, но, несмотря на это, проспал всю ночь так крепко, что не слышал ни хождения взад и вперед, ни стука дверей, ни криков и разговоров присутствующих. Утром в 4 часа меня разбудил мой приятель, капитан фон Бутш, чтоб двинуться дальше, но когда он увидал, что я едва могу стоять на распухших ногах, то посоветовал мне лучше остаться в городе и пойти в госпиталь.

Все торопились уйти, кроме тех, которые, подобно мне, не могли двинуться. Обер-командир предусмотрительно распорядился оставить в городе главного доктора Поммера и кriegс-комиссара Келлера, чтоб они взяли на себя в госпитале заботы о вюртембергцах. Оба эти чиновника квартировали в доме еврея Лихтенштейна; они где-то раздобыли сани, чтобы перевезти нас в госпиталь. Проехав уже почти половину дороги, мы услышали крики «Les Cosaks!» — казаки ворвались в город. Мы, которые перед этим едва держались на ногах, забыли со страху наши болезни, выпрыгнули из саней, побежали, как могли, и добрались благополучно до госпиталя, который сейчас же после нашего при-

хода заперли. Нас отправили в комнату, находящуюся в третьем этаже, где мы нашли многих еще более несчастных, чем мы.

Для вюртембержцев были отведены два госпиталя (дома): один в городе, недалеко от Высоких Ворот, другой вблизи города, неподалеку от большой дороги, по которой двигались отступающие, и тоже на небольшом расстоянии от Ворот. В каждом госпитале было приблизительно 600—700 человек. Те, которые находились в госпитале вне города, были, как говорят, зверски убиты неприятелем; в городском госпитале этого не случилось, но нам пришлось вынести такое жестокое обращение, благодаря которому большинство через несколько месяцев умерло.

*Иелин*

\* \* \*

Французский арьергард, или, скорее, горсть солдат, под начальством неустрашимого Нея очистил Вильно утром 10 декабря. Русские немедленно вступили в город. В Вильно находилось около 20 000 раненых, больных или пострадавших от холода. Все, что ни попадалось, было уничтожено неприятелем, который овладел также богатыми складами и огромным количеством запасов, к которым французы не успели и прикоснуться. Жестокости, совершаемые русскими войсками в первое время, наводили трепет. Спрятавшись за ставни, я была свидетельницей ужасных сцен, хотя мне было видно только очень ограниченное пространство. Я видела казака, который пригвоздил пикой к стене одного маркитанта, молившего о пощаде. Варвар наслаждался, жестоко издеваясь над мучениями своей жертвы. Далее, несколько русских солдат, изранивши какого-то несчастного француза, подняли его на штыки, затем, повернув лицом к северу, кричали с громким смехом: «А, проклятый француз! Ты видал Москву, так вот посмотри теперь на Петербург!»

За убийствами последовал грабеж. В дом, в котором я получила гостеприимство, также пришли русские. Они увидели меня и стали расспрашивать. Я отвечала на все по-немецки и еще раз спаслась от смерти, благодаря находчивости моих хозяев, которые выдали меня за свою сестру. Без этого счастливого обмана мне, при всех правах матери

и очевидной безвредности, не избежать бы роковой участи всех французов. Женщины, дети, старики, одним словом, все, что только носило французское имя или одежду, все было безжалостно убиваемо. Дома и улицы вскоре переполнились трупами...

*Демерг*

\* \* \*

Наш польский полковник, как только прибыл на свою родину, без труда раздобыл все запасы для нас и для наших лошадей. В самое утро нашего прибытия в Вильно он велел сесть на мое место, на передок саней, крестьянину, которому он поручил нас туда доставить; но мужик был настолько неловок, что опрокинул нас посреди дороги, не сумев объехать ледяного бугорка, и так как лошади бежали во всю прыть, то силою толчка мы были выброшены из саней. Я упал на бедного Жоли де Флери.

Как только крестьянину удалось остановить лошадей, он вернулся, чтобы взять нас и помочь нам встать. Когда он начал поднимать Флери, тот был так разгневан, что вместо благодарности стал его колотить; но в состоянии слабости, в котором мой бедный спутник находился, его ярость была так смешна и его удары так бессильны, что могучий крестьянин, вероятно, принял их за ласки, так как не обратил на них ни малейшего внимания и продолжал помогать полковнику с таким спокойствием и хладнокровием, как будто ему давал щелчки какой-нибудь избалованный ребенок.

Мы все трое смеялись так добродушно, что Флери, который, впрочем, нисколько не пострадал от своего падения, вскоре присоединился к нашему смеху.

Так как все было готово и восстановлено, мы шибко поехали и в четыре часа прибыли в Вильно.

У полковника был там дом, но в нем совсем не осталось мебели. Благодаря евреям мы без труда раздобыли свежей соломы и припасов. В одной комнате натопили печку, и мы там устроились все четверо. Нам принесли стол и стулья, роскошь, от которой я уже отвык, и после отличного ужина, какого мне ни разу не пришлось есть с самой Москвы, мы могли наслаждаться продолжительным и спокойным сном.

Позвали доктора, чтобы осмотреть руки и ноги, поврежденные морозом. Мои три пальца уже почти оправились, но полковник страдал ужасно.

На следующее утро я послал разузнать о моем брате; узнал, что он уже два дня как приехал, и, купив сюртук на меху, я вышел, чтобы отправиться к нему.

Температура настолько понизилась, что термометр показывал 30 градусов мороза. Несмотря на мой мех, я с трудом переносил такой холод. Дыхание мое, выходя из рта, превращалось в ледяные сосульки, которые висели на моих усах. Воздух был такой резкий, что трудно было дышать и кровообращение почти останавливалось. Я едва был в силах держать глаза открытыми и, дойдя до брата, не рискнул выходить во второй раз и написал письмо полковнику, в котором благодарил его за помощь и за гостеприимство. Я сообщил ему мой парижский адрес и клялся как ему, так и его племяннику, в вечной дружбе и выражал им обоим самые искренние пожелания свидеться в лучшие времена.

Так как остатки французской армии, сильно преследуемые, ринулись на город и русская армия вошли туда на другой день, я не знаю, были ли эти два храбрых офицера убиты или взяты в плен, но я не имел счастья отблагодарить их, и все справки, которые я наводил на их счет, остались безрезультатными.

Что касается Жоли де Флери, то, присоединившись к главной квартире графа Дарю, ему удалось с несколькими из своих товарищей обогнать армию, и я с ним увиделся только в Париже.

*Комб*

\* \* \*

Вильно было уже от нас только в восьми верстах. Я подумал о том, что наплыв будет громадный и надо потому заранее позаботиться о помещении и пище. Поэтому мы отправились с Битшем рано утром. Я приказал своему денщику следовать за Друо, военный обоз которого уменьшался до двенадцати орудий и одной повозки и, обещал встретить их у городских ворот. В версте от Вильно была расставлена цепь французских и баварских солдат для того, чтобы регулировать вход войска, и потому в этом пункте

произошло большое скопление. Битш ухватился за полу моей шубы, и мы начали расталкивать народ направо и налево; прочистив себе дорогу, мы очутились около городских ворот. Они были низки и узки; разбитая коляска загораживала проход. Пешие входили один за другим, не позаботившись о том, чтобы расчистить путь и дать дорогу тем, кто был на лошадях. Конные же с отмороженными и увернутыми ногами не могли слезть с лошади и терпеливо ждали своей очереди. Это было одно из самых грустных зрелищ, виденных мною во время отступления армии.

Наконец, нам удалось войти, и мы отправились к губернатору Гогендорпу. После получасового ожидания в передней нас провели к нему; мы спросили, можно ли рассчитывать на определенное помещение для остатков гвардейской артиллерии? Он нам ответил, что никаких затруднений не предвидится, и, пока он писал приказ по этому поводу гражданскому начальству, я заметил на столе пачку печатных приказов; я прочел один из них украдкой и так и остолбенел от негодования. Этот приказ, помеченный не помню каким числом, говорил о том, что император прямой дорогой отправился в свою столицу в карете, передав командование Неаполитанскому королю. Таким образом, египетский дезертир — дезертировал и из России; он покинул нас в нашей несчастной судьбе, обрекая на всевозможные выходы авантюриста, который был бы самым сумасбродным в мире, если бы его не сдерживал император.

Придя в себя от удивления, я попросил Гогендорпа дать мне экземпляр этого приказа; он охотно мне его дал, и я, свернув его в трубочку, опустил в карман и вышел.

*Пьон де Лош*

\* \* \*

Вечером мы достигли наконец предместья. Но какое разочарование! Все предместье было запружено экипажами, лошадьми, людьми; происходила страшная давка; эта суматоха живо напомнила нам Березину. Ползая под экипажами и лошадьми при попытках добраться до ворот, я потерял храброго капитана фон Хеддерсдорфа. Внутри города, когда я попал туда, царило величайшее смятение. Солдаты бегали как одержимые, требуя хлеба.



В Вильно у меня был знакомый — немец, хозяин гостиницы, я мог поэтому устроиться тут. Дом, правда, был уже битком набит солдатами всех национальностей, но хозяин узнал меня, пустил к себе в боковую комнату, и я получил суп и картофель. Здесь я в первый раз уснул опять под крышей на стуле перед натопленной печкой.

Следующий день, 9 декабря, я отдыхал в Вильно в том же доме, почистился, насколько мог, и достал себе на складе баденской бригады, помещавшейся в монастыре, кое-какое новое платье. Здесь я встретил сержанта и двух солдат нашей роты; они пошли со мною. Только в Вильно я узнал, что Наполеон уехал инкогнито. Как в Египте, он бросил свою армию.

*Штейнмюллер*

\* \* \*

Я узнал 9 декабря, что монастыри были назначены сборным пунктом для каждого корпуса армии. Бернардинский монастырь был предназначен 9-му корпусу. Рано утром я отправился к губернатору, генералу Гогендорпу, пригласившему меня обедать. Он сказал мне, что армия будет в Вильно расставлена по зимним квартирам и оправится здесь от испытанных лишений. Отсюда видно, как мало французские генералы сознавали ужасные потери, понесенные армией. Я удивился еще более, когда пришел в полдень на обед к генералу Гогендорпу; я узнал, что он уже выехал: очевидно, приглашая меня, он имел намерение лучше обмануть меня и скрыть свой отъезд. Я отправился в дом, где собрались наши офицеры, и увидел печальную картину. Многие из них были ранены или так измучены холодом и лишениями, что их невозможно было узнать, у некоторых из них были отморожены руки и ноги, у других были зачатки нервной горячки, которая впоследствии скосила так много людей. Я очень обрадовался, увидав прибывшего подполковника Грольмана, с которым я расстался на заре 7 декабря. Я все время очень сожалел, что он тогда не был готов ко времени нашего выступления. То же случилось с ним в Ошмянах, где я его напрасно прождал до тех пор, пока генерал Дамас и другие генералы, находившиеся со мной здесь, не стали меня торопить к выступлению, боясь поддаться ужасному холоду и замерзнуть. Он был страшно

утомлен, так как никто не позаботился покормить его и дать помещение.

Я тотчас же велел раздать людям одежду и сапоги, принесенные лейтенантами Гильтемом и Брифом и раздал деньги, полученные для меня помощником военного комиссара Блуером в Кенигсберге взамен баденских векселей. У меня осталось 1200 дукатов; у меня не было okazji отослать их обратно, и я поместил их в мою повозку и скоро потерял ее вместе с деньгами. Дом, в котором я находился, можно было принять за госпиталь, так как здесь не было ни одного человека, у которого не было бы хотя бы одного отмороженного члена. Я должен был считать себя счастливым, что отморозил себе на холодном северном ветре всего только правую щеку, сильно распухшую и причинявшую мне боль. Через некоторое время кожа слезла с нее совершенно. Немного спустя меня призвал принц Невшательский, собравший всех генералов. Он спросил меня, что случилось с моей бригадой. Этот вопрос причинил мне большую боль. Совесть моя была покойна, я знал, что мы держались против неприятеля гораздо дольше, чем остальные отряды. Мне доставило удовольствие резко ответить ему, что все мои солдаты лежат по дороге от Москвы до Вильно, и стоит только пройти по ней назад, чтобы увидеть ее всю усеянную трупами. При этом ответе Бертье, очевидно, рассердился и отослал меня.

Вместо того чтобы оставаться еще день в Вильно, было бы лучше не останавливаясь продолжать отступление. Много офицеров, употребив свои последние силы, могли бы дойти до немецкой границы и были бы спасены. Они утешались надеждой, что поправятся в Вильно, и многие из них, хотя и были в состоянии идти дальше, остались здесь из слабости. 74 человека офицеров и докторов баденских отрядов ухватились за этот случай, и все мои усилия заставить их покинуть со мной Вильно на следующий день были напрасны. Я говорю, конечно, о здоровых, так как больным и раненым я сам советовал остаться в городе. Когда я переменял свой старый изорванный мундир на новый, распространился слух, что я отправляюсь к русскому главнокомандующему, чтобы заключить капитуляцию; таковы были, как я узнал это впоследствии, желания многих наших офицеров.

Ночь, проведенная мною с офицерами, оставила во мне печальное воспоминание. Сначала мне донесли, что замерз мой кучер Готц. Потом я узнал, что околела моя лучшая рыжая лошадь. Потом, когда мы уже уснули, лежа на полу, я был вдруг разбужен майором гусарского полка Дитцем, который вообразил себя в конюшне рядом со своей лошадью Лизель и во что бы то ни стало хотел исполнить свою естественную потребность... Несчастный потерял рассудок.

Грольман тоже находился в плачевном состоянии. Благодаря контузии, полученной им в обе ноги, он не мог ходить. Я поместил его в свой экипаж и дал ему в компаньоны фельдъегеря Хуббауера и капитана Рюда, очень способного человека, хорошо говорившего по-польски, и отдал ему приказ заботиться о Грольмане...

*Граф Хохберг*

\* \* \*

Благодаря помощи, которую мне оказал барабанщик, я мог продолжать путь довольно быстрым шагом. Через час приблизительно я был у входа в столицу русской Польши. Там уже была давка. Несмотря ни на что, я прошел через ворота без помехи.

Улица, по которой я направился, была, если память мне не изменяет, широкая и красивая. Она была полна народу в самых разнообразных костюмах. Евреи в допотопных кафтанах, в лисьих шапках пробирались через толпу и галдели, как одержимые, предлагая вновь прибывшим все, что только можно было продать; пищу, напитки, одежду и даже сани с упряжкой. Вопрос, где и как они могли их достать?

В то время как я с трудом пробирался, озираясь направо и налево, через эту пеструю толпу, я был поражен самым приятным образом. Кто-то сзади меня окликнул. Я оглянулся и встретился лицом к лицу с моим дорогим, с моим чудным капитаном фон Клаппом. Невозможно описать, как мы были рады, что опять соединились.

Первое, о чем мы спросили друг друга, было:

— Что нам есть, что нам пить и где можно что-либо достать?

Капитан, человек всегда практичный, сразу разрешил эту задачу. Он спросил первого попавшегося ему под руку еврея, и тот указал ему ресторан, который содержал один

из его единоверцев. Мы поспешили войти туда; но там не было посетителей. У нас сжалось сердце при мысли, что нам сейчас же ответят классическим «ничего нет».

К счастью, мы ошиблись, владелец ресторана объявил нам, напротив, что у него есть яйца, масло и портер. Тотчас же капитан заказал ему громадную яичницу и две бутылки этого напитка, столь ценимого в Северной Германии. Я очень сомневаюсь, чтоб этот портер был доставлен из Англии, и скорее думаю, что он был приготовлен в Вильно, Ковно или другом каком-либо городе поблизости. Но это не имело ни малейшей важности в наших глазах, и мы воздали должное яйцам и портеру г-на Леви...

Пора было заплатить по счету за наш завтрак. Мы нисколько не сомневались, что наш самарянин запросит лишнего; на вопрос капитана он ответил:

— Сколько с вас следует? Боже мой! С вас следует семь рублей серебром.

28 франков за несчастную яичницу и две бутылки, с позволения сказать, портера. Гостеприимство г-на Леви в самом деле было слишком драгоценно. Мы положили, ничего не говоря, 4 рубля на стол. Тогда началась целая буря криков и ругательств. Невозможно было успокоить этого человека; он ругался, кричал, что мы его заставляем терять деньги, и т.п. Он позволил себе даже немного оскорбить нас, но мы оставались непоколебимы и поспешили выйти из его негостеприимного дома. Он проводил нас до двери, расточая по нашему адресу самые нелестные эпитеты.

Бедный господин Леви!

Насытившись таким образом, мы отправились на поиски вюртембергского казначея и его казны. Товарищи, которых мы встретили по дороге, любезно указали нам путь и представили нас военному комиссару Шенлину, остановившемуся в кафе Лихтенштейна. Это заведение играло очень важную роль в продолжении двух или трех дней пребывания в Вильно вюртембергских офицеров. Ниже я ему посвящу несколько строк.

Господин военный комиссар принял нас очень любезно, что редко случается, когда являются с требованием денег. Я в качестве лейтенанта получил сумму в 14 дукатов (около 178 франков). Мой товарищ получил гораздо больше.

Я прежде всего занялся пополнением моего гардероба, который был в очень жалком виде. В особенности мне надо было переменить обувь. Я также купил себе меховую шапку, которая могла бы больше защищать меня от холода, чем мой черный футляр. Еще я купил пару рукавиц.

У меховщика, который продал мне эти вещи, я встретил в последний раз моего старого полковника фон Редера, который несколько недель назад был произведен в генералы. Он показал мне великолепные перчатки, которые он только что приобрел, и сказал мне шутя:

— Ага! Теперь я спокоен и не рискую больше отморозить мои уцелевшие восемь пальцев!

Этому прекрасному человеку, благосклонному начальнику, не пришлось износить своих великолепных перчаток, так как в следующую ночь он захворал и был перенесен в Виленский госпиталь, где и умер от тифа несколько дней спустя после вступления русских в этот город.

Двое из моих товарищей, так же плохо одетые, как и я, только что вошедшие в лавку меховщика, в лирических выражениях рассказывали мне о ресторане, где они питались. По их словам, там были исключительно вюртембергские офицеры, в том числе принц нашего королевского дома, о котором я говорил выше, и наш главный командир генерал фон Шелер.

Благодаря яичнице господина Леви мы с капитаном заложили в некотором роде фундамент нашего будущего питания, но наши желудки были истощены постом, тянувшимся несколько месяцев, и надо было опять приучать их к пище. Поэтому мы не заставили себя просить и тотчас явились в указанный нашими товарищами ресторан.

Кроме троих французов, из которых двое удалились минуту спустя после нашего прихода, все остальное общество состояло из вюртембергцев.

Лишенные всякого комфорта в продолжение многих месяцев, мы, может быть, не совсем ловко усаживались за красиво сервированный стол, не совсем ловко развешивали салфетки и управляли серебряными приборами.

Обед был восхитительный. Наоборот, вино не могло сравниться с Ульбаховским; вино было плохое. Несмотря на это, мы нашли его весьма хорошим, тем более что оно

развязало нам языки. Разговор сделался очень оживленным и касался главным образом того, что было весьма интересно для вюртембежцев, то есть нашей прекрасной родины.

Ко мне подошел мой друг, будущий полковник Кеннериц, и сказал:

— Неужели это ты? Когда я сегодня утром проходил мимо тебя, я думал, что ты совсем умираешь!

Я ему рассказал тогда о злключениях с медными деньгами, которые попали мне в сапоги.

Нет слов, чтобы описать беспорядок, царивший в зале. Около окна один офицер брился; судя по его длинной бороде, ему давно, наверное, не приходилось заниматься этим. Другой, растянувшись на диване, хорошо обитом, громко храпел. Третий, нисколько не стесняясь многочисленной публики, менял белье, доставляя себе этим удовольствие, которого был лишен в продолжение многих недель. Четвертый рассматривал и старательно считал деньги, которыми его снабдил господин военный комиссар. Что касается остальных, то они большей частью были заняты игрой в кости на зеленом сукне билльярда. Вся зала походила скорее на улей. Генерал Фабер дю Хор, прекрасно рисовавший, дал удивительные наброски сцен, происходивших здесь.

Утомленный походом этого дня, не в состоянии больше переносить всего этого движения, от которого у меня кружилась голова, я стал разыскивать место, где можно было бы растянуться и отдохнуть. Стулья, столы, углы залы — все было занято. В отчаянии я залез под билльярд. Хотя пол был далеко не мягок и несмотря на шум костей над моею головой и непрестанные крики играющих: «Прошел», «Мимо», «В банк», «Квит» и т.п., я скоро заснул глубоким сном, не думая, какое пробуждение ждет меня.

На другой день рано утром сильный толчок ногой вывел меня из объятий Морфея. Это господин Лихтенштейн собственной персоной оказал мне такое милое внимание. Господин хозяин кафе, столько выручивший с нас денег за эти дни и всегда принимавший нас подобострастно низко кланяясь, теперь кричал мне со свирепым видом:

— Вставай, немецкая собака, и убирайся вон отсюда! Твои товарищи давно уже ушли и получают от казаков по заслугам.

Я увидел, к моему сожалению, что этот человек говорил чистую правду. Зала была пуста и представляла довольно неприятное зрелище. На улице было еще темно, и слышны были крики немцев и французов и ругательства казаков. Что было делать? Не имея возможности остаться в кафе, я должен был уйти и затем познакомиться с русскими казаками. Что они были в Вильно, в этом нельзя было сомневаться. Захватили они город ночью или войска, посланные против них, должны были отступить — я не знаю.

Итак, я встал и с минуту был в нерешительности, спрашивая себя, не лучше ли остаться в зале и предоставить казакам забрать меня, вместо того, чтобы подвергаться опасности на темной улице, где меня ожидала та же участь. К счастью, я решился на первое, говоря самому себе:

— Береженого Бог бережет.

Раньше, чем выйти, я скромно попросил у хозяина немного воды. Но он тотчас ответил мне:

— Незачем тебе воды, немецкая ты собака! Казаки сами тебя умоют.

И теперь я с удовольствием констатирую, что мое хорошее состояние духа не покинуло меня даже в этот критический момент. Но я не упустил случая, представившегося мне, чтобы отомстить господину Лихтенштейну, и скверно отомстил ему.

Я рассказывал выше о злосчастной встрече с полковым квартирмейстером, которая стоила мне моей военной фуражки. Известно также, что за неимением другой шапки я шел с самого Смоленска в простом черном футляре на голове. Этот футляр был в неопишемом виде, не считая того, что в складках его завелось многочисленное население. Я не мог забыть, какие он мне оказал услуги, и сберег его в одном из карманов моего платья. Теперь, желая оставить хозяину кафе надолго о себе воспоминание, я засунул мой футляр со всем его гарнизоном под большую подушку на диване в бильярдной зале и давай Бог ноги.

Было время спастись, так как опасность заметно увеличивалась с минуты на минуту.

Как только я вышел на улицу, я повернул как бы инстинктивно направо, и это было к счастью для меня; это

был как раз верный путь к выходу из проклятой России. Если бы я пошел налево, мне пришлось бы, наверное, побывать на даче в Сибири.

Крадучись, как заяц, с тысячью всяких предосторожностей, я шел мимо домов, окна которых, к моему счастью, не были освещены. Благодаря этому я избежал казаков, которых было еще не очень много; они избивали беглецов в центре города. Со всех сторон были слышны крики, ругань, удары кнута, вопли, — я не знаю, на скольких языках.

Ежеминутно я ожидал — вот-вот появится один из этих бородачей и грубо закричит мне: «Стой», а затем посыпятся удары кнута, и мне придется провести лето в Сибири, — как это случилось позднее с генералом Вандамом.

Но Бог любит смелых. Я без труда достиг городских ворот и вышел на Ковенскую дорогу. Дорога была вся покрыта бегущими, охваченными паническим ужасом. Этот ужас навел на них казацкий атаман Платов своим вступлением в Вильно в сопровождении нескольких тысяч конницы. Он со всех сторон сразу грозил остаткам нашей армии. Признаюсь, не велика была заслуга — победить обезоруженных людей, которые едва дышали.

*Фон Зукков*

\* \* \*

Среди очень темной ночи (10 декабря) мы зашагали по дороге к Ковно; но снег, покрывавший поля, каждую минуту заставлял нас уклоняться с пути, и долгое время мы не знали, не заблудились ли мы, потому что поляки, идя в Новые Троки, намечали новый путь, который легко мог нас спутать. Через два часа подошли мы к подошве горы Вака, которая оказалась недоступной благодаря крутизне и льду, ее покрывавшему; вокруг были остатки наполеоновских экипажей, оставленного в Вильно багажа, войсковая казна и ящики с несчастными московскими трофеями, теперь уже не было сомнения, что мы идем по дороге к Ковно.

Мы стонали у подножия этой горы, не имея возможности на нее взобраться; за это время была ясно слышна перестрелка, которая завязалась между казаками и стрелками



29-го полка, недавно пришедшего в армию и при таком критическом положении не разделявшего общего упадка.

Беспокойное недовольство, которое рождается от несчастья, сделало то, что каждый кричал, что было бы гораздо лучше пройти через Новые Троки, избегнув таким образом этой фатальной возвышенности, где за целый день еще не прошла ни одна колонна. Все, кто тут застрял, по большей части больные или раненые, были обречены стать жертвою неприятеля, и в своей скорби они не могли утешиться тем, что терпят крушение так близко от гавани, в особенности после того, как они спаслись при Красном и Березине! Скорбь их сменялась отчаянием при мысли, что казаки, пройдя Вильно, преследовали наш арьергард и приближались к нам. Однако жестокая необходимость заставляла оставаться там до тех пор, пока наступит утро, чтобы попробовать обогнуть гору, на которую лошади не могли взобраться. В ожидании разводили огонь и каждый, вздыхая, ждал с нетерпением, когда начнет рассветать.

Все было напрасно, тщетно искали со всех сторон: возвышенность оказалась такой скользкой и люди такими уставшими, что отчаялись ее перейти. Тогда пришла мысль с помощью конвойных перенести деньги, принадлежащие казне. Так как их было около пяти миллионов, из коих большая часть в серебряных монетах, то пришлось прибегнуть к помощи очень многих, и большинство солдат, пользуясь обстоятельствами, которые не позволяли за ними следить, присвоили себе то, что им было доверено. Знамена, отнятые у неприятеля, которыми наши разбитые души больше не интересовались, были поневоле брошены у подножия горы так же, как и знаменитый крест Ивана Великого, который было бы так славно присоединить к нашим трофеям.

Многие, кто пришли потом, приняли участие в этом грабеже. То была сцена, достойная наблюдения — видеть, как люди, умирающие с голоду, в то же время сгибались под тяжестью богатств, которых они не могли нести. Можно было видеть, как они равнодушно разделяли их между собою и искали, предпочитая их деньгам, съестные припасы, находящиеся в повозках. Повсюду только и видно было, что продавленные чемоданы, полуоткрытые сундуки. Дорогие меха и великолепные придворные одежды были на отвратительных солдатах, которые, отягченные добычей, пред-

лагали шестьдесят франков серебром за один луи (20 франков); были такие, которые за стакан водки давали по десять экю (50 франков). Наконец, один в моем присутствии за несколько золотых монет предлагал целый бочонок, полный серебра.

Нельзя себе было и представить того беспорядочного бегства, которое представляла тогда наша армия; она не только не воспрянула духом благодаря присутствию нескольких батальонов, пришедших из Пруссии, но передала этим новым войскам панику, которой сама была поражена; а они, не в силах более противиться суровостям зимы, побросали тоже свое оружие и увеличили толпу отсталых. Все наши солдаты, превратив себя в торговцев, только и думали, как бы продать найденные на дороге вещи, а те, которые разделили между собою сокровища, только и думали, что бы на них купить, чтобы получить от них хоть какую-нибудь пользу. Со всех сторон говорили лишь о слитках золота, да о драгоценностях; каждый солдат был нагружен серебром, но ни один не имел оружия; нужно ли было после этого удивляться тому страху, который внушали казаки! Эти последние набрали себе такую огромную добычу, что давали евреям наши пятифранковые экю за бумажный рубль, стоивший лишь восемнадцать су (36 коп.), а двенадцатифранковый золотой — за серебряный рубль. Наконец, атаман Платов предложил им сложиться, чтобы послать в их столицу Черкасск такое количество слитков, которое хватило бы на позолоту купола городского собора. Казаки, благоговея перед св. Николаем, которому посвящен собор, не только приняли это предложение, но выразили еще желание, чтобы этому святому была воздвигнута массивная серебряная статуя; и тотчас же они отправили в Черкасск громадное количество маленьких повозок, набитых золотом и серебром.

Те, которые спаслись из Вильно, рассказывали нам, что русские вошли туда на рассвете. Толпа генералов, полковников, офицеров и больше двенадцати тысяч солдат, оставшихся вследствие чрезмерного изнеможения, попали в их руки. Говорили также, что с офицерами обращались очень хорошо, но всякий другой, солдат или лакей, должен был сейчас же отправляться назад в Москву, где, говорят, хотели ими воспользоваться для восстановления города. Эти

несчастные, валявшиеся на улицах или на площадях, без огня, без пищи и, по большей части, раненые или больные, имели такой жалкий вид, что неприятель старался смягчить их суровую долю. Меньше других можно было жалеть тех, которые, раздетые казаками, погибли от холода некоторое время спустя после нашего ухода. Грустное следствие человеческой слабости! Люди, которые дотащились из Москвы до Вильно, не имели более мужества, когда им понадобилось сделать несколько лишних верст, чтобы спасти свою жизнь. Мы узнали также, что евреи беспощадно грабили многих наших солдат, в особенности императорскую гвардию, желая таким образом отомстить за дурное с ними обращение: император Александр, исходя из чувства справедливости, его характеризующего, велел повесить нескольких из этих евреев, чтобы показать, что никогда не следует присоединять свои страсти к ссорам государей.

Хвост нашей длинной колонны, сея по всей дороге трупы умирающих, все еще подвергался преследованию целой тучи казаков, которые грабили отставших солдат, а затем отдавали их на попечение крестьянам, отводившим их в тыл армии и заставлявшим их страдать от всевозможных бесстыдств. К концу эти татары, которым надоело брать в плен, даровали свободу всем военным Рейнского союза и ограничились тем, что уводили только видных офицеров.

Но если им попадался француз, как бы он ни был жалок, они его грабили и подвергали самым злым шуткам. Если он шел с ними, то вечером они приказывали ему идти за водой или за дровами; затем грубо отталкивали его от огня, который он же сам и раздувал: жалкая участь солдат, которые, обязанные идти на войну, никогда не знают ее причины и знают только одни ее тяжелые страдания.

Не дойдя до Жижмор мы услышали за нашей спиной гром пушек на недалеком расстоянии. Было ясно, что наш слабый арьергард преследуется без перерыва. Несмотря на это, усталость была так велика, что многие из нас, предпочитая отдых своей безопасности, останавливались в Жижморах; но вице-король дошел до деревни Румшишки.

12 декабря. Истощенные одним из самых длинных и утомительных переходов, умирая от усталости, мы, наконец, дошли до Ковно, где остатки всех корпусов были собраны вместе. Все они устроили биваки на улицах. Наше плачевное

положение не позволяло нам больше удерживать какую-нибудь позицию, и потому начали громить магазины, битком набитые. Сейчас же всюду появилось изобилие одежды, муки, рома. Повсюду возникали бочки с пробитым дном, и пролившиеся напитки развели жидкую грязь посреди площади. Долгое время лишенные напитков, солдаты набросились на них с жадностью. 1200 человек напились пьяны и заснули в домах или на снегу; застигнутые морозом, они от сна перешли прямо к смерти.

К вечеру нам сказали, что мы пойдем к Тильзиту; так как у многих из нас уже вошло в обычай во избежание беспорядка ложиться всегда спать в четырех-шести верстах впереди главной военной квартиры, то очень многие двинулись по направлению к этому городу. Посреди ночи начальник штаба нашел весь четвертый корпус, запертый в одной комнате, и известил нас, что приказ взят обратно, что идти надо не в Тильзит, а в Гумбинен; эти приказы и их отмены и довершили нашу гибель; так что с тех пор наш отряд существовал только в доме принца Евгения и насчитывал восемь-десять офицеров главного штаба.

Бедствия, распространявшиеся на армию, не пощадили и императорской гвардии, где каждый день несколько солдат погибало так же, как и другие, от холода или от голода. Среди этих жертв я видел одну, действительно достойную удивления; это был старый гренадер, распростертый на мосту в Ковно, перед ним проходила толпа, с почтением глядела на его одежду, на ордена и в особенности на его три нашивки. Этот несчастный, с сухим взглядом, казалось, ждал смерти и не хотел прибегнуть, так как это делали многие другие, к бесполезным мольбам, когда случайно проходили мимо некоторые из его товарищей; тогда он сделал последнее усилие, чтобы подняться; но будучи не в силах и чувствуя, что умирает, он собрал все силы и сказал одному товарищу, подошедшему, чтобы его поддержать: «Твои заботы бесполезны, мой друг; и единственную милость, которую я прошу у тебя, это помешать неприятелю глумиться над знаками отличия, которые я приобрел, сражаясь против него. Отнеси моему капитану этот орден, данный мне на поле битвы при Аустерлице; передай ему также и мою саблю, которою я сражался при Фридланде». Товарищ повиновался и, взяв саблю и крест, нагнал ста-

рую гвардию, которая насчитывала приблизительно около трехсот человек, но шла еще тесными кучками и до самого конца еще сохраняла мужественную и гордую осанку. Солдат, войдя в ряды, показывал, полный благоговения, саблю и крест умершего гренадера.

Следя за этими храбрецами, мы дивились, сколько оставалось еще доблести среди стольких напастей, и оплакивали жалкую участь старших сынов армии, которые, исполненные любви к родине, сделали ее знаменитой ценою презренья своей собственной жизни; похожие на героев Тибра, они восстановили в двадцать лет то, что сделал Рим за восемь веков!

Наконец, утром 13 декабря из четырех сот тысяч воинов, которые начинали войну, перешли Неман у Ковно едва лишь двадцать тысяч человек, из коих по крайней мере две тысячи совсем не видели Кремля. Перейдя на другой берег реки, похожие на тени, пришедшие из ада, мы, полные ужаса, смотрели назад и со страхом глядели на дикую страну, где мы так страдали! Никто не мог поверить, что когда-то каждый смотрел на эту землю с завистью и считал бы себя обесчещенным, придя туда одним из последних.

Сойдя с моста, мы взяли влево, по дороге в Гумбинен; некоторые же, повинуясь приказаниям, данным накануне, упрямо верили, что надо идти к Тильзиту, и взяли направо; большая часть их попала в руки казаков; те же, которые пошли по верной дороге, не успели сделать и нескольких шагов, как им пришлось взбираться на высокую гору, страшно крутую, которая была бы гибельна для наших экипажей, если бы мы давным-давно не избавились бы от них. Несколько фургонов и карет, хранившиеся в Ковно, и в особенности великолепный артиллерийский парк, только что привезенный из Кенигсберга, были оставлены у подножия этой возвышенности.

Как только вошли мы в Герцогство Варшавское, все наши остатки рассыпались по разным дорогам и зашагали, как простые путешественники, по тем самым странам, которые несколько месяцев тому назад были покрыты бесчисленными отрядами армии. Маршал Ней, бывший до Немана в арьергарде, потерял то небольшое число людей, которое у него еще оставалось. Этот великий полководец,

перейдя реку во главе сорока трех тысяч человек, был вынужден перейти ее назад один со своими адъютантами, отстреливаясь с ними вместе от казаков. Вечером Неаполитанский король и принц Евгений остановились в Скроде, в то же утро (14 декабря), когда мы вышли из этой деревни, неприятель вошел в Ковно, перешел Неман по льду и рассыпался по громадным степям Польши, где его кавалерия избивала или брала в плен массу одиноких солдат, которые думали, что они в безопасности, и были убеждены, что русские больше не станут переходить Неман.

*Лабом*

\* \* \*

Мне пришлось выйти с моими адъютантами через ворота, находящиеся около реки, и обогнуть город знакомыми мне дорогами. Дойдя до главной Ковенской дороги, я хотел подождать маршала Нея с арьергардом, чтобы продолжить путь вместе, но польский капитан Киркор, оставшийся мне верным, обратил мое внимание на партию казаков, расположившихся перед нами, которые несомненно взяли бы нас, если бы до нас добрались. В городе и вокруг него слышны были ружейные выстрелы арьергарда, старающегося оттеснить казаков и помочь выйти всякому, кто еще мог. Беглецы приходили, смешивались в страшном беспорядке. Тогда я принял быстрое решение. Я останавливал всех, кто приходил к нам, и, указывая им на казаков, дал им самим увидеть, что, подвигаясь вперед разбросанными, мы не могли пройти никуда. Заметив начальника батальона императорской гвардии, которого я знал, голландца по имени Дюринг, я просил его помочь мне в принятой мною на себя работе собрать офицеров и солдат всех отрядов, всех наций, вооруженных или без оружия, чтобы составить батальон и пробить дорогу сквозь казаков, которые никогда не могут сопротивляться массе, двинутой на них. Таким образом, мы заставили беглецов построиться повзводно, во главе я поставил офицеров, и мы менее чем в полчаса имели нечто в роде батальона в четыреста-пятьсот человек, с которыми, не падая духом, двинулись вперед прямо на казаков. Они рассыпались, как и следовало ожидать, направо и налево по дороге и дали нам возможность пройти спокойно, не причинив никакого вреда; они лишь выпус-

тили несколько залпов из небольшой пушки, которую они подняли на сани и установили на возвышенности по левую сторону от нас.

Нас скоро догнал маршал Ней с арьергардом, собранным из остатков дивизии Луазона, пришедшей немного раньше в Вильно, из тех пехотных частей, которые можно было собрать, и также из отдельных солдат. Генерал Вреде шел со своим штабом и остатками кавалерии под прикрытием небольшого отряда арьергарда, правда слабого, но под начальством маршала Нея, который своим необычайным искусством в деле войны, казалось, прибавлял им силы и заставлял их двигаться таким образом, чтобы отвлечь казаков и тем самым прикрыть отступление или, вернее, всеобщее бегство. Я слышал, однако, как Вреде осуждал недобрым и резким тоном действия маршала и говорил по-немецки сопровождавшим его адъютантам, что маршал давал себе и своим солдатам напрасный труд и делал отступление еще более тяжелым. Он не мог скрыть своей ненависти к французам.

Видя дорогу свободной впереди нас, я стал торопиться, чтобы догнать короля Неаполитанского и главную военную квартиру. Но нас ожидали новые опасности в знаменитом ущелье, на расстоянии шести, восьми верст от Вильно. Это ущелье, о котором так много говорилось во всех рассказах об этом несчастном походе, собственно говоря — большая дорога из Ковно в Вильно, проложенная сквозь гору, очень высокую и крутую с обеих сторон, по левому берегу Вилии, которая протекает у подошвы горы. Накануне вечером я отправил мою карету с двумя санями; нужных для них лошадей дал мне один полковник-поляк, и я на них уложил часть моего багажа под присмотром лакеев, которым я доверял. Сани не попали в ущелье, и я их больше не видал. Но я нашел там мою карету, которая остановилась после тщетных усилий перейти его. Лед и снег сделали дорогу настолько скользкой, что артиллерия, кареты, фургоны скопились все там и совершенно закрыли проход. В эту минуту капитан Киркор указал мне тропинку, по которой можно было спустить мою карету до самой реки: она была в то время замерзшей, и по ней можно были пройти кругом горы и выйти снова на большую дорогу.

Карету тащили шесть сильных лошадей, и она вскоре оказалась с другой стороны, как по волшебству.

Я только поздно вечером пришел на главную военную квартиру в Эве и нашел там короля Неаполитанского и князя Невшательского в отвратительной хижине, на скверной кровати: все дома там было сожжено. Они были очень удивлены, увидев меня, думая, что я, наверное, взят в плен, — они очень боялись и за маршала Нея, ибо преувеличенные известия, принесенные накануне генералом Вреде, внушили королю Неаполитанскому большую тревогу, чем это вызывалось обстоятельствами, и заставили его ускорить отъезд, больше походивший на бегство. Главный штаб короля находился в соседней хижине, где ничего нельзя было разглядеть при слабом и грустном свете зажженного огарка свечи. Граф Дарю, в то время министр-статс-секретарь, уполномоченный главного интендантства армии, находился также в этой хижине. Он потерял в ущелье свою карету и за неимением лошадей пришел сюда пешком. Я предложил ему место в своей карете, которое он принял, и мы выехали до рассвета, чтобы избежать толпы; но как только рассвело, мы очутились в колонне беглецов и не могли ехать иначе, как шагом. Вечером мы приехали в Румшишки, небольшой город, разоренный, как и другие; и мы не знали, куда деваться, как вдруг заметили довольно большой освещенный дом; это была квартира генерала Себастьяни, которому посчастливилось сохранить большую часть своих экипажей. После ужина, которого мы и не ожидали, мы улеглись спать на соломе. На другой день до полудня мы были в Ковно.

Подпрефект приготовил для меня свой дом. Я отдал чинить там мою карету. Но у меня там украли, перед самым домом подпрефекта, упряжную лошадь, что было в то время непоправимой потерей.

Так как управляемая мною область снова попала под власть русских, я подумал, что имею право ехать прямо в Кенигсберг к жене, и спросил разрешения у короля Неаполитанского, когда тот приехал. Но он сказал мне, что хочет еще продержаться в Ковно, где было несколько укреплений, и биться, защищая переход через Неман, и что, следовательно, я ему нужен. В Ковно было еще достаточно съестных припасов, были большие магазины, и до тех пор



город мало пострадал. Я остался в ожидании событий, но вечером я заметил, что король снова приготавливался к отъезду.

Ночью мне сказали, что в городе появился огонь, несколькими минутами позже — что огонь на улице, а вскоре — что огонь уже в доме. Я сел на лошадь и проехал через мост, на котором была уже толпа по другую сторону реки. Бесплезно искал я мою карету, которую я выслал вперед по дороге к Кенигсбергу. Туда вели две дороги, одна шла направо через Тильзит, другая — на лес; на ней находилось еще одно ужасное ущелье, которое было необходимо пройти. Я выбрал эту последнюю дорогу и с бесконечным трудом перешел ущелье сквозь нагроможденные кареты, пушки и пр. В то время я путешествовал один. Граф Дарю нашел в Ковно крытые сани, очень удобные для путешествия. Я провел ночь в мирной крестьянской избе и прибыл на другой день в Вилковышки, где командовал генерал Ведель, который приютил меня, и где я мог хоть немного прийти в себя от усталости. Там я остался ждать короля Неаполитанского.

*Гогендорп*

\* \* \*

Ввиду трудности спуска с лошадьми и пушками по скользкому скату (Вильно) при 22 градусах холода я решил сделать привал на самой вершине холма и исследовать дорогу самому, прежде чем двигаться дальше. Спускаясь пешком с горы, я встретился с первыми группами жалких остатков бывшей Великой Армии\*.

Сначала я не хотел даже верить, что вижу перед собой именно Великую Армию, но скоро пришлось в этом убедиться.

Это действительно оказались остатки армии, той Великой, четырехсоттысячной армии, которая шесть месяцев тому назад переправлялась через Неман и неизменно шла вперед, одерживая победы над русскими при каждой встрече.

Вид у этой несчастной беспорядочной толпы был жалкий. Я не нахожу слов для описания той ужасной и тяже-

---

\* Автор шел с подкреплением из Германии и остановился по дороге из Ковно в Вильно.

лой картины, которая предстала моим глазам; я не в силах описать всего моего горя и отчаяния.

Громадная толпа, целая масса истощенных людей шла, толкаясь, вперед, не давая себе отчета в том, что делала, точно не видя и не слыша ничего. Все ряды были разрознены и смешаны, солдаты шли рядом с офицерами, кавалерия с пехотой; французы, немцы и итальянцы — все перемешались и все шли в самом разнообразном одеянии: кто прикрывался шубой, кто старым мешком, пестрели яркие мишурные тряпки, а некоторые из солдат натянули на себя только что содранные шкуры; башмаки были сшиты их старой амуниции и из старых шляп.

Вот каковы были результаты этой бессмысленной войны! Вот до чего безумное тщеславие одного человека могло довести солдат, входивших когда-то победителями почти во все города Европы, сумевших защитить Францию от всех ее внешних врагов и вовлеченных теперь в эту пагубную для них кампанию с целью единственно завоевания. Я проклинал тщеславие! Мне страшно было подумать о тех последствиях, которые могли произойти от случившегося, я вспомнил товарищей, пришедших сюда в Россию, большинство которых не вернется на родину.

Дорога в Вильно была вся запружена этой толпой и экипажами, которые еле двигались; но и это была только прелюдия всего того, что пришлось нам увидеть и испытать за два последующих дня. Здесь, у подножия этой проклятой горы, пришлось оставить последние орудия и все то, что удалось спасти от Березины.

Ввиду полной невозможности войти со своим отрядом в Вильно, я решил пока оставить своих на той вершине, где был сделан привал. Гора эта называлась Понари. Сам я отправился в город, чтобы получить приказ о дальнейшем плане действий, если это бы оказалось возможным.

Только после усиленных поисков я, наконец, добрался до маршала Нея, с которым я раньше еще встречался в Португалии. У маршала я встретился с генералом Луазоном, к дивизии которого я был прикомандирован. Дальнейшие распоряжения были отложены до следующего дня, и только 9-го после полудня я получил приказ оставаться на уже занятой мною раньше позиции, т.е. на вершине горы Понари.

Я понял, что маршал даст приказ следовать за собой в арьергарде; это и не могло быть иначе ввиду того, что у Великой Армии не было больше пушек, а у меня оставались в полном порядке целых две батареи.

Я спешил скорее выбраться из города, но, дойдя до подножия холма, я понял, что нет никакой возможности пробить себе дорогу. Лошади, экипажи, люди — все это скучилось в невообразимой толчее. Все в безумном страхе, растерянные, столпились на одном пути, забывая, что можно свернуть в сторону и идти по полям. Я торопился вернуться к месту нашей стоянки и, несмотря на полнейшую темноту, взял влево, углубился в лес и добрался до вершины без особых затруднений.

Офицеры, прикомандированные к обозам и квартировавшие в Вильно, уверяли меня потом, что была еще дорога к Ковно, огибавшая гору Понари. Благодаря царящему беспорядку о ней совершенно забыли и не указали на нее.

Наконец, я добрался до нашего бивака, где стал с нетерпением ждать следующего утра.

Весь день девятого и почти всю ночь мои солдаты были заняты починкой экипажей, причем помогали и другим — кто больше заплатит.

В Вильно я мог наблюдать, как блестящие остатки Великой Армии безудержным потоком стремились в город, а 10-го та же картина повторилась и на нашем холме. Не было ни одного целого, организованного отряда; это была разнокалиберная масса людей, самых разнообразных национальностей, одушевленных только одной мыслью — бежать! А я еще не получал никакого приказа!

У меня все было наготове, я ждал только приказа, чтобы начать запрягать. Часов в 9 за мной прислал Неаполитанский король. Он был в экипаже. Крайне удивленный, что, проезжая мимо, встретил 16 артиллерийских орудий в полном порядке, он вызвал командира. Я ему доложил обо всем и то, что до сих пор я еще не имею никакого приказа. Мюрат наклонился ко мне и тихо шепнул: «Командир, мы... садитесь на лошадь и у逃айте».

Вот кого оставил император во главе покинутой им армии, это был тот, кому было поручено реорганизовать славные остатки армии и поднять ее нравственный уровень.

Я выслушал приказ главнокомандующего, велел запрягать, сел верхом, и мы двинулись по дороге в Ковно.

*Ноэль*

\* \* \*

10 декабря. В штаб-квартире короля в час ночи нас догнали наши сани. В первые сели генерал Нарбонн и Шабо, во вторые — я с Эйяром, в третьи — лакей и повар. Сани отбились друг от друга среди ночной темноты; при приближении к подъему произошло большое нагромождение пушек, фургонов, повозок, которые не могли добраться до вершины. Холод был чрезвычайный; гора была покрыта кострами, разложенными проводниками, которые видели невозможность движения вперед благодаря крутизне и обледенелости тропинки. Драгун, который следовал за мной с моим чемоданом, потерял меня, так я его больше и не видел. Вся ночь прошла у меня в том, что я старался продвинуть вперед мои сани; мне удалось, несмотря на пушки и фугоны, проехать три четверти горы. На рассвете, раздраженный невозможностью дальнейшего движения, я решил бросить сани и идти.

При этом несчастном подъеме мы оставили все пушки и большое количество багажа и повозок. Наши собственные солдаты разграбили часть армейской казны при появлении казаков, одно время даже работали с ними в полном согласии. Ночью многие французы и союзники предлагали мне купить награбленные вещи, серебряные чаши, приборы и т.п. Наши солдаты охотно давали 100, даже 300 франков серебром на один наполеондор золотом.

Главный штаб был перенесен за 44 километра от Вильно — в Эве; я прибыл туда в пять часов вечера, очень утомленный, в лихорадке от боли в моей отмороженной правой руке; я умирал от голода, так как не ел ничего в течение двадцати четырех часов; у меня дрожали ноги, и я падал.

По дороге я встретил Шабо; он сообщил мне, что ночью он потерял генерала Нарбонна. Мы очень о нем беспокоились, так как его все еще не было. Генерал Куриаль уверял нас, будто он видел его шедшим пешком позади; это меня мало успокаивало — я знал, что Вильно эвакуирована утром и что в десять часов утра казаки были на горе с пушкой.

Я превратился в настоящего Иоанна Крестителя в детстве — мои последние вещи остались в санях Эйяра. Этот верный слуга попал в плен с отмороженными руками и ногами. Я считал его погибшим; он был отправлен в Витебск, где сделался парикмахером; из русского плена он возвратился в 1814 году во Францию с тремя франками в кармане; таким образом, он не без успеха занялся ремеслом.

Отчет об этой кампании, который я вел изо дня в день, я положил в карман вместе с портретами моих родных — таким образом это осталось целым.

В этом походе я потерял семнадцать лошадей.

В Эве нам было очень плохо в помещении вроде хижины. Меня так притиснули, что целую ночь я вынужден был держать поднятой мою больную руку. Я дал золотой за связку соломы императорскому конюху. Я разделил ее с Шабо и двумя другими товарищами. Поужинали мы очень плохо крошечным куском хлеба, наполовину из отрубей, и небольшим кусочком мяса, не было даже воды. Сани, брошенные генералом Нарбонном, подъехали в одиннадцать часов вечера; конюх, который ими правил, отморозил себе нос и ноги. Трупы замерзших солдат продолжают усеивать дорогу.

11-е. Король без свиты отправился прямо в Ковно; в момент его отъезда прибыл арьергард дивизии Луазона, сведенной к шестистам человекам; за три дня перед этим в Вильно она насчитывала шесть тысяч человек. У этой дивизии не осталось ни одной пушки. 113-й линейный полк — часть ее, состоявшая из флорентинцев, — поразил меня в этом городе своей выправкой и щегольской одеждой; я разговорился с сержантом этого полка, удивляясь, каким образом такой многочисленный отряд так быстро растаял. Он мне ответил: «Это очень просто: мы умираем от холода и голода; в нас посылают ядра, мы не можем отвечать неприятелю тем же; ничего не оставалось, как следовать примеру тех, которые в таком беспорядке прибыли из Москвы». Этот сержант был в числе тех приблизительно ста двадцати солдат полка, которые до этого дня еще оставались под знаменами.

Арьергард остановился в Эве; я оставался там же до десяти часов утра, надеясь встретить моего генерала. Все время не переставала дефилировать толпа отбившихся от ар-

мии, оставшихся назади. Старая императорская гвардия, насчитывавшая к моменту отъезда императора до тысячи четырехсот человек, теперь вряд ли имела под ружьем больше восьмисот.

Я и Шабо приютились в санях генерала вместе с его поваром, единственным из наших служителей, у которого не было ничего отмороженного. Наше беспокойство об участии генерала Нарбонна возрастало в течение дня.

Среди жестоких страданий, доставляемых мне моею рукой, я не мог не твердить себе: перед нами зрелище величайших ужасов, ничего подобного невозможно больше увидеть.

Проехав едва 8 верст, мы услышали казацкую пушку, обстреливающую наш арьергард. Мы остановились в штабе генерала Себастиани и с восторгом нашли там генерала Нарбонна.

12-е. Мы сели в сани, Шабо и я, в шесть часов утра. Едва мы тронулись, как наш возница вывалил нас в овраг, полный снега; это падение не принесло никакой пользы моей руке. В полдень мы были в Ковно. Мы позавтракали у генерала Себастиани. Он получил приказ немедленно выступить с кавалерией; мы следовали за его колонной. Бриквилль, раненый, попросил меня уступить ему в санях свое место, так как в противном случае ему грозит плен. Я уступил без колебаний. Итак, я пешком перешел через Неман — честь, которую я имел уже 24-го минувшего июня. Какая разница между армией тогда и теперь! Многочисленные корпуса кавалерии и пехоты, марширующие в полном порядке, заменились теперь отрядами отсталых, идущих без оружия! Из артиллерии — лишь одна пушка из прибывших в то время переправилась по Ковенскому мосту. После того как я прошел три мили по берегу Немана, с лихорадкой вследствие нагноения и гангрены руки, силы — но не мужество — оставили меня. Я присел на ступеньках какой-то часовни. Обозный солдат проходил мимо с двумя лошадьми; за пять франков он помог мне взобраться на мешок с овсом; таким образом я проехал 4 версты и был спасен. В восемь часов вечера я прибыл в штаб-квартиру генерала Себастиани. Мы остановились у священника, где нам было хорошо; он угощал нас вареньем. С этих пор мы всегда находили съестные припасы.

Помощник хирурга — голландец — перевязал мне руку; это было счастье. Совершенно одетый, я растянулся на постели священника; офицеры генерала Себастиани любезно предоставили ее мне ввиду моей раны. Провиантские склады Ковно были разграблены. Масса солдат перепились и остались в этом городе; осталось также и большое число утомленных и обмороженных.

13-е. Биньон оказал мне большую услугу, взяв меня в свой экипаж, несмотря на запах моей гниющей руки. Тем больше я ему обязан благодарностью. Он был остроумный человек, и мы весело болтали о парижских известностях, об общих знакомых.

Король Неаполитанский в тот же день оставил Ковно и перенес свою главную квартиру в Скравцы. При выходе из Ковно на одном подъеме он должен был бросить свою последнюю пушку.

Маршал Ней хотел защищать этот город, но ушел отсюда на другой день; он присоединился к армии в Гумбине, пройдя лесом с пятьюдесятью солдатами.

14-е. Я все еще еду в экипаже Биньона, изумляясь и радуясь тому, что еду в настоящем экипаже. Мы останавливаемся в Вильковышках.

Мы ожидали генерала Себастиани у одного еврея, который продавал кофе с молоком и белый хлеб; изголодавшись, я съел его на двенадцать франков, восхищенный тем, что за деньги могу получить что-нибудь у жителей. Этого не случалось с нами очень долгое время, а мы были впереди армии. К нашему большому удовлетворению, в пять часов вечера мы получили сани и почтовых лошадей.

Мы расстались с генералом Себастиани, очень довольные его заботливостью о нас: в течение трех дней он оказывал нам самое великодушное гостеприимство в своем главном штабе, и это было большой заслугой с его стороны в момент уныния, когда эгоизм был в порядке дня.

Вечером мы были в Шталюпенене, первом прусском городе. Невозможно вообразить нашу радость при виде человеческих лиц. Дочь содержателя почты, очень хорошенькая девушка, сжалилась надо мной и дала мне шаль, чтобы взять на перевязь мою больную руку, — до сих пор я не мог достать ничего, чтобы сделать повязку.

*Дневник Кастеллана*

\* \* \*

Русские шли за нашим арьергардом следом так близко, что вошли в Вильно одновременно, и, конечно, произошло страшное замешательство. Все бежали из города, магазины побросали... Генерал Гогендорп так недоверчиво отнесся ко всем данным ему сведениям, что не успел спасти даже своих личных экипажей. Много офицеров, особенно молодых, совсем пали духом и остались в городе, заранее подчиняясь грустной участи военнопленных, которым придется идти в недра России. Многие заболели по приезду, как, например, сын маршала герцога Данцигского, и там же покончили счеты с жизнью.

Герцог Бассано дал мне возможность ехать в Варшаву в экипаже, в котором ездили курьеры, но я до того был измучен и изнурен, что каждую минуту ждали моей смерти, так что кучеру моему приказано было в случае чего взять от местного начальства, где меня похоронят, удостоверение о моей смерти для посылки моей семье. Я оказался счастливей, чем предполагали, и доехал до Варшавы, хотя и измученный от холода. Дороги были завалены снегом, и мы два раза заблудились в огромном сосновом бору. Наконец-то я добрался до столицы Польши. Меня осыпали любовью и князь Понятовский, и семья Потоцких, и генерал дю Талли. Поселился я у вдовы г-жи Роп, которая ухаживала за мной с безграничной добротой.

Я сделал визит и его преосвященству епископу Малинскому, французскому послу в Варшаве; он удивительно был храбр и хвастлив на бумаге, а тут необыкновенно спустил тон и только и твердил что о мире. Мои взгляды на этот вопрос, очевидно, ему совсем не понравились и он меня не пригласил бывать у него, хотя обыкновенно приглашал всех представленных ему. Вообще репутация его была не из громких, а любовь, которой он пользовался у поляков, не из завидных.

Де Прадт не особенно радовался присутствию только что приехавшего герцога де Бассано и был с ним в холодных отношениях; популярность этого министра была больше, чем его преосвященства. Герцог относился ко всему с неприличной легкостью; это был момент, когда поляки



поняли, что всякая надежда потеряна, их жертвы (которым не было числа) бесплодны, а родная страна разорена.

Вместо благодарности французское правительство еще жаловалось, а на самом-то деле поляки имели гораздо больше прав быть недовольными императором, его министрами и генералами. Особенно тяжело было князю Понятовскому. Наполеон его оскорбил лично. Польский корпус пришел в Витебск позже, чем это должно было быть по соображениям Наполеона, он вскипел и сказал одному из адъютантов: «Ваш князь с...» Такого рода любезности были не редкостью в армии, где главными достоинствами были талант и храбрость, а образование было не выше образования обыкновенного рядового. Когда начальство злилось, вы были виноваты во всем. К счастью, оскорбления еще не резон и не доказательства и они вредят больше сильному, позволяющему себе оскорблять, а не слабому, которому часто приходится это переносить потому, что он не умеет оправдаться.

*Дедем*

\* \* \*

10 декабря был сильный холод. В 4 часа утра я был с маршалом и, поговорив с ним, двинулся к городским воротам. Употребив громадные усилия, я, наконец, вышел из города, проложив себе путь через большую толпу. Вскоре после этого я услышал грохот пушек: русские атаквали Вильно. В версте от города, около одного из Панарских холмов, я вновь увидел печальную картину бедствий, которые так часто повторялись во время этого несчастного похода. Здесь у подножия холма собрались дезертиры, фургоны, экипажи, артиллерия, всякого рода багаж и, наконец, императорские фургоны с 10 миллионами и остатками московских трофеев. Все экипажи старались перегнать друг друга и первыми добраться до вершины; в это же время верховые и пешие сновали между ними, стараясь добраться до той же цели. Лошади были плохо подкованы, и несчастные животные не могли везти тяжелый груз по скользкой дороге. Они истощали свои силы, падали на землю, и большая их часть не могла уже подняться. Благодаря этому беспорядок все больше и больше усиливался и происходили невероятные вещи. Здесь валялись раскрытые сундуки, и около них суеились их владельцы, желавшие хоть

что-нибудь спасти, там разграбляли фургоны с золотом. Солдаты влезали для этого на колеса, но, толкаемые идущими вслед ха ними, падали вниз головою. Я видел, как люди падали под тяжестью мешков с золотом, и проходившие мимо самым бесстыдным образом обращались с ними. Многие легко обутые дамы выходили из своих колясок и, несмотря на 27-градусный мороз, пытались спастись пешком.

Короче говоря, здесь можно было увидеть всякого рода несчастья. Приложив все свои силы, я добрался до вершины. Остановившись около моста, я ждал довольно долго, надеясь, что в это время подъедет мой экипаж, оставшийся еще внизу, но вместо него сюда прибыл с двумя только лошадьми один из моих слуг Кранц. Я продолжал свой путь к Эве, где ночевал в одном доме вместе с гессенским принцем Эмилем и принцем Виренштейном...

Я очень беспокоился о судьбе Грольмана и решил дожидаться арьергарда, который шел под началом графа Вреде и генерала Луазона. Но надежды мои не сбылись и мне пришлось ехать дальше. По дороге я встретил маршала Виктора, ужасно страдавшего от жажды. В Жижморах, где я провел ночь, я присутствовал при разграблении магазинов. Хищность солдат была ужасна: стоило сломаться какому-нибудь фургону, как на него накидывались французы и поляки и забирали себе все находящееся там. Только благодаря голоду и лишениям можно было оправдать полное отсутствие дисциплины, царившее в армии. При виде этих отрядов, испытывавших холод и лишения, среди которых одно появление казаков производило панику, — при виде их неизвестно, что надо было делать: смеяться или плакать — я думаю, что многое могло бы возбудить смех, если бы только вся картина не была так печальна.

Одежда всех напоминала маскарад. Вот, например, кавалерийский генерал верхом на маленькой русской лошадке, взятой у крестьянина; его ноги завернуты в тряпки, а сам он укутан в шубу до самых ушей; вот кирасирский офицер на такой же лошади, его ноги почти касаются земли, и одет он в красное меховое атласное пальто; а вот чиновник в мундире, но в женской шляпе на голове и в желтых туфлях. Здесь попадают кавалеристы без лошадей в наполовину обгорелых шубах, одна нога у них в сапоге, другая

в башмаке, одни солдаты снабжены ружьями, другие совершенно безоружны; вестфальцы с большим трудом несут свои копья. Многие идут как какие-то привидения, без ружья, без киверов, с палкой в руке, на голове у них меховая шапка и одеты они в овечьи шкуры, отнятые у польских крестьян; офицеры идут тоже в шкуре, недавно снятой с какого-нибудь животного, неся в руке какой-нибудь мешок или ранец.

Здесь и там попадались люди, сидящие на земле. Они не в состоянии были идти дальше и решались умереть. Все безразлично проходили мимо этих людей, находившихся в агонии, и даже завидовали им, говоря: этот скоро перестанет мучиться. Очень часто с замерзающих снимали одежды еще при жизни. Я видел одного такого несчастного, которого оставили совершенно голым. Чтобы хоть немного согреть и чтобы его не растоптали ногами, я отнес его на несколько шагов от дороги и положил около горевшего дома. Это был очень красивый молодой человек, и он до сих пор стоит у меня перед глазами. Многие попадавшиеся нам отряды походили на разбойников и воровские шайки. Они грабили даже маркитантов. Кавалеристы накидывались на павшую лошадь и отрезали от нее куски мяса, хотя она еще дышала. Эти чудовища особенно прельщались лошадиными легкими. Часто можно было видеть, как француз бежал за баденцем, чтобы поднять уроненный им кусочек сухаря, так как при Березине и Вильно сухари, присланные великим герцогом, были розданы баденцам.

Экипажи, лошади и люди — все смешалось на дороге. Пока дорога была широка, все эти муниципальные повозки, коляски, фургоны и сани ехали по три в ряд, но как только мы приближались к узкому месту, каждый старался быть первым, и благодаря этому получался страшный беспорядок. Неподкованные лошади падали прямо на лед. Если проходили по мостам, не имевшим обыкновенно перил, то сбрасывали прямо на лед мешавшие сани с лежавшими в них ранеными офицерами. Действительно, ни у кого не было жалости, каждый думал только о том, как бы пройти, и пройти как можно скорее. И если раздавалось наводившее на всех ужас слово «казаки», то беспорядок доходил до высшей точки. Невозможно описать, что тогда происходило: все кричали, бежали и били своих лошадей. Только

поздно ночью вся эта толпа сходила с дороги и искала убежища в соседних деревнях. Все дома, риги и стойла были переполнены людьми и лошадьми. Если невозможно за неимением места войти в дом, то довольствовались каким-нибудь местечком позади его и радовались тому, что были теперь хотя, защищены от свирепого северного ветра.

Одно из самых больших лишений — это недостаток в воде, так как все кругом замерзло, и у меня часто бывала такая жажда, что едва мог дожидаться минуты, когда снег, положенный в кастрюльку, растает на огне. С удовольствием платили 6 франков за плохой, испеченный на углях хлеб, а торговцы брали по 40 и 50 франков за русский хлеб, привезенный ими издалека, и таким образом получали огромную наживу. Я хотел у одного гвардейского солдата купить сахарную голову, но он ответил мне, что отдаст ее только за кусок хлеба. Я видел, как французский генерал менял свои свечи на этот хлеб. Ни один немец не смел подойти к кострам, зажженным французами. Доктор моего полка Хауер заблудился и принужден был заплатить 6 франков за разрешение подойти к огню французов. Обычная ненависть обеих наций разгорелась здесь вновь, между тем что сделали бы французы во время этого похода без этих союзников? Стоило только послушать, что говорили по этому поводу баденцы, вюртембергцы и вестфальцы...

12 декабря из Жижмор в 3 часа утра я прибыл в Ковно в полдень. Повсюду были видны горевшие села. Аудитор Миллер покормил меня, а я велел раздать рому своим людям, но лейтенант Штюльпнагель, которому я поручил раздачу, чересчур много выпил его и замерз...

13 декабря я прождал до 8 часов утра, пока аррьергард, преследуемый неприятелем, не прибыл в Ковно. Затем среди толкавшихся людей и экипажей я покинул город и перешел через вновь построенный мост Неман, который мы когда-то в начале похода переходили с большими надеждами. Река замерзла, и благодаря этому защита Ковно были бы немыслима. Чтобы охарактеризовать беспорядок, царивший на мосту, я скажу только, что оба адъютанта генерала Дамаса, боясь быть разлученными на мосту, принуждены были, не переставая, перекликаться на мосту, так что один все время кричал «Броделе», а другой отвечал «Торле».

Поздно вечером прибыл я в небольшое село варшавской губернии, где провел ночь с офицерами императорской свиты. 14-го верхом я выехал в 4 часа утра вместе с полковником Брандом, капитаном Каленбергом и лейтенантом Штраусом, Фишером и Геллером. В два часа дня мы были в Вилковишках, где в начале похода император издал свой манифест. Чтобы как можно скорее доехать до Кенигсберга, я нанял сани, куда сел вместе со своими штабными офицерами. Мы ехали всю ночь по страшному морозу. Я уснул и шапка свалилась с моей головы, к счастью, сани опрокинулись, и этому я обязан жизнью, так как иначе я, по всей вероятности, перешел бы в вечность. Теперь же, хотя и оковеневший, я пришел в себя и поспешил отыскать мою шляпу. Невдалеке от нас я увидел огонек, указывавший на близкое жилье. Я побежал туда и с радостью узнал, что здесь была прусская граница. Была полночь. Жена владельца дома, принявшая меня за прусского генерала, выказала много заботы и уговорила своего мужа уступить мне постель. Отдохнув часочек, я отправился и продолжал свой путь, доехал 15 декабря в 3 часа дня до Шталлюпенена и вечером через Гумбиннен достиг Инстербурга. Карательные офицеры настоятельно приглашали меня выпить стакан горячего вина, желая, очевидно, узнать подробности гибели Великой Армии. Прусские патриоты, понятно, не смогли скрыть радости, узнав о своем освобождении от французского ига. Несколько лет спустя я случайно встретил в Риме одного инженера, он узнал меня и уверял, что никогда не забудет впечатления, произведенного моим рассказом на людей, находящихся тогда в Инстербурге, среди которых он тоже находился.

За все это долгое время я в первый раз в Инстербурге выспался в постели, но даже и во сне меня преследовали картины пережитых мною бедствий и лишений, и я ежеминутно просыпался...

*Граф Хохберг*

\* \* \*

В два часа ночи десятого декабря я покинул Вильно. Сани мои были снабжены сеном и запряжены сильными лошадьми, которых вел верхом один из канониров Гюйо. Сам он сопровождал меня сначала верхом на лошади, потом пеш-

ком и, наконец, даже со мною вместе в санях, пока холод не заставил его выйти из них. Солдаты его шли за нами, и один из них вел под уздцы лошадь, на которой лежал мой маленький чемодан с небольшим количеством оставшихся у меня вещей. Ночь была чудесная; луна светила так ярко, что ее блеск отражался на снежном ковре, которым были покрыты все поля. Было холоднее всех дней и снег скрипел под ногами людей и лошадей. Все шли ускоренным шагом, как для того, чтобы согреться, так и для того, чтобы уйти подальше от казаков.

Мои сани ехали очень быстро, как вдруг мы были остановлены большим количеством экипажей, которые не могли въехать на небольшой, но крутой и обледенелый подъем Понарских гор. Первые повозки достигли вершины, но большая часть остальных остановилась на середине дороги. Они загородили путь, и другие экипажи не могли проехать дальше. Их проводники, собравшись вокруг костров, зажженных из остатков разбитых или покинутых фургонов, ждали наступления утра и уничтожали припасы, которые они транспортировали. Группы присоединившихся к ним солдат, лошадей и экипажей, освещенные снегом и огнем от костров, имели живописный вид.

Подождав немного, мы решили попытаться проехать и, пустив лошадей рысью, несмотря на крики и проклятья толпы, пробились через нее и достигли откоса. Нам невозможно было ехать по дороге, где стояли загородившие путь экипажи, и потому, надеясь на силы наших лошадей, мы двинулись слева от дороги. Нам пришлось слезать и помогать лошадям. Таким образом, мы доехали до середины склона, как вдруг услышали испуганные крики, пронесшиеся по всей горе, — оказалось, что одно из орудий, добравшееся до вершины холма, сдвинутое с места каким-то толчком, со страшным шумом покатилося вниз, разбивая и увлекая за собой все, попадавшееся на его пути. К счастью, оно прокатилось, не задев нас. Тогда мы удвоили наши силы, боясь подвергнуться еще новым опасностям, и достигли, наконец, вершины холма. Если бы это случилось днем, то можно было бы пройти его без особенных затруднений, легче всего было бы обойти кругом, но в темноте ночи и при беспорядке, царившем здесь, это было страшно трудно сделать. Все трофеи, которые вез император из Мос-

квы, его кареты, фургоны с золотом — все было потеряно или разграблено казаками и даже нашими собственными солдатами, хотя я думаю, что очень немногие из них привезли свою добычу во Францию...

Какой ужасный вид имел этот несчастный город Ковно! Все только что покинутые солдатами дома были разграблены. Улицы были сплошь покрыты взломанными дверями, сломанной и наполовину обгорелой мебелью. Многочисленные трупы придавали всему этому еще более грозный вид. Они были рассеяны по всей площади и большей частью состояли из гренадеров гвардии, которые, явившись сюда первыми, забрали в магазинах ром и водку, чтобы вознаградить себя за все долгие лишения. Опьянев, они заснули и не чувствовали мороза, лежа на биваках, раскинутых на площади. Больше они уже и не просыпались! Вид этой площади напоминал собой поле сражения или даже, вернее сказать, военный привал, где усталые солдаты легли тесными рядами на том же месте, где сражались. Однако в то время это ужасное зрелище произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем теперь одно воспоминание о нем, — так я был занят тогда своим собственным самосохранением. Мы не останавливаясь направились к городским воротам, которые выходили на Неман, и, расталкивая толпу, добрались до моста. Нам пришлось употребить массу времени и труда, чтобы перейти его, пробиваясь через толпу людей и лошадей. Гораздо удобнее было бы миновать этот опасный переход и перейти реку по льду, но лишения и бедствия до такой степени ослабили ум и энергию, что каждый из нас, как я уже говорил раньше, машинально шел за толпой, идущей вперед, и ему не приходило даже в голову поискать другого более удобного пути.

По левому берегу реки шли две дороги, протоптанные в снегу, ведущие обе в совершенно разные стороны. Правая вела в Тильзит, левая в Гумбиннен. Но в тот момент я не знал их направления, однако надо было выбирать, и после минутного размышления я решил идти по левой дороге, казавшейся мне более удобной. Через несколько времени я достиг крутого холма, у подножья которого собралось много людей и экипажей. Стояла ясная, но очень холодная погода. Ледяные сосульки, покрывавшие землю, ослепительно блестели на солнце, которое совершенно не грело.

Ледяная кора, покрывавшая землю, не давала никакого упора лошадям, и они не могли ввезти экипажи на крутой холм. Во многие повозки впрягали по две пары самых сильных лошадей, и они все-таки, не доезжая до вершины, останавливались среди горы. Между этими фургонами были те, которые везли остатки вывезенных сокровищ. Видя невозможность провезти их дальше, проводники и конвоирующие их солдаты покинули их, и они вскоре подверглись разграблению. Когда я проходил мимо, то они были окружены солдатами, употреблявшими все свои последние силы, чтобы пробиться к ним сквозь окружающую их толпу и захватить мешок золота или серебра, из которых многие уже открытые и рассыпанные валялись на земле.

Нечего и говорить, что я, конечно, здесь не останавливался, но большинство солдат не устояло перед искушением, хотя золото не должно было иметь для них никакой привлекательности. Большая часть из тех, кто прельщался им, потерпел наказание — тяжесть приобретенного богатства замедлила их ходьбу и истощила последние силы; они погибли по дороге от голода или же были ограблены казаками и даже своими собственными товарищами. Два канонира из моего полка, встретившиеся со мной по возвращении из похода, очень трогательно рассказывали мне о своем быстром обогащении и о том непродолжительном времени, в течение которого им пришлось попользоваться своим богатством.

Раздававшиеся с утра крики «Ура!» были лишь прелюдией к атаке, ставшей только теперь серьезной. Слышалась сильная перестрелка и пушечные выстрелы нашего арьергарда, который под началом маршала Нея защищал от неприятеля городские ворота Ковно; несмотря на неравную борьбу, наш арьергард продержался здесь до вечера. В этом месте я в последний раз услышал пушечные выстрелы и крики «Ура!»...

На следующий день 17 декабря, я выехал дальше и к 12 часам подъехал к небольшому прусскому городку, показавшемуся мне очень красивым, Гумбеннену. Все жители сдерживались благодаря страху, нагнанному на них французами, и потому не смели выказать нам явно всю свою враждебность, но мы видели их насмешливые лица, когда они, спрятавшись за ставнями, смотрели на нашу длинную



печальную процессию, возвращавшуюся из Москвы. Я почувствовал, до какой степени они радуются, глядя на наше унижение и чувствуя, что за них нам отомщено.

Прочитав приказ генерального штаба, прибитый к стене городских ворот Гумбиннена, каждый из нас понял, каковы были потери армии и в каком плачевном состоянии она находится.

Для каждого корпуса армии был назначен дом для размещения. Нашему четвертому корпусу был отведен постоянный двор, который мог бы вместить втрое больше народу, чем было у нас. Я занял одну из комнат этого трактира и, хотя там, кроме меня, было еще очень много офицеров, почувствовал себя очень хорошо, так как давно уже не испытывал никаких удобств. Я узнал, что генерал Эбле тоже прибыл в Гумбиннен, и отправился к нему за приказами, но я был так слаб, что едва добрел, опираясь на руку сопровождавшего меня офицера, до маленькой комнатки или кабинета генерала, где застал его в состоянии полного изнеможения и уныния. Единственный приказ, полученный мной от него, был, чтобы я как можно скорее собрал по возможности всех находящихся здесь артиллеристов и двинулся бы на Данциг и Глогау, чтобы не дать пруссакам вдоволь налюбоваться на наши бедствия и дезорганизацию войск. Бедный генерал служил ярким примером того, что могут сделать лишения и бедствия с людьми, крепкими телом и духом. Несколько дней тому назад я видел его во время перехода через Березину, он был полон сил и энергии, не обращал внимания на труд и утомление, переносить которые ему было труднее, чем другим, благодаря его преклонному возрасту. Теперь же от него осталась одна лишь тень, и несколько времени спустя он умер.

На другой день, 18 декабря, я прибыл в прусский город Инстербург. В первый раз за все время похода в Россию у меня был квартирный билет. Отведенный мне маленький домик был очень чистенький, и я нашел в нем стол, сервированный на десять человек. По заботливому приему, оказанному нам, я догадался, что обед был приготовлен в честь полковника, который должен был квартировать здесь. Но болезнь и нечистоплотность этого доброго полковника скоро лишили нас расположения хозяев. Я это заметил и попросил разрешения обедать в отведенной мне комнате с

лейтенантом Гюйо, приставленным ко мне. По всей вероятности, наши хозяева были очень довольны избавиться от своих гостей, и они были правы, так как трудно было найти кого-нибудь грязнее и противнее нас...

*Гриуа*

\* \* \*

Выйдя с корпусом из Вильно около часу пополудни, мы обогнули ледяную гору, которая была в 4 верстах от него... Страна, по которой мы шли, давала несколько больше средств к существованию, чем пройденная нами; по крайней мере, нам встречались дома, где мы могли приютиться, а надежда на скорое прекращение всех наших бедствий помогала нам весело переносить те лишения, которым мы еще подвергались. Наш священный эскадрон шел по возможности сомкнутым отрядом; однако же ряды с Вильно поредели: некоторые офицеры ушли вперед, другие отстали, и, когда мы добрались до Ковно, эскадрон распался; офицеры каждого полка соединились и, перейдя мост через Неман, направились по указанной им дороге на Гумбиннен или Варшаву.

Мы восторженно приветствовали прусскую землю, на которую вступили; казалось, наши странствования кончились, но они еще продолжались. У каждого из нас было только то, что было на нем, и в каком виде, о Господи! Мы были покрыты легионами отвратительных насекомых; нам не представлялось случая раздобыть себе белья; с моей последней лошастью в Березине потонули остатки моих вещей. Надо было вооружиться терпением и ждать лучшего будущего.

Обдумывая это гибельное отступление, можно только удивляться большому числу спасшихся; конечно, если бы сытые и хорошо одетые русские приложили больше старания в преследовании и являлись бы в различных местах между Вильно и Ковно, чтобы отрезать нам отступление, какое серьезное сопротивление могли бы им оказать изнуренные усталостью, холодом и голодом люди?

Между тем в начале похода были приняты превосходные меры, чтобы обеспечить наше продовольствие: стада быков были собраны в окрестностях Кенигсберга; из наших полков были взяты унтер-офицеры и с чином подпо-

ручи́ков были назначены вести их. Группы составлялись из сотни быков и двадцати погонщиков; каждый бык был запряжен в двухколесную тележку, которая называлась у нас «а la comete», плетенную из ивы, хорошо закрытую и наполненную известным количеством сухарей. Таким образом, каждому полку можно было дать запряженную тележку, сухари делились, быка убивали и раздавали, дерево тележки шло на его варку. Эти тележки были так сделаны, что могли запрягаться и спереди и сзади; их оглобли были подвижны и могли продвигаться по желобам так, что во время похода в теснине, если в исключительном случае надо было поворачивать назад, распрягали быков и, передвинув оглобли, запрягали их в противоположном направлении, и обратное движение производилось без затруднения и замешательства. Точное выполнение этой, поистине наполеоновской идеи могло бы быть нам очень полезно во время нашего тяжелого отступления; говорили, правда, что многие из этих рогатых отрядов постепенно были отправлены в дорогу; доходили даже до утверждения, что отправлено их до восьмидесяти; но я видел прибытие остатков только одного, которые и были распределены между солдатами корпуса пехоты, а о появлении других и не слыхал: что случилось с ними? Пали ли быки от дорожной усталости, или же эти малые результаты такой прекрасной мысли должны еще больше утвердить печальную истину, что некоторые люди наживались за счет несчастных жителей, доставлявших провиант, и страдающих солдат, не получавших его...

*Дююи*

\* \* \*

Наконец мы увидели, что отдохнуть здесь не удастся; поэтому мы на рассвете 10 ноября оставили город и пошли по дороге на Ковно. Часа через два мы пришли к подошве холма, обледеневшего и настолько крутого, что на него невозможно было взобраться. Кругом были разбросаны остатки экипажей Наполеона, оставленный в Вильно, при наступлении, обоз, походная касса армии и еще много повозок с грустными московскими трофеями; они не могли подняться на гору. У подножия ее бросили — и знамена, отнятые у неприятеля, и знаменитый крест Ивана Великого.

Все бросились к повозкам: взломали кассы, в которых было еще около 5 миллионов франков, деньги вынули и поделили. Повсюду были видны разломанные сундуки и вскрытые чемоданы.

Между тем стала ясно слышна перестрелка, завязавшаяся у казаков с нашим арьергардом. Тогда мы всё бросили и стали взбираться на гору, что удалось нам только с большим трудом. После 15-часового перехода мы дошли наконец, совершенно измученные, до Эве. Почти все солдаты шли без оружия, нагруженные только драгоценностями и деньгами.

11 декабря мы пошли дальше, пришли усталые в Жижморы и хотели здесь переночевать. Но между двенадцатью и часом должны были уйти, так как услыхали приближающуюся канонаду русских. Дойдя до Немана, мы хотели переправиться через него, чтобы сократить путь, но попали в такой глубокий снег, что вынуждены были вернуться на дорогу. Мы пришли наконец в Ковно, полумертвые от усталости, измученные одним из самых длинных и трудных переходов.

Здесь сошлись остатки всех почти корпусов; они расположились на улицах. Зная, что в таком состоянии мы не сможем дать отпор русским, нам отдали на разграбление полные склады. Утром 13-го мы сейчас же отправились к складам водки и добыли большой штоф рома, причем я едва не свалился в большую, наклонно стоявшую бочку, еще наполовину полную ромом, но меня удержал мой славный сержант Шейерман. Замечу еще, что при отступлении стакан водки стоил от двух до трех талеров, черный хлеб, притом плохой, — от одного до двух луидоров, да охотно заплатили бы и больше, если бы только можно было достать его.

На другой день мы ушли из Ковно. У моста была та же давка, как перед воротами в Вильно, хотя можно было бы переходить через реку по прочному льду.

Мы двинулись вправо, на Тильзит, и остановились на ночь на постоялом дворе, лежавшем на холме в двух часах пути от города.

*Штейнмюллер*

\* \* \*

10 декабря мы вышли из Вильно. В одном лье от этого города находится гора, которая тогда были покрыта гололедицей и представляла непреодолимое препятствие экипажам. Повозки, перевозившие раненых или больных офицеров, пушки, ящики, господские экипажи, наконец, фургоны с казной, трофеи, взятые в Москве, русские знамена, столовая посуда маршалов — все это было брошено. Трудно представить себе, какие богатства были покинуты у подножия этой горы; русские окончили их разграбление начатое французами.

Я мог бы иметь мешок с золотом, содержащий 50 000 в наполеондорах, но нашел вес его слишком тяжелым и удовольствовался несколькими пригоршнями этого золота, которые я положил в карманы моих панталон. Вечером мои бедра были ими почти ободраны, и я хотел было их выбросить, но, найдя женский чепчик, положил в него мое золото и повесил его себе на шею, тщательно завязав шнуры чепчика.

В этой сумятице я имел случай оказать услугу полковнику Ленуару, бывшему раньше моим батальонным командиром в Австрии и в Испании. Несчастный потерял ногу, оторванную ядром в сражении при Красном; его поместили в маленькую повозку, покрытую холстом, и часто во время пути я защищал эту тележку, пуская ее катиться между гвардейскими батареями или экипажами императора, когда я там находился по службе. Я знал, что в тележке помещался мой прежний подполковник, у которого в течение четырех лет был один и тот же денщик; от последнего я и узнал, что раненый полковник находился в этой повозке. Я посоветовал ему воротиться в Вильно и отдаться русским, потому что не было ни вероятности, на надежды перебраться через гору.

К вечеру мы поднялись на гору, стороной возле дороги, в снегу по колени и перебравшись через массу хворосту. На половине косогора я нашел человека, брошенного в санях, — проводник уехал с лошастью. Для того чтобы его везли таким образом, этот человек должен был занимать некоторое положение в армии. Завернутый в большую шубу, с отмороженными руками и ногами, он умолял меня убить

его, так как был убежден, что не может долго прожить в таком положении. Я уже зарядил свое ружье, чтобы оказать ему эту услугу, о которой он взывал ко мне, но, поразмыслив, рассудил, что он может умереть и без моей помощи. Я оставил его и был уже далеко от него, когда он все еще упрашивал меня убить его.

Немного дальше кто-то вдруг удержал меня за шинель со словами: «Куда ты идешь?» Оборачиваюсь и узнаю ... маршала Лефевра. Я ему отвечал: «Я ухожу из армии, как и все». Он отвечает: «Ты прав; старайся выбраться отсюда благополучно».

Достигнув вершины горы, я перешел опять на большую дорогу и остановился на минуту, чтобы посмотреть, подходят ли наши товарищи. Я снял мой мешок и поставил его на землю, но лишь только он очутился на земле, как исчез. Мне кажется, черт его унес. Прощайте, все мои богатства, собранные в Москве и с таким трудом сохраненные до конца кампании: прощайте, кружева, кашемиры, золото и серебро в слитках; не осталось ничего, кроме золота, бывшего у меня в женском чепчике. Как я ни глядел направо и налево, чтобы накрыть моего вора, — я ничего не видал! Если бы он попался мне в руки, даю слово, что он бы не унес моего мешка к черту, куда я доставил бы себе удовольствие тотчас отправить его самого.

*Восп. бельгийского солдата*

\* \* \*

С 8-го до 10-го на той вершине, где мы останавливались, у меня выбыло из строя 20 человек и все голландцы, умершие от холода. Был такой мороз, что я еле сидел верхом и не мог долго ехать. Поправляя построшки какой-то упряжи, я отморозил себе кончики пальцев и содрал кожу, которая так и осталась на железной пряжке, до которой я дотронулся рукой. Кроме жилета и шерстяной фуфайки, на мне был еще мундир и одежда из бараньей шкуры, мехом внутрь, не считая шинели. И все-таки, несмотря на это, мне было холодно! Так как мы потеряли нескольких солдат, шедших при обозе и орудиях, пришлось прикомандировать на их место канониров и тем положить начало дезорганизации. Мы тронулись в путь 10-го и шли целые дни, а часто и ночи, нигде не останавливаясь по-настоящему.

Артиллеристы, попавшие случайно в возницы при обозах, не особенно радовались новой, кстати, далеко не легкой, службе, в силу чего с лошадьми обращались очень небрежно, обозы бросали на полный произвол судьбы и иногда даже опрокидывали их нарочно. Мне не удалось спасти ни одной из этих повозок, тем более что упавшие духом офицеры не хотели помочь мне, а виновники скрывались от меня в толпе, где невозможно было их найти. Главной же причиной всех этих несчастий я считаю изданный с целью спасти казну приказ маршала Бессьера, приказ, имевший ужасные последствия.

Обоз с казной был оставлен прямо посередине пути. Маршал издал приказ, чтобы мой отряд остановился и нагрузил наши повозки бочонками с золотом. Несмотря на мои протесты, это было сделано. Нас нагоняли русские, и нам гораздо важнее были наши пушки, чем золото, но ничего не помогло. Случилось то, что я предвидел. Приманка была слишком соблазнительна! Скоро стали обнаруживаться потери повозок с бочонками. Кругом был такой беспорядок, что скрываться от преследований ничего не стоило и виновников не нашли. Во время последней ночевки перед Ковно я часа в три ночи шел по направлению к артиллерийскому парку, чтобы велеть запрягать, когда вдруг столкнулся с бывшим при обозе офицером Вельшаном; он присутствовал при нагрузке фургона своей роты, куда прятали и два бочонка с золотом! Он имел нахальство предложить взять один бочонок и для меня! Вот до чего притупилось у всех чувство долга. Я, страшно возмущенный, осыпал его упреками, а на следующий день он исчез совсем.

Мы вошли к Ковно 12-го рано утром в довольно плачевном состоянии. Мы потеряли орудия, муниципальные повозки, экипажи, массу солдат и офицеров. У городских ворот толпилась такая масса народа, что я со своими солдатами, конечно, пройти в город не мог, хотя у меня лежал приказ об этом. Надеюсь хоть на следующий день как-нибудь пробраться туда, я пока расположился лагерем за городом. Весь день и ночь толпа продолжала в том же беспорядке подвигаться в Ковно, заполняя весь город. В тот же день к воротам города прибыл и один из фургонов с казной, где его и бросили. Канониры, конечно, сообразили, что в этом фургоне, и разгромили его, не взирая на все

мои угрозы. Чтобы как-нибудь удержать их на их посту, один капитан, фамилию которого я, к сожалению, забыл, по моему приказу захватил несколько мешков с золотом. Я просил его сохранить эти деньги, чтобы потом раздать их солдатам и офицерам в счет их жалованья, о чем была бы послана ведомость в главное казначейство военного ведомства. Час спустя и этот капитан исчез, я его больше не видел. Еще много других солдат и офицеров дезертировало по той же причине.

Часам к двум пополудни нас стали обстреливать казаки, шедшие в хвосте нашей армии и занявшие теперь один из ближайших монастырей. Произошел страшный беспорядок. Солдаты при обозах стали бросать тут же лошадей, другие же увели их просто с собой. Несмотря на огонь неприятелей, осыпавших нас картечью, мне удалось снова впрячь лошадей и все-таки въехать в город с последним, что у нас осталось.

По приказу Нея я взорвал несколько муниципальных повозок, чтобы они не достались русским.

Войдя в Ковно, я прежде всего укрепил свою батарею за укреплениями, на небольшом холме, доминирующем их. Для защиты города таким образом оставалось: вооружение крепости, наши собственные орудия и батальон из Липпе (Вестфалия). При первом пушечном выстреле неприятеля по крепости был убит командир батальона, и все солдаты его разбежались. Ответить неприятелю орудийным огнем было положительно некому, не считая нескольких незанятых при пушках канониров. Тогда генерал Жерар и маршал Ней, находящиеся тут же среди нас, схватили ружья и первые стали стрелять, чем способствовали общей защите.

Мой первый пушечный выстрел сбил неприятельскую пушку с саней, на которых ее везли; второй — сделал брешь в строю казаков, старавшихся переправиться по льду реки, чтобы отрезать нам отступление. Это несколько охладило отвагу неприятеля, который при большей интенсивности нас просто раздавил бы.

Наше положение становилось все более и более критическим и стало бы безвыходным при большей инициативе неприятеля, ввиду того, что еще в самом начале обороны мы лишены были возможности стрелять из местных орудий. Пушки оказались заклепанными именно тогда, когда больше



всего они были нужны. Вышло это, вероятно, оттого, что один из артиллерийских офицеров неверно понял данный приказ или просто у него не хватило хладнокровия и сообразительности. Трудно описать возмущение и гнев Нея, напавшего на виновного офицера, — если бы его вовремя не удержали, то он бы его проколол насквозь.

Мы обстреливали русских до ночи, и они, к нашему большому счастью, стали как-то осторожней. Это были наши последние выстрелы в России.

Из Ковно мы вышли в 8 часов вечера, но предварительно подожгли магазины и мосты. Так как у нас не хватило лошадей, то мы взяли с собой только две шестидюймовые пушки и одну муниципальную повозку. Это все, что перешло с нами через Неман.

*Ноель*

\* \* \*

10 декабря мы стояли в Жижморах. Хотя погода была отвратительная и холод все тот же, шли мы довольно хорошо, т.к. немного поели. Я навьючил на единственную лошадь, которая у меня оставалась, всю провизию, какую удалось добыть. Тотчас же по приходе я занялся приготовлением кое-какой пищи. Я должен был себя поздравить за эту предусмотрительность, так как около полуночи, нам дали знать, что тотчас же выступают.

12 декабря мы шли с часу ночи до полудня, торопясь прийти в Эве, где мы надеялись провести ночь. Нас, всех оставшихся от полка, поместили в скверном бараке, вместе с гессенским отрядом, которым командовал гессенский принц Эмилий, мы там очутились буквально друг на друге. Храбрые гессенцы получили в Вильно роту, которая сопровождала их знамена. Я думаю, что у них было не менее дюжины знамен, которые они бережно принесли назад, не потеряв ни одного. Нельзя было не восхищаться поведением молодого принца, который никогда не покидал своих офицеров, деля с ними их труды, лишения и опасности, как последний между ними. С наступлением ночи, нам от дан был приказ выступать; мы провели в походе всю ночь. Никогда я так не уставал; тысячу раз мне приходила мысль лечь на землю и покончить с собой, как это делали тысячи других, но религиозные убеждения мешали мне добровольно

сократить свою жизнь. Мороз был слишком силен, чтоб оставаться на лошади, к тому же и сил у меня не хватало на нее взобраться; все моя прислуга погибла; у меня остался только один солдат, ухаживавший немного за лошадей, и, подобно мне, еле державшийся на ногах.

Наконец, 13 декабря около десяти часов утра мы пришли в Ковно; мне отвели квартиру у какого-то частного лица, которое приняло меня довольно хорошо и не могло поверить всем нашим бедствиям. Мы провели в Ковно сутки, за это время разграбили казну, магазины, все, что только попадалось под руку солдатам; взваливали сумки офицеров на лошадей позади себя, вытаскивали их из-под головы спавших на них. Словом, все, что избежало русских бедствий, представляло из себя шайку грабителей, а не остатки Великой Армии.

14 декабря мы перешли Неман, оставив позади себя русскую землю. Нельзя себе представить, на что была похожа наша армия. Вообразите себе безоружную и беспорядочную толпу людей, подобно разбойникам опустошающую и грабящую все на своем пути, лишенную дисциплины и команды. Большинство было одето в женские шубы, крытые шелком, кашемиром и другими материалами: синими, зелеными, красными, всевозможных цветов; обуто вместо сапог в тряпки и обернутые вокруг ног веревки, с недублеными шкурами на головах вместо шапок; они завертывали ими себе головы, обматывая длинные концы вокруг шеи; иные были почти раздеты, видно было их обмороженное тело, куски которого, разлагаясь отваливались. Площадь в Ковно была усеяна трупами людей, умерших от холода и от излишней выпивки: солдаты, из которых многие долгое время не пили ни вина, ни ликера, найдя винный склад, перепились до крайности; более пятидесяти человек остались замертво на площади. Остававшиеся у нас несколько повозок загромождали мост, переход через который нам стоил величайших усилий, тогда как можно было свободно перейти по льду, по толщине и крепости способному выдержать 24-пудовую пушку. Неман был похож не на равнину, а на ряд ледяных холмов, из которых некоторые имели до двенадцати футов в высоту. Выпало огромное количество снега. В этот день, 14 декабря, мы ночевали в Пиллувискене.

15-го в Вержболове. Мы пробыли здесь 16-го. Главкомандующие армии, король Неаполитанский и князь Ваграмский, сделали нам смотр. Мороз продолжался и в этот день; был такой холодный ветер, что захватывало дух...

19-го в Ютенбурге. Это был первый город, в котором мы достали кое-какую пищу.

*Маренгоне*

\* \* \*

10 декабря на рассвете мы выступили. Казаки сейчас же после нас вошли в город и захватили в плен всех оказавшихся менее осторожными, чем мы. По выходе из Вильно мы увидели утесистый берег, на который нам пришлось карабкаться между деревьями и оврагами. Здесь потерял Друо свои два последних фургона; не могу понять, каким образом вышел невредим сопровождавший его мой слуга с лошадьми, — я этого не видел. Тут же исчез последний обоз армии, так что из 1100 орудий, ввезенных в Россию, ни одно не перешло обратно Немана. Что касается фургонов короля и его свиты, то я ничего не могу сказать, так как после Вильно я видел только повозки генералов Сорбье и Лалеманда и могу сказать с уверенностью, что каждая из них стоила жизни по крайней мере сотне лошадей. На другой день, а может быть даже и в этот же, ко мне присоединился мой денщик. Он рассказал, что Друо обогнул Вильно, не будучи в состоянии туда войти, и что сам он позволил растащить остатки моей провизии и один из моих сапог, считая меня замерзшим или взятым в плен. Он давал клятву не отпускать меня больше одного. В Ковно мы нашли немного припасов и очень много водки. Все набросились на нее, и на другой день я видел на площади многих офицеров, лежащих мертвыми около своих костров.

13-го мы перешли Неман и тут наткнулись в полях на несколько фургонов с золотом, покинутых своими проводниками. Солдаты их сейчас же разбили и черпали полными горстями золото и серебро из разбитых бочек.

Инстербург, 22 декабря. Первого сентября пехотинцев в нашей артиллерии насчитывалось 1211 человек. А теперь? Сегодня утром у нас налицо было всего 136 человек. Не говорю уже ни о лошадях, ни об орудиях — мы не сохра-

нили ни одного. Из денщиков остались живы только мой Луврие и еще двое. Хотя у меня украли неделю тому назад лошадей, но мои вещи остались целы, и потому я еще из числа избранных, другие же мои товарищи совершенно голые. У Булара и Друо нет ни слуг, ни лошадей, ни багажа. На офицеров страшно смотреть, они все искалечены. Один отморозил себе руку, другой ногу, и они никогда не будут владеть ими. Я хоть избавлен от этого — я отморозил себе только нос и думал, что половина его отвалится, но я ошибся — через неделю я вылечусь; только пальцы на руках онемели, я не могу держать пера, пальцы колет точно иголками. На ногах несколько пальцев также нечувствительны и покрыты пятнами, так называемой сухой гангренной, но все-таки ничего не отмерзло. Бедро у меня ноет — ревматизм дает себя чувствовать, мой желудок ничего не варит, но все это пустяки...

Мы никак не могли понять причины нашего долгого пребывания в Инстербурге. Мюрат задался целью собрать войско, дав время отсталым дойти.

Что император собрал войско из людей всех стран, не позаботившись научить их как следует и не приготовив припасов для похода, — это еще можно было бы понять. Но один только Неаполитанский король мог верить тому, что возможно собраться и остановить неприятеля с этими остатками войска, с этими почти невооруженными, без сапог и без одежды, деморализованными солдатами, из которых каждый отступал, думая только о себе. Ежедневно казаки шли за нами следом, и все, кто не достиг вместе с нами Инстербурга, — все попали к ним в плен.

Не понимаю: почему измученные и разоренные нами пруссаки не покончили с нами, как это сделали бы в этом случае испанцы? Как сможет император достичь Рейна? Я был уверен, что его задержат немецкие князья и предадут русским или англичанам. Я узнал о заговоре Мале и говорил себе, что, вместо того чтобы нападать на Гюлена (командующий гарнизоном в Париже), он мог бы прийти в Германию, взять императора без боя и покончить кровавую трагедию, продолжавшуюся восемь лет.

Мюрат задержал нас еще три дня в Велау. Мы выступали отсюда, ожидая каждую минуту нападения казаков. В нескольких верстах от города сломались мои сани. Положе-

ние мое было критическое. К счастью, каретник кое-как поправил мой экипаж. Работа эта продолжалась два ужасных часа, в продолжение которых я дрожал и каждую минуту ждал появления казаков. В следующие дни выпал сильный дождь, который обнажил все поля, и благодаря этому мои сани, катясь по растаявшей земле, еле дотащились до Кенигсберга.

*Пьон де Лош*

\* \* \*

В ночь с 12-го на 13-е температура вновь понизилась и мороз сделался так же жесток, как и раньше, и держался все время на том же градусе до самого Ковно. Наше вступление в этот город было так же тяжело и плачевно, как и в Вильно. Мы потеряли много молодежи из-за их пьянства.

К моему большому удивлению, я встретил в этом городе моего друга доктора Рибба, которого я не видел с Вильно. Он был крайне измучен от усталости и очень страдал от последствий морозов. С этим трудно было бороться даже самым сильным натурам. Я заметил, между прочим, что сангвинические и пылкие натуры гораздо легче переносят действия этих болей, чем те, которых называют общим именем лимфатиков, так что смерть щадила гораздо более жителей юга, чем жителей севера, как-то: голландцев, пруссаков и других немцев. Сами русские, по словам многих врачей, оставшихся в Вильно, потеряли гораздо более людей, чем французы.

На следующий же день по прибытии нас в Ковно я посетил госпитали и нашел их переполненными нашими больными. Немедленно все, кто только был в состоянии ходить, были отправлены в Пруссию, а об остальных я позаботился, чтобы было оставлено при них достаточное количество врачей для обеспечения их лечения. Здесь, как и в Вильно, грабили кладовые, и это поддерживало беспорядки и необузданность в войсках. Кроме того, на нас стали нападать русские партизаны.

Большая часть нашего войска снова выступила в поход утром 13 декабря, а я выехал с моим другом и с несколькими солдатами гвардии только 14-го на рассвете; нам было чрезвычайно трудно перебраться через мост, который был совершенно загроможден, и стоило больших усилий взоб-

раться на вершину горы, высившейся по дороге в Ковно. Вывезенные из города артиллерийские орудия почти все были покинуты на этой покрытой льдом горе. В этом переходе погибло еще много наших солдат; измученные голодом и холодом, они были так истощены, что не могли спастись от преследования казаков, перешедших Неман по льду. Река замерзла на несколько футов в глубину, и это благоприятное для врага обстоятельство погубило нас, так как у нас почти не было арьергарда, чтобы защитить наших отставших.

Несколько гвардейцев, у которых еще было оружие, пытались отбить казаков, но так как прикосновение к железу обжигало их пальцы, то они роняли ружья и не в состоянии были их зарядить и быстро нас нагоняли.

Неприятельские войска остановились, наконец, и перестали нас преследовать потому ли, что занялись захватом наших экипажей и артиллерийских орудий, загромождавших всю дорогу по горе, или же они не решились удалиться слишком далеко от своей границы.

Французы шли одни по дороге в Гумбиннен.

Три тысячи лучших солдат гвардии и столько же пехоты и кавалерии, почти все из южных мест Франции, вот кто единственно выдерживали до конца все жестокие превратности судьбы во время отступления. Они сохранили и свое оружие, и лошадей и свой воинственный вид. Во главе их стояли герцоги Данцигский (Лефевр) и Истрийский (Бессьер).

Король Иохим и принц Евгений шли в центре этого войска, представлявшего из себя только остатки армии, в которой еще недавно насчитывалось более чем 400 000 человек и которую шесть месяцев тому назад жители страны видели во всей ее силе и красоте.

Честь и слава французской армии значительно померкли ввиду такого незначительного количества солдат.

Два первых дня после нашего выступления из Ковно нам было еще очень тяжело. Нам приходилось страдать и от холода, и от голода, но когда мы дошли до Гумбиннена и пошли дальше, то понемногу мы стали находить и пристанища, и достаточное количество продуктов, чтобы войска были накормлены.

Никогда ни одна ночь не казалась мне такой приятной, как та, что я провел в этом городе. В первый раз после Москвы я ночевал в теплой комнате и в хорошей постели. Наконец-то нам улыбнулось счастье и мы могли провести некоторое время с известными удобствами. В этот промежуток времени отставшие от войска солдаты могли продолжать свой путь в Кенигсберг, а многие заблудившиеся гвардейцы успели вновь собраться у своих знамен. К нам присоединилось еще несколько отрядов неаполитанской гвардии с несколькими пушками и кавалерия. Эти подкрепления значительно увеличили наши кавалерийские корпуса, так что теперь они могли дать отпор неприятелю и даже составить наш арьергард. С этого момента мы уже продолжали наш путь в совершенном порядке и в полной дисциплине.

Правильная раздача провианта производилась на всех этапах: французские магазины всех больших городов Пруссии доставили новую одежду, которую немедленно раздали солдатам, и солдаты вошли в Кенигсберг с 25-го на 26 декабря, прилично одетые и в порядке.

В больницах, которые были нам по пути, я оставлял с лекарями только тех, которые были не в состоянии идти. В Инстербурге я отделился от гвардии и от главной квартиры, чтобы скорее приехать в Кенигсберг, где мое присутствие было необходимо для организации госпиталей.

*Ларрей*

\* \* \*

Казна, принадлежавшая главной квартире Великой Армии и отправленная раньше ночью, двигалась по этой дороге со своим конвоем.

Было рассчитано, что она может быть доставлена на прусскую территорию за несколько дней до главной массы беглецов.

Трех переходов было достаточно, чтобы она достигла Немана. Судьба распорядилась иначе.

За несколько верст от города есть возвышенность не очень длинная, но крутая, трудная для подъема; обыкновенная крутизна ее была удвоена вследствие дурного состояния дороги, взбудораженной артиллерией, и вследствие покрывавшего ее льда.

Этот подъем хорошо известен всем, делавшим русскую кампанию, под именем Виленской Кручи.

В этом месте честь французов, уже и так жестоко скомпрометированная сговорившимися стихиями, должна была потерпеть суровый удар.

Я уже вам сказал, что стоял мороз, такой мороз, который похищал сотни людей каждую минуту.

Фургоны, в которых помещалась казна, были прочно построены, находились в хорошем состоянии и были еще довольно хорошо запряжены; они дошли до этого места без каких-либо осложнений, заслуживающих внимания. Если представлялось затруднение, то сопровождавшие солдаты удваивали усердие, и казна следовала дольше с усиленным шумом ругательств и ударов кнута.

Сам конвой при надобности оказывал личную помощь и подталкивал колеса. Золото внушает некоторого рода уважение.

— Казна-то должна пройти всюду, — говорили утомленные солдаты, употребляя все средства, все силы своей воли, чтобы выполнить приказ.

На Виленской Круче лошади отказались идти; они остановились на некоторое время; их хлещут кнутом, они сопротивляются...

Однако в овсе у них не было недостатка, не то что у полковых лошадей. Были и подставные лошади.

Пробуют запрячь их впереди тех, которые тянули, и все кнуты подняты. Результата никакого.

Тяжелые фургоны оставались точно пригвожденными к месту. Те из конвойных, которые были верхом, принуждены были спешиться, чтобы помочь двигать колеса.

Они ничего не достигли.

Главные казначеи и помощники их, агенты при казне, главные проводники и другие со страхом смотрят друг на друга, как бы проникнутые ужасом при мысли о крушении.

Было известно, что император требовал, чтобы казна не сделалась добычей неприятеля.

Начинают советоваться, ободряют друг друга голосом и жестами, стараются подогреть внезапно погасшую горячность упряжных лошадей.

Но окрепший снег представлял всюду на поверхности ледяную кору; наши усилия привели лишь к тому, что мы



больше подвинулись назад, чем вперед, и время проходило в колебаниях.

Один генерал следовал в своей коляске, поставленной на сани. Ему сказали о том, что происходит.

«Генерал, — сказал казначей, — казна остановлена препятствием, которое кажется непреодолимым; боимся, что нельзя будет двигаться дальше».

В эту минуту генерал, к которому обращаются таким образом, высовывает кончик носа из огромной русской шубы, в которой он был как бы спрятан.

— Вы шутите, я думаю? Нужно, чтобы казна двигалась дальше; это необходимо. Что скажет Его Величество? Погоняйте лошадей вперед!

Он снова с большим старанием прячет кончик носа, дает знак своему кучеру, чтобы он обогнал экипажи, находящиеся впереди.

Все опять переглядываются, в то время как погонщики, так же впавшие в уныние, как и лошади, пытаются согреться собственным дыханием.

Один чиновник указывает в эту минуту на очень многочисленный артиллерийский парк, превосходно запряженный, вероятно, резервный парк, еще не переходивший Вильно.

Он был только в нескольких шагах позади казны.

Надсмотрщик бросается, догоняет коляску и окликает снова генерала, закутанного в шубу.

«Нужно спасти казну, — говорит он ему, — что если захватить лошадей артиллерийского парка, который следует за нами?»

— Артиллерийский парк? — отвечает генерал, снова высовывая кончик носа. — Артиллерийский парк?

— Да, генерал. На что нужны теперь пушки?

Кто бы подумал: этот совет, хотя и постыдный, как и сопровождающее его размышление, благосклонно принимается.

— Велите передать лошадей в ваше распоряжение; я надеюсь на ваше усердие и, если вы спасете казну, я сообщу о вас рапортом. Идите!

Парк приблизился, начинают переговоры с командующим им старшим офицером.

— Как? Мне отдать моих лошадей? — говорит он, краснея от доблестного гнева. — Какой (ругательство) мог дать такой приказ?

— Это я, — слышится из коляски, остановившейся на минутку.

— Невозможно!

И подходя к коляске, он говорит:

— Неужели это серьезно говорят мне, чтобы я бросил мои орудия?

— Да, милостивый государь, очень серьезно.

— Без письменного приказа от моего непосредственного начальства я этого не сделаю.

— Как, милостивый государь! (Про себя.) Ах какой холод!.. Они решили меня заморозить. (Громко.) Исполняйте и тотчас. Я генерал Р., адъютант императора. Вы будете виноваты, если что случится с казнью.

— Но, генерал, эта прекрасная артиллерия?!

— Стоит ли теперь сентиментальничать? Слушайтесь или я сделаю донесение... Как ваше имя?

— Артиллеристы, вперед!.. Я плюю на казну: долг прежде всего.

И парк, на время остановивший свое движение, снова возобновляет его, несмотря на укоры генерала, впрочем, наполовину заглушенные шубой.

В эту минуту раздается голос из одной из разбросанных на дороге групп беглецов и слышится страшный клич: казаки.

В эту же минуту сани генерала, защищавшего казну, уносятся лошадьми, он исчезает.

Казначей и их помощники исчезают. Погонщики и все прочие служащие исчезают. Даже самый конвой рассеивается между беглецами. Все бросаются направо и налево от дороги, которая в этом месте была очень широка.

Другой голос, а может быть тот же, который был слышен раньше, добавляет слова:

— Кто мне, друзья! Разграбим казну.

Тотчас толпы беглецов, которые обходили кручу во всех направлениях, присоединяются к этому крику и бросаются на драгоценные фургоны. В одно мгновение они кидаются к замкам и взламывают их посредством всего, что находится под рукой.

Они разбиты вдребезги и открыты.

Солдаты всех родов оружия, лакеи, чиновники, даже офицеры, полными пригоршнями черпают золото и бесчестие...

Сначала пренебрегают монетами в пять франков; их выбрасывают далеко на снег...

Но за одними грабителями следуют другие: и поэтому скоро переходят от ругательств к драке.

Те, кто не может получить хорошей доли в дележе, раздражаются. Вынимаются сабли. Некоторые из пришедших первыми, возвращавшиеся нагруженными золотом, падают под ударами пришедших последними.

Свертки наполеондоров в несколько минут меняют несколько раз своих хозяев...

Крик «Казаки!» послышался снова, но теперь на него не обращают внимания. Жажда золота пересиливает страх, и фургоны покидаются только совершенно пустыми, разбитыми и опрокинутыми на снегу, окрашенном кровью грабителей.

Донесение об этом факте было представлено императору, который разорвал его, прочитавши первые строки.

*Лемонье*

\* \* \*

Мы вышли из города и догнали кареты с казной и те, которые составляли экипаж императора. К рассвету мы остановились у подножия возвышенности, находящейся в полутора верстах от Вильно; гора была покрыта льдом; взобраться на нее лошади не могли, и тут внизу произошло такое замешательство, такое невероятное скопление экипажей со всевозможного рода артиллерией, фургонов, что не оставалось никакой надежды преодолеть это препятствие. Некоторые более легкие кареты сумели обогнуть возвышенность, сделав большой круг направо, некоторые как-то увернулись и вновь нашли дорогу, остальные попали в руки неприятеля. Казаки догнали нас со своими пушками, которые они ввезли на санях; они начали беспрерывно стрелять из пушек по сбившейся куче, а добравшись до возвышенности, они уже охватывали наши фланги. Один офицер из конвоя императора предупредил меня, что жгут экипажи; я решил бросить свои и пошел пешком.

Сен-Дидье и я взобрались на гору, держа под уздцы наших лошадей и прокладывая себе дорогу сквозь толпу беглецов. Я был еще так слаб и настолько истощен усталостью, что, когда моя лошадь поскользнулась на снегу, я не мог подняться, и Сен-Дидье должен был вытаскивать меня из-под моей лошади. На ночь мы укрылись вместе с ним в ветхом домишке около замка, в котором расположил свою главную квартиру Неаполитанский король. Мы провели ночь, сидя на скамейках с генералом Монтионом, который поделился с нами кое-какой пищей.

Мы продолжали идти; до Ковно оставалось еще два дня. Это был маленький городишко на правом берегу Немана. Эти два дня я проехал на моей маленькой арабской лошади, помимо которой у меня оставалась еще одна; эта последняя пала от жажды в нескольких верстах от Ковно. Я был совершенно истощен усталостью и ооченел от холода: меня усадили в сани и старались не дать мне уснуть: я, без сомнения, погиб бы, если бы не было такой заботливости. Мой адъютант Понсэ то и делал, что расталкивал меня мордую своей лошади, и я поневоле не мог уснуть. Среди страшнейшего беспорядка провели мы ночь в Ковно. Отряд маршала Нея, который составлял арьергард, пришел ночью и, смешавшись, с толпою беглецов, взломал двери магазинов со спиртными напитками. Они расположились на площади по эту сторону моста. Загорелись дома на одной стороне площади, а так как на другой стороне были склады артиллерии и боевых припасов, то опасность взрыва была неизбежна, если бы ветер переменял свое направление.

Когда мы выехали за несколько часов до наступления дня, мы увидали ужасное зрелище; несчастные, напившись, почти все лежали мертвыми вокруг пламени. Неман так замерз и столько скопилось льдин, покрытых снегом, что можно было различить его русло только по крутым возвышенностям левого берега.

Я остановился в маленьком домишке по ту сторону реки и нашел там моего друга генерала Дюронеля, который уже несколько дней как схватил злокачественную лихорадку и был перевезен на санях под конвоем лучших жандармов; его устроили в этом домике: он бредил и не узнавал меня.

Я ждал, чтобы мне подали скверную коляску, единственную, которую можно было найти в Ковно и без по-

мощи которой я не мог идти далее. В Ковно уже завязалась битва между слабыми остатками отряда маршала Нея и казаками: один из казачьих отрядов уже перешел Неман по льду выше Ковно. Небольшое количество оставшихся карет, которые избежали разгрома в Вильно, несколько фургонов с казной, разные полковые экипажи, добравшиеся до Ковно и отданные там на хранение, заполнили теперь всю дорогу и весь обледенелый подъезд, на который нужно было взбираться, чтобы достичь площадки. Стоило большого труда выбраться оттуда; много осталось карет; пришлось их сбрасывать с дороги, чтобы очищать проход. Солдаты стали грабить и искать денег. Я пешком взобрался на вершину с моим зятем Комбом и моими адъютантами. Здесь я встретил Неаполитанского короля и маршала Бертье, начальника штаба; этот последний очень по-дружески побранил меня, что я не сумел выбраться раньше. «Что ты тут делаешь? — сказал он. — На твоём месте я бы давно уже был по дороге во Францию».

Но, если бы я на это решился, мне пришлось бы расстаться с моими храбрыми товарищами, которым, без сомнения, были очень нужны и мое присутствие, и мои советы, и та небольшая денежная помощь, которую я сумел сохранить. Я многих уже потерял; те, которые оставались в живых, группировались вокруг меня, и все вместе мы боролись против бедствий.

Наконец, мы были вне этой проклятой России. Казаки уже не преследовали нас с прежним пылом; и по мере того как мы приближались к прусской территории, мы получали лучший ночлег и лучшие съестные припасы. Впервые вздохнули мы в Вильковишках, потом в Гумбиннене, где я остановился в доме одного доктора, у которого я останавливался в первый раз. К завтраку нам подали великолепное кофе, и тут я увидел, как в комнату вошел высокий человек в темно-коричневом сюртуке, с длинной бородой, с почерневшим, словно опаленным лицом, с красными и блестящими глазами. «Вот и я наконец, — сказал он, — генерал Дюма, вы меня не узнаете?» — «Нет, кто вы?» — «Я арьергард Великой Армии, маршал Ней. Я дал последние выстрелы на Ковенском мосту; я потопил в Немане последнее оружие, я пришел сюда, пробираясь лесами».

Вы понимаете, с каким почтительным восторгом приняли мы героя отступления. Он устроил свою квартиру в этом же доме, и вскоре мы отправились в Кенигсберг через Инстербург и Велау. Неаполитанский король и весь главный штаб пришли туда раньше нас. Первым долгом я отправился к графу Дарю, который так же, как и в Вильно, но с меньшей поспешностью и большим успехом был занят всевозможными заботами о снабжении армии, которую он старался реорганизовать. Я явился за приказанием к королю Неаполитанскому и получил от него разрешение отправиться в Данциг с моим зятем Сен-Дидье и моими адъютантами Донэ, Понсэ и капитаном Бернаром.

Здесь наконец-то и нашли мы отдых, который был для нас так необходим. Я был очень хорошо принят храбрым генералом Раппом, губернатором Данцига. Я был очень рад увидеть здесь маршала Удино, который все еще страдал от своей последней раны; к нему сюда приехала его жена, чтобы самыми нежными заботами ускорить его выздоровление. Но, оправляясь, я не сидел без дела; я переписывался с графом Дарю, сообщая с ним думал об обеспечении города съестными припасами на случай осады, потому что этот пункт в будущем внушал опасения; сейчас же после ухода остатков французской армии за Вислу город должен был быть осажен. Нельзя было терять ни одной минуты, чтобы свезти туда все, что только могло быть необходимым для защиты, той самой, которая потом прославила и губернатора, и гарнизон.

Я пробыл почти две недели в Данциге. Отступление маршала Макдональда и отпадение прусского отряда генерала Иорка ускорили эвакуацию Кенигсберга. Легкие отряды неприятеля перешли Прегель и разлились по Восточной Пруссии; они отрезали сообщение с Данцигом. Я выехал в тот день, когда заканчивалось обложение города, и только в нескольких верстах, по дороге к Штетину, я встретил два батальона французской пехоты и один конвой артиллерии, которые шли на подкрепление гарнизона и которые едва достигли внешних укреплений, не будучи атакованными. Я продолжал мой путь уже беспрепятственно до Кюстрина, откуда направился в Берлин.

*Дюма*

\* \* \*

После Вильно мы уже менее страдали от холода и не потому, чтобы он уменьшился, скорее, наоборот, что эта страна не была предана русскими огню, так как при нашем наступлении мы встретили русскую армию только от Вильно, а потому здесь мы уже находили здания для приюта на ночь. Наконец, мы дошли до Ковно и стали в церкви, служившей складом. Склад был полон белья, обуви и мундирной одежды, доставленными из Франции и здесь застрявшими за неимением способов их доставки в армию. Из пустых ящиков мы развели большой огонь — давно невиданная нами роскошь — и могли переменить белье. Рубашки были из довольно грубого полотна, но они показались нам чудесными, а сжигая наше старое белье, мы мстили нашим многочисленным в нем сидевшим врагам. Бросив наши кавалерийские сапоги, мы надели гетры из черного сукна, доходившие до колен. Износившийся Ла-Френэ, предпочитая грубое, но новое, облачился в мундир 17-го легко-карабинерского полка.

Ковно послужила могилой многих сгоревших. В Ковно был огромный запас спирта, и несчастные люди не устояли перед соблазном пить давно уже невиданное ими вино. При общей слабости, полном истощении и лютотом, в 29 градусов, морозе люди совершенно опьянели, а между тем в погребах и магазинах возник и занялся огонь, который распространился с ужасающей быстротой, и много людей перешло от сна к смерти, не сознавая своего положения. Сгорели не только погреба и магазины, но сгорел весь город со всеми домами, переполненными людьми, принесшими в эти дома водку из складов.

Я не был свидетелем пожара, но его избегнувшие рассказывали о бедствии и о том зловонии, которое шло от горевших людских тел.

Торопясь покинуть Россию, мы оставались в церкви лишь несколько часов и, отдохнув и переодевшись, вышли из этого последнего города древнего русского царства. Перейдя Неман по льду, мы вступили в Польшу, где нашли и дома для укрытия, и жителей, снабжавших нас кое-каким продовольствием. Укрытые и теплые дома скоро были переполнены французами, которые, наслаждаясь этой счастли-

вой переменой, в большинстве не хотели их покидать, так как не владели своими отмороженными членами. На морозе отмороженные члены не давали себя чувствовать, но под влиянием тепла начинались страдания и в результате — невладевание членами.

Укрываясь от холода, кидались в дома и располагались в них, а по их переполнении забирались в сеновалы и зарывались в сено; сараи, проходы — все было занято несчастными, неспособными или не желавшими более двигаться. Ничто не издает большего зловония, как отмороженное мясо, а потому мне казалось невозможным входить, а тем более жить в домах, переполненных людьми, перевязывавшими здесь свои обнаженные члены и здесь умиравшими. Когда продовольствие явилось в достаточном количестве, то люди набрасывались на него с такой жадностью, что заболели; желудки утратили способность переваривать пищу, и было необходимо принять сообразные меры...

*Тирион*

\* \* \*

Мы шли на Ковно, куда Неаполитанский король прибыл 11 декабря, а уже 13-го в 5 часов утра выступил оттуда и вместе с гвардией пошел к Гумбиннену. Несмотря на усилия маршала Нея, поддерживаемого генералом Жераром, Ковно не замедлило перейти в руки русских. Отступление было неизбежно, и маршал Ней совершил его в 9 часов вечера, разрушив предварительно все артиллерийские материалы, все запасы и зажегши мосты. В похвалу маршалу Нею я должен сказать, что он, благодаря своей неустрашимости, задержал все-таки неприятеля в Ковно; я сам видел, как он схватил ружье и с пятью солдатами стоял лицом к лицу перед неприятелем\*.

Да, таким людям отечество может быть признательно. Мы имели счастье стоять под командой принца Евгения, который делал все усилия, чтобы сплотить наши разбившиеся остатки.

В Кенигсберге прусские часовые издевались над нашими несчастными безоружными солдатами; все ворота для них

---

\* С ружьями в руках Ней и Жерар, поместившись за изгородью с несколькими солдатами, действительно задержали на несколько часов переход неприятеля через Ковенский мост.



оказывались запертыми, и они умирали на мостовой от холода и голода. Я сейчас же со своими двумя товарищами отправился в городское управление; я показывал на свои знаки отличия, на эполеты. В конце концов, мне выдали три квартирных билета, и мы поселились в лучшем помещении. Но хозяева с нами не говорили; нас только оглядывали. Они уселись за обед, не обращая на нас внимания. Я бросаю тогда 20 франков и говорю им: «Прикажите подать нам кушанья; мы будем платить вам каждый день по 20 франков». — «Этого достаточно, — сказал хозяин, — я прикажу затопить вам в этой комнате печку, принесите соломы и простыни».

Нам сейчас же подали суп, и мы стали здесь обедать за 20 франков в день, не считая расходов на кофе (по франку с человека). Этот пруссак имел великодушие поместить наших лошадей и выдавать им рационы. Бедные животные от Вильно не ели уже ни сена, ни овса; как, должно быть, счастливы были они теперь, когда могли пожевать сена! Да и мы, мы счастливы были, что лежим на соломе и находимся в теплой комнате!

*Куанье*

\* \* \*

Вечером 11-го числа мы после огромных усилий взобрались на возвышенность, где стояли уже несколько дней остатки артиллерии армии. Проезжая мимо, я увидел здесь некоторые мои орудия, которые, пробившись среди скопления около Вильно, смогли добраться до этого места. Я тщетно постарался продвинуть их дальше, но лошади едва держались на ногах, да и повозки так застряли между другими, что их невозможно было оттуда вывезти. С этого холма я увидал также несколько покинутых фургонов с золотом, которые подверглись разграблению. Все проходившие могли брать из них, кто сколько хотел, и многие от этого не отказывались, но деньги не могли спасти от холода, голода, усталости и смерти. В этот день мы ночевали в большой риге, куда въехала наша коляска; мы не вылезали из нее. Есть было нечего, это была очень тяжелая ночь!

На следующий день я нашел пристанище и ужин у генерала Сорбие, и это меня сильно оживило. 13-го я сильно страдал от холода; мне пришлось выйти из коляски и идти

пешком, чтобы хоть немного согреть ноги, в которых я чувствовал острую боль, но и ходьба не помогла мне. Поздно ночью я прибыл в Ковно; все дома были переполнены, и я с ужасом думал о том, что не найду здесь убежища; в конце концов, мне удалось поместиться в доме, где уже находился небольшой отряд гвардейских гренадеров. Эти добрые люди с большим уважением отнеслись ко мне и даже отдали мне часть своего ужина. И вот я спасен во второй раз! При некоторых обстоятельствах всякое благодеяние бывает велико, но об этом и об ужине предыдущего дня я всегда вспоминаю с особенной глубокой благодарностью. Здесь я снял свою обувь, в которой совершенно не мог больше идти, и надел большие солдатские сапоги, в которых ноги мои были по крайней мере не сжаты.

14-го утром мы перешли по Ковенскому мосту Неман, и по дороге я видел массу французских солдат, лежавших в снегу и на льду. Эти несчастные нашли винный магазин и, неумеренно напившись водки, погибли, почти дойдя до цели своего путешествия! Холм, на который нам нужно было взобраться сейчас же после перехода через мост, весь еще был загроможден экипажами, между которыми находились разграбленные фургоны с золотом. Здесь мы находимся уже на прусской земле; широкая река отделяет нас от русских, и здесь мы думаем, что избавились, наконец, от их преследования. Ничуть не бывало! Едва мы достигли вершины, как увидели слева приближающихся многочисленных казаков; стрелки и два батарейных орудия, шедшие впереди нас хотя и замедлили, но не остановили своего движения. Вот казаки уже не далее 200 или 300 шагов от коляски. Мой новый спутник морской гвардейский офицер Маргери предпочел отдаться на волю судьбы, надеясь, что он не будет захвачен и не останется позади, что же касается меня, то я решил слезть и идти вперед пешком. Но Боже мой, какое разочарование! Я думал, что смогу бежать, а я в состоянии только двигаться вперевалку тем ходом, каким идут обыкновенно по льду. К счастью, казаки не имели никакого желания захватывать людей — они пробирались к фургонам; наша коляска быстро удалилась, и они накинулись на другие колымаги, оставшиеся позади нас, что дало мне время их избежать и добраться до другой

коляски, дожидавшейся меня в полверсте отсюда. С этого времени ничто не беспокоило меня в пути.

Ночь я провел в пекарнях, где зажигали прямо адский огонь в печках, что не мешало мне, однако, трястись от холода и оставаться голодным. Я предавался грустным размышлениям, с которыми вполне соглашался мой спутник, лежавший рядом со мной на соломе. Отсюда и до Гумбиннена, куда я прибыл 19 декабря, я продолжал страдать от голода и главным образом от холода. Не могу выразить словами боль, испытываемую мною в ногах, и нетерпение, с которым я ожидал того момента, когда смогу согреться в теплой постели. Я не мог себе представить, чтобы на свете было какое-либо другое высшее счастье. Я получил, наконец, это удовольствие в Гумбиннене, где благодаря двум дням отдыха в теплом помещении мои ноги сильно оправились. Мне было очень приятно встретить здесь моего зятя, гвардейского капитана Губерта, которого я ни разу не встретил за все это несчастное время. Я ничего не знал о его судьбе и сильно беспокоился о нем; он покормил меня в своем помещении обильной яичницей, вкуснее которой я, кажется, никогда в жизни ничего не ел. Удивительно, как начинаешь ценить даже такие пустяки при скверных обстоятельствах!..

*Булар*

\* \* \*

Однако все еще не кончилось для нас. Город был переполнен солдатами, офицерами и всеми снарядами, уцелевшими от разгрома. Многие даже объехали его, и гора, расположенная поблизости, по дороге в Кенигсберг, оказалась настолько загроможденной неимоверным количеством артиллерийских фур и всякого рода повозками, что проход через нее сделался почти невозможен.

Нельзя было терять времени. Благодаря заботам моего доброго и великодушного друга Ангlesa, брат мой, ослабевший от дизентерии, был положен рядом с ним в закрытых санях (в возке). Я сел на передке, рядом с курьером, который отличался невероятной энергией и деятельностью и был вполне предан Англесу.

В восемь часов вечера четыре хороших лошади нас быстро понесли, и в несколько минут мы достигли знаменитой

Виленской горы, которая стала как бы вторым актом Березинской драмы. Курьер передал мне вожжи и, сойдя на землю, закричал:

— Посторонитесь, посторонитесь, дайте дорогу нарочному императору.

При этом имени, все еще магическом и, несмотря на наши несчастья, нисколько не потерявшем своего влияния, каждый принялся за дело. Раздвигают фуры, пушки; везде очищают место; несчастные раненые люди, полумертвые от холода и голода, собирают последние силы, чтобы помочь курьеру проложить себе дорогу.

В это время мы ждали у подножия горы, окруженные умирающими, которых ужасный холод этой ночи (он доходил до 30 градусов мороза) доканывал, и их предсмертное хрипение и последние вздохи превратили эти полчаса для нас в целый век страдания. Курьер пришел, наконец, нас известить, что дорога освободилась. Он зажег факел, который раздобыл откуда-то, и мы достигли вершины горы.

Прежде чем вырваться на волю с этого кульминационного пункта и закончить повествование о несчастьях этой кампании, я должен прибавить, что на следующий же день казаки, обойдя Вильно, внесли в эту толпу ужас и смерть. Смятение дошло до такой степени, что разграбление казны армии совершилось совместно.

Наши солдаты бились на кулачках с врагами из-за золота, хранившегося в муниципальных повозках. Мешки с деньгами слишком тяжелые для переноса, оставлялись на земле с пренебрежением.

Стрелок из моего полка, по имени Фулон, захватил таким образом мешок, содержащий двадцать тысяч франков золотом, и вышел цел и невредим из сумятицы; но сохранение этого богатства было сопряжено для него с множеством опасностей и тревог, пока он не достиг нашей квартиры в Силезии, где собрались остатки несчастного 8-го стрелкового батальона.

Там ему пришла счастливая мысль раздать всю сумму между полковыми офицерами в обмен на векселя, уплачиваемые из их жалованья. Полковник де Перигор взял у него десять тысяч франков, Паскаль и я — каждый по две тысячи, а наши товарищи разделили между собою остальное.

По возвращении во Францию Фулону было все уплачено, он вышел в отставку, женился и устроился в Безансоне.

Возвращаясь к моему повествованию.

Мы могли сравнивать себя с птицами, которые вырвались из своей клетки и летят во весь дух.

В две ночи и один день мы проехали расстояние, отделяющее Вильно от Кенигсберга, останавливаясь только для перемены лошадей и на один час в Гродно, где Англес заменил свои сани возком.

Мороз, хотя менее резкий, колебался между 25 и 26 градусами. Погода была дивная. Мы скользили по прекрасной ледяной дороге со скоростью нарочного, то есть делая по крайней мере четыре мили в час. Хорошо закутанный в прекрасный мех, ноги в сапогах тоже меховых и даже с закрытым лицом, сидел я рядом с курьером, на козлах, составляющих одно целое с экипажем, и с наслаждением видел, как с обеих сторон исчезала страна, вся покрытая ослепительным снегом. Несколько деревень, несколько разбросанных выселок единственно придавали сколько-нибудь жизни этому пейзажу, и по мере нашего приближения к Кенигсбергу они становились все реже.

Мы приехали в этот город на другой день после нашего отъезда из Вильно, в девять часов утра, и остановились в Парижском отеле на большой площади.

*Комб*

\* \* \*

Дорога в Ковно походила на беговое поле: каждый старался опередить соседа, чтобы избежать казаков. Действительно, они могли появиться во всех направлениях, и тогда пришлось бы возвращаться вспять.

На этот раз мы отделались одним страхом. Но в 2 верстах от Вильно, подойдя к деревне под названием Повары, мы были вынуждены остановиться. В этом месте дорогу пересекало ущелье, очень опасное, а справа и слева поднимались крутые обрывы. Здесь нелегко было пройти в обыкновенное время, теперь же это сделать было совершенно невозможно вследствие гололедицы, которая покрывала дорогу, и снега, нанесенного с двух сторон. Тут-то Платов и атаковал французский арьергард и отнял пушки и повозки, какие еще оставались, и велел уничтожить все, что не мог

забрать в собой. Этими обломками он так искусно загромодил дороги, что не оставил никакого прохода. И нам удалось пройти только благодаря уму и находчивости одного вюртембергского капитана главной армии, еще совсем молодого человека; ему всего было 20 лет.

Капитан Миллер (он стал позже генерал-лейтенантом) сделал (разумеется, пешком) разведки в холмах по левую сторону дороги и нашел там тропинку, правда, покрытую снегом, но тем не менее удобную для перехода.

Он пришел за нами, был нашим проводником и, в конце концов, вывел нас из этого лабиринта. Но здесь нам пришлось окончательно бросить последние повозки и сани, какие еще с нами были, — и бросить их со всеми находившимися в них пожитками.

Я вздохнул с облегчением, поднявшись на эту возвышенность. С места, где я стоял, открывался широкий вид. Я заметил в долине неприятеля, спешившего в погоню за нами. Тотчас же я решился двинуться скорее дальше, вернее, — бежать сломя голову. Этому я, вероятно, и обязан тем, что не попал в плен.

Три больших перехода отделяют Вильно от Ковно, пограничного города на Немане.

Что касается меня, то, хромой и усталый, я употребил 4 дня на эти переходы. Это были 4 самых трудных дня, в течение которых я боролся с голодом. Я, конечно, погиб бы во время этих ледяных ночей, если бы мне не посчастливилось встретить сострадательных людей (один раз это были поляки, два других раза — французские пехотинцы); они позволили мне присесть около их костров.

Между тем наше положение в одном отношении улучшилось. По мере того как мы приближались к Ковно, к границе, казаки нас тревожили все меньше и меньше. Они подозревали, очевидно, что в стенах этого города есть люди здоровые и вооруженные (остатки армии Нея). А так как ружье и пуля внушали всегда сильнейший ужас казакам, то легко сделать вывод, почему они так слабо нас преследовали и на таком почтительном расстоянии.

Я был очень жалок и изнурен, когда 14 декабря после полудня прибыл в Ковно — город, в котором насчитывалось около 4000 жителей, половина из которых были евреи.

Где найти убежище, в котором я так нуждался на ночь? Повторяю, еще один бивак, и я погиб бы. Дома были переполнены солдатами. Что было делать?

Но моя звезда снова мне покровительствовала. Между тем, как я печально бродил по улицам города (эти улицы были отвратительны), я увидел лачугу, жалкую на вид, в которой, как мне показалось, я заметил форму вюртембергского офицера. Я справился и узнал, что генерал-майор фон Кох устроил в этой хижине свою главную квартиру. Там было много офицеров нашей дивизии.

Я знал генерала фон Коха в то время, когда служил в гарнизоне Штутгарта, и мог рассчитывать, что он не откажет дать мне маленький уголок в своей импровизированной квартире. В самом деле, этот любезный человек принял меня самым дружеским образом, хотя его помещение было полным-полно. Некоторые товарищи ввиду этого бросали на меня совсем недружелюбные взгляды, но я не обращал на это никакого внимания. Но доброта генерала не ограничилась только предоставлением мне убежища. Благодаря ему я получил еще нечто другое, столь же ценное для человека, который умирал от голода.

Только что я расположился на ночь за громадной печкой — это место оставалось незанятым, так как от печки шла нестерпимая жара, — вдруг дверь барака отворилась, и два солдата принесли громадный котел. Это появление вызвало большое оживление среди публики. Наш генерал, который один знал содержимое котла, улыбнулся и вежливым жестом, указывая на котел, сказал:

— Пожалуйста, господа!

Котел содержал в себе колоссальную порцию пива, еще теплого. Наш благодетель приказал его приготовить, ничего нам не сказав, чтобы наслаждаться нашим удивлением. Никто в данный момент не подумал поинтересоваться, откуда он достал все, что нужно, чтобы приготовить этот напиток.

Так как нас было очень много, каждому досталось по-немногу. Получив свою порцию, я поспешил занять место за печкой. Конечно, это не было ложе из роз; пол, или скорее почва, затвердевшая от мороза, была отнюдь не мягка. Но так как я уже давно потерял привычку спать под кры-

шей, я был очень счастлив, находясь в теплом месте и под кровом. Мое блаженство продолжалось однако недолго.

Я вдруг проснулся от страшной боли в правой ноге. Я даже закричал. Все тотчас вскочили и стали спрашивать, что со мною? К несчастью, причин для крика были более, чем достаточно. Одному из денщиков кого-то из этих господ пришла в голову неудачная мысль сварить в горшке несколько полумерзлых картошек. Он сварил их, но ему нечем было достать их из горшка, и он решил, что самое простое — это вылить воду на пол. Не желая шуметь, отворяя дверь, что могло бы привлечь наше внимание на его поступок, он вылил эту кипящую воду в темный угол за печкой, и облил ею правую ногу мою, или по крайней мере часть ноги. Это и было причиной моего крика. Я осмотрел больную ногу и затем вновь уснул в надежде, что ожог будет незначительный, и я смогу завтра продолжать мой путь.

15 декабря утром стужа была отчаянная. Все те, кто не участвовал в защите города (доверенного арьергарду под командой маршала Нея), поспешили покинуть эту Россию, граница которой была теперь в двух шагах, на Неманском мосту.

Уже войска, которые должны были защищать наше отступление, становились на позиции, назначенные им, и гром пушек в отдалении возвещал приближение неприятеля. Каждый старался скорее достигнуть моста. Я лично ускорил шаг в этом направлении, как вдруг заметил, что моя обожженная нога стесняет меня гораздо больше, чем я предполагал.

В самом деле, мне страшно трудно было достигнуть моста. Подход к нему был чрезвычайно загроможден, и я, принимая во внимание мое состояние, имел мало шансов перейти благополучно на тот берег. Между тем время шло, и надо было торопиться.

Не зная, что делать, я некоторое время стоял в недоумении. Вдруг я заметил, что многие из моих товарищей, уставшие ждать очереди, переходили Неман на четвереньках. Река была покрыта толстым слоем льда, но так неровно, что было решительно невозможно идти без помощи рук. Конечно, я тотчас же присоединился к этому каравану.



Пока я работал таким образом, подвигаясь очень медленно, я заметил сбоку одного вюртембергского артиллериста, следовавшего моему примеру. Мы рассказали друг другу о своих несчастьях, и я со своей стороны рассказал ему про опасения, которые мне внушало жалкое положение моих ног. Добрый малый предложил мне свои услуги, и я тотчас же согласился опереться на его руку.

Кессельгут — так звали человека, который оказал мне такую поддержку, — был родом из княжества Гогенлоэ.

Благодаря ему я достиг другого берега Немана целым и невредимым и мог проститься с этой страной, где у меня было столько страданий.

Поддерживаемый моим товарищем, я продолжал идти. Скоро, однако, я заметил, что недолго смогу продолжать путь, что скоро моя обожженная правая нога и наполовину отмороженная левая совершенно откажутся служить мне. Я посоветовался с храбрым Кессельгутом, что сделать, чтобы покинуть эту проклятую землю. И на этот раз счастье помогло мне.

Я не знаю, после скольких часов ходьбы мы прибыли к разветвлению дороги; здесь стоял на посту офицер, очень известный, из штаба нашего армейского корпуса; он непрерывно кричал:

— Из третьего армейского корпуса — направо!

В ту минуту я услышал, что кто-то назвал меня по-немецки.

— Зукков, не слушай его, иди в мою сторону.

Это был один из моих старых друзей, капитан фон Ле-зюир, первый адъютант нашего главного командира. Я поспешил ответить на его приглашение и присоединился к нему по дороге налево, где он ожидал меня.

*Фон Зукков*

\* \* \*

Когда император покинул остатки армии в Вильно, то он передал командование ею вице-королю Италии. Под его командой армия двинулась через Ковно, Гумбиннен к Кенигсбергу, откуда корпус Даву пошел в Торну, в который мы прибыли 30 декабря.

111-й полк, при котором я состоял, имел 5 батальонов, каждый в 700 человек, всего 3500 солдат, не считая офи-

церов, когда мы в мае 1812 года шли в Россию, а 11 января 1813 года, на смотре в Торне, в нем еле-еле насчитывалось 250 человек.

В день нового года офицеры приносили дивизионному генералу Компану обычные пожелания; генерал при их входе в его помещение выразил кратко: «Господа! Я с радостью принимаю ваши пожелания к новому году. Нам всем приходится оплакивать потерю многих товарищей; перед походом в Россию моя дивизия заняла на смотре в Торне все поле, сегодня я вижу небольшой кружок ее офицеров, собравшихся около меня, в моей комнате. Страшны потери, понесенные французской армией в этом злополучном походе; будьте, однако, благодарны Провидению, что мы, немногие, спаслись. Дивизия отправляется вдоль Вислы до Врацлавска на кантонир-квартиры, впредь до новых распоряжений; часть неуплаченного вам жалованья будет вам там выдана. Не одни русские враги наши. Их найдется достаточно и у наших союзников при нашем отступлении. Мною посему отдан приказ раздать столько винтовок, сколько потребно для вооружения офицеров». Действительно, каждый офицер получил по винтовке, и мы отправились «*armes aux bras*» в кантонир-квартиры в Врацлавске, но ненадолго: в ночь с 6-го на 7 января, на праздник Богоявления, забили тревогу; было 4 часа утра; барабанщики, проходя мимо, стучали в окна с криком: «К оружию! Неприятель здесь». Мы едва успели собраться, как на противоположном берегу Вислы казаки уже гнали наших часовых, и те едва успели убежать по льду по реке Висле. Когда наступил день, город был уже занят казаками. Теперь мы пошли через Поссени Кюстрин на Берлин и вступили туда с офицерами «*armes aux bras*» во главе.

*Фоссен*

## ***В плену***

Утром 19 ноября в Орше я видел последний раз Наполеона. На нем была надета польская, отороченная мехом куртка из зеленого бархата и меховая шапка. Он переночевал в городке Орше, дома которого еще уцелели, и теперь сидел

на лошади, окруженный своей гвардией, собираясь двинуться дальше. По дороге в Ляды присоединился ко мне лейтенант Флор (Flohr) из Гамбурга, нашего же полка. Это был высокий, стройный человек; он начал жаловаться на истощение и терял всякую надежду вернуться на родину. Он бранил безрассудно смелое, необдуманное ведение похода, императора, который был тепло одет, хорошо питался, передвигался на прекрасных лошадях и равнодушно смотрел, как мы умирали, бранил полковников, которые имели лошадей, а нас заставляли идти пешком.

Перед нами шли, шатаясь, некоторые истомленные, которые от времени до времени ложились и не могли уже двинуться дальше. «Посмотри, — сказал он, — вот счастливицы. Они выстрадали до конца, теперь они от усталости заснут, чтобы уже никогда больше не проснуться. Также случится и с нами, со мной, может быть, завтра, с тобой же, Ведель, через несколько дней, потому что ты гораздо крепче меня, но никто не избежит этой участи».

Во время подобных разговоров мы увидели на возвышении деревню, через которую шла дорога. «Я голоден», сказал Флор, — пойдем в деревню, она имеет такой вид, что, возможно, мы в ней что-нибудь и найдем, а, может быть, раздобудем также и лошадь. Казаков там нет; правда, с левой стороны мы нескольких видели, зато направо можно видеть большое пространство и там никто даже не шевелится. Да и чем мы рискуем? Если нас убьют крестьяне, то мы, по крайней мере, не умрем с голода». Флор решил даже один идти в деревню; но после длинных переговоров я согласился ему сопутствовать, больше потому, что не хотел его оставлять одного, чем надеялся там хоть чем-нибудь поживиться. Спустя четверть часа мы добрались до деревни; по дороге мы услышали несколько выстрелов и сейчас же после этого хрюканье свиней.

— Мы идем слишком поздно, — сказал я, — там уже мародеры, которые успели все обобрать, или же русские, и тогда мы погибли.

— Это мародеры, такие же голодные, как и мы, — отвечал Флор, — не будут же русские в своей собственной стране убивать у крестьян свиней!

Мы постучались в запертую дверь первого, расположенного возле церкви дома. Дверь отворилась, и высокий муж-

чина, около 50 лет, в темной одежде стоял перед нами с доброжелательным, открытым лицом. «Pastor Ioci», — сказал он нам — по-французски он не понимал; я также заговорил с ним по-латыни, что ему было вполне понятно.

«Dura necessitas et magna inedia nos cogunt implorare benevolentiam tuam; da cibum esurientibus, Deus te fortunabit!»

Человек этот, по-видимому, растроганный, повел нас в свой дом, принес хлеба и масла, потом удалился, чтоб, как он нам сказал, сварить несколько яиц. Флор в страшной поспешности проглотил несколько кусков хлеба и масла, дальше же оставаться здесь он не хотел, а решил сейчас же идти в расположенную внизу деревню, чтобы посмотреть, нельзя ли там разыскать лошадь. Я настаивал на том, чтобы он остался и сначала поесть. Но он поспешно удалился. Я больше никогда о нем ничего не слышал. Я еще был занят утolenием голода, когда пастор снова вернулся и принес мне несколько яиц и немного сыра. Но мой вопрос, можно ли в деревне купить лошадь, он отвечал, что это вряд ли возможно, так как крестьяне, как только получили вести об отступлении французов, то для безопасности увезли все в глубь страны; а кроме того, в деревне недавно были французы и отобрали все, что только там осталось. Потом он мне рассказал, что он поляк и католический священник и желал нашему оружию больше счастья. Если б Наполеон остановился в Смоленске, он восстановил бы старое польское королевство и тогда в следующую весну отправился бы на Москву и, наверно, покори́л бы Россию.

Вдруг он вскочил, побежал к окну и закричал: «Cosaki adsunt! Cosaki adsunt! veni, si vis salvari!» При этом он схватил меня за руку и старался вытащить из комнаты. Я схватил мой пистолет и в это мгновение увидел в окно, как к дому прискакали верхом около 50 казаков. Теперь я считал себя погибшим и беспомощно последовал за пастором, который привел меня через заднюю комнату и маленький двор в амбар, причем его сейчас же запер. Я зарылся в солому. Таким образом, я сидел в западне, за крепко запертой дверью. У меня было совсем немного времени, чтобы подумать о своей судьбе. Считать ли священника честным человеком, который убережет меня здесь, или, наоборот, выдаст меня казакам или крестьянам? Вдруг услы-

шал я лошадиный топот на дворе и засов был отодвинут. Я зарядил свой пистолет и решил продать свою жизнь как можно дороже. В то время как около двадцати копий были направлены в дверь амбара, раздался громкий крик: «Pardon! Franzus, Pardon!», а священник кричал: «Procede! vita salva erit, si armis tuis non uteris!» Ни один казак не отважился войти в амбар, они наверно, подумали, что там находился кто-то вооруженный и отчаянный. Я обдумывал недолго; о сопротивлении со счастливым исходом нечего было, конечно, и думать. Я вышел из амбара, бросил пистолет и отдался безоружным в руки казаков, которые опустили теперь свои пики и набросились на меня, чтоб отнять лишнее платье и прочее имущество. Гораздо скорее, чем я рассказываю, один из них стащил у меня шапку с серебряными галунами, другой — мой плащ, третий — сюртук, четвертый — эполеты. Они думали, что мои сильно посеребренные пуговицы на мундире были из чистого серебра и в один момент исчезли все мои пуговицы, а вместо них на мундире остались зиять дыры.

Даже сняли с меня черный шелковый галстук. Один схватил меня за руку и повел на двор, где он влез на свою лошадь, а мне показал, что я должен за ним следовать. Другие ехали около. Я следовал за своим проводником. Пастор закричал мне вслед, что я не должен на него сердиться; он ничего не мог сделать кроме как спасти мне жизнь, так как казаки убили бы меня, если б он не предупредил их.

Мой проводник, молодой казак, имел полное, добро-сердечное лицо, на котором, казалось, было выражено сожаление ко мне, так как я шел с открытой головой, без галстука, в одном мундире, который нельзя было застегнуть, и дрожал от холода. Он вытащил салфетку, бросил ее мне и показал, чтобы я обмотал ею шею, что я, конечно, сейчас же и сделал. Недалеко стоял крестьянин, который на меня злорадно смотрел и насмешливо мне что-то крикнул вслед, из чего я понял только следующие слова: «Franzus! Kaput! Moroz!» — я думаю, что он ими выражал радость, что французам от холода приходилось плохо. При этом он схватил камень и бросил в меня. Казак обрушился на него с сердитыми словами, и когда крестьянин стал ему запальчиво отвечать, то казак ударил его кнутом по голове и

спине, после чего крестьянин замолчал, стащил свою грязную барашковую шапку, передал ее казаку и быстро убежал. Казак бросил мне барашковую шапку, которую я сейчас же надел. Тогда похлопал я слегка колено казака и сказал ему: «Dobre kozak, dobre» — на что он мне дружелюбно кивнул и похлопал меня по плечу. Между нами была заключена дружба.

Казак (что можно и теперь сказать про этих грубых детей природы) менее дурен в отношении к своим пленным, чем образованный француз или немец. Он служит без жалования и рассчитывает только на добычу; на пленного же, со всем, что тот имеет, смотрит как на свою законно приобретенную собственность. Он имеет пример рабства ежедневно перед своими глазами. Его император, он так думает, дал ему право отнимать все, что он находит у пленных и вообще у врагов. Тот не прав, кто противится исполнению его права, того казак бьет или совсем убивает и думает при этом, что исполняет свои обязанности. Если же пленный покорно повинуется своей неизбежной судьбе, тогда находит казак в нем понимающего человека, которому он обязан оказывать поддержку, пока пленный ему повинуется. Казак привел меня к сборному месту своего полка, где стояло уже около 200 пленных, большею частью изголодавшихся несчастных жертв. Флора не было среди них.

Я узнал от пленных, что казаки схватили их и привели сюда с большой дороги, по которой они шли, оставши от своего корпуса. Казачий полковник — Иловайский, как я потом услышал, — держался около меня и рассматривал пленных, когда подошел казак, который держал в руке мою шапку. Красивый головной убор попался полковнику на глаза, и он при этом сказал несколько слов, из которых я понял: «Polsky Ulansky Offizier Scharpka». Тогда я подошел к нему и старался сделать заметным, что эта шапка моя. Он заговорил со мной тогда по-польски, и на мой ответ: «Nie Polsky, Nimietz» — что должно было обозначать: «Не поляк, а немец», крикнул драгунского офицера, который там находился, который меня спросил на хорошем немецком языке, кто я, откуда и в каком полку служил.

Когда я назвал свою фамилию, лицо казацкого полковника приняло выражение удивления и любопытства, и он

быстро сказал несколько слов по-русски драгунскому офицеру. Тогда этот спросил меня, не родственник ли я храброго генерала Веделя, друга Фридриха Великого. «Это был мой дед, — ответил я не сморгнув. — Разве господин генерал, — так называл я казацкого командира, — слышал что-нибудь о нем?» Драгунский офицер сказал после того, как перевел мой ответ командиру: «Полковник читал по-русски историю Фридриха Великого и теперь очень удивлен. Он интересуется вами благодаря вашему замечательному деду». Тут выразил мне полковник сожаление, что я нахожусь в таком положении, и радовался, что ему представляется случай мне помочь. На мою жалобу, что казаки отняли у меня деньги, часы и платье, он пожал плечами, против этого он ничего не мог сделать: потом спросил, сколько у меня было денег? Я сказал, что около 30 золотых. Он приказал выдать мне несколько денежных расписок, затем позвал вестового, который быстро куда-то исчез и снова скоро вернулся с лошадью с большим синим офицерским плащом и с сюртуком польского артиллерийского офицера. Это платье полковник подарил мне, потом приказал мне сесть на лошадь и следовать за ним.

Теперь я был опять вполне прилично одет, мне дали колпак польского покроя, сюртук и плащ, который закрывал мой разорванный мундир. А также казак вернул мне мой галстук, который я завязал поверх салфетки. Салфетка, которую я сохранил, из тонкого полотна; на ней выбит замок и охота и подпись русскими буквами. Очевидно, мой друг ее где-нибудь украл и играл роль святого Криспина. Проехав немного дальше, мы могли увидеть большую дорогу, по которой тянулись остатки когда-то Великой Армии. Спустя почти час мы остановились. Офицеры слезли с лошадей и предложили мне сделать то же самое. На земле была расстелена скатерть; страшно толстый казак вышел на середину и развязал свой пояс. Я был страшно удивлен такого рода приготовлением, еще же больше я удивился, когда толстый малый разом сделался тонким, а из отверстий его длинного платья посыпались на скатерть колбасы, котлеты, хлеб, сыр и т.д., сюда же были поставлены вина и ликеры. Скатерть была такая тонкая, а вина и ликеры так великолепны, что я выразил по поводу этого свое удивление драгунскому офицеру: лучшего вина и лучшего кюрасо

я никогда в своей жизни не пил. Офицеры смеялись, и загадка была скоро разгадана. Час тому назад была захвачена багажная карета Неаполитанского короля, откуда и появились все эти хорошие вещи. На скатерти стояла буква I (Иохим) с королевской короной. Я теперь радовался, что храбрый король так хорошо о себе позаботился, и теперь для меня стало ясно, что он думал, когда нам кричал: «Ayez l'ame trempée de fer, и вы будете предохранены от превратностей судьбы. Кто лишается мужества, тот погибает!»

Это означало: имейте всегда бутылку Бордо, котлеты, колбасы и хороший ликер и вы останетесь сильными; кто же лишается колбасы и вина, тот погибает. В этом лежит глубокая истина, в этом убедится каждый старый солдат.

Моим бедным товарищам по несчастью не было так хорошо, как мне, они должны были голодать и продолжать свой путь плохо одетыми. И какой случай сыграл роль в моей удаче! Полковник прочел в коротком русском переводе историю Семилетней войны, встретил там фамилию Ведель, а я ему смело в лицо соврал, что этот Ведель был мой дед!

К сожалению, я никогда не испытывал не только утрачения совести за эту ложь, но даже думал о ней с радостью.

Скоро мы сели опять на лошадей. Полковник, около которого я держался, быстро ускакал с несколькими офицерами вперед. Полк следовал шагом. Моя лошадь была не из быстрых, и полковник быстро скрылся со своей свитой в ближайшем лесу. Я остался на мгновение совершенно один.

Теперь, думал я, есть возможность; сверни налево в лес и через час мы можешь, накормленный и с лошастью, очутиться среди своих товарищей. Какие они сделают глаза, когда ты им расскажешь о своих похождениях. В это время я услышал около себя громкие голоса и лошадиный топот; это были еще некоторые офицеры из полка, которые догоняли полковника. Я погнал мою лошадь и добрался вместе с ними до полковника, который расположился в лесу возле маленькой деревни. Здесь был устроен ночлег. Полковник приказал мне отвести комнату в том же самом доме, в котором расположился он. Через час прибыли также остальные пленные. Офицеры, в количестве 15 человек, были приведены в комнату, в которой находился уже я, между ними не оказалось ни одного моего знакомого. Мы чув-



ствовали себя совсем нехорошо в натопленном месте; привыкшие к свежему воздуху, мы вынуждены были выставить окна.

На ужин я был приглашен к полковнику еще с несколькими его офицерами, в то время как другие пленные должны были удовлетвориться хлебом и спиртом. Это был первый раз, спустя долгое время, что я получил прилично приготовленные кушанья, сидя за столом. Полковник громко смеялся и радовался моему громадному аппетиту, который едва можно было утолить, раздраживши. Около полковника сидела горничная с красивым, но дерзким лицом; это была француженка, которая уже давно находилась в плену у русских, и теперь добровольно следовала за русскими, как раньше следовала за каким-то французом. Она могла уже совсем хорошо объясняться с русскими, а также говорила немного по-польски. Она чувствовала себя совсем как дома в русском обществе и, не отставая от них, бранила Наполеона. Она, казалось, была собственностью полковника. Также и драгунский офицер был за столом, и некоторые из этого общества говорили по-французски. Я узнал, что нас перевозят в Витебск и что офицеры будут туда отправлены в приготовленных для этого каретах.

Когда я после ужина прощался с полковником и выразил ему сердечную благодарность за его внимание ко мне, он сказал, что он совсем особенно поручит меня офицеру, который будет переправлять пленных в Витебск. Здесь я узнал его фамилию — это был полковник Иловайский. Мои товарищи по несчастью слушали мой рассказ, особенно, когда дело коснулось карет, с большой радостью, и скоро вся компания спокойно и крепко заснула на хорошей сухой соломе. На другое утро мы были разбужены криками: «*Paschol Franzusy, Paschol!*» Я поспешил к двери, чтобы выискать себе хорошее место в карете. Я спросил офицера, который должен был нас сопровождать, — маленького, сердитого человека с неприятной физиономией, — где кареты; он коротко и грубо что-то ответил, из чего я понял, что никаких карет нет. Я хотел пойти к полковнику и напомнить ему его обещание; но он уже на рассвете уехал. Когда я снова обратился к офицеру, которому, как я думал, был особо поручен, то он мне сердито крикнул: «*Fran-*

zusy caput! Paschol! Zapperment!» и при этом погрозил кнутом. Я увидел, что мы попали в руки низкого, грубого, злого малого, отодвинулся спокойно назад и в противоположность этому проявлению грубости почувствовал, как пленный, покорность своему положению.

Между тем шествие было организовано. Впереди ехало несколько казаков, затем следовали пленные солдаты, потом офицеры и, наконец, казацкий офицер с отрядом верховых, около сорока человек. Несколько казаков ехало около колонны. К своей радости, я увидел между ними молодого казака, который меня вчера перевозил, он мне сегодня дружелюбно кивнул, вероятно, потому, что заметил, что вчера полковник выказал мне внимание, был ко мне очень благосклонен и, казалось, принимал меня за кого-то особенного.

Дорога была ухабистая и вообще страшно трудно было идти по замерзшей глинистой почве. Я заметил нескольких свободных лошадей, приблизился к дружелюбному казаку, и мне удалось ему объяснить, что я хотел бы ехать верхом. Он поскакал к офицеру и сказал ему что-то, после чего тот кивнул головой. Казак привел мне лошадь, на которую я влез, и теперь ехал среди конвоя. Казаки были предупредительны, ласковы и делились со мной водкой, хлебом и салом. Привыкнувши к такой пище, я находил ее великолепной, а после вчерашней обильной еды я чувствовал себя свежим и сильным, как никогда.

Многие пленные были страшно утомлены и отставали. Их безжалостно гнали вперед ударами пик и кнутов. Когда мы проходили через болотистый осиновый лес, один из пленных решил улизнуть. Он перепрыгнул через ров и побежал в лес. Один казак заметил его, некоторые соскочили с лошадей и скоро его догнали; они привели его на конец колонны и там его закололи. Офицер собрал всех около трупа, и некоторые поляки, которые находились среди нас, перевели, что каждый, кто задумает бежать, заслужит такое же самое наказание, если же кому и удастся счастливо уйти, то крестьяне с ним поступят еще хуже. Другой, казалось, не мог совершенно идти и много раз падал; тогда увидел я, как один казак вытащил свой пистолет, приложил к упавшему и выстрелил. Тот упал замертво. Смеясь, поскакал казак дальше. Когда он еще раз оглянулся и заме-

тил, что на пленном были хорошие сапоги, то сошел с лошади, чтобы у него их стащить. Тогда вскочил мнимый мертвец и добежал под громкий смех казаков до конца колонны, где он и маршировал бодро дальше. Он чуть было не перехитрил казаков.

После четырехдневного тяжелого марша прибыли мы в Витебск. Я почти так же был беден, как после первого грабежа (казаками, которые меня поймали, потому что утром на третий день нашего путешествия наш прежний конвой сменился). Я должен был теперь идти пешком, как и все другие. Вечером все пленные офицеры были заперты в амбар. Среди ночи мы были разбужены ярким светом. Пожар? О нет! Это казаки с фонарями, пистолетами за поясом, кнутами в руках — наша стража — обыскивали каждого офицера поодиночке. Мы снова были дочиста ограблены. Они у меня взяли деньги, которые мне дал Иловайский, а также сюртук, плащ и шапку, и я должен был радоваться, что они за мой прекрасный синий плащ принесли мне белый разорванный плащ, какие носили кирасиры, а вместо моей шапки — плохой вестфальский кивер, от которого были оторваны галуны и который мне пришлось распороть, чтобы его можно было надеть, так как я совершенно не мог оставаться с непокрытой головой во время холода и снежных метелей. Мы попробовали было жаловаться на следующее утро офицеру. Но он совершенно не мог нас понять или, по крайней мере, делал вид, что не понимает. Пленные солдаты были уже распушены, польских переводчиков не было под рукой, а офицер уехал один, бросив свой отряд, в замок, который виднелся вдаль. Когда мы, позднее, пришли вместе с поляками и просили их передать нашу жалобу офицеру, то они не хотели этого сделать из боязни перед грабителями. После обеда в этот же день казаки, в отсутствие своего офицера, вырвали одного офицера из наших рядов и повели его в лес. Мы думали, что они хотят его убить. Но когда он снова пришел, то стал нам жаловаться на казаков, которые его совершенно раздели и еще раз обыскали, причем отняли у него часы, которые до сих пор ему удавалось хорошо спрятать.

Скоро после этого мы пришли в деревню, где находились регулярные русские войска. Перед дверью одного из первых домов стоял большой, увешанный орденами чело-

век, в генеральской форме, окруженный множеством офицеров, среди которых был также и наш конвойный командир. Только что ограбленный французский капитан, еще в громадном негодовании против совершенного над ним позорного грабежа, подбежал к генералу не с рабскою покорностью, с которой приближались русские подчиненные к своему генералу, чтобы пожаловаться ему на дурное с нами обращение. Едва только он произнес первые слова, как генерал ударил его с такой силой кулаком по лицу, что этот изголодавшийся, измученный человек отступил на несколько шагов и с окровавленным лицом упал на землю. А генерал разразился бранными словами и насмешками. К чести его свиты я все-таки должен заметить, что только немногие принимали участие в смехе, многие же отнеслись очень серьезно к этому зрелищу. Мы в это время чувствовали громадное негодование и презрение — что больше можно чувствовать, чем описывать.

Этот русский был генерал Кутузов, племянник командующего генерала. Потерпевший французский офицер поклялся ему отомстить, как только он будет освобожден из плена. Кутузов умер во время войны в Германии.

После обеда пришли в Витебск; и мы, офицеры, были приведены в маленький пустой, дочиста ограбленный дом и помещены в комнате нижнего этажа, направо от входа; направо против нас лежали шесть казаков — наша стража.

В нашей комнате было три окна, выходивших на улицу. Кроме крепко приделанной к стене скамейки, пустого шкафа из елового дерева и стола здесь не было никакой мебели. Стекла у окон были перебиты. Приблизительно через полчаса пришел полицейский чиновник, который переписал наши имена, возраст, полк и чин, за ним вошли еще два человека, из которых один принес большой мешок, другой две винных кружки, которые он поставил на стол рядом с двумя фарфоровыми чашками. Другой человек вытряхнул содержимое из своего мешка на середину комнаты. Оттуда выпали куски, которые напоминали темный торф. Полицейский чиновник сказал нам, что на следующий день он опять придет и принесет нам новый запас. Мы попробовали содержимое в кружках; в меньшей была плохая водка, в большей кислотоватое пиво. То, что выглядело как торф,

при ближайшем осмотре оказалось черствым, кислым черным хлебом, в котором находилось много овсяной шелухи. Хлеб был нарезан кусочками, высушен в печке и таким образом получилось что-то вроде сухарей. Наш был внутри белый, не от плесени, а от химического разложения. Возможно, что овсяный хлеб нашли слишком плохим для войска, сделали из него сухари, сохранили их в сырости.

Из-за голода мы преодолели отвращение, но очень плохо и грустно чувствовали себя за ужином. Мы попросили соломы для постели. Ее всю съели французские лошади, ответили нам. Через разбитые окна проникал в комнату снег. Мы зачинили окна тряпками и вместо постели должны были удовлетвориться голым полом. Из-под шкафа я вытащил мешок, расстелил на пол свой белый плащ и таким образом приготовил себе постель, причем печная заслонка служила подушкой; вестфальский офицер Либхабер (Liebhaber) и я устроились на этой постели и укрылись его плащом. Я пожалел теперь, что выбросил грязную шубу, когда Иловайский дал мне прекрасный голубой плащ. Что сегодня бросают как ненужное, того часто завтра ужасно не хватает.

Привыкшие к твердой постели и открытому небу, спали мы все-таки великолепно. На замерзшей земле, под усеянным звездным небом или под снегом и дождем проводили мы гораздо худшие ночи. На следующий день перед обедом пришел опять полицейский чиновник со спиртом, пивом и сухарями. По нашей просьбе поправить окна он прислал человека, который залепил их бумагой, но которая через час разбухла от испарения и отвалилась, так что мы должны были заменить ее прежними тряпками. Наше положение было в высшей степени плачевно. Измученные, изголодавшиеся, покрытые паразитами и грязью, с длинными бородами, мы были лишены всякой возможности вымыться; несчастные, закутанные в тряпки, мы чувствовали к себе и ко всему окружающему страшное отвращение, так как чувство отвращения мы еще не совсем потеряли.

Грязный нищий не мог выглядеть противнее, чем двадцать собравшихся здесь офицеров. Выходить из дому нам не разрешалось, и мы отправлялись только на двор, да мы и не огорчались этим, так как выходить на улицу мы стыдились. На следующий день пришел еще раз наш полицей-

ский чиновник. Один находящийся среди нас старый француз — госпитальный инспектор лежал в страшной горячке. На этот раз, казалось, проникся состраданием и этот полицейский. Он обещал нам заставить починить окна и прислать нам бритву, таз для умывания, мыло и гребенки, также должны мы были получить завтра мясо к обеду. Он сдержал слово. Хотя мы и остались закутанными в тряпки, но зато мы были побриты, вымыты и причесаны и, таким образом, приобрели снова человеческий облик. Также получили мы несколько столов, ножи, вилки, ложки; стаканы, большую миску, ведро, хорошее пиво, соль, овсяную крупу и масло. Каким великолепным казался нам суп из овсяной крупы! Это ведь было что-то горячее, здоровое! В обыкновенной спокойной жизни совершенно не знаешь, какое громадное наслаждение содержат в себе самые обыкновенные вещи; только жесточайшая нужда учит нас их узнавать.

Воздух в тесной комнате был испорчен, количество паразитов увеличивалось с каждым днем, что мучило нас все больше и больше. Больному госпитальному инспектору становилось все хуже; наконец, он не мог уже больше подниматься с пола. Соломы у нас не было. К его горячке присоединился еще заражающий воздух понос. Так и умер он среди нас в ужасном состоянии, без врачебной помощи.

Мы потребовали, чтобы русские его вынесли. Но они чувствовали отвращение к этому лежавшему в грязи труп, боясь также заразы, и объявили, что не хотят прикасаться к мертвечине. Так как нам не разрешено было выходить из дома, а выносить его на двор мы не хотели, потому что только там мы дышали свежим воздухом, то нам ничего не оставалось кроме, как выбросить мертвеца из окна на улицу. Четверо из нас подхватили оцепеневшее тело, раскачали его и — раз, два, три! — а затем полетело оно в снег, который намел ветер перед нашими окнами. Здесь лежал он окостеневший от мороза много дней, пока его не убрали.

Мы получали теперь ежедневно 20 фунтов мороженого мяса, кашу, картофель и хлеб и жили теперь по нашему положению очень хорошо. Но, как только поспевал суп, наши стражники поспешно выхватывали чугуны из печки, съедали жир с супа и лучшие куски мяса, потом наливали туда столько воды, сколько съели бульону. И тогда уже звали нас брать суп.

На следующий день после смерти госпитального инспектора полицейский чиновник известил нас, что мы можем по одному или по двое выходить в сопровождении казака. В тот же самый день пришел к нам слуга Либхабера, вестфальский солдат в сопровождении казака, спросил о своем господине, с которым он спокойно разговаривал. Судя по его описанию, солдатам жилось еще гораздо хуже, чем нам. Их разместили, рассказывал он, в громадном доме, по большим залам; дверей и оконных рам не было, поэтому стоял невыносимо холодный, ледяной сквозной ветер; они получали только сухари, спирт и кислое пиво, что причиняло рези в желудке; почти треть людей погибла. Он просил, чтобы мы его оставили у себя, но на это казаки не хотели согласиться. Либхабер, который снова пришел на нашу постель, рассказал мне тихонько, что его слуга честный, расположенный к нему человек, что он сберег два дуката и теперь отдал их ему. Он взял один, другой же вернул своему слуге. С таким небольшим количеством денег он не мог ничего предпринять и не хотел ничего на них покупать, так как все равно мы должны были скоро погибнуть в этой дыре. Он хотел выхлопотать разрешение и пойти в трактир, чтобы там досыта поесть на эти деньги; он пригласил и меня. Это предложение мне очень понравилось, потому что я страшно страдал от продолжительного голода.

Мы вычистились, насколько это нам удалось, привели себя в порядок, затем вышли и нашли недалеко от нашего дома большой трактир, на котором была надпись золотыми буквами: «Hotel de Carlson». Мы вошли туда; нас ввели в комнату, в которой много русских офицеров играло на бильярде. Скоро нам был накрыт стол, поставлены кушанья и бутылка вина, которую мы не заказывали. После очень хорошей еды, нам подали кофе, которого мы не требовали. Мы уже беспокоились, что не хватит нашего дуката. Когда же Либхабер обратился к хозяину со словами: «Voila, monsieur, tout ce que nous avons; payez-vous!», то тот отдал ему деньги назад и сказал, что на них он может купить себе баранью шубу; он не хотел брать с нас совсем денег и просил нас поскорее опять к нему приходить.

Либхабер поблагодарил и спросил хозяина, где он мог бы получить шубу. Этот обещал ему позаботиться и спустя немного времени принес ему хорошую шубу и снова вер-

нул ему деньги. После этого мы стали смотреть игру на бильярде, и Либхабер назвал меня в разговоре по имени. Русские офицеры до сих пор не обращали на нас внимания, но, услышав мою фамилию, повернулся один гусарский офицер, подошел ко мне ближе и спросил меня на чистом немецком языке: «Ваша фамилия Ведель?» — и, когда я ответил: «Да, граф Ведель», — он меня спросил: «Наверно, из Восточной Фрисландии?» — «Совершенно верно, — ответил я, — из Эвенбурга». — «Так вы, значит, брат моего лучшего друга, безумного Августа!» Так называли моего двоюродного брата Августа, когда он в 1806 году прославился в Гиршфельдовском полку своей безумной храбростью. После моего заявления, что безумный Август действительно мой двоюродный брат и хороший товарищ, русский офицер очень обрадовался, желая о нем что-нибудь узнать. Он сказал мне, что его фамилия фон Мартенс (von Martens), родом он из Риги, раньше состоял на прусской службе с Августом при Гиршфельдовском корпусе, а с 1809 г. находится ротмистром на русской службе. Он восхищался смелостью Августа.

Я рассказал ему все, что знал о нем, а потом поведал ему и свою историю. Когда я нарисовал ему картину, как мерзко здесь, в Витебске, с нами обращаются, он пошел вместе с нами и с одного взгляда на наше пристанище убедился в правоте моего рассказа. Тогда он потребовал, чтобы я остался вместе с ним в помещении Carlson Hotel'я до тех пор, пока не определится дальнейшее. Я ответил ему, что должен с благодарностью отклонить это великодушное предложение, во-первых, потому, что на мне было множество паразитов, а во-вторых, я хотел разделить судьбу с моими товарищами по несчастью. Когда он увидел, что я твердо держусь своего намерения, то он рассказал, что вчера вечером сюда прибыл генерал граф Беннигсен (Bennigsen), он хотел сейчас же пойти к нему и доложить, как ужасно здесь нас содержат. Это обращение не соответствует благородным, великодушным взглядам императора Александра, и генерал примет против этого меры. Мои товарищи были страшно обрадованы, надеясь на улучшение нашей жизни.

Через 10 минут показались два служителя с корзиной: «Русские офицеры из Hotel de Carlson просят кланяться и



посылают вам маленькую закуску». Там было много масла, хлеба, сыра, жаркого, несколько бутылок рома, лимоны и сахар. У нас сейчас же поднялся шум и веселье.

Мы сделали горячий пунш. Сначала мы выпили за благополучие наших благодетелей в Hotel de Carlson; потом было выпито за мое здоровье, после того как Либхабер рассказал, что я предпочел остаться с товарищами, чем перебраться на квартиру в Hotel; тогда я выпил за здоровье Либхабера, который не был эгоистом и не предпочел оставить деньги для себя, а решил поделиться со своим товарищем, что и привело нашу судьбу к такому счастливому обороту. Также и за слугу Либхабера был произнесен тост, собственно его верность и дала повод всей этой истории. Ему сберегли мы также его часть пунша и еды. Мы пиروвали до поздней ночи, забыв на несколько часов все горе, и мечтали о лучших временах.

На другой день утром около 10 часов подъехали барские сани к двери нашего арестантского дома. Человек в прекрасной меховой шинели открыл дверь нашей комнаты, но отскочил назад на несколько шагов, почувствовав смрадный воздух. «Что, граф Ведель здесь?» — закричал он. «Здесь», — ответил я. «Его сиятельство господин генерал граф Беннигсен хочет говорить с вами, господин граф, и я должен вас к нему отвезти». Я снаряжился при помощи моих товарищей как можно лучше и скоро стоял перед генералом, большим, худощавым человеком с очень высоким лбом и строгим взглядом.

— Вы граф Ведель?

— Так точно, ваше сиятельство.

— Вы не мой родственник?

— Я очень жалею, ваше сиятельство, что не могу ответить вам да. Мне, по крайней мере, неизвестно, что я имею эту честь.

Одна из его племянниц недавно вышла замуж за Веделя, но который, насколько он знает, не был графом. Когда никакого родства мы не нашли и я выразил ему по этому поводу сожаление, он сказал:

— Родственник или не родственник — это все равно. Вы нуждаетесь в помощи и вам нужно поскорее помочь. Через ротмистра фон Мартенса я узнал, как ужасно здесь содержат вас и ваших товарищей; если бы знал об этом император, то

Его Императорское Величество был бы не очень благосклонен. Вы не виноваты в ужасах этой несправедливой войны. Наполеон узнает, что значит нападать на Россию; на нем, а не на несчастных пленных, которые попали нам в руки, и меньше всего на принадлежащих к немецкой нации, хотим мы излить свой гнев. Парижа он больше не увидит или найдет там нас, если только ему удастся улизнуть.

Эти слова были для меня достопримечательными и запечатлелись у меня в памяти; из этого я мог заключить, как смотрят на положение дел в России.

— Скажите вашим товарищам, — продолжал он, — что они должны были иметь много мужества. Я приказал, чтоб отвели им в городе квартиры и чтоб о них заботились как можно лучше.

Когда же я захотел попрощаться, он сказал:

— Может быть, я чем-нибудь еще могу вам быть полезен?

— Если бы ваше сиятельство, — ответил я, — были бы настолько милостивы и отправили письмо сестре моего отца в Данию, то это все, о чем бы я мог Вас просить; непосредственное же сношение с моими родителями будет затруднительно.

— Передайте мне письмо незапечатанным, разрешите мне его прочесть, чтобы я убедился, что оно не содержит ничего, что могло бы быть противно строгому мнению нашей полиции, и тогда я его сам отправлю. Запечатанное письмо принять от вас я не могу.

Не успел я вернуться к моим товарищам, как пришел полицейский чиновник еще со многими людьми, которые каждому указали предназначенную для него квартиру в городе у местных жителей. Голландскому артиллерийскому лейтенанту Бюллоту (Bullot), голландскому пехотному лейтенанту Техтерсу (Techters) и мне была назначена одна квартира у ротмистра пана Казарина (Kasarin). Дом стоял в предместье, на самом берегу Двины. Пан Казарин, пожилой человек, и его жена обходились с нами очень дружески.

Без сомнения, квартира и постель оплачивались из средств публичной кассы: кроме этого, мы пользовались только местом около их печки и светом. Ежедневно получали мы аккуратно мясо, хлеба, крупу, соль и полтинник ассигнациями (около четырех серебряных монет); получаемые натурой продукты мы отдавали хозяину, который взял

нас за это на пансион, где мы получали простую, здоровую пищу, которая нам очень нравилась.

Первым моим делом было написать письмо моей тетке, Charlotte Marie Chanoinesse zu Wallo, которое я на другое утро лично передал генералу Беннигсену. Он принял меня очень ласково, прочел письмо в моем присутствии, одобрил и обещал его отправить.

«Я вижу из вашего письма, — сказал он, — что вы многое потеряли; позвольте мне вам дать немного денег вперед, до тех пор, пока вы мне сможете извозвратить». Он дал мне 20 дукатов и при этом прибавил: «Расписки мне не нужно; вы можете меня всегда найти, если будете в состоянии мне их возвратить. Требовать уплаты я с вас не буду». Это был очень деликатный и искренний способ дать деньги. Я взял их с искренней благодарностью. Два дня спустя, основательно вымывшись, одетый с ног до головы в новое, приличное платье, отправился я к генералу, чтобы повторить свою благодарность. Я чувствовал себя бесконечно счастливым, когда чисто вымылся в бане, постригся, надел новое платье и выглядел опять джентльменом.

Граф Беннигсен пригласил меня к обеду и представил меня генералу Чорбе, который жил в Витебске в отставке. На следующий день я был приглашен обедать к Чорбе, где я был представлен различным лицам, между другими здесь была генеральша Северина (Severin), которая в Витебске жила своим домом. С этих пор я был введен в общество.

После обеда отвел меня в сторону адъютант графа Беннигсена, князь Голицын, и говорил о теперешних временных отношениях: могущество Наполеона надломилось, он никогда не оправится больше от этого удара. Вся Германия поднимается; прежде всего Пруссия; уже ведутся сношения с прусскими войсками, а возможно, что он и сам будет схвачен и никогда уже не увидит больше Франции. Герцог Ольденбургский, близкий родственник императора, учредил в Петербурге немецкий легион. Если я захочу служить в этом легионе, то генерал Беннигсен пошлет меня туда с рекомендательными письмами; ротмистрский патент мне не может помешать, тем более что моя фамилия, как я уже ему говорил, герцогу знакома. Данная мной присяга Наполеону не должна меня связывать, потому что она была вынуждена. Теперь обязанность каждого немца отстать от

императора, который никогда не мог сделаться нашим, и открыто выступить против тирании. Теперь самое удобное время вступить в легион, так как он только что образовался; притеснения немецких пленных ужасно, а герцог Ольденбургский — человек, характер которого внушает громадное уважение и доверие.

Я ответил князю. Он был прав во всем, но вот что я сказал: я бы не поставил ни одному немцу в вину, если бы он вступил в легион, тем не менее я не могу принять предложения. Вост. Фрисландия перешла от Пруссии Голландии. Тогда я не был принужден силой выступить, как рекрут, на военную службу. Императором был я произведен в офицеры и взял патент, не думая даже избегать, если б меня принудили быть рекрутом. Поэтому я должен смотреть на свою присягу как на добровольную и разрывать эту присягу нахожу противным моему праву и моей совести. Также состоит еще на службе у императора мой отец, который вступил на нее с голландской армией. Я считаю неудобным направить оружие против армии, во враждебных рядах которой могу встретить моего отца.

Князь больше не настаивал и не старался больше касаться причин моих поступков и чувств. Как совершенно иначе устроилась бы моя жизнь, если б я тогда сделался ротмистром русско-немецкого легиона! Вряд ли я был бы так счастлив, каким я чувствую себя теперь.

Беннигсен оставался недолго, он последовал за армией со своим корпусом. Я сердечно простился с Мартенсом, которого я должен был так благодарить; он обещал мне иногда присылать о себе известия. Я часто о нем справлялся, но никогда ничего о нем больше не слышал.

*Фон Ведель*

\* \* \*

Теперь мы находились в безопасности в запертом доме, но являлись вопросы — надолго ли, чем мы будем питаться и отапливать помещение? Окна была покрыты толстым слоем льда, разбитые стекла затыкались тряпками, несмотря на 20—24 градуса мороза, мало топились печи, так что вода на столах замерзала. Не было ни коек, ни даже соломы, — мы лежали, закутанные в лохмотья, прижавшись один к другому, на голом полу, и были постоянно в страхе, что

неприятель откроет наш приют. Мы ясно слышали свист, скрип колес, топот войск, что говорило нам о непрерывном движении неприятеля. Часто доносились и душу раздражающие крики несчастных, которых грабили жители и городские евреи, выгнав их из домов, в которых они приютились.

В таком ужасном состоянии проводили мы день и ночь без пищи, в едва выносимом холоде.

Вдруг на второй день нашего пребывания раздался страшный стук в ворота, которые скоро окончательно были выбиты. Изверги проникли внутрь дома и разбежались по всем комнатам. Мы отдали им все, что у нас было, и на коленях умоляли их о пощаде, но все было напрасно: Schelma Franzusi — кричали они. Сначала они нас били нагайками, потом безжалостно топтали ногами, и так как зверство этих извергов все увеличивалось, то они отняли у нас не только платье, но и рубашки и подстилки. Теперь, когда у нас уже ничего не оставалось, били нас беспощадно, как собак; с раненых стаскивали даже повязки, надеясь в них что-нибудь найти, вследствие чего лейтенант Кун, которому возле Москвы была сорвана пулей часть черепа, лишился чувств и только после долгих стараний был снова возвращен к жизни.

Такое ужасное состояние продолжалось три дня, многие из пленных сошли с ума, бились до изнеможения и умерли в тяжелом бреде; вообще многие умерли в это ужасное время и несколько дней спустя.

На пятый день, 14 декабря, мы услышали, что в городе (Вильно) находится его королевское величество герцог Александр Вюртембергский. Мы попросили генерала фон Рейдера пойти к нему, рассказать о нашем положении и попросить охрану, на что генерал охотно согласился. Но теперь являлся вопрос — каким образом возможно будет это все выполнить, так как на улицах все еще продолжали грабить и убивать.

Один еврей доставил генерала в безопасности к его королевскому величеству, где, по его словам, он был очень хорошо принят и, несмотря на свой ужасный костюм, был приглашен к столу. Он выхлопотал не только охрану, но и обещание, что на наше ужасное положение обратят внимание. Все это крайне приятно было слышать, а также мы

очень радовались нашему старому гусару, приставленному в качестве охраны. Но этот человек был обходителен только до тех пор, пока герцог был в городе, когда же последний уехал, то он постоянно ворчал, и нам приходилось собирать деньги, чтобы приводить его в хорошее расположение духа.

На другой день приехал адъютант герцога с штабным доктором. Они прошли по всем комнатам, осведомились о наших нуждах, доктор у многих пощупал пульс и что-то много писал в своей записной книжке.

Мы все были очень счастливы и мечтали о том, как все теперь устроится к лучшему. Но пришел день, а за ним другой, не принося нам ничего нового. К тому же скоро мы узнали, что герцог Вюртембергский уехал, и тут нам стало ясно, что он, конечно, издал приказы и даже, может быть, оставил деньги на наше содержание, но они попали в недостойные руки, и что теперь нам уже некому было больше жаловаться.

На 4-й или на 5-й день опять блеснул перед нами луч надежды — каждому офицеру раздали по 4 прусских талера с обещанием в скором времени выдать еще.

Два откомандированные в госпиталь чиновника — главный врач Поммер и кригс-комиссар Келлер — должны были получить, как тогда говорили, 300 дукатов, чтоб позаботиться об этой массе несчастных, покинутых людей. Но эти деньги были каплей в море, потому что на 1400 человек едва приходилось по  $1\frac{1}{5}$  гульдена. При посредстве генерала Рёдера прежде всего были куплены съестные припасы и дрова, чтобы удовлетворить самую вопиющую нужду; когда же полученная сумма значительно уменьшилась, то и эти благодеяния прекратились.

Когда император Александр приехал в город вслед за герцогом Вюртембергским, то все больные были освидетельствованы генералом в сопровождении врача, но и на этот раз помощь была незначительна, все-таки пленным было роздано из магазинов французское платье и установлена правильная выдача как припасов, так и дневного содержания по 5 коп. ( $1\frac{1}{2}$  крейцера) нижним чинам и 50 коп. (15 крейцеров) всем офицерам. Все это мы получали до тех пор, пока не были переданы высланному к русской границе комиссару.

Хотя мы в отведенном для нас доме и терпели ужасное обращение, все же мы имели хоть какой-нибудь приют, в то время как несчастные, оставшиеся в городе, испытывали совершенно неопишемые страдания.

Все дома были переполнены и несчастные, не нашедшие себе места в домах, лежали на улицах и дворах.

Как только русские вернулись в город, горожане и особенно евреи выказали ужасную жестокость по отношению к больным. Без разбора они отнимали у них последнее и выбрасывали часто совсем раздетыми на мороз в 24—26 градусов. Некоторые попадали в руки без начальства бродивших казаков, которые отбирали все их имущество, причем или беспощадно били их, или, в лучшем случае, совсем убивали, так как все равно в ближайшее время мороз должен был прекратить их ужасные страдания. Крик на улицах сделался еще громче, когда раненых, выброшенных из домов, погнали, как скотину, группами в 500—600 человек и разместили в пустых церквях и монастырях, причем им не дали даже огня, чтобы обогреться, пять-шесть дней не давали совершенно пищи и даже отказывали в воде. Таким образом умерли почти все от голода, холода и жажды. Те же немногие, которые дожили до тех пор, пока им роздали скудную пищу, состоящую из старых окаменелых сухарей, которые они с трудом могли жевать своими ослабевшими челюстями, питались сырым мясом своих умерших товарищей, на которое они набрасывались, как собаки. Когда мне об этом рассказал один вюртембергский фельдфебель, переживший подобные ужасные сцены, то я не поверил ему. Чтобы убедить, он привел меня туда, где еще лежали эти мертвецы, и показал мне их обглоданные руки и ноги. Дрожь отвращения пробежала по моим членам и я поспешил уйти от этого места, которое оставило вечное пятно позора на моей нации.

Мертвые, покрытые снегом и льдом, лежали всюду; по сторонам улиц, во дворах, за домами. Никто из полиции не думал о том, чтобы их увезти и зарыть. В госпиталях, расположенных в городе и вне его, умирали сотнями от нервной горячки, но и эти трупы не увозились. Во многих госпиталях мертвецов выбрасывали из окон во двор, где их можно было видеть лежащими целыми кучами. Это случи-

лось и в вюртембергском госпитале, где постепенно была наполнена трупами вся конюшня. Проходя вечером мимо этой могилы, я старался пройти всегда как можно скорее. Путешествие мимо этой кучи мертвецов скоро сделалось для меня отвратительным. Однажды вечером я остался в городе позднее обыкновенного, так как узнал, что этот проход не запирался и что я никого не побеспокою. Подойдя к воротам, я пошел в обычном направлении, но перед этим некоторое время колебался и потирал руки — еще ни разу эта дорога мне не была так неприятна.

Когда я был почти в середине двора, я споткнулся и растянулся на мертвеца, которого больничные служители оставили здесь, может быть, по небрежности, а может быть, и нарочно. Бледный, задыхаясь, как будто мертвец преследовал меня, пришел я в комнату, однако никто ничего не заметил, да и невозможно было требовать наблюдательности от горячечных больных. Я никому ничего не рассказал — мертвец тоже промолчал. Один я уже больше не ходил мимо этого места, если же шел кто-нибудь со мной, то я пропускал его вперед.

Много горя было уже нами пережито, однако приходилось встречать все новые и новые ужасные сцены. У большей части солдат во время этого отступления были отморожены пальцы на руках и ногах. Отмороженные члены нужно было отнимать вследствие развивающейся гангрены, что причиняло ужаснейшие страдания. Когда наступал час обхода врача, на всех лицах выражался ужас и поднимались стоны, которые, казалось, проникали до мозга костей. После каждого посещения врача почерневшие отрезанные члены складывались в кучи и сейчас же выносились. Таким образом лейтенанту Ваксу, который потом, к счастью, умер от нервной горячки, были отняты по очереди все пальцы на руках и ногах.

Я лежал с распухшими ногами среди больных горячкой, умиравших днем и ночью, и возблагодарил Бога, когда мои ноги настолько поправились, что я мог немного ходить. Мне врачи тоже хотели отрезать ноги и один палец на руке, но я на это не согласился и скорее предпочел бы умереть, чем остаться без какого-нибудь члена.

Смерть уже вырвала многих из нас, и никакая медицина не могла помочь, потому что вместе с телом были боль-



ны и души. Больные в бреду постоянно вспоминали своих родственников, друзей и знакомых. Недалеко от меня лежал всеми любимый пастор Гребер, который все время проповедовал. Другой лежавший рядом со мной, обер-лейтенант фон Бюлов, все время путешествовал — говорил с почтальоном, хозяином гостиницы, со спутниками.

Иногда подобные сцены развлекали, но по большей части они производили глубоко потрясающее впечатление, особенно когда больные метались на своем жестком ложе до тех пор, пока после страшных страданий не умирали и их не выносили за дверь.

Обычно ночью умирают чаще: так было и здесь. Умиравших выносили из комнаты, но не сразу в мертвецкую, а сначала клали в проходе, где они сейчас же замерзали и уже нечего было думать об их возвращении к жизни. Утром их спускали с лестницы или сбрасывали с балкона на двор, что всегда производило на всех потрясающее впечатление. По повторяющимся стукам мы могли сосчитать, сколько человек умерло за ночь. Сначала слышалось 10—20 падений, потом меньше, так как число принятых в госпиталь быстро уменьшалось.

Евреи приносили в госпиталь после грабежа массу съестных припасов, на которые изголодавшиеся люди набрасывались с жадностью гиены и часто не удовлетворялись 2—3 порциями кислой капусты или каких-нибудь других грубых кушаний. Здесь уже не было никакого надзора за больными: главные надзиратели, удобно устроившись в городе и боясь заразы, избегали госпиталя, как чумы. Недоставало и медикаментов, но больше всего мы страдали от недостатка дров, так что несчастные больные, лежавшие на полу, на клочке соломы, постоянно стучали зубами и часто руки и ноги их совершенно коченели. Генерал фон Редер, пока он мог распоряжаться, старался всячески нам помочь.

Он писал императрице (матери), а также банкиру Якоби в Кенигсберг, от которого было получено известие, что вюртембергский кригс-комиссар, проезжая, забрал все деньги и не сделал никакого заявления о госпитале в Вильно, и что поэтому он не может иметь с нами никаких денежных дел. От императрицы же несколько недель спустя получили мы так же, как и саксонские офицеры, значительную под-

держку: на каждого офицера пришлось по 14 прусских талеров, причем она уверяла, что, насколько будет в ее силах, она позаботится о своих земляках.

Наконец умер от нервной горячки вернувшийся в город генерал фон Редер. Он был единственным, чьи останки были положены в гроб; его погребение состоялось на кладбище в присутствии нескольких офицеров.

Многие французские кригс-комиссары, находившиеся в плену у русских, старались подольститься к начальству присутственных мест, чтобы получить заведование продовольственной частью. Это им часто удавалось, но эти люди, которые и раньше думали больше о себе, чем о других, не могли и здесь забыть себя и при ежедневной раздаче съестных припасов, которые были лучшим лекарством для выздоравливающих, уменьшали с каждым днем порции, что вызывало жалобы и расследования. Многие из них были наказаны русскими и удалены от должности.

Когда я был принят в госпиталь у меня еще было много денег, взятых в Красном. При входе на лестницу в госпиталь, я воспользовался обстоятельством, завернул горсть золота в бумагу и спрятал в дыру дверного косяка, чтоб его таким образом сохранить. Если бы я догадался зарыть свои деньги на дворе под трупами, то я сохранил бы все, потому что обнаруженные трупы казаки оставляли в покое.

Когда начался грабеж в госпитале, у меня взяли все, кроме двух колец, которые я носил на пальце; я взял их в рот и в смертельном страхе проглотил, но потом, по счастью, нашел. Одно из них я ношу до сих пор — это обручальное кольцо моего отца. Когда, наконец, нашей охраной в госпитале был водворен покой и порядок, я забыл о спрятанных деньгах. Но однажды, ковыляя по лестнице, чтоб навестить земляков, лежавших в соседней комнате, я увидел снова дверь и вспомнил о спрятанных деньгах. Убедившись, что меня никто не видит, я заглянул в дырку и нашел мои деньги которых было приблизительно 15 луидоров, целиком.

Во время моих отлучек я часто покупал фрукты, которые здесь довольно хороши, и приносил их несчастным больным, ожидавшим вечером моего прихода, и их огрубелые руки протягивались ко мне в надежде получить яблоко.

Евреи, которые не могу жить без мелкого торгашества, покупали одежду умерших в госпитале от горячки людей, забирали домой и там мыли, чтоб потом извлечь из нее пользу. Таким образом они заражались, вымирали целые семьи, целые дома, что было заслуженной карой за жестокость в отношении к несчастным и что нас очень радовало.

Находящиеся в плену французские маркитантки и солдатские жены устраивали в городе кофейни, трактиры и игровые дома, где они чувствовали себя в безопасности.

Мысль отчасти была не плоха, потому что каждый мог там развеять гнетущую тоску, но так как почти каждый сохранил деньги, то азартная игра здесь велась в ужасающих размерах — серебро и золото сыпались, как в большом курорте. Таким образом, многие впали в еще более жалкое положение, некоторые же его улучшили.

Те, которые удерживали то, что имели, и не отдали себя в руки судьбы, были самые благоразумные, они завели себе белье и платье, что среди немцев, однако, случилось очень редко. Смерть уменьшала с каждым днем число пленных, что было наиболее заметно в открытых ресторанах. В нашем госпитале убыль была так велика, что скоро офицеры из 3-х комнат перебрались в одну: причем многие получили разрешение жить в городе. Из 57 офицеров умерло 30, т.е. половина, и приблизительно из 500 солдат осталось едва  $\frac{2}{5}$ , к весне же умерло еще больше. Общее число умерших за 4 месяца моего пребывания в Вильно достигло 2000 среди пленных офицеров и более 20 000 солдат. В русских военных госпиталях число умерших было тоже значительно, потому что они тоже болели нервной горячкой.

*Иелин*

\* \* \*

Император Александр прибыл в Вильно 22 декабря. Слух о его доброте и рассказы о его человеколюбии в отношении несчастных пленных, которыми был наполнен монастырь св. Василия, внушили мне мысль просить государя о помощи. Вследствие этого я отправилась во дворец, где встретила одну знакомую француженку, которую привела туда та же причина. Взаимно ободряя друг друга своим присутствием, мы ожидали императора внизу большой лестницы. В это время появился великий князь Константин. Я быстро при-

близилась к нему с просьбой в руке. Он догадался о моей ошибке и сказал ласково, что было ему несвойственно:

— Это не ко мне, сударыня, вы имеете дело, вероятно, к моему брату... Он идет за мною...

Русский император, действительно, не замедлил сойти: он отправлялся на парад, окруженный своим штабом. Увидя нас, он остановился, чтобы принять бумаги, которые мы ему подали, и сказал лицам, которые теснились около него: «Господа, уступите место дамам!..» Затем, взявши сам наши просьбы, он прибавил с обычною любезностью: «Сударыня, я вам дам ответ»...

Целые сутки прошли со времени подачи наших просьб, когда явился за нами полицейский офицер от генерала Эртеля, начальника полиции. Хотя до меня доходили слухи о зверской жестокости генерала, я, ободренная милостивым приемом русского императора, отправилась полная надежды и доверия. Моя подруга сопровождала меня. Едва мы переступили порог первой комнаты, как услышали смешанный шум, похожий на сильную ссору. Пройдя далее, мы нашли генерала Эртеля посреди двадцати мужиков, которых он ругал сильнейшим образом. Не довольствуясь самыми грязными выражениями, генерал бил мужиков по лицу... Несчастные были покрыты кровью. Вся их вина состояла в том, что они последовали за своими господами, бежавшими, как и мы, с французскою армиею. После такого поступка, достойного той страны, где рабы приравняются к домашним животным, генерал Эртель подошел к нам. Судорожное искажение лица, быстрая походка и побои, которым он только что подвергнул этих несчастных рабов, все способствовало к возбуждению во мне ужаса. Я почти без чувств упала на стул. Мой страх был основателен, потому что, не обращая никакого внимания на мое состояние, он тотчас же разразился бранью на нас и, поднеся кулак к самому лицу моей подруги, сказал ей по-русски:

— Подлая чертовка! Ты смела писать государю!.. Хорошо, полиция покажет обеим вам, как называется подобная дерзость...

Более испуганная его словами, чем кулаками, которыми он грозил нам, я, зная, что этот ужасный человек был по происхождению немец, решила обратиться к нему на немецком языке...

Ничего не отвечая на мои мольбы, жестокий человек этот указал нам пальцем на дверь и велел убираться домой, строго запретив выходить оттуда... Вот какую личность избрал император России, великодушный Александр, в исполнители своих милостей и благодеяний...

*Домерг*

\* \* \*

Я схватил жестокую лихорадку в Вильно и был оставлен в этом городе вместе со значительным количеством других больных, когда французская армия принуждена была быстро его покинуть.

Мне уже приходилось упоминать об ужасном обращении, которому подвергались наши больные и раненые со стороны казаков после занятия ими города Вильно. Не только простые рядовые, но даже и французские офицеры в большинстве случаев становились жертвами жадности и жестокости со стороны неприятеля. Мне самому удалось избежать этой печальной участи остальных товарищей по несчастью лишь благодаря моему гостеприимному хозяину, литовскому доктору, с которым я познакомился еще во время первого своего пребывания в Вильно; мне удалось разыскать его и вторично, хотя большая часть жителей при нашем приближении покинула город. Благодаря усиленной заботливости этого доктора, я довольно скоро поборол свою болезнь, но вместе с выздоровлением вернулось ко мне и сознание безотрадности положения, в каком мне пришлось тогда очутиться: я стал ведь пленником и совершенно не знал, удастся ли мне когда-либо увидеть вновь свою родину или же мне суждено будет умереть на чужбине. Как только я снова встал на ноги, последовал приказ присоединить меня к огромной партии пленных, числом от двух до трех тысяч человек, которая в сопровождении конвоя высылалась во внутренние губернии России.

Все, чего удалось добиться моему гостеприимному хозяину, сводилось к тому, что он представил меня офицеру, командовавшему отрядом казаков, которым было поручено нас сопровождать. Этот офицер, прекрасно объяснявшийся по-французски, обещал сделать все возможное, чтобы облегчить мое положение и помочь мне перенести трудности предстоящего нам утомительного и длинного путешествия и

избавить меня от грубого обращения, от которого так часто и сильно приходится обыкновенно страдать пленникам.

Мы тронулись в путь 22 декабря; в это время года дни в этих широтах бывают чрезмерно коротки, и солнце всего лишь на несколько часов показывается над горизонтом.

Но зато погода стояла не такая уж холодная, как в начале декабря: вместо 28 градусов ниже нуля (по Реомюру), термометр показывал теперь от 18 до 20 градусов мороза. При подобной температуре, разумеется, все реки, болота и озера покрываются толстым ледяным покровом, благодаря чему конвоировавшим нас казакам не приходилось вовсе задумываться над вопросом, как переправлять нас через них.

Итак, отсюда начинается моя печальная Одиссея, быть может, не такая уж печальная для меня лично, так как мне, главным образом, приходилось быть лишь немым свидетелем тех страданий и несчастий, на какие были обречены мои спутники, и в то же время я не мог ничем облегчить их положение.

Нас, пленных, было около трех тысяч, когда мы покидали Вильно; в том числе насчитывалось до 150 офицеров, вместе с которыми мне и пришлось идти, шагая в задних рядах нашей партии. По меньшей мере половина всех этих пленных еще не вполне оправилась от изнуряющей лихорадки, и не успели мы пройти еще и одной мили, как многие из нашего отряда начали падать от переутомления и усталости. Но к ним тотчас подсакивали казаки и, осыпая ужасной руганью, заставляли их снова подниматься на ноги и продолжать путь под ударами палки. Возмущенный до глубины души подобным зрелищем, я поспешил приблизиться к офицеру, которому был представлен раньше и который шел всего в нескольких шагах от меня.

— Сударь, — сказал я ему, — как можете вы позволять своим солдатам подобным образом обращаться с несчастными пленными?

Но он прервал меня следующими словами: «Я знаю заранее все, что вы можете мне сказать по данному поводу, но, к несчастью, подобные явления не вполне зависят от нашей власти. Дело в том, что возбуждение против вас, французов, в данный момент настолько сильно как среди

русских крестьян, так и среди русских солдат, что мы почти беспомощны, если бы даже и хотели, подавлять проявление подобной ненависти. Ведь эти люди совершенно не понимают, как можно шадить людей, которые сожгли священную Москву, и в большинстве деревень, если бы появились пленные, они были бы прямо задушены, несмотря на присутствие конвоя. Поэтому-то мы и будем принуждены избегать деревень и проводить ночи на биваках».

— Как, — прервал я его тогда в свою очередь, — вы, сударь, говорите, что несмотря на стоящие теперь морозы, несмотря на присутствие среди нас огромного числа больных, мы не будем заходить для ночлега в деревни?

— Да, этот как раз нам воспрещено, и не только в силу соображений, о которых я вам только что говорил, так как с этой стороны вам пока нечего опасаться, по крайней мере, до тех пор, пока мы не вышли из пределов Литвы, но мы, к сожалению, должны опасаться больничной лихорадки, которой страдают большинство пленных; а как вы сами прекрасно знаете, болезнь эта очень заразительна и неизбежно передастся деревенским жителям, если бы мы вздумали вступить с ними в общение.

— Я это, конечно, понимаю, но в таком случае лучше всего было бы предоставить нам умереть в Вильно; мы были бы тогда, по крайней мере, избавлены от бесполезных мучений этого путешествия, столь продолжительного и столь утомительного в это время года.

— Вас не могли оставить в Вильно прежде всего потому, что этот город вскоре будет занят многочисленными корпусами русских войск. Ваша отправка внутрь империи является, таким образом, одной из неизбежных жестокостей войны, которой вы волей-неволей должны подчиниться.

— Без сомнения, и мы вполне готовы это сделать, но к чему увеличивать страдания этих несчастных солдат бесполезной жестокостью; зачем к мучениям, связанным с самим путешествием, к лишениям, к суровости климата и болезни присоединять еще варварское и бесчеловечное обращение, какое позволяют себе ежеминутно казаки нашего конвоя?

Русский офицер, казалось, был очень недоволен моей настойчивостью снова вернуться к первоначальной теме

разговора. Он отвечал мне по-прежнему в учтивом тоне, но в словах его проскальзывало раздражение.

— Я уже вам сказал, сударь, что мы бессильны воспрепятствовать проявлениям негодования, которые к тому же направлены на тех, которые сами явились виновниками войны, да и бесполезно было бы к этому возвращаться. Скажу вам даже более: если вы хотите мне верить, я могу вам только посоветовать хранить молчание и не высказывать слишком громко своего неудовольствия и негодования, каковы бы ни были грубости, свидетелем которых вам еще предстоит стать впоследствии. Что вы, в самом деле, хотите? Ведь подобного рода неприятности для людей, столь цивилизованных, как вы, не должны быть неожиданными, раз им приходится вести войну с такими варварами, как мы...

Наш первый привал происходил всего в 16 верстах от Вильно. Нас, действительно, остановили на некотором расстоянии от деревушки, строения которой, как мы могли заметить, окаймляли ту самую дорогу, по которой мы шли. Тотчас же был разбит бивак, разведены костры в таком количестве, что всем нам хватило возле них места, чтобы обогреть свои окоченевшие тела и сварить немного пищи, которая тут же была нам роздана. Нам была выдана также солома, но исключительно только для офицеров; воспользовавшись ею и укутавшись в свои плащи, мы могли кое-как заснуть. Но на рассвете, когда нужно было снова тронуться в путь, печальная картина предстала перед нами: от двадцати пяти до тридцати солдат не могли подняться со своего ложа во время переключки, так как были уже мертвы. Некоторые из них до такой степени крепко примерзли к земле, что их почти невозможно было оторвать от нее. Чтобы достигнуть этого, приходилось предварительно оттаивать вокруг них почву при помощи огня. Затем, когда все эти трупы были собраны в одно место, казаки разложили огромный костер и стали бросать в него останки наших несчастных сотоварищей. Трогаясь снова в путь, мы бросили свой прощальный взгляд на этот погребальный костер, не переставая думать, что, быть может, подобные же похороны уготованы каждому из нас.

Что за безутешная перспектива в будущем! Был всего только второй день нашего путешествия, сколько же вре-



мении должно оно еще длиться, прежде чем нам удастся достигнуть своего назначения! Да и где же конец нашим скитаниям? Никто из нас не мог ответить на подобный вопрос; быть может, всем нам суждено блуждать по этим беспредельным степям России до тех пор, пока все мы, один за другим, не погибнем там, подобно нашим несчастным товарищам, умершим в истекшую ночь. Этот безбрежный снежный ковер, покрывавший всю равнину, по которой нам предстояло идти, казался тогда нам погребальным саваном, предназначенным судьбой для всех нас. Многие из нашей партии, подавленные в ту пору подобными мыслями, впадали в отчаяние.

Сцены, подобные только что описанной, повторялись как на втором биваке, так и на всех последующих. Часто случалось, что люди, чувствуя себя уже в объятиях смерти, собирали последние силы и поднимались с ужасом среди ночи на ноги, чтобы в таком положении продолжать борьбу с начавшейся агонией. Скованные морозом в последних предсмертных конвульсиях, они продолжали стоять до утра в том же положении, навеки неподвижные и оледеневшие, прислонясь к стене какого-либо строения или к стволу дерева. На их исхудавшем лице видны были не успевшие скатиться капли пота, глаза оставались широко раскрытыми, а тело — в той самой позе, в которой застал их момент смерти. Трупы их оставались в таком положении, пока их не отрывали оттуда, чтобы предать сожжению, часто при этом случалось, что голени их отрывались от остальной ноги с большей легкостью, чем примерзшая подошва от почвы. Всякий раз, когда наступал день и мы поднимали голову, мы замечали, что находимся под охраной целого ряда таких только что остывших статуй; они казались нам часовыми, выходцами с того света, кем-то расставленными вокруг нашей стоянки. Никакими словами не передать ужаса подобных пробуждений!

Затем следовала церемония сожжения; этот способ погребения был предпочтительнее похорон ввиду того, что почти невозможно было рыть ямы сквозь толщу снега и льда, да это требовало бы и слишком много времени. Кроме того, полагали, что путем сожжения лучше всего помешать распространению заразы. Тела умерших и их одежду

сжигали совместно, но при этом иногда случалось, что в огонь бросали людей, еще не испустивших последнего дыхания. Оживая на мгновение от неимоверной боли, эти несчастные, заживо сжигаемые, оканчивали свою агонию в невероятных криках.

Когда нам впервые пришлось присутствовать при подобном зрелище, из наших грудей невольно вырвался крик ужаса. Но наш конвой тотчас же заставил нас тронуться далее в путь, подгоняя усиленными ударами тех, кто чересчур оживленно высказывал жестами свое негодование. Я понял тогда совет, который дал мне офицер конвоя, чтобы я не высказывал открыто своих впечатлений по поводу происходящего перед моими глазами. Да, в России действительно необходимо приобрести привычку смотреть бесстрастными глазами на акты самого возмутительного произвола. Мне пришлось впоследствии не раз еще присутствовать и при других жестокостях.

Как я уже упомянул, зимняя стужа каждую ночь производила опустошение в наших рядах. Несколько раз при входе в города встречались нам покинутые здания; мы в таком случае занимали их и располагались там на ночлег, заполняя собою все этажи и комнаты этих пустующих жилищ. В первый раз мы были очень счастливы, когда нам пришлось убедиться, что такой ночлег мало в чем уступает открытому биваку. В самом деле, ведь внутри здания разводить огонь можно лишь в определенных местах, тогда как на открытом воздухе мы зажигали костры повсюду вокруг своего лагеря. Вследствие этого многие из нас умирали от стужи и в комнатах, так как не имели возможности согреть свое коченеющее тело. А по утрам, когда надо было поднимать мертвецов, русские солдаты стаскивали их прямо за ноги, обвязав предварительно веревкой вокруг лодыжек. Многих приходилось им таким образом стаскивать со второго этажа, причем голова все время подпрыгивала по лестнице, отсчитывая каждую ступень. Но скоро мы стали совершенно бесчувственными и к подобному надругательству над останками наших сотоварищей и ограничивались тем, что только говорили друг другу с горечью: «Они уже мертвы и более не страдают». И эта бесчувственность тех, кто оставался в живых, была еще страшнее этих зрелищ. Мы

видели подобные сцены ежедневно, но ни один из нас не находил мужества протестовать против них: до того несчастья ожесточают человеческое сердце. Та же участь, говорили мы друг другу, быть может, завтра ожидает нас самих. И эта общность опасности заставляла умолкать совесть и благоприятствовала нашей инертности.

До сих пор мне приходилось упоминать почти исключительно о жестокости тех русских, которые нас сопровождали, и тех немногих, которые нам попадались на пути следования в тех городах и деревушках, мимо которых шла наша партия. Но теперь мне предстоит выполнить более приятную задачу, так как я не могу умолчать и о тех встречах, которые доставляли нам утешение среди испытываемых нами несчастий.

По мере того как мы продвигались внутрь страны и очутились в так называемой Великороссии, мы замечали гораздо больше сердечной мягкости по отношению к себе со стороны местных крестьян. Те из них, которые приближались к нашим бивакам, высказывали часто нам сочувствие, а иногда даже проявляли свое расположение и более реально. Женщины в особенности были жалостливы; простые крестьянки приносили нам свое платье, доставляли пищу и даже водку...

*Рюа*

\* \* \*

Мы оставили генерала в сопровождении нерегулярных казаков, одетых по-крестьянски и вооруженных пикой и кожаной плетью, называемую кнутом. Офицеров рассадили в сани. Пройдя несколько верст, пришли к деревне, и глазам нашим представилось жалостное зрелище: толпы пленных французских солдат, которых окружали до тридцати казаков (ополченцев), занимаясь пересчитыванием их. Пленных было с лишком триста человек всяких полков и всякого оружия. Все это было измучено, истощено; многие едва держались на ногах, другие опирались на костыли. Им роздали немного сухарей из грубого ржаного хлеба. Казаки тормозили их безжалостно и по временам били их кнутом без всякой причины. Начальник казацкий был человек необразованный, с грубыми замашками...

25 ноября, вечером, когда мы собрались лечь спать, вышло приказание отправиться в путь. Эта ночная поездка удивила нас. Подъехали сани, и мы уселись. Прочие пленные были собраны в колонны, и казаки погоняли их словами «Ступай, ступай! Пошел!» и хлестали кнутом отстававших. Нам пришлось переезжать несколько узких плотин, к которым пешим людям трудно было пробиться между лошадей через бревна, положенные поперек. На каждом шагу несчастные спотыкались и падали. Следовавшие за ними, понукаемые казаками, давили упавших. Казаки, выждав время, когда колонна пройдет, слезали с лошадей, срывали с несчастных одежду и закалывали их пикою. Жестокий их начальник не мешал им в этой гнусности. Мы заметили, что они особенно нападали на тех пленных, у которых на мундире воротник и обшлага были из красного сукна, — видно было, что они очень им дорожили...

Поехали далее и были свидетелями умерщвления многих наших солдат; только нас, офицеров, не трогали; да и то один казак вздумал бить кнутом ехавшего позади нас молодого лекаря Бископа. На крики его прибежал казацкий офицер и своим кнутом дал несколько ударов этому казаку. Таким образом, прочие казаки уже не смели нас трогать, зная, что за нас заступает их начальник. Среди ночи прибыли в большое село. Нашим бедным солдатам велено было оставаться ночевать в поле, где и разведен был огонь. Мы, между тем, оставались в санях и полагали, что тут и переночуем, однако нам позволили въехать в деревню и ввезли во флигель и дали в наше распоряжение одну комнату. Потом раздали нам ржаного хлеба. Можно себе представить, каково было у нас на душе после виденных нами в ту ночь жестокостей!

На другое утро шел снег. Из окна нашего мы видели, как входили и выходили из большого дома русские офицеры, принадлежавшие к регулярному войску. Двое из них вошли к нам. Они обошлись с нами учтиво и много расспрашивали нас по-французски. Бретон рассказал им об ужасах прошедшей ночи; офицеры пришли в негодование и обещали приказать нашему вожаку, чтобы он сдерживал своих казаков и обращался с нами человеколюбиво. Они тотчас же пошли в другую комнату к нему, и мы слышали

их громкий разговор. Когда эти офицеры удалились, наш вожатый тотчас же позвал нас и подал нам борщ с хлебом и водку, присланные теми офицерами. Мы заметили, что он обращался с нами не так жестоко. Подъехали сани, и мы догадались, что надо снова в дорогу. Тут опять не обошлось без грустной сцены. Выехав из села, мы остановились у того места, где наши солдаты ночевали. Огни у них погасли; казаки раздавали им сухари и кнутом отгоняли тех солдат, которые получили свою порцию. А когда казакам надоело раздавать каждому поодиночке, тогда они бросили всю провизию в толпу пленных солдат, а те голодные набросились на сухари, и кто половчее был, тому более и досталось. На этом месте ночлега солдат мы заметили во многих местах какие-то возвышения, прикрытые выпавшим снегом и похожие на могилы. Действительно, это были тела погибших в эту ночь. Мы отъехали от этих печальных мест под казачьим конвоем, следуя на санях нашего вожатого, ехавшего на тройке. Наши же солдаты, товарищи нашего злополучия, шли позади нас, так что мы не знаем, что стало с теми, которые отстали.

3 декабря мороз усилился. Отправились в дорогу довольно рано. В этот день ожидало нас печальное зрелище: большое число трупов наших товарищей валялось на дороге, из чего мы заключили, что перед нами следовали еще колонны пленных. На каждой версте лежало по одному или по несколько трупов. Одни были обнажены, другие покрыты лохмотьями мундиров. Около этих трупов возились собаки, и, когда мы проходили мимо, они бросались на нас с лаем, как бы грозя истерзать нас, если мы тронем их добычу. Мы насчитали до пятидесяти тел по этой дороге...

*Де ла Флизи*

## ***Наполеон о войне 1812 года***

Наполеон задал мне несколько вопросов по анатомии и физиологии; он сказал мне, что сам несколько дней занимался анатомией, но что от вида вскрытых трупов он заболел и совсем бросил эту науку. После того как он несколько развил свои взгляды на понятие о душе, я сделал ряд

замечаний о служивших в его армии поляках, которые, добавил я, были так сильно к нему привязаны. «О, да, — ответил император, — они были мне очень преданы. Теперешний вице-король Польши был со мной в египетских походах. Я сделал его генералом. Большею частью моей старой польской гвардии теперь, из политических соображений, пользуется Александр. Это храбрая нация, дающая хороших солдат. Они лучше французов выносят холод северных стран». Я спросил его, так ли хороши польские солдаты, как и французские, в менее суровом климате. «О, нет, нет; в других странах французы многим превосходят их. Комендант Данцига сообщил мне, что во время зимней стужи, когда термометр спускался до восемнадцати градусов и поляки совсем не страдали, французских солдат невозможно было заставить стоять на часах. Понятовский, — продолжал он, — был благородный человек, полный чувства чести и храбрости. Я намеревался сделать его польским королем, если бы мой поход в Россию был удачен».

Я спросил его, чему он приписывает, главным образом, неудачу этой кампании. «Холоду, раннему холоду и московскому пожару, — отвечал Наполеон. — Я ошибся на несколько дней, я высчитал погоду за пятьдесят лет, и никогда сильные морозы не начинались раньше 20 декабря — на 20 дней позднее, чем они начались в этот раз. Во время моего пребывания в Москве было три градуса холода, и французы переносили его с удовольствием; но во время пути температура спустилась до восемнадцати градусов, и почти все лошади погибли. Несколько тысяч лошадей потерял я в одну ночь. Мы принуждены были покинуть почти всю артиллерию, в которой тогда насчитывалось пятьсот орудий. Ни боевые запасы, ни провиант нельзя было дальше вести. За недостатком лошадей мы не могли ни делать разведки, ни выслать кавалерийский авангард, чтобы узнать дорогу. Солдаты падали духом, терялись и приходили в замешательство. Всякое незначительное обстоятельство тревожило их. Пяти, шести человек было достаточно, чтобы испугать целый батальон. Вместо того чтобы держаться вместе, они бродили врозь в поисках огня. Те, которых назначали разведчиками, покидали свои посты и отправлялись в дома погреться. Они рассыпались во все стороны,

удалялись от своих корпусов и легко попадали в руки врагов. Другие ложились на землю, засыпали, немного крови шло у них из носа, и сонные они умирали. Тысячи солдат погибли так. Полякам удалось спасти несколько лошадей и немного пушек, но французов и солдат других наций совсем нельзя было узнать. Особенно пострадала кавалерия. Сомневаюсь, уцелело ли в ней три тысячи человек из сорока. Не будь московского пожара, мне бы все удалось. Я провел бы там зиму.

В этом городе было до сорока тысяч людей в рабской зависимости. Ведь вы, должно быть, знаете, что русское дворянство держит своих крепостных почти в рабской зависимости. Я провозгласил бы свободу всех крепостных в России и уничтожил бы крепостнические права и привилегии дворянства. Это дало бы мне массу приверженцев. Я заключил бы мир в Москве или на следующий год пошел бы на Петербург. Александр прекрасно знал это, поэтому он и послал в Англию свои бриллианты, свои драгоценности и свои корабли. Мой успех был бы полный без этого пожара. Восьмью днями раньше я одержал над ними победу в большом деле при Москве-реке; с девяносто тысячами напал я на русскую армию, достигшую двухсот пятидесяти тысяч с ног до головы вооруженных, и я разбил ее наголову. Пятьдесят тысяч русских остались на поле битвы. Русские имели неосторожность утверждать, что выиграли сражение, и тем не менее через восемь дней я входил в Москву.

Я очутился среди прекрасного города, снабженного провиантом на целый год, ибо в России всегда запасы на несколько месяцев делались до наступления морозов. Всевозможные магазины были переполнены. Дома жителей были хорошо снабжены, и большинство их оставили своих слуг, чтобы служить нам. Многие хозяева оставили записочки, прося в них французских офицеров, которые займут их дома, позаботиться о мебели и других вещах; они говорили, что оставили все, что могло нам понадобиться, и что они надеются вернуться через несколько дней, как только император Александр уладит все дела, что тогда они с восторгом увидятся с нами. Многие барыни остались. Они знали, что ни в Берлине, ни в Вене, где я был с моими армиями, жителей никогда не обижали: к тому же они ждали скорого мира.

Мы думали, что нас ожидает полное благосостояние на зимних квартирах, и все обещало нам блестящий успех весной. Через два дня после нашего прибытия начался пожар. Сначала он не казался опасным, и мы думали, что он возник от солдатских огней, разведенных слишком близко к домам, почти сплошь деревянным. Это обстоятельство меня взволновало, и я отдал командирам полков строжайшие приказы по этому поводу. На следующий день огонь увеличился, но еще не вызвал серьезной тревоги. Однако, боясь его приближения к нам, я выехал верхом и сам распоряжался его тушением. На следующее утро поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой. Сотни бродяг, нанятые для этой цели, рассеялись по разным частям города и спрятанными под полами головешками поджигали дома, стоявшие на ветру: это было легко ввиду воспламеняемости построек. Это обстоятельство, да еще сила ветра делали напрасными все старания потушить огонь. Трудно было даже выбраться из него живым. Чтобы увлечь других, я подвергался опасности, волосы и брови мои были обожжены, одежда горела на мне. Но все усилия были напрасны, так как оказалось, что большинство пожарных труб испорчено. Их было около тысячи, а мы нашли среди них, кажется, только одну пригодную, кроме того, бродяги, нанятые Растопчиным, бегали повсюду, распространяя огонь головешками, а сильный ветер еще помогал им. Этот ужасный пожар все разорил.

Я был готов ко всему, кроме этого. Одно это не было предусмотрено: кто бы подумал, что народ может сжечь свою столицу? Впрочем, жители делали все возможное, чтобы его потушить. Некоторые из них даже погибли при этом. Они приводили к нам многих поджигателей с головешками, потому что нам никогда бы не узнать их среди этой черни. Я велел расстрелять около двухсот поджигателей. Если бы не этот роковой пожар, у меня было бы все необходимое для армии, прекрасные зимние квартиры, разнообразные припасы в изобилии, на следующий год решилось бы остальное. Александр заключил бы мир, или я был бы в Петербурге».

Я спросил его, как он думает, мог бы он всецело покорить Россию. «Нет, — ответил Наполеон, — но я принудил



бы Россию заключить выгодный для Франции мир. Я на пять дней опоздал покинуть Москву. Несколько генералов, — продолжал он, — огонь поднял с постелей. Я сам оставался в Кремле, когда пламя окружило меня. Огонь распространялся до китайских и индийских магазинов, потом до складов масла и спирта, которые загорелись и захватили все. Тогда я уехал в загородный дворец императора Александра в расстоянии приблизительно 4 верст от Москвы, и вы, может быть, представите себе силу огня, если я скажу вам, что трудно было прикладывать руку к стене или окнам со стороны Москвы, так эта часть была нагрета пожаром. Это было огненное море, небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались к пылающему небу и падали затем в огненный океан. О! Это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда-либо виденное человечеством!»

*О'Меара*

## ***Беседа Наполеона с Моле***

*Наполеон:* Мне некого поставить на свое место, а я был бы слишком счастлив, если бы мог вести войну через моих генералов. Но они к этому не привыкли, нет ни одного среди них, кто мог бы командовать другими.

Бертье писал мне недавно: «Я не знаю, что делать без ваших указаний: вот уже 14 лет, как я не рассуждаю и привык получать от Вас все мои идеи...» Вице-король вел себя хорошо во время этой кампании. У Неаполитанского короля больше блеска, больше превосходства; в общем, пожалуй, вице-король человек заурядный, но все же в нем больше соразмерности и гармонии\*.

Неаполитанский король погубил мою армию, я имел еще армию, когда я ее покинул, теперь у меня ее нет. Пока я был с ней, роптали, но повиновались. Когда я уехал, Неаполитанский король потерял голову; дисциплина со-

---

\* Известно, что Наполеон, вверяя ему 22 января 1813 года начальство над армией, сожалел, что не назначил его с 5 декабря: «отступление велось бы более спокойно и не было бы таких огромных потерь».

вершенно упала; в Вильно мои войска разграбили 12 миллионов; и было совершенно невозможно вернуть солдат к повиновению.

Когда Неаполитанский король слышит свист пуль, видит собственными глазами опасность, он вырастает в 12 футов. Но если он не видит опасности, если он ее воображает, он становится трусливее беременной женщины; у него нет никакого морального мужества\*, для этого он недостаточно умен. Если он не видит опасности, она пугает его; он не может составить себе о ней верное представление; тогда он видит призраки. У умного человека нашлось бы то моральное мужество, которого ему недостает, чтобы здраво взвесить все шансы судьбы, а не слушать хладнокровно свист пуль. Поверите ли, что Неаполитанский король проливает обильные слезы над письмами к своим детям? Он поддается всем своим впечатлениям. Вот почему во время отступления он был так угнетен.

Впрочем, мне потребовалась долгая дисциплина над самим собой, пока я перестал удивляться таким вещам. Вчера я был победителем мира, я командовал самой доблестной армией новейших времен; сегодня — я никто.

*Моле:* Государь, вы должны были пережить ужасные впечатления.

*Наполеон:* Полагаю, я обнаружил присутствие духа, я сказал бы, что я сохранил неизменную веселость, и я не думаю, чтобы кто-либо из видевших меня стал бы отрицать это. Не думайте, однако, что у меня нет, как у других, чувствительного сердца. Я даже довольно добрый человек; но с самой ранней юности я старался заглушить в себе эту струну, и у меня она не издает никакого звука. Если бы мне сказали во время сражения, что женщина, которую я люблю, из-за которой я теряю голову, только что умерла, я не отдался бы настроению. Я мог бы испытать печаль такую же сильную и, может быть, сильнее всякого другого на моем месте, если бы я ей предался; но я закрыл бы ей мою душу и после битвы я плакал бы, если бы у меня нашлось на это время. Иначе, думаете вы, сделал бы я

---

\* Наполеон писал 23 января 1813 г. принцу Евгению: «Мюрат храбрый человек на поле сражения, но ему недостает сообразительности и морального мужества».

так много? Часы летят, и в моем положении, если я теряю момент, я могу потерять все.

*Моле:* Государь, так управляют судьбой, когда душа свободна от всего, что подчиняет или занимает людей.

*Наполеон:* Покидая мою армию, я предвидел все, что случилось. Но я понял, что нельзя колебаться, что надо вернуться сюда. Только здесь я мог еще импонировать Европе и приготовить войну или мир. Мои генералы поняли это. На военном совете они сказали мне все: «Уезжайте, вам больше здесь нечего делать. Во Франции же вы необходимы». Они обнаружили ум поистине монархический. Если бы я был только армейским генералом, я провел бы зиму в Москве и я мог бы там продержаться. Но в моем положении я не мог отрезать себя от сношений; во Франции 6 месяцев не получали от меня известий, что же стали бы делать в течение этого времени?

## *Источники текстов*

В сборнике помещены отрывки из следующих авторов:

1. Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich.
2. La Grande Armée. Récits de Césaire de Langier, officier de la Garde du Prince Eugène.
3. Mes campagnes 1792—1815, notes et correspondance du colonel Pion de Loches.
4. Roos. Mit Napoleon in Russland.
5. Comte Roman Soltyk, Napoleon en 1812, Mémoires historiques et militaires sur la campagne de Russie.
6. Mémoires du général baron de Dedem de Gelder (1774—1825). Un général hollandais sous le premier empire.
7. Les Cahiers de capitaine Coignet.
8. Quelques notes par un capitaine au 16-e régiment des chasseurs à cheval.
9. General baron Girod de L'Ain. Dis ans de mes souvenirs militaires 1805—1815.
10. Relation complète de la campagne de Russie par E. Labaume.
11. Pastoret. Mémoires sur la Russie.
12. Mémoires du général Griois. 1792—1822.
13. Aus dem Leben des General J. H. Von Brandt.
14. Macdonald, duc de Tarente. Souvenirs.
15. Denkwürdigkeiten aus dem Russischen Feldzuge vom Jahr 1812 von Oberst-lieutenant Th. Legler.
16. Mémoires du général baron de Marbot.
17. Journal et souvenirs de Gaspard Schumacher, capitaine en suisse de la garde royale.
18. Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le Directoire, le Consulat et l'Empire par le maréchal Gouvion Saint-Cyr.
19. A. Thirion de Metz. Souvenirs militaires.
20. Mémoires de chirurgie militaire et campagnes du baron D. J. Larrey.
21. Histoire de Napoléon et de la grande armée en 1812, par M. le lieutenant-général comte de Ségur.
22. Де ла Флиз. Записки о Московском походе в Россию до 1814 г.
23. Précis politique et militaire de campagnes 1812 à 1814. Extraits de souvenirs inédits du général Jomini.
24. Baron Denniée. Itinéraire de l'empereur Napoléon pendant la campagne de 1812.
25. Souvenirs du capitaine Francois.

26. B. T. Duverger. Mes aventures dans la campagne de Russie.
27. Mémoires du général Rapp 1792—1821.
28. Mémoires du colonel Combe sur les campagnes de Russie 1812, de Saxe 1813, de France 1814 et 1815.
29. Руа. Воспоминание о кампании 1812 г. и о двух годах плена в России.
30. Puisbusque. Lettres sur la guerre de Russie.
31. Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais et sur quelques événements de l'empire depuis 1805 jusqu'au 1 mai 1814 par L. F. J. de Bausset, ancien préfet du palais impérial.
32. Souvenirs d'un officier de l'Empire par baron Lejeune, maréchal de camp.
33. Souvenirs d'un ex-commandant des grenadiers de la Vielle-garde, Vionnet de Maringoné.
34. 1812. Lettre du capitaine des curassiers sur la campagne de Russie.
35. Journal du maréchal de Castellane 1804—1862.
36. Sergant F. Bourgogne. Mémoires 1812—1813.
37. La Russie pendant les guerres de l'empire 1805—1815. Souvenirs historiques de M. Armand Domergue, ex-regisseur du Théâtre Imperial de Moskou et l'un des quarante exilés par le Comte Rastopchin.
38. Souvenirs anecdotiques et militaires du colonel Biot.
39. Souvenirs du lieutenant général comte Mathieu Dumas de 1770 a 1835.
40. Mémoires pour servir à l'histoire de Napoléon, publiés par les soins du baron Méneval.
41. Vie du Planat de la Faye. Souvenirs, lettres...
42. Lemoine. Souvenirs anecdotiques d'un officier de la grande armée.
43. Souvage. Relation de la campagne de Russie.
44. Mémoires du général Freytag.
45. Mémoires militaires du lieutenant général comte Roguet.
46. Drujon de Beaulieu. Souvenirs d'un militaire pendant années du règne de Napoléon.
47. Roland Warchot. Notice biographique sur la général de Corbais.
48. Gen. Guillaume de Vandancourt. Quinze années.
49. Souvenirs d'Abraham Rosselet.
50. René Bourgeois. Tableau de la campagne de Moskou.
51. Souvenirs d'un vieux soldat belge de la garde impériale.
52. Lieutenant-colonel de Baudus. Etudes sur Napoléon.
53. Merme. Histoire militaire.
54. Mémoires du général baron Roche Godart.
55. Lemonié-Montigny. Souvenirs anecdotiques d'un officier de la grande armée.
56. Geschichte eines Offiziers im Kriege gegen Russland 1812.

- Lebenserinnerungen von C. A. W. Grafen von Wedel.
57. Noel. Souvenirs militaires d'un officier du premier Empire.
  58. Mémoires militaires du général baron Boulart.
  59. Crossard. Mémoires politiques et diplomatiques.
  60. Souvenirs d'histoire contemporaine etc. par le baron Paul Bourgoing.
  61. La campagne de 1812. Mémoires du Margrave de Bade (le comte de Hochberg).
  62. Mémoires du général Dirk van Hogendorp.
  63. Tagebuch Joseph Steinmüllers über seine Teilnahme am russischen Feldzuge 1812.
  64. Mémoires anecdotiques du général marquis de Bonneval.
  65. D'Jena à Moscou. Fragements de ma vie par le colonel von Suckow.
  66. O' Meara. Napoléon dans l'exil.
  67. Отрывок из Губера и разговор с Моле взяты из книги A.Chuquet «1812».

Таким образом, во всех трех частях составителями использовано более 84 мемуаров. В заключение казалось уместным привести отрывки из воспоминаний самого Наполеона о походе 1812, записанных его собеседниками.

Заимствуя отрывки из воспоминаний участников Великой Армии, редакция и в третьей части сделала одно исключение, взяв описание боев при Красном из воспоминаний французского эмигранта барона Кроссара, воевавшего на стороне русских.

# Содержание

## Часть третья ОТСТУПЛЕНИЕ

Смоленск .....	3
От Смоленска до Красного .....	51
Бой под Красным .....	82
Отступление Нея .....	132
От Красного до Орши .....	147
Орша .....	160
От Орши до Борисова .....	170
В Борисове .....	196
Действия 2-го, 4-го и 9-го корпусов .....	202
Перед переправой .....	209
Переправа через Березину .....	214
После Березины .....	297
В Вильно до прихода армии .....	331
Отъезд императора .....	339
По дороге в Вильну .....	352
Вильно .....	372
В плену .....	463
Наполеон о войне 1812 года .....	498
Беседа Наполеона с Моле .....	502
<i>Источники текстов</i> .....	505

**НАПОЛЕОН В РОССИИ**  
**глазами иностранцев**  
**(в двух книгах)**  
**Книга вторая. Отступление**

*Редакторы*

Игорь Захаров

Ирина Богат

*Художник*

Григорий Златогоров

*Верстка*

Кирилл Лачугин

*Корректор*

Лия Кройтман

ISBN 5-8159-0412-0



9 785815 904125

*Директор издательства* Ирина Евг. Богат

Издатель Захаров

Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.  
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9  
(Рядом с Никитскими Воротами,  
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

Наш сайт: [www.zakharov.ru](http://www.zakharov.ru)

E-mail: [zakharov@dataforce.net](mailto:zakharov@dataforce.net)

Подписано в печать 28.05.2004. Формат 84×108<sup>1/32</sup>.  
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага офсетная.  
Усл. печ. л. 26,88 + вкл. 0,42. Тираж 3000 экз. Изд. № 412. Заказ № 320.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
на ФГУИПП «Уральский рабочий»  
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13  
<http://www.uralprint.ru>  
e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)







*Европа во времена Наполеона*

Цветные иллюстрации в этом двухтомнике  
выполнены вюртембергским  
генерал-майором (1780—1857),  
художником-любителем  
**Фабером дю Хором**,  
ходившим с Наполеоном в Москву.